1 р. 80 к.

Индекс 73276

«Нева», 1991, № 6, 1—208

НЕВА 6/1991

6/1991

ISSN 0130—741X

А. СОЛЖЕНИЦЫН
Март
Семнадцатого

В. СУВОРОВ
Аквариум
Повесть

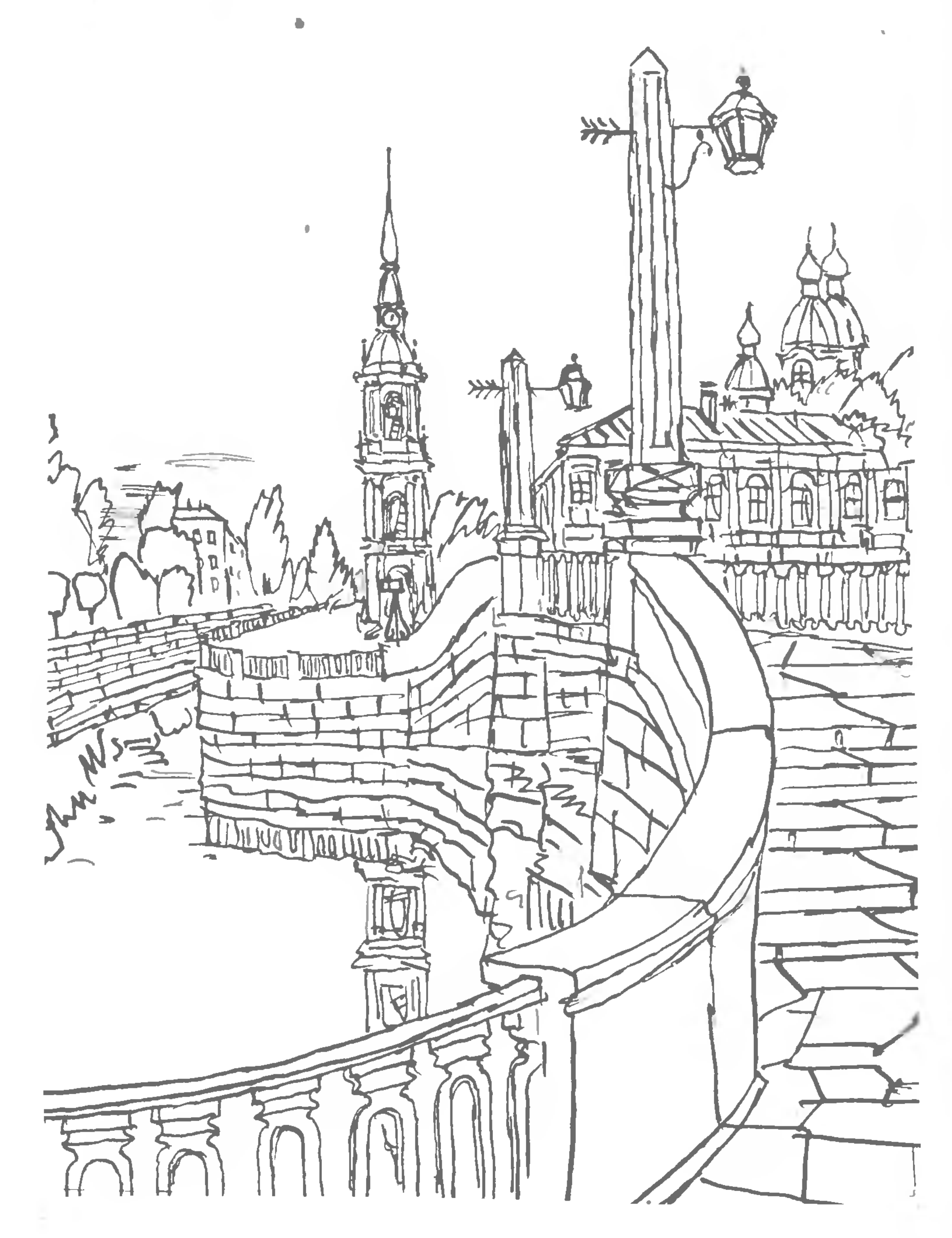
Нева

Ю. СЛЕПУХИН
Час мужества
Роман

Дневники
БУНИНЫХ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
А. ГОРЛОВ
Случай на даче

Ив. ТХОРЖЕВСКИЙ
Воспоминания
камергера



Ленинградские этюды. Коломна
Рис. Ю. Куликова

Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

Орган Ленинградской
писательской организации

Нева

6/1991

Выходит
с апреля
1955
года

СОДЕРЖАНИЕ

Ленинград
«Художественная
литература».
Ленинградское
отделение

Сдано в набор 26.02.91. Подписано к печати 13.05.91. Формат бумаги $70\times108^1/_{16}$. Бумага офсетная № 2. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,2 усл. кр.-отт. 24,46 уч.-изд. л. Тираж 255 000 экз. Заказ № 772. Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.).

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3

Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197110, Ленинград, П-110, Чкаловский пр., 15

Семен
БОТВИННИК

◆◆◆

Идея умерла.
Седея, холодея,
все вытоптав дотль,
скапутилась идея...

Неслась — куда грозней? —
и рухнула с откоса.
А думалось, что ей
вовек не будет сноса;

казвлось, что она
над миром длань простерла —
уж так былв сильна,
уж так брала за горло...

И лагерь и тюрьма
на ней стояли прочно.
Сводившая с ума,
судиашая звочно,

трубившая в трубу
с лицом придурковатым —
она лежит в гробу,
прикрытая плакатом.

И а тишине слышней
проклятья и угрозы,
и кое-кто над ней
еще роняет слезы.

◆◆◆

Рождаются льдинки в крови —
а пламенем были вначале...
Кончаются годы любви,
являются годы печали.

И в тихом ее ветерке,
за тонкой, за медленной дымкой
тот вечер на дальней реке
почти уже стал невидимкой,

а тот ослепительный свет,
что в детстве пылал нвд садами,
темнеет и сходит на нет —
остывшее, горькое пламя...

Былое, зови не зови,
угасло в глубинах колодца,
и тень отошедшей любви —
аукнешься — не отзовется...

Уже в стороне времена
смятенья, крушенья и стрвха.
Приходит покой. Белизна
безмолвного снежного праха.

Печальный туман голубой
плывет над былыми делами,
бродившие рядом с тобой
высокими стали стволами...

И поздняя тишь хороша,
и ширь отстраненной свободы,
но видишь уже, что душа
быстрей отлетает, чем годы.

◆◆◆

Одна печаль меня тревожит:
квк быстро время утекло...
Жизнь состоялась — или, может,
уже разбилась, как стекло?

Чернеет дуб на перекрестке,
и белый свет ему не мил,
и ветер резкий, ветер хлесткий
сухие сучья обломил.

Идет черед потерям, встречам...
На старом камне у пруда,
на бедном сердце человечьем
свой след оставнлн года.

Ты поздней осенью не трогай
к душе присохшие бинты,
иди задуманной дорогой —
пока идти способен ты.

Пусть ветер мечется, тревожеп,
и манит дальняя звезда,
а что за путь тобой проложен —
ты не узнаешь никогда.

◆◆◆

Последней любовью люблю
дождливые эти кварталы,
где туча — сродни кораблю,
а в воздухе привкус металла,

где ветра сырого прибой
и хмарь над фабричной трубою
давно уже стали судьбой,
давно уже стали тобою...

Ты сросся, ты свыкся уже
с лишенными смысла речами,
с огнем на шестом этаже,
что долго не гаснет ночами,

с забором и скользкой травой,
с листвой, опадающей в лужи,
и с песенкой вечно живой:
— Ах, только бы не было хуже!..

И это навеки твое,
навеки твое, до погоста,—
и грустное это житье
покинуть не так-то и просто...

♦♦♦

Встречают грудью кони Клодта
и острый ветер, и века,
и дальних шпилей позолота
так вдохновенно высока...

Еще газоны белой тканью
не затянули холода,
еще осеннее сиянье
хранит широкая вода —

и мрак вчерашний, мрак ненастный
растаял в блеске синевы,
и город царственно прекрасный
свой лик являет из Невы,

и свет нежданный, свет могучий
с небесной рвется глубины,
и в этом свете тают тучи
блокадных былей и войны...

И с наших душ снимает бремя,
их придавившее давно,
бессмертный город, Город-время,
что лишь вперед устремлено.

Александр
СОЛЖЕНИЦЫН

МАРТ СЕМНАДЦАТОГО

(23 февраля — 18 марта)

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК

171

Всё же в Исполнительном Комитете Шляпников продвинулся неплохо: доверена ему была вся Выборгская сторона и сколачивать рабочую милицию. Сколько он мог сообразить своей бессонной, уже помрачённой головой, это была реальная и важная победа: вооружённая Выборгская сторона будет весить больше, чем любое голосование в Совете депутатов, и уж конечно больше, чем вся эта Государственная Дума. Как любит выражаться Ленин — *главное звено*. И вот показалось теперь Шляпникову, что он это главное звено ухватил.

А может — не его? А может — не главное? Если пойдут дела и дальше как сегодня — то сразу хлынут эмигранты. И быстро приедет Ленин — и станет за каждую ошибку бранчиво, обидно выговаривать, по своей въедливой манере. Шляпников заранее сжимался, представляя эту грызуху.

Но так вдруг просторно раздвинулись события и возможности — поди догадайся, какую седлать.

Кончилось бестолковое заседание ИК уже под утро, Шляпников на что силён, а пошатывался. И Залуцкий совсем обмяк. Коснеющими языками ещё переговаривались с ним. Теперь, очевидно, неизбежно быть разным выборам и назначениям — общегородским и в районах,— и надо зорко сторожить и проталкивать везде своих — побольше перед меньшевиками, межрайонцами, бундовцами. (А эсеров и самих нигде нет, размётаны.) Как за всем уследить? Нет людей, нет глаз и ушей. Надо устроить своё постоянное дежурство здесь, в Таврическом, чтоб о каждой новости сразу же узнавать. Но даже на это нет человека, не придумаешь, подходящего кого. Разве что Стасову пристроить? (Она из ссылки приехала осенью в Петербург, для свидания с престарелыми родителями, и зацепилась тут.) Хотя б на дневное время: пусть ходит как на службу и здесь высматривает. И назовём — секретариат ЦК? Она ещё какую девчёнку приспособит.

Впрочем, и ПК весь освободился днём из-под ареста — быстро отделались, за сутки. У них тоже будет центр.

Ну, ехать поспать. Теперь уже не пешка́ мерить, теперь Шляпников мог взять и автомобиль.

Печатается по изданию: А. Солженицын. Собрание сочинений. YMCA-PRESS. Т. 16. Париж — Вермонт, 1986. В публикации сохранены особенности авторской орфографии и пунктуации. «Схемы железных дорог» (с. 41) подготовлены автором специально для настоящей публикации.

Том 1 (гл. 1—170) см.: Нева. 1990. № 1—6; том 3 (гл. 354—531) в 1991 г. печатается в журнале «Волга»; том 4 (гл. 532- 656) — в журнале «Звезда».

Но тут подбежал студент от телефона: сейчас звонили, что на квартиру Горького нападение банды!

Вот те на! Так и кольнуло! И правда, не могло быть всё так хорошо, слишком уж хорошо. Так и должно было случиться: заметная революционная фигура! Алексей Максимыча — никак в обиду дать нельзя, он — как лучший партийный наш, он больше наш, чем меньшевицкий. Он — и деньги даёт, он в Девятьсот Пятом на своей московской квартире в дни восстания содержал тринадцать грузин-дружинников, и бомбы у него делали.

Большевицкий закон: своих — надо выручать!

Застёгивая пальто и нахлобучивая шапку (он их и не снимал все часы заседания в тёплом дворце, некуда деть),— вышел наружу.

В сквере перед дворцом горело три костра, около них грелись. И там-сям солдаты.

— Я — комиссар Выборгской стороны! — закричал Шляпников не так громко, уже голоса не было, но с новым для себя тоном, новым правом распоряжаться громко вслух.— Есть автомобиль?

И сразу тон его услышали и поняли (никто б из думских так бы крикнуть не посмел), подбежало несколько солдат-доброхотов, всё им лучше, чем мёрзнуть:

— Есть автомобили! Куда ехать?

Уже вели его к одному.

— А чей автомобиль? — просто так, для интереса спросил Шляпников.

— Военного министра Беляева! Со двора увели.

Вот и шофёра в полушубке расталкивали за рулём.

— Я член Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов! Заводи машину! — Отступил и крикнул: — Эй, ребята! Кто поедет на Петербургскую сторону, задание есть!

И сразу побежала от костра дюжина охотников.

Но второго, грузового, автомобиля Шляпников брать не стал, хватит. Троих с винтовками впустил на заднее сидение, сам сел спереди, дверцу захлопнул, двое сейчас же легли на подножки, винтовками через крылья вперёд.

Па-й-иехали!

Улицы были малолюдны, но жили. Где-то изредка постреливали. То погуливали с винтовками, гурьбой. То навстречу, то стороной проносились грузовики и гудели, в кузовах торчало по несколько людей со штыками. Пешком пробирались и напуганные обыватели, или кто прячется, может полицейские переодетые убегали на новые места перехорона. А если на мостовую выпирал и даже автомобиль останавливал,— значит наш, или что впереди знает?

— Какие новости, скажите, товарищи?

— Образован Совет Рабочих Депутатов! Создаётся рабочая милиция! — быстро громко отвечал в окошко Шляпников, сонливость прошла.

— А говорят — царские войска идут на город? — Уже слышали, как быстро слух идёт!

— Звонки бубны за горами! — уверенно отвечал Шляпников. И — гнал шофёра.

И гнали дальше: что там с Горьким? Что за негодяи? успеем ли отбить Максимыча?

Ну мог ли Шляпников вчера, перепрятываясь у Павловых, представить, что в следующую ночь будет ехать в автомобиле военного министра?!

Около пожарища Окружного суда — ещё сильно калилось, и пар от уличного снега — их остановили расспрашивать и кричали „ура",— а потом они дёрнули без остановки по Французской набережной и взлетели на пустынный Троицкий мост.

Если б не зарева за спиной, а впереди темно, нет, один есть пожарчик сильно налево, это наверно Охранное, да если б не встречный шальной грузовик на мосту со штыками,— ночь была как ночь: снежная в черноте Нева, тёмная Петропавловка, редкие цепочки фонарей там и здесь, редкие уже светы в домах,— обыкновенная петербургская ночь, как будто не произошло ничего. Вот только зарева.

Оглянулся налево за спину Шляпников: вся полоса дворцов была совсем темна, и Зимний — тоже.

А небо — чистое, звёздное, морозное.

Большим крюком объехали Петропавловку, сбросив огни, чтоб не привлечь на себя стрельбы. Нырнули в тёмный Кронверкский.

Вот и дом Горького, в темноте его Шляпников узнаёт.

Внешне — погрома не видно. Все окна тёмные. Парадное заперто.

Но нельзя так оставить. Стал громко стучать.

Швейцар не сразу вышел. Потом открывать не хотел. Но увидя штыки, сразу открыл.

— Что там у вас? Какая банда? Был налёт?

— Ника-кого.

Шляпников не поверил. Метнулись по лестнице.

И перед дверью Горького — ненатоптанный пол, чистота, тишина, никакого разгрома.

Шутники какие-то обманули?

Но и не уезжать теперь так! Всё же нажал кнопку звонка.

Ещё раз позвонил. Там испуг, переполох: „кто?".

— Это — Шляпников. Мне Алексей Максимыча, простите.

Хоть заверить его в безопасности. Хоть научить, если что — так пусть...

Наконец, отворили дверь. За несколькими женщинами — Алексей Максимович в мохнатом халате, сутулясь, недовольный, подморщивая свой раскляплый утиный нос, жёлтые усы обвисли аж на подбородок, а голос обиженный:

— Ну что-о такое, Алексан Гаврилыч? За-чем? За-чем же вы?

Не пригласил войти, отпустил — и даже не спросил о новостях.

172

Николай не мог жить без Аликс настолько, насколько человек не может жить с выеденной грудью или отсеченной половиной головы. Сам с большими военными пристрастиями, попадая в атмосферу Ставки, он как будто должен был бы расцветать мужскою военною жизнью,— нет! Уже в первый день он испытывал рассеянность, недохват, тоску,— и пуст и печален был тот редкий день, когда не приходило от неё письмо. (Зато уж назавтра — всегда два.) А приходило — Николай распечатывал его всякий раз с усиленным биением сердца, и окунался, вдыхал аромат надушенных листков (а иногда были вложены и цветки),— эти запахи возбуждали такие чудные воспоминания и так тянуло к жене тотчас, сейчас! А затем он впивал, перелагал в себе, так и этак перечувствовал каждое слово письма и прижимался губами к бумаге, которой касались её обожаемые руки (и особенно целовал те обведенные места, которые поцеловала она). Читал не торопясь и даже с уютом, как бы ни длинно письмо (а почти всегда длинные),— и ещё перечитывал потом непременно. Как всегда повторяла она, так убедился и он: разлука делает любовь ещё сильней. И сам он не писал ей письма только в тот день, когда уж было слишком много бумаг или приёмов,— но и над бумагами и во время приёмов он помнил её постоянно, как тем более в часы досуга или прогулок. Только когда он проходил смотром перед выстроенными полками — он забывал её на короткие минуты. Даже новая иностранная книга, прочтённая им про себя, отдельно,— как бы не являлась ему полностью, пока он её не перечитывал ещё раз вслух, с женой. Даже присутствие наследника с отцом в Ставке лишь немного развеивало и смягчало эту вечную недохватку разумницы-жены в существовании. Но наследник по здоровью часто не мог ехать с отцом — и тогда тоскливое одиночество обступало стеною, и даже одна неделя в Ставке казалась годом, а три недели — вечностью, да три недели он почти никогда и не выживал тут, либо уж сама государыня приезжала в Могилёв.

И ещё насколько мучительней были четыре дня, в этот раз проведенные в Ставке: из-за болезни детей и тревожных сведений из Петрограда. Всё хмурей, напряжённей становилось с каждым часом, за последний день Государь перетратился нервами и упорством воли — отказывать в уступках нарастаю-

щему сводному хору. Он — перетратился, и он нуждался скорее соединиться с женой, с которой за 22 года был сращён как два дерева, разветвлённых из одного ствола.

От момента за поздним чаем, когда Воейков и Фредерикс представили ему тревоги из Царского Села и Николай решил ехать,— ему сразу стало легче. Когда вошёл в свой вагон близ двух часов ночи — ещё легче. (Но будет ещё подготовляться до пяти или шести утра.)

Оставалось время. Успокоился. А спать ещё не хотелось. И что Государь почувствовал себя обязанным сделать — это поговорить с Николаем Иудовичем о деталях его экспедиции и намерений. Вагоны стояли недалеко, и он вызвал генерала.

Разговором остался очень доволен, ещё облегчилась душа. Какая была в этом старике народная основательность, мудрость и какая преданность своему Государю! На этого человека можно было положиться, смелый боевой генерал. (Теперь пожалел, что в Пятнадцатом году не согласился с женой и не назначил его военным министром, считая слишком упрямым,— может быть, и не было бы нынешних беспорядков.)

Да всё настроение было совсем не тревожное, когда и сам уже ехал туда.

Тут дослали в поезд вечернюю телеграмму Хабалова, что-то очень паническую: что не может восстановить в столице порядка, уже большинство частей изменили своему долгу, братаются с мятежниками и даже обратили оружие против верных войск. И вот — большая часть столицы уже в руках мятежников.

Да может ли такое быть?? Да это вздор немыслимый.

И Николай Иудович тоже так думал, нисколько не обескуражился:

— Выгоню всех и вычищу! Ваше Императорское Величество, вы можете быть во мне уверены, как в самом себе. Сделаю всё возможное и невозможное!

И борода его лопатная, народная, верная, как бы подтверждала.

Из деликатности Государь однако постеснялся спросить у генерала точный час его выезда из Могилёва с георгиевским батальоном,— но, очевидно, что уже не в эти ночные часы (хорошо бы!), а рано поутру.

Но если Иванов начнёт движение своего отряда только утром и из первых целей имеет оборонить Царское Село — то не терялся ли смысл экстренного выезда императорских поездов? Нет, потому что последнее время они ходили другим, более кружным, но и более удобным путём, через Николаевскую дорогу. Пока они совершат этот обход — а Иванов уже и будет в Царском. Да уже было обещано Аликс, что выедет этой ночью. И перед свитою неудобно менять: команда дана, погрузились.

В виде шутки намекнул старику, что может быть ещё успеет в Царское раньше него.

Прощаясь, перекрестил его. И трижды поцеловались.

А самое главное: движение поезда уже есть облегчение. Николай нуждался теперь восполниться покоем, душевным отдохновением. И оторваться от этих беспрерывных телеграмм и донесений, которые в Ставку просто лились. Меньше известий — меньше решений. Около суток провести без этих волнений — насколько легче! А там — достичь Царского, убедиться, что свои — целы, не захвачены,— и уже в твёрдом состоянии и слитно с Аликс всё решать. Николай не знал, что именно решит и сделает, но во всяком случае там он за несколько часов осмотрится.

После пяти утра в начавшемся движении поезда мерная укачка вагона давала это чудесное совмещение: иллюзии действия и одновременно покоя.

173

Уж надежды поспать не было сегодня никакой — и клониться к тому не надо. Если б не мотались к Горькому — может, на часок бы и растянулся у Павловых, зряшная эта поездка как раз перебила последний сонный час.

Да хотелось и своим рассказать, и на них глянуть. Да и был же он теперь комиссар Выборгской стороны — значит, надо разорваться, и там успеть,

и в Таврический назад успеть ко всем заседаниям. Так что и получалось, что эти раннеутренние часы — как раз ему хороши для поездки на Выборгскую.

Сели. Холодное сидение подмораживает через пальто. Опять двое солдат легли на подножки. И — погнали, ещё малолюдным, пробуждающимся освобождённым городом,— освобождённым, вот так замечательно! Уж кого не видно, так это городовых. И все солдаты сразу стали не вражья сила, а своя!

А на Выборгской — появлялись, наоборот, вооружённые посты рабочих на перекрестках, это уже кто-то из наших ставил. И много просто вооружённых ходило — это уже всё наша армия, только не организованная. Первая задача — иметь реальную военную силу. Скорей создавать на Выборгской стороне свою отдельную вооружённую силу, и ни с кем не смешиваться, всю в руках большевиков. Пока там другие районы соберутся, каких-нибудь студентиков, а у нас будет сила!

Такой пост перед Эриксоном остановил и его самого: ехать дальше нельзя, самокатчики, стервы, сидят в казармах с пулемётами и сопротивляются, вся дальняя часть Сампсоньевского вымерла, никто не ходит, не ездит.

Соскочил Шляпников с ними поговорить: а что ж думаете делать? Собирают, собирают силы: пулемёты, даже бомбомёты, но хотят и артиллерию притянуть, чтоб из пушек начисто казармы самокатчиков снести. А уговаривать не берёт?

Никак не берёт.

Прямо бить по батальону?

Ещё вчера не знали, спорили: как взять в свои руки оружие? А вот уже оно всё наше!

А московские казармы? Целиком все наши. Офицеров — вчера обезвредили. А межрайонцы тут собрали рабочую дружину: ловить и убивать офицеров поодиночке.

Ну, это их дело, они всюду вперёд.

Так-то так, но не привык Шляпников у себя на Выборгской стороне даже под слежкой стесняться — а теперь, в освобождённом городе, да неужели ж он на Сердобольскую не доберётся?

Он знает здесь не только улицы, но все тропинки на огородах — те наискось сокращения, которые протаптывают и ногами поддерживают даже зимой, потому что людям всегда надо короче. И в этих безликих снежных тропинках нипочём не собьётся.

Оставил автомобиль с солдатами ждать его тут два часа — а сам погнал по тропинкам.

И действительно, люди промётывались по ним с поспешностью. А раза два так близко и низко просвистели пули, что Шляпников хлопнулся оба раза на утоптанный снег и перелёживал, смотрел на его бугорки и узоры, отпечатанные ногами.

Лежал на снежном поле одиноко и думал: вот тебе и освобождённый город, член Исполнительного Комитета, комиссар Выборгской стороны. И что за позор: в центре везде обошлось, а у нас на Выборгской...? Нет, надо это кончать, действительно, хоть и пушками.

Добрался, конечно, до Павловых. Конспиративную квартиру их — узнать нельзя: собралась сразу дюжина товарищей, не скрываясь. Галдят открыто, ещё при входе прислонены красные знамёна, готовят древки для новых, в комнатах с избытком навалены добытые винтовки, шашки, патроны.

Марья Георгиевна, руки золотые, свои швейные дела кинула, чем-то их кормит.

И Шляпникову — миску горячих щец.

Та-ак. Что у вас тут? Депутатов в Совет выбираете? Рабочую милицию — собираете?..

А у нас в Таврическом... Трудное дело, браты: надо не прозевать, в эти часы из-под меньшевиков всю почву вырвать.

Из-под кадетов — тем более.

Из-под царя — уж и не спрашивай.

174

Двое братьев Некрасовых, маленький Греве и пожилой прапорщик из запаса Рыбаков ночевали на квартире штабс-капитана Степанова. На рассвете их разбудил солдат-швейцар офицерского флигеля, перепуганный:

— Ваши высокоблагородия! Надо вам уходить скорей. Уже несколько господ офицеров в цейхаузе собрания — переоделись в солдатское, ушли. Пришли *вольные*, ищут офицеров, убивать. Я сказал: тут никого нет. Погрозились и меня убить, если наврал. Они — у самого подъезда стоят! Уходите через чёрный!

Военная побудка, привычное дело. Спали одетые, теперь накинули шинели, ещё прежде первого продрога,— сбежали по лестнице. Думали — через плац и во 2-ю роту, где вчера взяли у них шашки и обещали защиту (а револьверы-то свои так и не взяли из собрания!). Но на плацу в брезжущем свете уже ходили рабочие, с винтовками и без винтовок.

Опоздано! — и вырваться некуда.

Вдруг подошёл из швейцарской унтер-офицер, смутно-знакомое лицо, и назвался, что он причетник полковой церкви: не пожалуют ли господа офицеры к нему, там никого искать не будут? А из чёрного хода туда — несколько раз шагнуть, совсем рядом. Ну что ж, пожалуй.

Уж своего ли полкового двора не знали братья Некрасовы, а этого места никогда не замечали. Тут, совсем рядом, стоял полковой склад, длинный, слепой,— а в нём, оказывается, в торце была комната причетника, через глухую кирпичную стену от склада.

Проскользнули туда, пока не рассвело.

Привычный военный глаз осматривал комнату не как комнату, а всё в смётке военной. Узкая и длинная, поперёк всего склада. В одной длинной стене дверь, в одной узкой — окно на церковь, остальное глухо. Через окно почти вся хорошо простреливается, через дверь — только в средней части.

С ними пришёл денщик Всеволода, да внутри уже был какой-то солдат. Итак, всемером.

И стали сидеть. Как в тюрьме. Ждали — час, полтора — чего? Сморчиво. В окно — разбрезжило. И вполне осветлело. Никто не шёл к ним. Но и они ничего не знали.

Решили послать денщика — вообще на разведку, и во 2-ю роту — чтобы фельдфебель прислал за ними своих и вызволил.

Долго ходил, но много и принёс: во 2-ю роту идти нельзя, там набилось рабочих с красными повязками, фельдфебель пикнуть не может.

Отдали шашки...

А собрание, рассказывал, за ночь совсем разгромили. Картины, портреты посрывали, поразрезали. Люстры перебили. Мебель — переломали, твёрдую, а мягкую — шашками порубили.

А Сергей вчера боялся стрелять из собрания, чтоб его не тронули.

А что ж в своей квартире? Послал узнать. А там стерёг денщик Сергея, оказывается еле отоврался, чтоб не избили его бунтовщики. По клавишам рояля играли прикладами. Растащили сапоги, одежду, бельё. Разделили колодку орденов и куражились, развешивая каждый себе.

Теперь послали поглядеть по казармам: есть ли где офицеры?

Вернулся денщик: нигде ни одного.

Что же делать? Уходить с полкового двора? Переодеваться?

Сходили нижние чины и осторожно принесли всем четверым солдатские шинели. Прапорщик Рыбаков сразу переоделся — неинтеллигентное лицо, от солдата не отличить. Ушёл.

Но братья Некрасовы замялись. Унизительно. Остались в своём. И маленький Греве тоже.

И просидели ещё час, мало разговаривая. То состояние, когда каждый разговор только дерёт по душе, лучше своё внутреннее, хоть и оно морозит. Бунт, и во всём Петрограде, в несколько часов, и удавшийся,— это же революция! Как она грянула? Кто там вершит? Что теперь будет? Да в Действующей армии революции нет — придут же и справятся, с кем тут справляться? — тут никто не умеет винтовки держать. Но полк опозорен. И собственная честь. И значит, жизнь.

Ниоткуда не доносилось никакой стрельбы. Не верилось, что в полку разорение, что бродят чужие и ищут крови.

А есть хотелось — всё больше. Со вчерашнего дня ничего не ели. Хоть бы хлеба достать. Причетник сказал, что достанет. Ушёл.

Вернулся — позвал обоих солдат. Вскоре опять пришли, да как — с кипящим самоваром, подносы с едой, большая коробка папирос. Это прислала матушка, жена полкового священника.

Это и погубило! Не хватило осмотрительности — шли трое в затылок по плацу, самовар, поднос,— кто-то и заметил.

Не успели чаю заварить, хлеба куснуть — женский голос близко закричал пронзительно:

— Вот тут офицера сидят!

И — ни на что не успели решиться, обдумать — другие крики, топот сбегающейся толпы, и даже без „выходи!", так быстро, пока причетник стал закрывать на крючок — выстрел в дверь! — и ранило его. Сбился с ног, сел на пол, пополз в сторону, трогая плечо и вслух молясь.

А в дверь — ещё и ещё стреляли, и крик нарастал гуще, толпа сбегалась, кричали:

— Бей кровопийц!

— Попили нашей крови!

и матерно, и матерно, дикий рёв — откуда же столько ненависти? где она была? как жили, её не зная?

И — выстрелы, все в дверь, и даже не по низу, не опытно,— а на высоте плеч. Но на прострелe двери никто и не остался: Греве от самовара успел присесть на корточки и отполз. Причетник дополз до постели, Всеволод дал ему подушку, приткнуть к ране, сам прилёг на пол под подоконником. Сергей успел вжаться в угол за постелью. Солдаты оба — на полу.

А снаружи всё орут и стреляют. И опять же неопытность: довольно было им оббежать к окну — и оттуда простреливалось почти всё в комнате.

Но не оббежали. А всё тот же громкий злой гомон голосов, мужских и бабьих, мат о кровопийцах и беспорядочная стрельба в дверь.

Потом вырвался голос:

— Товарищи! Да может там никого и нет? Не стреляй! Погоди, не стреляй!

Стихло. Тут, в комнате, замерли: мышеловка, уйти некуда. И оружия нет. Да— и нужно ли оно? Кого тут убивать? И спасти не спасёт, не прорвёшься.

Толкнули дверь — она не закрыта была? сбило крючок пулей? И заглянул один солдат, московец. Молодое сообразительное лицо, как бывает у хороших служак, незнакомый. Показал рукой: сидите, не выходите. На всеволодова денщика:

— Так ты что ж не выходишь, дурак, ведь убьют! —

и за шиворот вытянул его, вытолкнул наружу:

— Вот он, захухряй! Никого там больше нет. Расходись!

И крики утихли. И не стреляли. Поговорили, поговорили возбуждённо, будто расходились.

Теперь офицеры уже не чинились, не сомневались, быстро надевали солдатские шинели, при первой возможности выскользнуть. Надо было утром переодеваться сразу, гордость, уже бы ушли, и причетник был бы не ранен.

Нечем ему и помочь, прижимает подушку к плечу.

Но не успели застегнуть шинелей — новый рёв и опять застреляли в дверь, теперь уже увереннеи. Видно, денщик сказал. Ужались по своим углам. Братья пожали друг другу руки.

Били, били, потом голос:

— Да может сами выйдут? А ну, перестань стрелять!

Но сами входить опасались: ведь первых нескольких снесут. Потому всё время и не врывались.

— А ну, выходи, кто там!

Ничего не оставалось. И теперь — куда ж в шинелях? Стыдно, зачем и надевали? Сбросили солдатские, своих не успели натянуть, вышли в одних кителях, трое. Капитан, штабс-капитан и прапорщик. Всеволод палку забыл, без неё.

Отступя от двери шагов на пятнадцать, плотным чёрным полукругом стояли рабочие, на рукавах пальто у всех — красные повязки. Винтовки выставлены у всех „на изготовку", уж там какую. Подрагивают. На ком через плечо — пулемётные ленты, награбили в складе.

Сразу все лица — в один глазоём, ни одно не рассмотрено, все запомнены навсегда, на оставшиеся минуты жизни: больше — молодые, и все обозлённые.

А за ними — большая толпа, и женщины, грозят кулаками через плечи передних, кричат:

— Бей кровопийц! — и матерно.

— Сдавай оружие!

— У нас оружия нет, мы сдали вчера.

Не верят. Настороженно выходит вперёд один из эриксоновцев, эта фабрика — тут рядом, и все они сколько же раз ходили тут мимо, в трамваях ездили и встречались. И никогда офицеры не замечали столько к себе зла.

Подошедший обхлопывает офицеров по поясам, по карманам. Удивлён, но оружия нет. Всё это видят — и громче из толпы:

— Что с ними возиться? Стреляй кровопийц!

— Отходи, не мешай!

— Довольно нами покомандовали! Теперь мы покомандуем!

И обыскивавший вожак отступает от обречённых.

И с новым напряжением — уже не опасного поиска, но торжества, раздвигаются, давая место и другим желающим, кто на изготовку, кто уже и целится. Но никто не стреляет, видно ждут команды вожака.

Как сложна жизнь, но как просты все смертные решения: вот — здесь, вот — сейчас. А больше всего изумление: мы умирали за эту страну — за что она нас ненавидит?

Маленький Греве, мальчик перед взрослой толпой, замер. Всеволод Некрасов цедил: „Идиоты проклятые..." А Сергей вытянулся, развернулась грудь с георгиевским крестом, вздохнул последний раз — не здесь он думал умирать, не так. Успел пожалеть стариков родителей, что в одну минуту потеряют обоих сыновей — и обоих от русских рук. Но сказать убийцам вслух — в оправдание, в задержку — ничего бы не мог найтись.

Но опережая команду — прорезался новый крик — сбоку, с паперти полковой церкви:

— Стой! Стой, не стреляй!

И со ступенек паперти, откуда хорошо видели, с десяток московцев сбежали сюда — и расталкивая, расталкивая толпу, пробирались энергично — пробрались — ворвались в полукруг между расстрельщиками и обречёнными:

— Стой! Не трогай их! Это — офицеры хорошие!

— Мы их знаем, не трожь!

А их самих офицеры не успели и распознать.

Нет, уже не остановить:

— Отойди! — кричат озлобленные красные повязки.— Не ваше дело! Отойди, и вас зацепим!

Но солдаты мешали собой. А один крикнул:

— Калеку бьёте, герои тыловые!

И вот это — дрогнуло по кругу:

— Где калека?

— А вот! — показали на Всеволода Некрасова.— Вот! — и на ногу его.

Отдав винтовку, один из рабочих подошёл и стал щупать ногу Всеволода через брюки, ниже, ниже. Крикнул как о манекене:

— Верно! Нога деревянная!

И — застывший чёрный резкий полукруг как размылся, зашевелился, распался:

— Кале-ека...

— Ногу-то отдал...

— Чуть-чуть ошибка не вышла, ишь ты...

Да ещё ж оставалось, кого расстреливать,— стоял высокий открытый штабс-капитан и молоденький маленький прапорщик,— нет, теперь и они были помилованы за ту ногу. Рассыпался полукруг — и подошли как виноватые, подошли как бы уже друзья:

— Да шинелки-то есть у вас? Вы ж обмёрзнете.

— Поди, им шинелки принеси.

— Там — раненый у нас унтер,— сказал Сергей.

— Сейчас мы его в лазарет! — это солдаты-выручатели. Но совсем незнакомые лица, не узнавали их братья.

— Да вы покурите,— сожаловала теперь толпа.

— Да садитесь поешьте, самовар ваш стынет.

Но старший из рабочих, чугуннорубленный, отречённый:

— Есть — некогда, рассиживать. Всех арестованных приказано представлять в Государственную Думу. Собирайсь.

175

Ни скрыться домой, ни даже здесь поспать Масловскому так уже и не удалось. Но он очень морально подкрепился тем, что Военная комиссия поступила под ответственность Государственной Думы. Отвечать — так вместе с Родзянкой, ничего.

Он ещё сходил поговорил, пока не спали, с Керенским и Некрасовым — и те тоже его одобрили.

Да что в самом деле! Потомственный аристократ и сколько военных в роду — разве он с юности не мог стать блестящим офицером! Но он уже тогда рассмотрел увядание аристократической жизни, на ней — уже не стяжаешь успеха. Для аристократов пролегала трудная эпоха. Однако природная любознательность, наблюдательность и разнообразные способности повели Сергея Масловского то в антропологию, в среднеазиатские экспедиции, научные попытки, не очень удачные,— а потом всё общество двинулось в революцию, и Масловский туда. И чуть не сжёг себе крыльев. Последние годы он втихомолку начал литературные опыты, вот писателем бы ему стать.

И правильно он увидел, ещё двадцать лет назад: каково бы в эти сутки оказаться офицером? — как волк среди людей, все охотятся.

Изнемогая в тревоге, незнании и беспомощности военка (как уже с вечера стали звать *советские*) — но во второй половине ночи подкрепилась приятным событием, из простых человеческих радостей: кто-то принёс к ним в комнату большую кастрюлю тёплых, с луком жаренных, коричневых сочных котлет — и каравай белого хлеба! Там революция или нет — а желудок требовал своё! Вилок не было, каравай рвали пальцами, потом резали перочинным ножом, пальцами же хватали и котлеты, и так всё дочиста съели, не узнав, кто это и где жарил.

В остальном же военная обстановка была смутна и опаснее, чем днём: по ночной беззащитности, по полному отсутствию у Таврического дворца организованной военной силы. В каждую минуту, разогнавши одной очередью сброд из сквера, Хабалов мог взять Таврический дворец голыми руками.

И даже у дверей военки уже не толпились любопытные или защитники, все разошлись спать.

К счастью, оказалась вымышленной высадка 177-го полка на Николаевском вокзале. Но пришло другое грозное сведение: о высадке какого-то полка на Балтийском вокзале, что было не намного легче. А комендант Кронштадта сообщил — вероятно, он метил доложить Хабалову, но по проводам попало почему-то в Государственную Думу: что началось большое движение неорганизованной военной толпы из Ораниенбаума на Петроград, может собраться и 15 тысяч. Правда, к этому времени уже считался перешедшим на сторону движения Семёновский полк, и Егерский тоже,— и послали им распоряжение: против этого неопределённого ночного перемещения выдвинуть заставой 500 семёновцев и 300 егерей, непременно с офицерами и пулемётами. (С офицерами! — и есть ли они там и каково им? Но укрепить их: распоряжение

Государственной Думы.) А по сколько-то семёновцев и егерей отправить на Николаевский вокзал.

Но, как и вечер, тем более ночь состояла в том, что ни одно посланное приказание не подтверждалось, ни один высланный пикет или патруль никогда не возвращался: всё это растекалось, кануло и будто никогда не было послано вовсе.

По всем четырём железным дорогам — Николаевской, Виндавской, Варшавской и Балтийской, был Петроград угрожаем, но не мог предупредить нападение или выставить оборону. Да сам в себе он заключал затаившуюся правительственную силу, о намерениях которой ничего не было известно, а действия могли быть обнаружены слишком поздно. Где было правительство — тоже не известно: в Мариинском дворце его уже не застали, очевидно перешло в Адмиралтейство? И непрерывно заседает там и безусловно имеет прямой провод со Ставкой, и оттуда льются указания, и они готовят круговое удушение мятежа. И генерал Иванов уже ведёт кошмарную силу.

А Энгельгардт, поехавший в Преображенский батальон,— по общему закону исчезания больше не появился до утра.

И — догадка: может быть, под этим удобным предлогом он просто скрылся из опасного места? А Масловский отчаянно и неразумно сгорал тут!

Да если б не Филипповский — он бы и ускользнул. Но двужильный Филипповский, как будто и не ночь была, сидел и писал, писал случайные распоряжения,— однако на бланках Товарища Председателя Государственной Думы — вид! Да принимал известия, когда они всё-таки приходили.

Наибольшей опасностью представлялась Масловскому Петропавловская крепость, может быть по особому чувству к ней всякого революционера. Она — так и не сдалась, нет! Идеально было бы — закупорить её, обложить все выходы снаружи. Но — где же собрать желающих идти туда на ночь и на мороз торчать — а из бойниц застрелят?

Два ретивых унтера да несколько солдат выручали военку на посылках и поручениях.

Ночь казалась бесконечной — и грозной до конца. Революционный долг приковал гвоздём. (Всё же, когда нападут, с главного входа,— Масловский успевал бы уйти через боковую дверь на Таврическую улицу, а там — три шага домой, и штатского не задержат.)

Сколько пережито за эту бессонную ночь — как за целую жизнь!

В пять утра пришло известие, что на сторону народа перешла запасная автомобильная рота — это хорошо! колёса будут! Но — пока забаррикадировалась (очевидно — просто досыпала ночь), а утром явится в Государственную Думу.

Потом в подкрепленье прибыл один броневой автомобиль с пушкой Гочкиса.

К шести телефон сообщил, что на сторону народа окончательно перешли батальоны Петроградский и Измайловский. (В Измайловском несогласные офицеры осаждены, а некоторые убиты, то ли 8, то ли 18.)

Ни событий, ни боёв больше нигде не происходило. Уже с наступлением света стали звонить и требовать охрану: на Пороховой завод, на охтенский завод взрывчатых веществ, на морской и артиллерийский полигоны: отовсюду военные караулы сами ушли. На взрывоопасные заводы, конечно, охрана была нужна в первую очередь, один злодей с коробкой спичек... Но и посылать было решительно некого и неоткуда.

Но и то сказать, во что нельзя было поверить вчера вечером: вот, наступил следующий день — а революционная власть стояла? и именно к ней все обращались?

И за дверьми опять толклись все желающие, можно было посылать.

Уже в полное утро, после двух светлых часов, появился Энгельгардт, видимо поспавший и уже в мундире и с аксельбантами генштабиста, а с ним ещё — профессор Военно-медицинской Академии Юревич, которого Энгельгардт тут же, совсем некстати, объявил комендантом Таврического дворца — и этот тоже стал отдавать приказания, путаясь с остальными.

И рассердился Масловский на Энгельгардта за его ночное отсутствие, но и успокоился его пышным приходом теперь: так всё выглядело вполне респектабельно! Прилично и самому пойти натянуть военное. Чёрт возьми, мы ещё повоюем с этим царизмом!

Однако с горечью сообщил Энгельгардт, что преображенцы, несмотря на его горячую ночную речь, никуда не двинулись и ничего не атаковали. Оказалось, там не только нет единства между офицерами и солдатами, но и среди офицеров тоже. Вообще, этот ночной телефон к Шидловскому был почти случайностью — а так многое решил!

Всё же послал теперь Энгельгардт преображенцам приказ: занять Государственный банк, телефонную станцию, выставить посты к Эрмитажу и музею Александра III. Хотя бы на эти-то не опасные задания должно было хватить их ночного обещания. И по меньшей мере — чтобы Преображенский батальон расставил бы караулы вокруг Таврического, и охранял бы порядок тут.

Через Энгельгардта теперь можно было узнать такое, чего не узнали всеми ночными разведками,— странное положение, когда между как будто воюющими сторонами, с Главным штабом идут любезные телефонные разговоры: что правительства в Адмиралтействе нет, и нигде его вообще нет, оно не существует. Что Хабалов на ночь переходил в Зимний дворец, но туда приехал великий князь Михаил и вытеснил его назад в Адмиралтейство. Что у Хабалова 5 эскадронов, 4 роты, 2 батареи.

Такая откровенность была изумительна и подозрительна. Может быть по этим телефонам и Энгельгардт встречно был так же откровенен? Так и признавался, что у Таврического нет никакой охраны? Масловский всё жёлчней следил за Энгельгардтом, за Юревичем, за Ободовским — ещё этот инженер зачем, откуда, кто его звал? — уже несколько часов сидел тут. И шептал Масловский Филипповскому, что этой буржуазной публике верить никому нельзя, что зря они, советские, дали вырвать у себя руководство военными делами.

Впрочем, телефоны прекратились, с телефонной станцией случилась беда: барышни утром все разбежались. Об этом пришла и записка от Родзянки: для восстановления действия телефонной станции необходимо послать туда 1-2 автомобиля, чтобы собрать по домам барышень. Кроме того, надо убрать труп, лежащий в помещении станции.

Занять телефон и телеграф — это верно, не повторять ошибок Пятого года.

Так ли понимать, что Хабалов телефонную станцию уже не защищает? Ободовский посоветовал иначе: послать туда наряд электротехнического батальона, который и занял бы станцию и обслуживал бы её. Но увы, по случаю революции этот батальон тоже разбежался, и не легче было собрать его, чем снова барышень.

Теперь, днём, набирались ещё и ещё начальники, тут и думец Ржевский, и какой-то что ли князь Чиколини, и какой-то Иванов,— и все распоряжались, друг с другом не согласуя, и подписывались на распоряжениях, на случайных думских бланках, как придётся — то „председатель Военной комиссии", то „за председателя", то „комендант Таврического дворца", то „за коменданта", а Энгельгардт писал ещё: „начальник Петроградского гарнизона".

Послали распоряжение 2-му флотскому экипажу занять Зимний дворец и арестовать министров, если там найдут, и всяких агентов правительства.

А Масловский с Филипповским отдельно — придумали и послали несколько маленьких групп арестовывать министров по квартирам, не забыв и Штюрмера. Надо было спешить с делами истинно революционными! Мы ещё с этим царизмом повоюем.

А где-то — целые батальоны болтались без командования,— тот же и героический первый революционный Волынский: там же все офицеры сбежали ещё в самом начале, и никого не осталось. В 8.30 назначили из Таврического сразу двух прапорщиков, на равных правах,— вступить во временное командование Волынским батальоном. Но часу не прошло — появился из волынцев же штабс-капитан с претензией. И переназначили — его.

Главное было сейчас — уговаривать офицеров возвращаться в батальоны, без них не взять гарнизона в руки.

А в Измайловском батальоне после убийства офицеров творилось что-то бесконтрольное. И послали к ним большой наряд с приказанием: всё оружие выдать Военной комиссии. (Хорошо, если выдадут,— а если нет?)

Какие-то роты измайловцев были ещё и у Хабалова. Кому доверять?

* * *

Солдаты! Народ, вся Россия благодарит вас, восставших за правое дело свободы.

Солдаты! Некоторые из вас ещё колеблются присоединиться. Помните все ваше тяжелое житье в деревне, на фабриках, где всегда душило и давило вас правительство!

Солдаты! На крышах домов и в отдельных квартирах засели остатки полиции, черносотенцев и других негодяев. Старайтесь везде их немедленно снимать мертвой пулей, правильной атакой.

Солдаты! Не давайте разбивать магазины или грабить квартиры. Это не надо!

Службы и чести вашей никогда не забудет Россия.

Совет Рабочих Депутатов

* * *

176

Вчера вечером, уже выбежав благополучно из Зимнего, павловцы не бежали дальше, стали разбираться, особенно учебная команда. С нею и прапорщик Андрусов.

Шли себе в казармы. Но по дороге к павловцам выскакивали из толпы женщины, барышни, хватали солдат за руки, совали им и даже прикалывали куски красной материи.

И офицеры не смели кричать: отойдите! или — не берите!

Да зачем бы и кричать? Совершалось какое-то огромное перемещение людских настроений, и Андрусову даже радостно было. Он участвовал в чём-то неповторимом.

Но ещё необыкновенней вчерашний день закончился: у казарм учебной команды на Царицынской улице стояли рабочие и студенты с винтовками — и не пускали солдат в их собственные казармы, а велели им больше ходить по улицам.

И так изменились все порядки, что обескураженные солдаты не смели пробиваться, хотя им хотелось ужинать и лечь. А офицер тем более не смел подать им команды на то, молоденький офицер особенно чувствовал этот новый трепещущий воздух.

Да офицерам, кажется, вообще уже нечего было делать тут, при солдатах. И даже безопаснее — отделиться.

Такое нарастало ощущение неведомой опасности — даже лучше было бы им куда-нибудь скрыться, провалиться.

Тут же, на Царицынской, помещался офицерский лазарет — и кое-кто из офицеров-павловцев сумел переодеться в больничные халаты и лечь. И Андрусов даже позавидовал: какие же ловкачи.

Но вскоре кто-то из солдат бесприютной учебной команды попёрся в тот лазарет — и обнаружили своих здоровых офицеров. И был им позор.

В слоняньи Андрусов столкнулся с Костей Гриммом. И придумали они попроситься на ночь в квартиру своего интенданта — тут же, через два дома. (Идти через весь город офицерам было опасно от неизвестных чужих солдат.)

А тем временем узнали они, что солдаты ищут убить капитана Чистякова. У интенданта же узнали, что Чистяков прячется недалеко, у другого интенданта. И Гримм позвонил своим домашним — и предложил переправить Чистякова в штатском на Васильевский остров к своему отцу — известному либеральному члену Государственного Совета, там не тронут.

Но как ни переодевай капитана Чистякова — нельзя спрятать его приметной перевязанной руки, да и глаз его непримиримых не спрятать. Отказались.

Вадим Андрусов тоже звонил домой. Отец его, кадет, и мама были в восторге от происходящего: началось долгожданное освобождение народа! Осуществление вековой мечты получаем как подарок. Вот теперь-то и начнётся жизнь! теперь-то и начнётся порядок. Ни от какой перемены не может стать хуже, уже дальше терпеть было невозможно.

Вадим пожаловался им, что вблизи это всё не так удобно, не так приятно выглядит.

Но в нём самом возобновилось: и правда, в духе своей семьи и воспитания, почему ему не примкнуть к общей радости?

Ночью обсуждали с Костей — что же делать? Необычным образом входило в жизнь необычное — и почему же им не примкнуть к победе народа, которая так мечталась и ожидалась?

В молодом возрасте легки эти переходы. Есть в них продолжение спектакля, начавшегося вчера.

А на улице, под окнами, ещё поздно вечером бродили солдаты, всё не пускали их в казармы те вооружённые.

Утром проснулись, проверили своё настроение — да! И поднялись революционерами!

И прикололи к своим шинелям на грудь красные бутоньерки.

В ногах, в груди, в голове образовалась необычайная лёгкость, как будто к земле не притяжены. И разбирало созоровать. И чувствовалось так, что вот сейчас они могут что-то свободно-великое совершить и даже прославиться.

Но идти в таком виде к собственным солдатам в учебную команду было стеснительно, не могли. Тогда — пошли в походную роту, позавчера бунтовавшую раньше всех.

Там ещё спали.

Два прапорщика стали ходить по помещениям и кричать:

— Что спите? Подымайтесь! Революция!

Но и этого показалось мало, и просыпались вяло. И тогда Андрусов с Гриммом стали кричать — почему? как в голову пришло:

— Подымайсь! Царя больше нет!

А услышав такое — павловцы вскакивали с большим переполохом.

А потом смекнули, что значит теперь никого за бунт не накажут, и девятнадцать их арестованных судить не будут.

И — качали обоих прапорщиков. И становилось обоим всё веселей и несвязанней.

Пошли в собрание позавтракать. У некоторых молодых офицеров тоже уже были красные приколки — а старшие офицеры смотрели осудительно, да их почти не было.

И капитана Чистякова не было.

Тут явился бывший командир Гвардейского корпуса грузный генерал Безобразов — и в биллиардной стал поучать офицеров, что в случае вызова батальона на улицу надо не подпускать к себе толпу, а останавливать её сначала приказанием, а потом дать залп.

Всё это — дико звучало, из какого-то невозвратного времени. Не стала с ним офицерская молодёжь спорить, а — вставали и демонстративно выходили.

Потом Вадим и Костя пошли пешком в Таврический. Теперь они свободно могли двигаться среди незнакомой солдатской массы: на них видели красные бутоньерки, и их не обезоруживали, и приветствовали.

В Таврическом потолкались, нашли Военную комиссию. Там очень им обрадовались и сразу выписали распоряжения: Гримму — командовать своим же взводом павловцев, состоя при Государственной Думе. А Андрусову: вступить в командование нарядом павловцев, поставленным в Михайловском манеже.

Так они оба стали при деле, молодыми офицерами революции.

ДОКУМЕНТЫ — 2

ИЗ ДОНЕСЕНИЙ В ВОЕННУЮ КОМИССИЮ
(утро 28 февраля)

— Немедленно вышлите подкрепление 350 чел. на Лиговку, угол Чубарова переулка. Большая засада, действуют 6 (шесть) пулеметов.

/Карандашом помечено: не оправдалось/

— Санитары лазарета Зимнего дворца просят прислать отряд войск, чтоб арестовать скрывающихся там лиц... Дворец сейчас ни в чьей власти. Часовые сняты, но внутри еще сторонники старого правительства.

По поручению санитаров студент Р. Изе

— По близости Сената видны толпы пьяных, разграбивших гостиницу «Астория».

— Уг. Инженерной и Садовой плохо. Наших патрулей нет в этом районе.

— В городе все спокойно. Солдаты жалуются на холод и решили отправиться в казармы. Захвачены 18 бронированных автомобилей. На окраинах происходят разгромы магазинов.

— Освобожденные из Петроградской пересыльной тюрьмы просят указать место, куда б они могли прийти и получить как постель, так квартиру, пищу и оружие, а также пропуск.

Освобожденный политический Ульянский

— У Семеновских казарм много солдат. Не зная, что делать, просят руководителя. Все вооружены.

— Доношу, что у Зимнего дворца обстреливают из пулеметов. По сведениям, в Зимнем укрыт жандармский дивизион.

Прап. Шаблинский

— По поступившим сведениям, два подозрительных субъекта раздают воинским чинам спиртные напитки и распространяют заведомо ложные и тревожные слухи.

Член продовольств. комиссии (подпись)

— Поручено организовать охрану Арсенала, где будто бы идет разгром.

— Царскосельский вокзал изнутри заперт. Семеновцы с оркестром против Обуховской больницы стоят.

— Просят уг. Садовой и Инженерной немедленной помощи для усмирения пьяных солдат.

— Склад оружейных припасов разгружают и отправляют. Необходимо прекращение увоза снарядов. Могут через Лесное на лошадях увозить. Ждут войска из Финляндии.

1 запасного полка Кузьма

— По улицам разъезжают грузовые автомобили. Многие из них нагружены боевыми припасами. Необходимо командировать с особыми полномочиями для выяснения, куда и зачем ездят, и для приводки гулящих автомобилей к Таврическому дворцу.

— ПРИКАЗАНИЕ. Вольноопределяющемуся Таирову Дмитрию и рядовому Маяковскому Владимиру произвести выборы представителей в военно-автомобильной школе, организовать ремонт машин.

Б. Энгельгардт, 11 ч. 30 м.

177

В кресле пересидевши ночь, не выспался Шульгин, и утром горяченького нечего было глотнуть, бездействовал разграбленный думский буфет. Но что-то заливало душу настроение Французской революции.

К этому сравнению легко было придти, оно у многих на уме было уже вчера вечером, но сегодня захлёстывало с новой силой. Из отдалённого хладнокровного читателя Шульгин был объят в соучастника — а может быть и в жертву? — тех, оказывается страшных, дней.

Что вчера! Вчерашняя вечерняя думская толкотня сегодня вспоминалась, пожалуй, как блаженная прореженность. Вчера только прорывались, а сегодня, уже не зная задержки, пёрла и пёрла через входную дверь чёрно-серо-бурая бессмысленная масса, вязкое человеческое повидло,— и бессмысленно радостно заливала всё пространство дворца, для своего здесь бессмысленного пребывания. Вчера потерянные солдаты по крайней мере искали тут ночного

крова, боялись возвращаться в казармы — но что сегодня? Все помещения, залы до последнего угла и даже комнаты захватывала, забирала, в движении и перемесе,— толпа, да тупая, просто сброд, задавливающий всякую разумную тут деятельность. Россия осталась без правительства, все области жизни требовали направления и вмешательства,— но членам думского Комитета не только не оставлялось возможности работать, а даже находить друг друга и просто передвигаться по зданию.

И обнаружил Шульгин, что у этой массы было как бы единое лицо, и довольно-таки животное.

И он живо узнавал, что всё это уже видел, читал об этом, но не участвовал сердцем: ведь это и было во Франции 128 лет назад! И когда в Екатерининском зале молодёжь в группках пыталась петь марсельезу, на русские слова и перевирая мотив,—

Отречёмся от старого мира,
Отряхнём его прах с наших ног,—

Шульгин слышал т у, первую, истинную марсельезу и её ужасные слова:

Берите оружие, граждане!
Вперёд! И пусть нечистая кровь
Заливает наши следы!

И ч ь я ж предполагалась та нечистая кровь? Уже тогда показано было, что королевским окружением не кончится.

А вот и у нас изорван в клочья императорский портрет.

Отвращение.

Десять лет позади думской трибуны висел огромный портрет Государя в полный рост, терпеливый свидетель всех речей и обструкций, но всё же символ устойчивости государства. И вдруг сегодня утром увидели: солдатскими штыками портрет разодрали — и клочья его свисали через золочёную раму.

И эти несколько наглых штыковых замахов вдруг поменяли всё восприятие: петроградский эпизод не только не возвращался в колею, а может быть и правда был великой революцией?

И ни весь думский Комитет, ни сам Родзянко не могли охранить портрета и ничего остановить.

И толкнуло Шульгина: как было в Киеве, всегда помнил он, 11 лет назад. Ворвалась в городскую думу толпа, там преимущественно евреи, тогда солдаты не бунтовали,— и так же рвали все портреты императоров, выкалывали им глаза. Какой-то рыжий студент-еврей пробил головой портрет Государя, носил на себе пробитое полотно и исступлённо кричал: „Теперь я — царь!" А укреплённую на балконе царскую корону изломали, сорвали и бросили на мостовую, перед десятитысячной толпой.

В большом роскошном кабинете Родзянки ещё отсиживались от этого людского затопа, тут были все свои, тут можно было что-то и обсуждать.

Хотя ни к какому решению прийти невозможно. Понятно, что надо действовать, не дать анархии развиваться, но непонятно, что и как. Вторые сутки не переваривалось мозгами всё это огромное, что свалилось на их головы,— гораздо большее свалилось, чем они призывали, ждали, хотели.

Да — против кого действовать? И к о м у действовать? Как и правильно предупреждал их Шульгин — ломали, ломали копья во славу людей, облечённых доверием народа, достойных, честных, талантливых,— а где они есть? Во Временном Комитете — как будто верхушка Думы, а посмотреть — одна серятина, просто стыдно. Хорошо, это ещё Комитет, не правительство, но кого же такого талантливого и облечённого возьмут в правительство?

А на что годилась слоновья туша Родзянки? Такой, бывало, упрямый против самого Государя — вот не мог высадить из бюджетной комиссии каких-то самозванцев, проходимцев, совет невыбранных каких-то депутатов, захватывали здание самой Думы.

И в отличие от них всех, ощущая свою ещё молодость, тонкость, подвижность, себя — ещё киевским прапорщиком 11 лет назад,— Шульгин испытывал жажду отличиться от здешней невразумятицы, действовать.

И тут он услышал разговор, что звонили на рассвете из Петропавловской крепости, комендант выразил желание говорить с членами Государственной Думы — и вот всё ещё не послали никого. Услышал! — и в его романтической душе вся картина вдруг повернулась и переосветилась иначе: ведь если похоже на Французскую революцию, то ведь и в *этом* похоже! Петропавловская крепость — это же Бастилия! И у этой отвратительной толпы вот-вот зародится мысль — брать Петропавловскую крепость штурмом! освобождать может быть несуществующих или немногих там узников и казнить комендантскую службу. Так надо успеть деятельно предотвратить этот ужас!

Вот и пригодилось, что он тут ночевал, не зря мучился в кресле. И стал предлагать Родзянке и всем в Комитете, чтобы послали — его. Спешил убедить, боялся, что пошлют не его. Но все были так заморочены, что даже не оценивали важности шага,— кивнули охотно, хорошо, что доброволец есть.

Выскочил на бодрый морозец, не достегнувшись.

Прежде вот так поехать по городу — ему бы никак не достать автомобиля. А сейчас — в одну минуту подавали. Кажется — четверть автомобилей Петрограда стояла перед Таврическим, дожидая чести везти кого-нибудь. (А остальные три четверти гоняли по городу со стрельбой и криками.)

Но подавали — с красным флажком и с торчащими штыками: ни крохотное местечко, где только можно было уцепиться, не оставалось без солдата со штыком. И вот уже открывал Шульгину дверцу какой-то расторопный офицер со снятыми погонами, приставленный от Военной комиссии.

И знаменитый монархист Шульгин сам не заметил, как поехал под красным флагом брать Петропавловскую крепость.

Не поехал бы, если бы не величие задачи и не аналогии. Но вся Французская революция раскатилась из-за штурма Бастилии. Успеть предотвратить такое несчастное развитие. Политических — выпустить на глазах толпы и показать ей пустые камеры.

Шульгин не узнавал улиц — такие необычные фигуры, со множеством красных пятен от бантов и повязок, необычное движение. По Шпалерной не шли, но валили к Думе. Просто множество вооружённых людей, военных и невоенных, безо всякого строя пешком, и на грузовиках.

Окружной Суд ещё всё пышел — раскалённые развалины, пепел, дымки от залитого. Погода была ясная, морозно-солнечная, и с Французской набережной открылась сверкающим снегом Нева, кое-где переходимая чёрными фигурками.

А с Троицкого моста — долгая многоскладная серая крепостная стена Петропавловки с куполами собора и вознесенным бессмертным золотым шпилем колокольни. И императорский штандарт на одной башне, чёрный орёл на жёлтом поле: династия — спит здесь.

Великий миг. Билось сердце.

За мостом уже виделся неподалёку, голубел купол мечети. На открытом месте, по пути к крепости, густился митинг, и студент с грузовика выкрикивал о свободе, свободе, свободе,— и все слушали как долгожданное.

Но по мостику, ведущему через канал к крепости, не шли. По ту сторону — парные часовые.

А возле них — дожидающийся офицер. И не успел спутник Шульгина помахать носовым платком — как офицер уже спешил навстречу:

— Как хорошо, что вы приехали! мы вас так ждём! Пожалуйте, комендант вас ждёт!

Тут их догнал от толпы — опять в офицерской шинели, а без погонов... Не было места, но и он пристроился на подножке меж революционными солдатами.

Часовые глазели.

Въехали в наружные ворота. Проехали под сводом Петровских.

У собора развернулись — и подъехали к обер-комендантскому дому.

Внутри — темно, узко, старинная постройка.

Наконец и комендант, генерал-адъютант, изувешан орденами, но не слишком боевого вида, скорей рыхл. И с ним несколько офицеров. Все беспокойны.

Шульгин, узкий, стройный, представился приятным тоном, что он — член Государственной Думы и — от Комитета Государственной Думы.

И старый генерал в волнении, совсем теряя осанистое достоинство службы и чина, убеждал молодого депутата с острым взглядом и острыми усиками:

— Господин депутат... Пожалуйста, не подумайте, что мы против Государственной Думы. Наоборот, мы очень рады, что в такое опасное время есть хоть какая-то власть... Мы отклонили пригласить сюда отряд генерала Хабалова... Но как смотрит Государственная Дума? Разве то, что находится в Петропавловской крепости, не должно быть охранено? У нас — драгоценный собор. У нас — усыпальница всей династии. Монетный двор. Наконец, арсенал. Невозможно же, чтобы толпа сюда ворвалась! — и что же могут наделать? Какое бы правительство ни было — но оно будет это охранять. И наш долг присяги — охранять, мы не можем впустить...

Простые ясные соображения. А в Комитете не об этом думали, а только: присоединить Петропавловку к народу!

Но Шульгин имел довольно смелости и не довольно над собою контроля, чтоб ответить уверенно:

— Ваше превосходительство! Не извольте трудиться доказывать то, что ясно каждому здравомыслящему человеку. Поскольку вы признали власть Государственной Думы, а это главное,— то я от имени Государственной Думы подтверждаю вам и даже лично настаиваю: что крепость со всем тем, что в ней есть, должна быть охранена во что бы то ни стало!

Генерал просветлел, приободрился, благодарил:

— Спасибо, господин депутат. Теперь мы спокойны и знаем, чего держаться. Но не могли бы вы оставить нам это в виде письменного приказа? Быть может нам придётся предъявлять, доказывать...

Смелость Шульгина не имела границ, он тут же сел к столу и написал такой приказ коменданту крепости: охранять её всеми имеющимися силами и не допускать никакого вторжения посторонних.

Однако тут и высказал свою нетерпеливую мысль, с которой едва удержался не начать при входе: отчего погибла Бастилия. Надо публично выпустить политических — и показать пустые камеры представителям внешней толпы.

Генерал с офицером удивились: какие политические?! Тут вообще никаких узников нет совсем.

Облегчённо удивился Шульгин: совсем нет узников?! Но — так считается всеми, что есть, так все полагают. Вся эта грозная крепость средь города со страшной её памятью — не заключала ни единого узника??

Кроме тех девятнадцати мятежных солдат-павловцев, приведенных позапрошлой ночью. И комендант сам рад их выпустить, не знает, что с ними делать.

— Так неужели же ни одного политического?!

Ни одного! Ещё был — генерал Сухомлинов, военный министр. Но и он освобождён поздней осенью.

— Неужели так-таки все камеры и пусты?

— Все. Вы можете убедиться.

Девятнадцать павловцев генерал готов был выпустить сию же минуту. Но вот показывать камеры делегатам из толпы он считал унизительным и невозможным, даже для самого младшего своего офицера.

И у Шульгина не хватило настойчивости убедить.

Тем временем старший офицер просил его сказать речь гарнизону крепости: что Государственная Дума требует исполнения дисциплины.

Что ж, можно.

На обширном дворе близ колокольни, там, где расчищен снег, было выстроено несколько сот солдат, в полукарре. Что-то много.

И только тут догадался Шульгин: офицеры боялись не внешнего приступа, но именно этих, собственных солдат. Правда, неуютно быть в запертой крепости с непонятными солдатами, в такое время.

Щурились при ярком свете на Шульгина солдаты. И он на них щурился. И сейчас не показались они ему такими тупыми и безнадежными, как те в Таврическом. И оказалось совсем не трудно говорить речь перед безответным

строем, без других перебивающих ораторов. Звучал только его одинокий высокий не сильный голос.

Он напоминал, что идёт война. Что немец только и подстерегает, чтобы на нас кинуться. И если чуть ослабеем — он сметёт наши заслоны, и вместо свободы, о которой мы все мечтаем, получим немца на шею. Армия же держится дисциплиной, и надо повиноваться своим начальникам. Ваши офицеры в полном согласии с Государственной Думой, и я отдал им приказ: защищать крепость во что бы то ни стало!

(Хорошо прозвучало: „я отдал приказ!". Ах, что делает революция!)

Кто-то крикнул:

— Ура *товарищу* Шульгину!

Уже и сюда проникло.

Но громкого единого „ура" не разразилось.

Попрощался с офицерами — и в автомобиль. Крепость спасена!

(Ах, упустил подхватить ещё одно яркое впечатление: посмотреть Трубецкой бастион! Уж так торопился в Таврический, казалось надо присутствовать там.)

На подножку опять вскочил тот делегат толпы, офицерская шинель без погонов.

За мостком он с подножки автомобиля держал речь к толпе — что Петропавловская крепость тоже за свободу.

И толпа кричала „ура!".

Тут же подъехали грузовики со многими штыками и щёлкая затворами: почему Петропавловская крепость не поднимает красного флага? Грозили открыть военные действия.

Сопровождающий перепрыгнул туда, на их мотор, и кричал, что вот член Государственной Думы, и уже обратил крепость за свободу и народ. Да сейчас поднимут и красный флаг, просто не успели!

А Шульгин укатывал — снова через Троицкий мост, и по набережной. И по той же взбаламученной, вооружённой Шпалерной.

Перед дворцом толпа стала ещё больше и гуще. Мешались воинские строи. Что творилось, что творилось!

Кое-как пробивался, пробивался через вестибюль, через внутреннюю толчею — в кабинет Родзянки. После всей этой дичи счастье оказаться среди своих: прежде — чужие депутаты, как сослуживцы, теперь — друзья, которые жили когда-то вместе со мною на одной хорошо устроенной планете.

Тут слушали его рассказ со вниманием и одобрением.

А непроницаемый Некрасов с неподвижным взглндом, из-под неподвижных, как наложенных, усов вдруг выразил:

— Вот хорошо. Теперь из Петропавловки да запалить бы Адмиралтейство. Кинуть туда снарядов дюжину.

Шульгин обернулся резко, как укушенный. Здесь — он такого не ждал.

— Как? Мы, Дума, слава Богу, ведь не делаем революции?

И поворачивался дальше, дальше, по Шидловскому, Коновалову, Ржевскому, самому Родзянке.

Но никто не мог его поддержать, потому что никто уже и сам не понимал.

А Некрасов, вчера на частном совещании требовавший военной диктатуры против беспорядков, теперь возразил невозмутимо, не вспыхнули синие глаза, не вспрыгнул голос:

— А — что же мы делаем? Мы и захватили власть.

— Позвольте, господа, я ничего не понимаю! — звонко надорванно вскричал Шульгин.— Мы были против министров — но когда же мы стали против русских военных властей!

* * *

Отступление невозможно. Или свобода или смерть. Враг беспощаден. Только путем революционной борьбы, а не погромами и пьянством будет достигнута желанная цель народа.

Что нужно делать теперь солдату? Захватить в свои руки все телеграфы, телефонную сеть, вокзалы, электрические станции, Государственный банк и министерства. Не расходитесь по казармам, ждите листков! Да здравствует вторая революция!

Петербургский Межрайонный Комитет РСДРП
Петербургский Комитет Социалистов-Революционеров

* * *

178

Хотя и поспавши часа два, генерал Хабалов с утра соображал ещё меньше, чем вчера, совсем отупела его голова.

За все революционные сутки, если не считать пропавшего отряда Кутепова, подчинённые ему войска не совершили ни одного нападения, ни одного боевого передвижения, даже пожалуй ни одного выстрела, не испытали, не отбили ни одной атаки, оттого не имели ни одного раненого, ни одного убитого,— но тем не менее они потеряли всю силу, весь дух, да и заметно уменьшились в числе. Сутки назад это была единственная военная сила в столице и считалась её хозяином. Сегодня она стянулась в обречённый островок, адмиралтейский прямоугольник, из которого чуть не каждый и чуть ли не сам командующий только и думали теперь, как бы им сбежать.

Тяжельников, с тех пор как отклонили его совет пробиваться из города, тоже ничего не мог понять и предложить.

С утра их забота стала — как бы раздобыть еды и фуража да накормить их боевой состав и лошадей. И патронов по-прежнему мало. Хабалов звонил в разные районы города, прося командиров воинских частей и учреждений прислать ему подкреплений, продовольствия, патронов,— но отовсюду получал отказ, и круче чем вчера. Он уже для всех стал заклятым клиентом.

Потом вдруг исчезла городская телефонная связь. Это значило, что телефонная станция перешла в руки мятежников. А это — отсюда два квартала.

Случайно достали немного хлеба, раздали части нижних чинов.

Лошади были не только без сена, но и без воды: из кранов поить неудобно, вёдер нет и носить далеко. Понуренные, они стояли во дворах.

Отпустили казачью сотню на водопой в казармы Конного полка. Туда прошли благополучно, но назад по ним стреляли и убили двух лошадей.

Залетали и шальные пули, с верхних этажей зданий по Адмиралтейскому проспекту, убили ещё двух лошадей. Адмиралтейство на выстрелы не отвечало.

А атаки — не было ниоткуда, да и наступающего противника. Может быть увидеть его — было бы даже и легче. Пулемёты занимали для обстрела углы второго этажа, орудия стояли против ворот на Дворцовую площадь — однако делать им было нечего.

Но хотя город замолк, онемел, с ним не осталось связи — сохранился телефон дворцовой линии и телеграфная линия со Ставкой: главный аппарат был в Главном штабе, наискосок, но в Адмиралтействе отвод. И пользуясь этой линией, Хабалов утром телеграфировал Алексееву в Ставку, что положение трудно до чрезвычайности, верных долгу осталось пехоты человек 600, всадников 500, при 15 пулемётах, всего 12 орудий и только 80 снарядов.

Тем же телеграфом пришёл очень приободривший запрос генерала Иванова из многих пунктов. Там подтверждался предполагаемый приезд Иванова со многими войсками. Хабалов с радостью готовил ответ на все вопросы, уж он не знал, как дождаться этого блаженного часа, чтобы передать ответственность, а потом, может, и само командование над опостылевшим ему, не принявшим его, враждебным неохватимым Петроградом. (Как бы он мечтал снова уехать в своё Уральское казачье войско!)

Всего-то дождаться надо было одни сутки.

Но как их дождаться, если за минувшие сутки потеряна целая столица?..

Ещё в этом же громадном здании где-то пребывал в своей казённой квартире больной морской министр Григорович. Но нельзя было прибегнуть к помо-

щи его или совету: он со вчерашнего дня ни разу не потрудился прийти, не сделал ни одного доброго жеста к войскам Хабалова, только через служащих стеснял их в помещениях, и ещё спасибо, что пускал к прямому проводу.

Вокруг Хабалова было очень много старших офицеров — неизмеримо больше, чем требовалось по этим войскам. И так ему ни разу не пришлось самому пройти к войскам, посмотреть или обратиться. И офицеры не докладывали ему, но своим унылым видом, малословием, бездействием передавали, какая потерянность овладела последней горсточкой верных.

Они, младшие офицеры и солдаты, были верны, верны, но не могли же не видеть, что их командование совсем не знает, что делать, и только слоняется из здания в здание, отовсюду гонимое. А о самом правительстве было известно, что оно разбежалось. Дух бессмыслицы и бездействия растлевал хуже голода и беспатронности. За эти сутки весь город перекинулся в победный мятеж — и каждый час оттяжки, который они тут перебывали, никому не принося защиты и пользы, грозил каждому здесь расправой или карой от мятежа.

Дошло до немыслимого: хорошие офицеры-измайловцы приходили к своему полковнику и отпрашивались уйти вовсе.

А другие гвардейские офицеры спрашивали у генерала Занкевича, не найдёт ли он возможным войти в контакт с думским Комитетом, как это, по слухам, уже сделали офицеры Преображенского полка.

В этом была особая странность и бесцельность военных действий: непонятен был противник, где он, кто? Кроме хабаловского отряда, ещё в столице оставалась только Государственная Дума, но не она же могла быть противником? Отчего не сговориться с Думою? Офицерам-то более всего было непонятно: разве это противоречит присяге?

Занкевич не нашёлся ответить. (Он сам про себя и для себя обдумывал то же самое.)

Только артиллерийский полковник Потехин, тот на костылях командир батареи, начал на лестнице говорить малой кучке солдат — а тут их собралось больше, больше, все хотели послушать, ведь никто ничего не объяснял! — и, с костылей, он приободривал громко и внятно на всю сумрачную лестницу:

— Не падайте духом, солдаты! Не смотрите, что город захвачен мятежными бандами, и не ослабляйтесь! Это — временное помрачение мозгов тыловых людей,— и погибла бы Россия, если б оно потекло дальше. Но Россия не с ними, а с нами! Она вся на фронте и противостоит врагу. Этот мятеж — лучшая помощь немцам. Не падайте духом, перенесите лишения, на фронте бывает и тяжелей,— мы достоимся до своего!

Слова его, кажется, успешно ложились. Никто не возражал. Однако никто из офицеров не добавил больше. Постояли — и стали расходиться. Ещё неся сказанное. Или уже роняя.

Но каково во всех этих обстоятельствах было военному министру Беляеву, попавшему в такую гибельную ловушку? Как жалел он, что вчера вечером при стрельбе на Мойке покинул свой довмин,— с тех пор он звонил туда и соединялся по военному проводу несколько раз, и убедился, что дом не разграблен и никто не приходил, вполне безопасно мог бы и остаться. А теперь его положение было — между молотом и наковальней. Победят мятежники — они не простят ему присутствия здесь, среди хабаловских остатков. (Кто-то из преображенцев телефонировал, что ночью они получили приказ наступать на отряд Хабалова. А из окон уже было видно, что там, сим собираются группы вооружённых штатских и солдат.) Прийдут войска Государя — ему не будет прощён побег отсюда. А спрашивается — почему он вообще должен встревать в эту историю? Ведь вот же Григорович, правда, придумав болезнь, устроился: сидит как бы в своём министерстве, занимается как бы морским делом? Так и Беляев с Занкевичем (они обменялись мыслями) — вот тут, наискосок, в ста саженях, сидели бы у себя в Главном штабе, руководили бы военным делом, и их совершенно не касается, кто тут с кем в Петрограде воюет. Разве революция — против военных людей?

И Беляев, когда появлялся телефон, звонил снова Родзянке, очень рассчитывая, что эти отношения помогут ему с одной стороны. Но тот не обрадовал:

он не ручается, что́ сделает разгневанная толпа с отрядом Хабалова. Очень советует прекратить сопротивление и распустить войска.

Однако, это было не в распоряжении Беляева.

Однако, уж попав сюда, надо было во всяком случае хорошо отметиться перед начальством: начальство продолжало существовать, вон слало экспедиционный корпус. И он решил, пока работает провод, слать туда донесения.

Но — что было в донесении выразить? Невозможно же передать весь этот ужас и эту обречённость. И можно прослыть паникёром. Осторожней выразиться так:

...Положение по-прежнему тревожное. Мятежники овладели важнейшими учреждениями, так что сколько-нибудь нормальное течение жизни государственных установлений прекратилось...

А затем уже прямо: ...Войска бросают оружие, переходят на сторону мятежников или становятся нейтральными. Скорейшее прибытие войск крайне желательно, до прибытия их мятеж и беспорядки будут только увеличиваться...

Да уж скорей присылали бы, что они тянут!

179

На квартире Павловых рано утром совали Шляпникову в руки проект большевицкого Манифеста. Шляпникову это понравилось, втайне ото всех партий — да выскочить первыми с Манифестом „Ко всем гражданам России",— и выкусьте! Вооружимся отдельно! Межрайонцы с эсерами уже успели тиснуть листовку — а мы целый Манифест! Должен бы Ленин похвалить.

Эх, перебежал Матвейка Рысс к межрайонцам,— вот было перо! Как-то умел он грозно писать, аж пожар по строкам,— и для врагов уничтожительно, и для нас ободряюще.

Ну ладно, мы и без тебя.

На этом манифесте уже и писали, и вычёркивали, кто только чего не городил со вчерашнего вечера. И заново переписывали. А до сих пор — не чист и не готов.

Ох, самая невытягательная работа — писать публичный документ, да когда времени не остаётся. Уж тут не до красоты слога, но какой-нибудь важный лозунг не исказить. А ошибиться очень просто, на самом ровном месте, политические формулировки — они как туман переползают, края не найдёшь. Как будто, вот, в руках держал — а опять ускользнуло.

Тут надо такой лозунг вжарить, чтобы всех аж по пяткам ожгло!

Спорили: вставлять ли в Манифест — Совет рабочих депутатов? Шляпников поднатужился, подумал: а что этот Совет депутатов? — он уже и так есть, вчерашний день, и там у нас не большинство, и не будет. А огорошить надо: во главе республиканского строя — значит, царя по шапке! — да создать революционное правительство! (А с нашим оружием мы в нём и погуще засядем.)

Ребятам понравилось. Молотов поправил: всё же — временное правительство. Ну, пусть „временное революционное".

Тут надо такие слова двинуть в сознание масс, чтоб никому их назад не вырвать, чтобы повернуть нелегко. А слюнтяй этот Молотов хоть ему на неделю дай мусолить — никогда не кончит.

Да и ребята там у мотора замёрзли. Если ещё шофёр военного министра не сбежал.

Ладно, поехали! — там, в Таврическом, перед заседанием доработаем.

Обошли самокатчиков крюком. Ничего, народ ходит, стрельбы нет. А не сдаются самокатчики, во упрямые! И что им в этом царском режиме? Во, как мозги людям забивают.

До Литейного моста только красное видели на людях. А пересекли мост — какие-то ещё белые повязки на рукавах. Это — кто такие? Мол, городская милиция. Не-ет, это не наша сила.

Шпалерная сильно запружена: и туда и сюда валят солдаты без строя и вооружённые рабочие. Гудят автомобили, рычат грузовики.

А план у Шляпникова вот какой: создалась у Совета своя газета, и типографию захватил наш человек — Бонч-Бруевич. Из Таврического теперь сразу Шляпников ему позвонил по телефону — и тот обещал катнуть большевицкий манифест сегодня же днём, отдельным выпуском газеты. И никому ни гугу.

Вот так, Вячеслав, дела делаются! Всех обскачем!

Только с текстом торопит. Пошли в какую-нибудь комнату.

Комнат много, а пустых нет. Да никто не знает в лицо членов большевицкого ЦК, вниманья не обращает. В многолюдьи затесались на диванчике в сторонке, на коленях читали, и карандашом правили и доспаривали.

Благоденствие царской шайки... построенное на костях народа...— это хорошо, пусть так. Революционный пролетариат должен спасти страну от окончательной гибели, которую приготовило ей царское правительство...— тоже правильно. Но уже и неправильно. Надо чувствовать, как перетекает момент. Со вчерашнего дня солдаты с нами, и надо их не обижать, а привлекать в единые ряды. Значит, надо написать: не только пролетариат, но и революционная армия. Та-ак... Стряхнул с себя вековое рабство...— это не помешает. ...Временное Революционное Правительство во главе республиканского строя...— ай, хорошо, по всем зайцам сразу! И скажу Бончу, чтоб он на эту фразу не пожалел типографской краски. Верно, мы не указываем, как то правительство создавать. А это — долго думать, да и — кто раньше захватит. Наше дело: все права и вольности, конфискация всех земель, 8-часовой день, Учредительное собрание,— ничего не пропустили? Вот так программы и пишутся, Вячеслав: смело, с плеча, имей в виду.

А ещё: все продовольственные запасы к о н ф и с к о в а т ь, очень просто! Когда всё конфискуем — тогда и распределять, а иначе — что же распределять?

Гидра реакции...— это хорошо. ...Победить противонародные контрреволюционные замыслия...— это правильно.

А вот по военному вопросу — надо за горло брать. Не-ет, это слабо написано, это мямленье: пролетариат не одобряет войны, не хочет захватов. Не-ет! Но и прямо „долой войну" — рабочие многие отшатнутся.

А вот как: революционному правительству войти в сношения с пролетариатом воюющих стран, понимаешь? Не с правительствами, а через их головы — с пролетариатом! Каким путём правительство будет делать — нас не касается, наше дело дать программу — чтоб дух захватывало!..

И что ещё непременно вставить: что революционное правительство надо немедленно же и выбирать. От фабрик, от заводов, от восставших войск. Лозунг!

И добавить, что: п о в с е й Р о с с и и! По всей России поднимается красное знамя восстания. Неважно, что сегодня нет,— завтра будет. Для того и пишем, чтобы было. По всей России берите в свои руки дело свободы! свергайте царских холопов! зовите солдат на борьбу с царской властью! Да прямо даже так: по всем городам и сёлам создавайте правительства революционного народа!

Сильно получилось. Во громыхнёт! Так ожечь, чтоб никому возврату не было! — вот это по-нашему.

Подпись конечно: Центральный Комитет Российской Социал-Демократической партии. Кто там ещё разберётся, что и комитетов несколько, и социал-демократических партий несколько,— а вот мы первые, как единственные!

Разберёт Бонч? Очки наденет — разберёт.

180

Как привыкает фронтовой человек спать даже под разрывами снарядов, так и Кутепов эту ночь крепко спал в угрожаемом доме, куда могли ворваться всякую минуту и требовать крови его. И только проснувшись довольно поздно, вспомнил он опасность, и все старания минувшего дня, и всю бесцельность их.

Стало горько.

О самом себе он всегда почему-то предчувствовал, что кончит роково, не просто его убьют на войне, но каким-то роковым образом — вот, очевидно, как могли вчера, как могут сегодня. Но он ума не мог приложить, что случилось за один день со всею петроградской властью, как она рухнула.

Что запасные батальоны были дрянь, а не гвардия, это ясно. Да по принципу экономии, чтоб далеко не перевозить, набрали здешних рабочих (а к ним листовки носят), да чухны из окрестностей, да лавочников, домовладельцев, белобилетников — маменькиных сынков, кто до сих пор уклонялся. Они развешивают уши к леченым раненым, об ураганном огне, о газах, и одного бы им только — не попасть на фронт. А офицеры все — проходные, они и солдат не успевают запомнить, не то чтобы знать, чем их головы забиты.

Но чтоб у власти не оказалось вообще ни единой опоры и она могла в один день разбежаться, не имея противу себя никаких сплочённых сил? — этого он не мог постичь.

Александр Павлович подошёл к окну своей небольшой комнаты и осторожно высматривал. Видел кусок Литейного проспекта, сад Собрания Армии и Флота и угол Кирочной улицы. Движение было необычное, много вооружённых возбуждённых людей, все с красными признаками. Одна группа неподвижно стояла прямо против дома Мусина-Пушкина, глаз не спуская с его окон и дверей. Вероятно, такая же была и против чёрных ворот.

И всё-таки он не жалел, что вчера отказался переодеваться в солдатское. Сама смерть всегда должна быть достойной, в этом офицерское предназначение.

За чаем ему рассказали несомненные сведения: что правительство разбежалось, Протопопов спрятался в Царском Селе; что полицейских всюду убивают или ведут арестованными в Думу; что старой власти не осталось совсем никакой, даже и военной, и никто не знает ни одного случая сопротивления революции, кроме вчерашних действий его отряда.

Это не вмещалось.

Утром хозяева лазарета хотели продолжить телефонный сбор сведений, но телефон замолчал. Пожалел Кутепов, что не успел позвонить сёстрам, но вчера дал им знать, где он есть.

Наблюдали в окна. Пикеты были напряжены и сторожили все выходы. Хозяева дома очень волновались — из-за присутствия Кутепова, хотя старались этого не показать.

Вдруг, они видели, из-за угла Кирочной вывернули два броневика и два грузовика. Все они были наполнены вооружёнными рабочими. Машины остановились на проезжей части Литейного, рабочие соскакивали, кричали и друг другу показывали на окна. К ним притягивались и рабочие, гуляющие по Литейному.

С броневиков они подняли стволы пулемётов на окна дома — и гурьбой повалили к главному подъезду.

Хозяева заметались. Не открыть было невозможно. Старшая сестра милосердия вбежала и стала уговаривать Кутепова надеть халат санитара, иначе его убьют.

Но и сейчас этот спасительный маскарад был Кутепову противен.

Он просил хозяев отпирать, о нём же говорить, что ничего не знают. И оставить его совсем одного. (Потом сообразил: это странно и невозможно, чтоб они не знали о присутствии нераненого полковника в форме. Он очень неловко поставил их.)

Тут была небольшая угловая гостиная с дверьми в соседних стенах, одна дверь выводила к анфиладе по Литейному, другая к поперечной, и против каждой двери большое зеркало, так что идущий издали видел себя. Эта комната привлекла Кутепова, и он решил дожидаться новой власти здесь. В глухом углу между дверьми был стул, и он сел на него, оставив обе двери нараспашку.

И отсюда увидел в каждое из зеркал, как по каждой из анфилад бежал, приближался рабочий с револьвером в руке. Они настолько были похожи, сходностью роста, типа, и чернотою одежды, и красной розеткой на левой стороне груди, что сперва ему померещилось, что один есть отражение другого, потом сообразил, так быть не может.

Ещё потом сообразил, что если он их видит из угла, то и они каждый уже видят его в углу. Но не приподнялся им навстречу.

А случилось иначе: они не видели. Верней, они были, наверное, завороженны своим собственным страшным видом, вряд ли они имели привычку к большим зеркалам. И ещё было яркое солнце в окна. А ещё случилось так, что они стали в дверях ни на секунду раньше один другого, а только одновременно — и чуть головы повернув, увидели друг друга с выставленным револьвером, и что каждый исчерпал свой бег, дойдя до этой пустой комнаты. Если б один появился немного раньше — он имел бы время осмотреть комнату.

Не теряя времени, они так же одновременно повернули и поспешили своей прежней дорогой, показывая теперь в зеркала свои такие же схожие спины, уже без красного.

Они удалились — Кутепов перекрестился. Это было то, что называется простое Божье чудо. Бог просто отвёл им глаза. Значит, Кутепов ещё на что-то предназначался.

Обыск в доме продолжался, проверяли санитаров и раненых, но сюда к нему никто уже более не пришёл — кроме, через полчаса, самих облегчённых хозяев. Они были не только облегчены, но уже и гордились, что сумели сохранить полковника.

На чердаке обыскивающие нашли сложенное вчера отрядом оружие, долго носили его к себе в грузовики — но раненых не тронули. И уехали опять по Кирочной — вероятно, хвастаться в Государственную Думу.

И — сняли все патрули против дома.

Опоминались после пережитого, все оживлённо рассказывали, кто чему был свидетель и как подумал. Изумлялись спасению полковника.

Кутепов просил у хозяев извинения за всё, но пока хотел бы ещё остаться здесь немного.

Тем временем с Литейного раздалась военная музыка. Кутепов осторожно подошёл к окну и изумился, увидев не какое-нибудь чужое, но своё преображенское знамя, и преображенскую форму на солдатах.

И они с Литейного поворачивали тоже на Кирочную, тоже, стало быть, к Думе.

Ещё это наказание, укор, унижение родного полка должен был он испытать!

Тяжело было смотреть.

Но он знал, что настоящий Преображенский полк, и настоящая армия, и настоящие люди — все на фронте, и скоро, скоро, с часу на час они всю эту нечисть разгонят.

Но самое примечательное и удивительное было — что запасной батальон шёл без единого офицера. Батальон вели четыре унтера, подпрапорщики, и одного из них, Умрилова, Кутепов легко узнал. Офицеров, которые как раз так были настроены за Думу, как раз и не было ни одного. Что ж это значило?

А впрочем, заметил он, что идёт батальон вовсе неплохо. Неплохо.

181

Жил Родзянко от Думы совсем близко, переезд короткий. Хоть и неполная, но получилась ночь, поспал крепко, проснулся часов около девяти вполне свежий. И представились ему сразу цельной картиной все события предшествующего дня и собственное богатырское поведение. И ещё раз, посвежу, удивился он тому и другому.

Раскаивался ли он, что принял власть? Нет, его вершинное положение не давало выбора. В революционной обстановке ещё более, чем в мирной, он естественно становился высшим арбитром.

И совесть верноподданного тоже была в нём чиста: его вынудили обстоятельства и упорство известных лиц, не желавших уступить вовремя и подобру. Это они и создали все гибельные обстоятельства, а Родзянко только спасал Россию.

Правда, очень необычно было это новое состояние — власти, принятой без ведома Государя. Но — он ведь телеграфировал Государю! Зачем же Государь не отозвался?!

Эти две телеграммы в воскресенье вечером и в понедельник утром — его оправдание. А теперь, когда власть уже взята,— теперь что ж остаётся? Теперь остаётся только решительно идти вперёд — к укреплению этой власти. К отстоянию её и перед Государем, и перед революционной анархией.

А это — равновесие трудное. Тут — бушует толпа. А оттуда шлют восемь полков на Петроград. А надо — сбалансировать.

Против идущих полков Председатель ещё может предпринять телеграфные, телефонные попытки, чтоб их остановить.

Да Родзянко — отнюдь не бунтовщик против трона! Он не только не хотел сотрясать саму монархию — он спасал её!

А получилось, что своим полуночным решением невольно вступил как бы в противостояние Верховной власти, да...

Надо вот что, сообразил он за утренним завтраком: надо продолжать поддерживать прочную связь с Главнокомандующими. Как благоприятны были ответы Брусилова и Рузского, как вовремя пришлись, надо эту связь продолжать! Надо поспешить послать циркулярную телеграмму всем Главнокомандующим фронтами и флотами: что Временный Комитет Государственной Думы был просто вынужден принять правительственную власть из-за того, что весь состав бывшего совета министров сам устранился от управления. Вполне естественный шаг, а кто бы придумал лучше? Генералы заботятся, как бы не сорвались военные усилия, и их надо заверить, что Думский Комитет — их вернейший в том союзник.

И таким образом для них самих станет бессмысленно посылать войска на Петроград. Да, верный путь!

Конечно, посылка прямых телеграмм Главнокомандующим, обходя Верховного, была игнорированием военной субординации. Но Родзянко сейчас не состоял на военной службе.

С такими мыслями, ясными, но и тревожными, но и в отличном телесном самочувствии, Родзянко на автомобиле подъехал к Таврическому и хотел, чтоб его подвезли к самому подъезду. Но нельзя сказать, чтобы здешнее столпотворение узнало в нём хозяина дома или ждало его. Толпа и автомобили стояли густо и поперёк, жили своим возбуждением и перемещениями, и крик шофёра, что это — мотор Председателя Государственной Думы, не произвёл слишком большого впечатления. Ещё проехали несколько — пришлось слезть и просто проталкиваться.

Может быть для Щегловитова это и выход — что он заперт, и тем защищён. Иначе б его разорвали, а так он надёжно спрятан. Ничего, пересидит несколько дней — выпустим.

А внутренность своего дворца Председатель тем менее узнавал. У стен вестибюля и Купольного зала соштабелёваны мешки, бочки и ящики — в том неприятном чувстве, как если бы дворец был уже осаждаем. Очень много сновало солдат безо всякого строя и лада, и всяких оживлённых подозрительных штатских лиц, особенно шустрой молодёжи. Всё это двигалось, чем-то было занято — и тоже никто из них не прерывался, не останавливался, не отодвигался, чтобы почтительно пропустить Председателя Думы. Такое было нашествие чужих лиц, что саму Думу трудно узнать. Уж Родзянко не углублялся дальше в Екатерининский зал и, конечно, не пошёл в правое крыло, со вчерашнего дня всё более оккупированное этим Советом их депутатов,— но в левое, где думцы ещё обитали, хоть и в скученности, но отстаивая несколько главных комнат. И среди них — кабинет самого Председателя, оазис размышления.

Достиг Родзянко своего председательского стола — и содвинулось сразу со всех сторон, что и под утро не замирали события и тревоги, и пожелания лиц.

Самое неприятное было, остро ударило Председателя: в Белом зале заседаний неизвестные изорвали штыками большой портрет Государя!

Как будто самого Родзянко кольнули под вздох! Большой портрет Государя, паривший над залом, за спиной Родзянко! Очень не по себе.

И даже пойти посмотреть своими глазами он не решился: увидят все, что пришёл Председатель, и что же? и почему не грянет гром?.. А что он мог сделать против этой бешеной толпы?

И тут же известие: под утро Государь выехал из Ставки и движется в сторону Петрограда! Как будто узнал о портрете — и ехал карать.

Стать во главе своих восьми полков?

Грозные тучи.

Или может быть (надежда!) — он едет всего лишь в Царское Село? Но как он на это решился бы в такой опасный момент?

Тут и, по дворцовой линии, позвонил из Царского граф Бенкендорф: что здоровье наследника в очень серьёзном положении и императрица просит безопасности в районе дворца в такой смутной обстановке.

Сколько лет эта всевластная царица надменничала над Председателем Думы, выказывала ему пренебрежение, отвращала Государя от разумных уступок,— но вот оборвались куцые женские силы, и, раздавливая свою гордость, она просила о помощи?

Да Родзянко и сам беспокоился, чтобы с царской семьёй, чтобы с наследником не случилось худое. Он и вчера вечером сказал Беляеву передать во дворец. И теперь ответил Бенкендорфу:

— Граф! Когда горит дом — прежде всего выносят больных.

Так это ясно. Неужели не догадывается уехать вовремя, чтобы меньше было проблем и забот?

Тут и Беляев, лёгок на помине, единственный из министров, такой услужливый, звонил из Адмиралтейства, от Хабалова, нащупывая возможность благополучной капитуляции.

Это хорошо, уж войны-то в столице надо избежать.

Но в Таврическом укреплялся свой штаб: допущенная Председателем ночью „военная комиссия". Теперь пришёл Гучков, радостно возбуждённый, и предложил, что он эту „комиссию" возглавит. Отличное решение! Родзянко обрадовался: наш, октябрист, и сильный человек. Важное пополнение.

А другое важное укрепление вот какое пришло в голову Председателю: надо связаться с союзниками. С английским и французским послами. И обеспечить их поддержку Временному Комитету. Это может очень утвердить Комитет.

Прекрасная мысль! Не по телефону звонить, конечно,— да тут как раз и прекратились все городские телефоны. И — невозможно ехать собственной величественной фигурой, не укроется. Но совершенно конфиденциально послать некое солидное лицо, которому будет доверие,— и просить послов тотчас выразить их мнение о происходящем. (Да нет сомнения, что они в восторге.) И их пожелания.

Даже... даже, дальновидно опережая события... каков желателен им дальнейший ход... в смысле конституционных изменений... ?

Поддержка союзников стоит тех восьми полков.

Пока выбирал сановного посланца и инструктировал его. Пока подписывал циркулярную телеграмму Главнокомандующим, что Комитет взял на себя трудную задачу создания нового правительства. Тут и члены Комитета, иные ночевавшие в Думе, подступали теперь со своими сомненьями и предложениями.

И вдруг принеслось: что к Государственной Думе подходит целый батальон! — первый за эти дни вполне собранный батальон!

Ответственный момент, он многое решит в дальнейших событиях! Заволновались и забегали: что за полк?

Кто-то издали рассмотрел и понял: преображенцы!

К такой радостной неожиданности Временный Комитет не был готов, не была подготовлена программа, кому говорить и что.

Да! А Шидловский ночью ездил в преображенское собрание? Благодарил офицеров?.. Да, и вот обещали привести батальон в Думу.

Бледный, взвинченный, самоуверенный Керенский рвался выступить. Но нет, уступить ему Преображенский полк Родзянко не мог — этих он должен был встретить сам! (К тому ж он начал понимать, что Керенский кричит толпе совсем не то, что нужно.)

И властным жестом, какого думцы привыкли слушаться, Родзянко показал, что будет говорить сам.

Однако пока они тут суетились и решали — батальон с музыкою не только вошёл в сквер и к крыльцу, но, оказывается, повалил внутрь — и никто не смел его задержать. Момент был невыгодный для выхода Родзянко, он пождал. Преображенцы теряли строй, смешивались в вестибюле и в Купольном зале — а потом в Екатерининском вытягивались и разбирались.

Этот зал действительно годен оказался и для военных парадов, и даже раздутый запасной батальон в четыре шеренги далеко не занял полного карре.

Михаилу Владимировичу исключительно приятно было выйти к тому именно батальону, который поддержал его ночью в решающую минуту. И собираясь идти выступать, он задумал, что после речи попросит господ офицеров зайти к нему в кабинет — и отдельно поговорит с ними сердечно.

Но ещё не успел Родзянко дойти до строя — к нему подскочили и предупредили: батальон пришёл — без офицеров! привели — унтеры.

Что это?? Как это возможно?? Как это понять? Почему же без офицеров? Это всё переворачивало. Ведь именно офицеры телефонировали, что поддерживают, присоединяют полк,— и именно офицеров нет?

Но уже и размышлять было некогда: он входил в Екатерининский. Раздалась звонкая унтерская команда: „смир-рна!".

Чем больше зал и чем многолюдней аудитория, тем всегда только больше разрабатывался могучий родзянковский голос. Речь была не подготовлена и обдумать некогда, но сердце подсказывало, как правильно:

— Прежде всего, православные воины,— густо закатил он, однако и напоминая,— позвольте мне как старому военному поздороваться с вами.— И с новой энергией, новой силой и чёткостью: — Здорово, молодцы!

— Здравия! желаем! ваш! псходительство! — неплохо ответили высокорослые преображенцы.

Первое сближение было сразу найдено, хорошо. Родзянко заговорил отечески:

— Позвольте мне сказать вам спасибо за то, что вы пришли сюда. Пришли, чтобы помочь членам Государственной Думы водворить порядок!

Оглядывал ряды. Возражающих не было.

— И обеспечить славу! И честь нашей родины! Ваши братья сражаются там, в далёких окопах, за величие России, и я горд, что мой сын с самого начала войны находится в славных преображенских рядах.— Ещё одна связь между ними. А теперь и поворачивать и зануздывать: — Но чтобы вы могли помочь делу водворения порядка, за что взялась Государственная Дума, вы не должны быть толпой! Вы не хуже меня знаете, что без офицеров солдаты не могут существовать. И теперь я прошу вас: подчиниться и верить вашим офицерам, как мы верим им. Возвращайтесь же спокойно в ваши казармы,— уже ощутил он, что пребывание этой поддержки в Таврическом может стать весьма тягостным,— чтобы по первому требованию явиться туда, где вы будете нужны.

Ловкач, удобно всё повернул! — из мятежников обратил их в патриотов. Но определённой, что делать,— ничего сказать не мог. И не закончил никаким командным словом. Оттого раздался разброд солдатских голосов: одни кричали, что много довольны, другие — что согласны, третьи просили указать.

А что же указать? Родзянко с трудностью дояснял:

— Старая власть не может вывести Россию на нужный путь. Первая наша задача — устроить новую власть, которой бы все доверяли и которая сумела бы возвеличить нашу матушку-Русь.

С этим тоже были охотно согласны.

А ведь он под „старой властью" имел только правительство, отнюдь не Государя,— а могли понять про Государя? И он не помешал.

— Так не будем же тратить время на долгие разговоры. Сейчас надо вам найти своих офицеров. Собрать разбредшихся по городу ваших товарищей. Сплотиться. Выполнять строго требования воинской дисциплины. И ждать приказаний Временного Комитета Государственной Думы. Это — единственный способ победить.

И горячей:

— Если мы не сделаем этого сегодня, то завтра, может быть, будет поздно. Только полное единение армии, народа и Государственной Думы обеспечит нашу мощь!

И покрыл всё гулкой чугунной крышей:

— Ура-а-а-а!!!

И глоток тысячи две отгаркнули „ура" действительно громовым, не уместным даже в этом зале, как его колонны не покачнулись!

Всё сошло отлично.

Однако загадка: что же случилось с офицерами?

182

* * *

После ночного ухода из Ораниенбаума главных сил пулемётных полков — там начался погром винных погребов, магазинов, лавок и беспорядочная стрельба,— на двое суток.

А пулемётные полки всю ночь пешком двигались на Петроград, прихватывая ещё и попутные гарнизоны.

* * *

В конце ночи и ещё рано утром всё громили гостиницу „Асторию", осталось там и выпить, и вещами поживиться.

В одном номере жила княгиня Нарышкина с сыном, недавно из Италии, при них — учитель сына Марк Слоним, студент и эсер. Ворвался к нему в номер матрос, схватил со стола часы. Кинулся Марк: „Это мои часы!" Матрос: „Да ну?" В грудь толкнул студента, а часы брякнул об пол и ногой раздавил. Другие матросы загоготали, а Марк вскричал в отчаянии: „Да ведь — революция! Что же ты делаешь?!" Тут вбежал ещё один матрос — и оказался из его подпольного кружка, Марк им этой зимой разъяснял революцию. Примирил. Марк им: „Что же вы делаете? Здесь иностранцы живут! Нельзя, скандал!"

Итальянцы, чтоб уйти из громимой гостиницы к себе в посольство, через площадь, собрались кучкой и на палке несли большой итальянский флаг.

В отпуску в Петрограде, жил в „Астории" и генерал-лейтенант Маннергейм, начальник 12 кавалерийской дивизии. Переоделся в штатское пальто, меховую шапку, снял шпоры с сапог — и беспрепятственно вышел из гостиницы. Перешёл к промышленнику Нобелю, который его и спрятал.

В гостинице многие стёкла выбили, а отопление прекратилось.

* * *

Ещё до света у пекарен опять стали жаться хлебные хвосты.

* * *

Перед рассветом группа солдат-московцев возвращалась из центра к себе в казармы на Выборгскую. Навстречу увидели и узнали молоденького прапорщика их батальона Кутукова, переодетого в солдатскую шинель,— спасался из казарм от расправы.

Не тронули.

* * *

Ночную телеграмму царя, что отставка правительства не принята, так и некому было вручить: министры не дождались, разбежались. Только утром позвонили с телеграфа Покровскому домой и ему передали.

* * *

Всю ночь и утром ещё горел Окружной сад. Проваливались потолки, с треском взбивались столбы искр. В свете зарева ярко были освещены склады Главного Артиллерийского управления. Любители поживиться не дремали, таскали оттуда ящики, разбивали топорами. Вот ящик солдатских перчаток. Хватают их. Не лезут на руку — выбрасывают на панель.

* * *

Баррикада в начале Сергиевской у Литейного — не настоящая, а так, натащили орудийных передков, деревянных ящиков, нет высоты и заборности. Рядом поставили две пушки. Около них стоят несколько солдат, позируют фотографу. Торчит из баррикады один обвисший красный флаг.

Никому не понадобилась.

* * *

За ночь выспались и с утра опять вываливали на улицы, собирались вооружёнными отрядами на поиски врагов революции. И освобождённые вчера уголовные — кто уже переоделся солдатом, кто обзавёлся винтовкой,— и с каждым часом всё смелей.

И снова, на чём кончили вчера вечер: арестовывать, грабить, поджигать, пить, мстить и убивать,— на всём раскиде города не было им никакой преграды. Все власти сметены, все связи порваны, все законы потеряли силу. И во всём городе каждый может охранить только сам себя и ожидать нападения от каждого.

Охотников грабить — и в населении оказалось много. Но после вчерашних погромов двери и окна многих магазинов наглухо забиты досками. А в зеркальных стёклах витрин, там и здесь,— пулевые лучистые дырочки.

* * *

На Неве у Франко-Русского общества чинился крейсер „Аврора". Утром рабочие ворвались в него — и крейсер *присоединился.* Захватывали ружья, револьверы, пулемёты. Командир крейсера капитан 1 ранга Никольский и два старших офицера были выволочены на берег и убиты. Старшего лейтенанта Аграновича ранили штыком в шею.

* * *

После того что вчера разоружили кадетёнышей Морского корпуса, на Васильевском острове остался непокорённым лишь Финляндский батальон. Утром прорвалась толпа и в его двор. Убили полковника и капитана, мешавших сдаче. На просторном дворе — движенье во все стороны, на всех этажах открыты окна, полные солдат. Крики, шум. Из окна второго этажа студент в смятой фуражке на лохматой голове кричит, почти никому:

— Товарищи солдаты! Царское правительство помещиков и капиталистов свергнуто! Вас больше не пошлют убивать ваших братьев рабочих, как в Девятьсот Пятом. Но вместе с ними — к светлому будущему!

Надоумились, что надо снимать полицейских с крыш и чердаков — и толпа вооружённых солдат ринулась через ворота. Пробегали мимо офицерского собрания — показалось, что оттуда стреляют (пуля, ударяясь о стенку, сильно хлопает и подымает дымок, похожий на выстрел). Стали палить в верхние этажи. Из чёрного хода выскочила перекошенная прислуга: со вчерашнего дня ни одного офицера в здании нет!

Тем временем набралось в батальоне желающих идти с музыкой по Большому проспекту. Выступили с оркестром — но на проспекте утеряли строй, смешались с толпами, а куда дальше и что делать — никто не знал.

* * *

С утра возобновились поиски городовых. Врывались в дома, в квартиры, искали по доносам и без них. Убегающие по улицам ломились в запертые ворота. Ведут арестованных городовых, околоточных, переодевшихся в штатское,— кто в извозчичьем армяке, кто в каракулевом жилете, кто и вовсе не переодевался, а в чёрной шинели своей, с оранжевым жгутом. Кого привыкли видеть важными, строгими — идут растерянные, испуганные, с кровоподтёками, в царапинах, побитые.

Вот — старый, широкошеий, шинели надеть не дали. Баба кричит: „Нассать ему в глаза!"

Ведут с избытком радостного конвоя, человек по пять на одного, винтовку кто на ремне, кто на плече, кто на изготовку, а ещё кто-нибудь самый ярый —

впереди с обнажённой шашкой, и отводит прохожих. И мальчишки с палками.

Из толпы — враждебные крики.

* * *

Волокли за ноги по снегу связанного городового. Кто-то подскочил и выстрелом кончил его.

* * *

На Васильевском острове везли городового на санях, ничком привязанного, а размозжённая нога его бескостно болталась и кровянила. С двух сторон сидело по солдату, и один из них прикладом долбил городового по шее. Озверелые бабы догнали и стали у привязанного уши отрывать. *(Из Ремизова)*

* * *

А пристав 1-го Адмиралтейского участка Эгерт сумел по утреннему безлюдью довести до Думы группу городовых строем, спасаться под арест.

* * *

Какие полицейские участки ещё не были сожжены вчера — те горели теперь. В костре перед участком горят стулья, горят бумаги, пламя подхватывает их вверх. Через разбитые окна выбрасывают еще новые бумаги, а кто-то длинной палкой размешивает их в огне. Из толпы кто глазеет, кто греется, приплясывают мальчишки, хлопая на себе пустыми рукавами материных куртеек, весёлая возня.

Из домов, соседних с пожарами, невольные беженцы с пожитками кочуют в другие дома. Только у таких и беда.

* * *

Ещё кое-где костры — около квартир полицейских приставов сжигают выброшенную утварь, мебель.

На Моховой из окна пристава грохнули на мостовую рояль, а тут доколачивали прикладами.

Оратор, стоя на ящике, просит товарищей военных не бросать в костёр патроны, они ещё понадобятся в борьбе с контрреволюцией. Но уж как начали забаву — оторваться нельзя, и все бросают. Патроны взрываются с треском и заглушают оратора.

* * *

Что пошло в красное: и большие полотнища, и разорванные полоски. И комические носовые красные платки с белыми каёмками. Цепляют красное на шапки (тогда кокарда), на грудь, на рукав, на штык, на саблю, на палку (тогда флаг), вяжут на шею, на плечо. Банты, бутоньерки, репейники, ленты.

Штатский — ещё может пробираться без красного, и то стыдят, но военный, похожий на офицера,— никак. Офицеру вообще опасно появляться на улице.

* * *

У офицера, воспитателя пажеского корпуса, отобрали на улице шашку и, по его требованию, выдали ему *расписку*. Всё равно опозорен.

А чаще безо всякой расписки: отберут шашку — а заодно бинокль и портсигар.

* * *

Везде — весёлое гулянье. Какие только есть в Петрограде солдаты, 160 тысяч,— кажется, все здесь. И обыватель весь! Солдаты целуются с народом — публика плачет. И никто не молчит — но все говорят, но кричат, но беснуются радостно! Наступило несравненное вселенское торжество! Оно взмывает души, оно не позволяет человеку оставаться вне толпы. (Ещё потому, что в одиночку — нет уверенности: а вдруг всё назад повернётся?) Оно несёт людские толпы по улицам.

А восполняя медленность человеческих тел — во все стороны бешено носятся грузовики и легковые автомобили. Грузовики переполнены вооружёнными: рабочие, солдаты, матросы, студент в экстазе, а то и барышня, а то и офицер с крупным красным. Человек по тридцать впритиску и ото всех торчат штыки — через борта и вверх, и ещё на подножках стоят с винтовками. И ещё торчат из кузовов кровяные флаги, по три и по четыре. А на некоторых — пулемёты. А то, опершись на кабину, какой-то дурак целится вперёд из револьвера.

А вот ломовики и извозчики — совсем исчезли с улиц. Нету.

* * *

Но вот провозят и в санях — арестованного полковника. Вокруг — солдаты на конях.

* * *

Николаевский вокзал немного громили, и он немного загорелся. Вели двух жандармских офицеров, будто бы пойманных при поджоге,— и конвой солдат охранял их от растерзания. Над Знаменской площадью свистят пули, неизвестно откуда и куда. Кассы закрыты, а поезда отходят, можно ехать.

* * *

Да везде много, бесцельно стреляют, везде ходить опасно. Стреляют из озорства. И чтобы дать выход нервному возбуждению. Довольно одному солдату нечаянно нажать курок, как перепалка охватывает целый квартал. Есть раненые шальными пулями в хлебных хвостах. Стреляют в воздух в виде салютов. И — „довольно, повоевали!" И — в землю из револьвера, под ноги прохожим. Стрельба до помешательства. Только слышно, как пули везде летают, многие рикошетом от стен, с непривычки ничего не понять, прячутся от пуль за тумбами объявлений. От непонятных близких выстрелов все взвинчены. Толпа в любую минуту мечется от восторга к страху и ненависти.

Все уверяют и уверены, что это городовые: попрятались по чердакам и перебираются с крыши на крышу неуловимо, оттого всякий раз стрельба с нового места. Все тревожно поглядывают вверх на чердачные окна каждого большого дома. Стоит кому-нибудь указать вверх пальцем — и уже все требуют обстрела и обыска этого дома.

* * *

Шёл офицер в полной форме и без красного. Чернь загнала его с улицы на лестницу дома — и там застрелила, забрызгав стены кровью и мозгами.

* * *

И эта же толпа этих же офицеров в июле Четырнадцатого несла на руках по улицам!.. А ведь та самая война и продолжается.

В толпе человек перестаёт быть самим собой, и каждый перестаёт думать трезво. Чувства, крики, жесты — перенимаются, повторяются как огонь. Кажется: толпа никому не подчиняется? — а легко идёт за вожаком. Но и сам вожак вне себя и может не сознавать себя вожаком, а держится — на одном порыве, две минуты, и растворяется вослед, уже никто. Лишь уголовник, лишь природный убийца, лишь заряженный местью — ведёт устойчиво, это — его стихия!

* * *

Стали выходить на улицу и военные оркестры. Больше всего пристрастны теперь — к наспех разучиваемой марсельезе. А за ними вослед — солдаты, где строем, а где и толпами. Встретятся два шествия — салютуют друг другу выстрелами.

* * *

А на Невском! Знал Невский трамваи, извозчиков, богатые автомобили, богатых пешеходов, знавал при волнениях пешие и конные массы — но ни-

когда не видывал такого: носятся и носятся гигантские ежи из штыков, фыркая и визжа, обгоняя друг друга и разминаясь при встречах, и нагуживая тревогу, и заворачивая, и заворачивая со скрежетом — вакханалия больших ежей! Невиданные моторные силы вырвались из подземного рабства — и резвятся, и неистовствуют, обещая ещё многое, многое показать.

Вожаков — как будто нигде никаких, всё совершается само.

А на тротуарах — масса вооружённых штатских — с берданками, винтовками, саблями, пулемётными лентами наискось через плечо. Все расцвечены красным, разговаривают с незнакомыми, рассказывают новости из разных концов города, умиляются. Передают, какие полки присоединились к Думе. Гадают, где теперь царь и что будет дальше. Интересно!

* * *

К офицеру петроградской автомобильной части приехал с фронта в отпуск его брат, тоже офицер. А тот имел в распоряжении легковой автомобиль, решил прокатить гостя по городу. Помчали. Радостно и жутко, мелькают штыки с красными флажками. Но из-за встречного в лоб автомобиля пришлось остановиться, а оттуда навели на них винтовки: „стой!". Юноша лет 16, весь красный, глаза бешеные, соскочил оттуда, и сюда, и револьвером ко лбу. А серьёзный студент из того автомобиля: „Господа офицеры, предъявите удостоверение, для кого вы работаете?" Перед дулом безумного офицер-хозяин: „Едем получить такое удостоверение, не знаем, где выдаются". Студент с красным флагом пересел к ним и понеслись в Михайловский манеж. Там бродят солдаты всех частей. Штатский в пенсне из-за стола властно: „Вы приехали предложить свои услуги народу?" И повезли их в Таврический — но остановились на углу Литейного и Бассейной: громят винный погреб Баскова. Там толпа, из решётчатых дверей одни поднимаются по ступенькам сильно выпивши, другие теснятся в очереди с горящими глазами, третьи уговаривают их „не идти на гибель". Поручили братьям-офицерам: утихомирить тут.

* * *

С 10 часов утра по всему городу развозят в грузовиках кипами, раздают и сверху разбрасывают 1-й номер „Известий Совета Рабочих Депутатов" за вчерашнее число — напечатали его, наверно, сотни тысяч. Остановится грузовик, трепеща корпусом,— и к нему тянутся руки, и сверху бросают пуки и отдельные листы, и гонятся за ними, рвут из рук, подхватывают со снега. И потом по улицам все читают единственную эту газету. А там всего-то — воззвание СРД, вымученное литературной комиссией.

Несравненно меньше пошёл машинописный, со стеклографа, текст первого воззвания Временного Комитета Государственной Думы: что создаётся такой и взял ответственность,— читали его студенты вслух, тоже с автомобилей.

* * *

По Садовой едет автомобиль и объявляет, что следом за ним идут три новых *присоединившихся* батальона. Дикий энтузиазм, крики! По краям панели становятся ждать.

Но батальоны что-то не идут.

* * *

Во многих казармах расстроилось питание. Солдаты бродят по улицам уже и с тоской — ищут, чего бы где поесть.

Так вот ходят целый день, многие и без оружия, с пустыми руками. То готовы — ещё чего-нибудь отчубучить, а то робеют: чего наделали? Ещё и в казармы ли пустят назад, а ну опять будут вольные выгонять.

* * *

Вышел Ваня Редченков за казарменные ворота, осмелился. И сразу видит: стоит пустой грузовик, а подле него вертится совсем пьяный матрос. На шнурке через плечо у него шашка без ножен, в руках револьвер. Увидел Ваню, обрадовался, закричал, зазвал:

— Товарищ! Р-р-р-р-р! — рукой показывает, как мотор заводят.— Р-р-р-р-р?

— Я не шофер,— обмялся Ваня.— Я вообще тут человек новый, не знаю.

Матрос и слушать не хочет, своё показывает, дёргается, уже гневен:

— Р-р-р-р-р!..

Но тут шнурок у него оборвался, и сабля зазвякала по льду мостовой. Кинулся он за саблей — а Ваня в ворота убёг.

*

* *

Выходи, простой народ!
Раскидали всех господ!
Со свободы стали пьяны,
Заиграли в фортепьяны!

183

Допустим, морские декабристы, может быть, и опоздали к событиям, но сами события стали делать работу за них, сами события развивались преотлично, великолепно, потрясающе: вялые, нерешительные думцы сумели-таки составить из себя временное правительство! — решились! И не побоялись сообщить об этом факте в Ставку: пусть Полковник узнает о событиях, как они пошли, наконец, без его участия!

Ставка пока молчит, растеряна. А морской Генеральный штаб из Питера сообщил сюда, в штаб Балтийского, что вся столица в руках восставших. И по тону можно понять, что и морской министр сочувствует им. (Григорович — дипломат: им всегда довольны и в Царском и в Таврическом.)

Острые сообщения приходили среди ночи — и вице-адмирал Непенин позвал к себе князя Черкасского ночью же. Уже подготовленное единомыслие направляло адмирала — не выжидать дальнейшего развития событий, не выигрывать на оттяжках, не таить своих взглядов и своей позиции,— но смело открыто занять её. Открытость соответствовала прямоте непенинского характера, а ещё при таких событиях — долгожданных, но и внезапных — стать с ними вровень! Он более всего ценил свои прямодушные отношения с флотом, за что должны были любить его все команды. Он любил сделать крупный жест — и не брать его обратно.

И он приказал объявить командам о волнениях в Петрограде, о подозрении некоторых прежних лиц в измене — и о создании нового правительства.

Впрочем, не успели ещё приказ разослать на корабли для объявления, как из Петрограда пришли какие-то исправочные сведения, что созданное думцами не есть новое правительство, а лишь некий неопределённый комитет. Пришлось изменять и текст объявления командам.

Зато Непенин пожелал сам объехать бригаду дредноутов и бригаду линкоров и сам же прочесть свой приказ. Он дорожил вот этим единством с матросами, какое возникает от присутствия, от вида, от голоса,— дороже и влиятельней, чем отвлечённые строчки приказа усилить боевую готовность, чтоб неприятель, получивший преувеличенные сведения о наших беспорядках, не попытался бы использовать их. Адмирал Непенин умел выступать перед матросами с манерой грубоватой простоты, которая покоряла их.

После этого знаменательного объезда кораблей, когда он сам возвестил своим матросам наступление новой эпохи, Непенин собрал на штабном „Кречете" флагманов (и князь Черкасский, и Ренгартен по своим штабным должностям присутствовали) и энергично заявил им, что так как ни из Ставки, ни от морского министра не имеет никаких указаний, то будет поступать, как сам найдёт нужным. А точка зрения его — невмешательство в революцию. (Говорилось „невмешательство", а это и значило — помочь ей в критический момент.)

Флагманам понравилось. Некоторые и были празднично настроены от революции, совершаемой во спасение родины. Другие во всяком случае не возразили. И те, кто были круто против,— не решились тоже. Тут сидели

и старше Непенина возрастом. Но — знаньями, способностями, блистательной решимостью он ярко опережал их, и это признавалось.

Флагманы соглашались.

Но трое декабристов на устроенном и сегодня закрытом собеседовании всё же сомневались: так ли всё ясно? И достаточно ли верно шагает Адриан?

Черкасский спросил:

— А если *начнётся на судах?* — что будешь, Федя, делать?

Но почему могло начаться на судах, если руководство флотом открыто сочувствовало революции?

Нет, ну всё же. Гипотетически.

Федя Довконт простодушно ответил:

— Буду поддерживать новый режим.

Черкасский оттенил:

— То есть пойдёшь и примкнёшь к бунтовщикам? Это неправильно, Федя. Пойти в толпу — легко, но было бы довольно непроизводительно погибнуть там от пули какого-нибудь типа, „соблюдающего присягу". Нельзя быть уверенным, что матросская масса так сразу вся и полно поймёт революционные задачи и сразу освободится от черносотенных типов. Нет, надо иметь более продуманный план.

Это верно, среди народной толпы всегда толкутся черносотенные типы — и затемняют всю обстановку, не знаешь, какого поворота ждать.

Нет, надо вести себя так, чтобы приносить наибольшую пользу всему делу. Более продуманный план — это верное влияние на верхах. Стали его формулировать.

Надо быть готовым к тому, что Ставка и царь прикажут флоту поддерживать старый порядок. Тогда Адриан станет перед дилеммой — и задача нашего кружка не дать совершиться этому реакционному наклону. Наша задача — сделать всё, чтобы решение адмирала шло к спасению России, хотя бы и наперекор приказаниям сверху!

Или другой случай: приказание сверху на подавление не поступит, но начнётся, всё-таки, само по себе волнение на кораблях или в Гельсингфорсе, или в Ревеле, возникнут манифестации сочувствия к революции — и адмиралу опять достанется единолично решать: помешать волнениям? или даже военной силой не дать им помешать? Мы должны склонять его ко второму.

В обоих случаях главная задача кружка — влиять на Непенина в правильном направлении: не подчиняться приказам царя! И не мешать революционным манифестациям! Более того: чтоб о таком решении адмирала было открыто сообщено командам кораблей и открыто донесено в Ставку. Впрочем, прямой характер Непенина — порукой тому.

И решили: сейчас же идти к командующему по одному, от младшего к старшему, и решительно высказывать ему все эти взгляды. Даже каждый пусть лично добавит, что вразрез нашим собственным убеждениям — мы не выполним и *его* приказа! И чем бы ни кончился первый разговор — на смену идёт второй, и затем третий.

Кроме того Ренгартен взял на себя обработку каперанга Щастного, а Черкасский — каперанга Кедрова, их позиция влиятельна, и надо их привлечь.

ДОКУМЕНТЫ — 3

Всем Главнокомандующим фронтами
Балтийским и Черноморским флотами

28 февраля 1917

Временный Комитет Государственной Думы, взявший в свои руки создание нормальных условий жизни и управления в столице, приглашает Действующую Армию и Флот сохранить полное спокойствие и питает полную уверенность, что общее дело борьбы против внешнего врага ни на минуту не будет прервано или ослаблено...

Временный Комитет при содействии столичных войск и частей и при сочувствии населения в ближайшее время водворит спокойствие в тылу и восстановит правильную деятельность...

Председатель Временного Комитета
Родзянко

184

Мозг императрицы и всегда работал по ночам, она и в ровные дни часто ждала сна до трёх, а то и четырёх часов ночи,— так когда уж там она заснула сегодня? А поднялась рано, предписанья врачей лежать с утра перестали быть законом, события звали к необычным действиям и решениям.

Но всегда прежде, при отлучке Ники в Ставку, у неё были проверенные приёмы действий: узнать у Друга правильное решение, затем встречаться с министрами, внушать им эти действия и длинными письмами Государю повторять ту же работу.

А вот наступили события, превосходящие по грозности всё предыдущее — но не жил уже Друг, и ни одного министра нельзя было вызвать, потеряны все связи,— и письма Государю писать было некуда, и еще неизвестно, что мог принести его приезд сюда будущей ночью: через кого же он будет повелевать событиями?

Государыня была полна самой мужской решимости и готова к самым мужественным действиям — и тут-то ощутила, что не может без мужской руки и поддержки,— а не было такого человека рядом во всей её свите, и все старшие генералы и полковники были лишь подчинённые её, а поддерживающей руки — не было.

Нет, была! — флигель-адъютант Саблин, не просто флигель-адъютант, но „совсем наш" (как установили когда-то вместе с Другом), „один из двух честных друзей" (первая — Аня), часть всех нас, почти член императорской семьи и одинаково на всё смотрящий, тёплое сердце, добрый взгляд, делил все радости и горести, спутник по лучшим дням яхтенных поездок, спутник Государя в Ставке, правда молод, но государыня руководила им все годы. Сам он не женат, без близких и друзей, и всегда говорил, что никто ему не ближе царской семьи.

Но вот, в Петрограде рядом, где же он был вчера весь день? отчего не примчался, когда увидел разворот событий? Государыня ждала его до позднего вечера, а он вовсе не появился. Это вызывало изумление: что такое непреоборимое могло ему помешать?

Сегодня рано утром она вошла в красную гостиную, где ночевала Лили Ден, ещё не вставшая,— и просила её тотчас звонить Саблину, узнать, отчего не едет.

И Лили дозвонилась быстро, и Саблин оказался дома, и Лили передала ему, как государыня нуждается в его поддержке и ждёт,— но Саблин отвечал, что весь дом окружён пожарами, и улицы бдительно охраняются восставшими матросами — и нет возможности ему приехать.

Во флигель-адъютантской форме? Но он мог бы пройти в штатском? Отказ был ошеломляющий. У государыни усилилась нездоровая краснота лица, она приложила руку к своему расширенному сердцу и держала так. Кто угодно мог так отвильнуть! — но не родной Саблин!

Тем временем, пользуясь непрервавшейся службой телефона, Лили успела позвонить и к себе домой, поговорила с няней, узнала про сына, и ещё позвонила нескольким знакомым — и собирала сведения, что они знают о событиях, видят вокруг себя. Все сведения были ужасны: город — погиб, никаких старых властей нет, никто не знает и о верных войсках,— но уже знают, что Родзянко в Думе объявил создание Временного Комитета, управляющего событиями.

Это последнее как раз понравилось государыне: значит, в последнюю минуту Дума оценила опасность, вызванную ею же самой, и очнулась. Ведь уже есть и какой-то комитет социалистов-революционеров, не признающий Думы. Так в грозные часы мятежа и хаоса даже эти думские типы были более своими, с ними всё же можно разговаривать каким-то человеческим языком. Линевич, посланный к Родзянке, ещё не возвратился. И — как его встретит Родзянко?

С Виндавского вокзала дозвонился граф Апраксин: он ночевал в городе, сейчас до вокзала мог добраться только пешком, весь город в руках революционеров.

От больных детей всё скрывали, они не знали, что творится. Дети и досейчас не знали, что с вечера всё качается на острие: уезжать им или не уезжать. Несколько раз за бессонную ночь государыня склонялась то в ту, то в другую сторону.

Покусывая губы, она ходила теперь по комнатам, то к больным, то от них.

Она любила ответственность и всегда любила свои определительные суждения, свои безошибочные решения,— но сегодня этой ответственности оказалось слишком много с неё! Если больны были бы только дочери и Аня, не сын,— она может быть решилась бы ехать. Но как рисковать наследником, обмётанным сыпью, в жаре, с кашлем, с больными глазами,— как можно рисковать этой сгущённой надеждой династии и России?

Может быть, и эта болезнь детей на благо, кто знает Божью волю? Может быть, их болезнь — спасение: что нельзя покуситься на них?

Никогда так тяжело не ощущала она, что можно и н е з н а т ь, погоняемой минутами, какое решение правильное и неправильное, вот утекало между пальцами! Вот сейчас — она спросила бы Государя и мужа и без спора бы поступила, как он велит, но именно сейчас он в пути, и связь прервалась.

И куда срываться ехать, если он следующей ночью приедет сам?

Странно другое: что с позавчерашнего позднего вечера и вчера целый день она бомбардировала его отчаянными телеграммами — а он, так отзывчивый на каждое её слово,— не отозвался, что слышит её тревогу.

Но впрочем, конница из Новгорода (идёт? уже подходит?) — это и был его лучший ответ.

Не предполагая, как рано государыня бодрствовала, лишь в 10 часов утра попросили у неё приёма Бенкендорф с генералом Гротеном.

Их городские сведения были: ночной звонок генерала Хабалова из Зимнего дворца и тяжёлое положение верных войск. А доклад их был: что по указаниям Воейкова они ещё с вечера, не докладывая государыне, вели подготовку её собственного поезда — и сейчас всё готово к погрузке и к отъезду, если она прикажет!

О-о! Снова и мучительно требовали от неё этого решения!

Нет! Окончательно — нет! Это губительно для детей. (И сколько б ещё хлопот эвакуировать капризную Аню со всей её докторской свитой.) Они будут ждать здесь приезда Государя. Всего осталось уже меньше суток.

Но — преодолела брезгливость. И поручила Бенкендорфу телефонировать Родзянке, напомнить ему о болезни наследника и просить о защите императорской семьи.

В Царском Селе было уже неспокойно. Целыми отрядами и одиночками появлялись офицеры и солдаты, бежавшие из революционного Петрограда,— рота волынцев, смешанная группа из Петроградского полка,— но и в здешних полках они не находили приюта и маршировали дальше, в Гатчину. Запасные батальоны императорских стрелков — каково! — уже тоже волновались, от их казарм слышались выстрелы, а то музыка и песни. Говорили, что есть стычки между разными, желающими и не желающими бунтовать. Говорили, что появились из Петрограда революционные автомобили. (Правда, передал во дворец в успокоение комендант Царского Села, что царскосельская артиллерия не имеет снарядов. Каково?? И это — успокоение? Да — *чего* же мы боимся?)

Вернулся Бенкендорф от телефона. Родзянко ничего не обещал, а передал всего лишь: „Когда в доме пожар — то больных выносят в первую очередь".

О Боже, как безжалостно! какие страшные слова! Призрак того же решения — срывать больных — наступал опять.

Комендант Гротен, видя мучительные колебания императрицы, предложил: в усиление конвоя и Сводного полка ввести во дворец также и гвардейский экипаж.

Императрица просияла и тотчас согласилась. Изо всех гвардейских, любимых и подшефных частей императорской семьи — гвардейский экипаж был самым любимым, в сердце близким всей семье.

Младшие здоровые дочери, услышав, что вводят экипаж, ликовали: „Это будет совсем как на яхте! Уютно!"

СХЕМА ЖЕЛЕЗН. ДОРОГ МЕЖДУ ПЕТРОГРАДОМ И МОГИЛЕВОМ

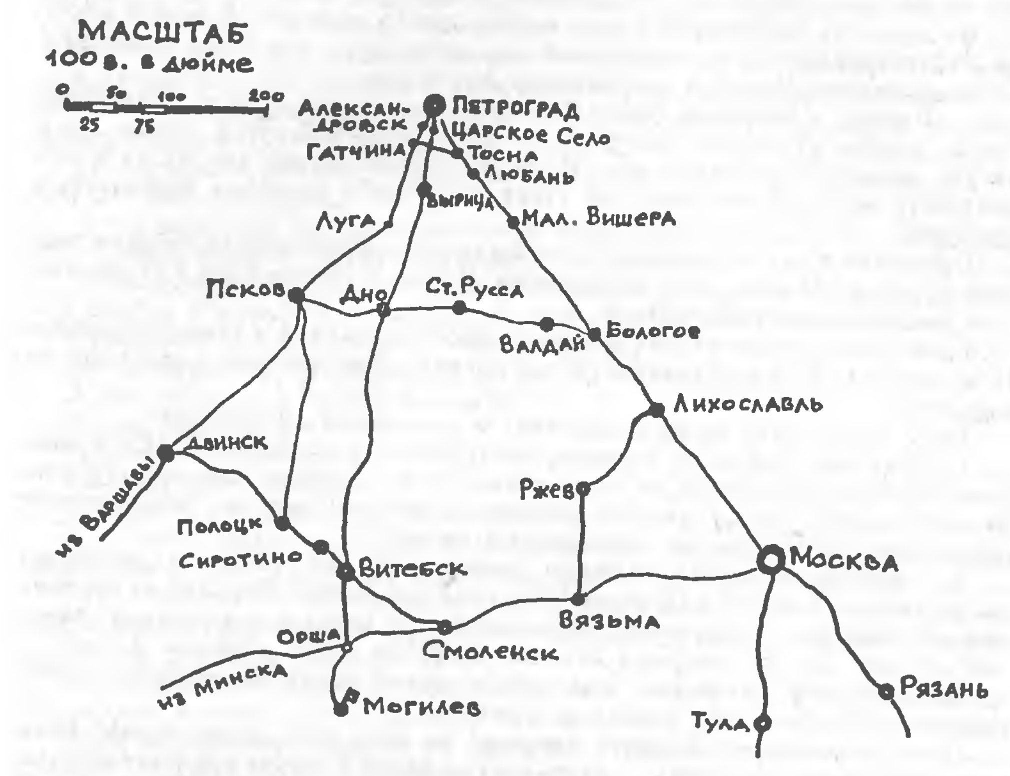


СХЕМА ЖЕЛЕЗН. ДОРОГ МЕЖДУ ЦАРСКИМ СЕЛОМ, ГАТЧИНОЙ И ВЫРИЦЕЙ

Тут доложился императрице граф Апраксин. Он пробрался из Петрограда в штатском, без придворных регалий.

После гнева государыни три дня назад Апраксин держался настороженно. (Он не был уверен, не ждёт ли его увольнение.) Но картины безумной столицы стояли перед его глазами, и тем поразительней было ему, что здесь, во дворце, как будто ничего не изменилось. И с новым напором он взялся убедить государыню в растущей опасности, которая может нахлынуть в любую минуту сюда. Он несомненно считал: срочно уезжать, и вот куда: в Новгород!

По усталому красноватому лицу императрицы, от многих болезней и всегда старше своих лет, а за эти дни ещё порезчавшему,— при слове „Новгород" прошла осветка. На это и рассчитывал Апраксин:

— Именно в Новгород, который так предан династии, Ваше Величество! Где-то должно открыться такое чистое место, куда соберутся верные люди, откуда начнётся сопротивление. И уж во всяком случае там будут в безопасности августейшие дети. Это стоит того, чтобы рискнуть перевозить и больных!

Просветилась улыбка славного воспоминания на удлинённом твёрдом лице императрицы, твёрдая, как все её улыбки. Но уже в улыбке было и отрицание. Она уверенно покачала головой.

Граф не представляет, как опасно перевозить больных в таком состоянии. Но в этом нет уже и необходимости: сам древний Новгород идёт к нам сюда, на выручку.

Но — как дожить до этой выручки? и до приезда императора?

Государыня ходила по комнате, растравленная сомнениями. Ей нужна была мужская поддержка, не подчинённые лица,— сейчас, сию минуту! Она не выдерживала больше бремени решений — не только ведь за семью и за свой дворец, но и за Петроград, оставленный на неё!

И — почему же не шёл, ничем не проявился, не дал о себе знать, не запросил приказаний тут же, в Царском Селе, сидящий Павел? Старший из великих князей! Старший из генерал-адъютантов! Так ли уязвлён долголетней семейной обидой? Так ли отвержен царским запретом после убийства Друга?

Уже несколько дней шло молчаливое соревнование самолюбий — императрицы и Павла — кто первый уступит?..

Но ведь он же — инспектор гвардии! но ведь он — даже обязан! Если гвардия не подчиняется ему — пусть едет на фронт и оттуда привозит верных.

Поделилась с Лили — и та подала аолотую мысль: а может быть великий князь Павел Александрович не смеет нарушить этикет? просто не смеет первый обратиться?

Ах, вот как? Так это открывало возможность императрице обратиться первой, это слагало запрет:

— Лили, милочка, позвоните великому князю от моего имени и скажите, что я прошу его немедленно прибыть сюда, во дворец.

Но не успело полегчать от этого решения, ещё не было ответа от Павла — была половина двенадцатого,— снова пришёл комендант Гротен и доложил: с железной дороги передали, что через два часа все пути будут отрезаны и прекратится всякое движение.

Два часа! — так если даже и решиться ехать, то уже и не успеть собраться!

Петля стягивалась!

Как — решиться? Как верно?

185

В самокатном батальоне ночь прошла — посланные в штаб округа разведчики не вернулись. И никого другого с приказаньями не прислал штаб округа от себя. А телефон со вчерашнего вечера не работал.

Так ничего и не узнал полковник Балкашин: что же происходит в городе? И что правильное он должен делать? Всё рухнуло как внезапный обвал: вчера утром он поднимался начинать обычный учебный день батальона — и вот ввергся в осаду нежданным неизвестным противником, неподготовленный, неснабжённый и без единого приказания, как и на войне бывает редко.

Ночью была у него мысль: пока толпы разошлись — выйти боевым строем и идти в центр города. Помех бы не было никаких, все мятежники спали. Но не имел он права оставить большое боевое хозяйство батальона, всё техническое снаряжение,— разокрадут, уже начали с Сердобольской.

Не доносилось признаков, чтобы в городе шли бои, сопротивление лояльных войск.

Но ещё трудней было представить: как же полуторастотысячный гарнизон мог сразу впасть в обморок и в бессилие?

Так и оставил Балкашин своих самокатчиков на месте.

Рано утром была слышна сильная стрельба от их трамвайного дома с Сердобольской. Но не послал подкрепления: всё же там оборонялись в каменном здании, а здесь — деревянные бараки, деревянный забор, вообще никакая защита.

Распорядился рыть по малому периметру окопы в мёрзлой земле. Но не хватало ломов и кирок.

А тем временем на Сампсоньевском проспекте снова начали собираться толпы вооружённых рабочих и солдат — и очень злые.

Потом к ним подъехали два бронеавтомобиля — страшное оружие в уличном бою! — и навели пулемёты на бараки самокатчиков. И стояли так.

Бросаться на них штурмом — будут потери.

Да не начинать же самим.

А тут подошёл и третий броневик.

Эх, не ушли ночью!

Кричали — сдаваться.

Самокатчики молчали.

И тогда — стали бить из пулемётов.

И — нечем было закрыться! — беззащитные мишени, в любой точке ожидающие пуль. В каждом бараке появлялись раненые и убитые.

Зато и свои шесть пулемётов отвечали в окна и в щели, тоже не прикрытые, привлекая на себя огонь. Начальник пулемётной команды капитан Карамышев и сам стрелял, и кого-то посек.

И перевязывать раненых нечем было, ни к какому бою здесь никогда не готовились, и эвакуировать некуда. Так лежали — и домучивались.

И всё же простоял батальон на такой перестрелке. Мятежники замолчали. Стихло.

Один из ротных командиров склонял полковника Балкашина сдаться. Балкашин пристыдил его.

Толпа подступила — и начала валить забор. И часть свалила. И сваленный забор в двух местах подожгли.

Солдаты одной из боевых рот, предназначенной к близкой отправке на фронт, пытались в проломе выйти с белым флагом — но капитан Карамышев пригрозил им пулемётным огнём — и воротил.

Сердце сжималось за бедных самокатчиков. Но противно всяким воинским правилам было бы — сдаться дикой толпе. Балкашин обходил бараки и уговаривал роты держаться.

Тем временем подожгли и крайние бараки. Пришлось покинуть их и собираться в средние.

И тут, это уже было после полудня, к осаждающим подкатили два трёхдюймовых орудия. Приняли боевое положение — и стали прямой наводкой разносить бараки, пробивая бреши, зажигая стены! — хуже, чем фронт, там сидят в земле. Рушились потолки, нары, сундучки с солдатским имуществом,— казармы перестали быть укрытием, и уцелевшие выскакивали во двор, кидались за снежные кучи, иные бросали винтовки.

И тогда полковник Балкашин прибег к последней попытке: стал строить учебную команду, перед ней оркестр — чтобы удивить, пройти головой, а за ней остальные.

Но их секли картечью и пулями, не давали приготовиться к броску, самокатчики разбегались.

Да и куда пробиваться? — ведь Сампсоньевский надолго-надолго весь запружен толпою.

Тогда Балкашин поднятою рукой показал своим во дворе, что сейчас всё уладит. И ни с кем из офицеров больше не обмениваясь, один вышел за ворота.

Его неожиданное появление вызвало остановку стрельбы. Несколько раз прежде раненный георгиевский кавалер и тут поднял руку, призывая ко вниманию, и густым командным голосом объявил:

— Слушайте все! Солдаты-самокатчики не виноваты, не стреляйте в них! Приказ обороняться отдал им я, исполняя долг присяги. А теперь отдаю...

Спохватились. Раздался нестройный залп, кто раньше, позже,— полковник упал мёртвый.

И ещё кинулись его дотыкать штыками, ножами.

А толпа ринулась мимо — в ворота, особенно убивать офицеров, кого увидят. И избивая солдат.

Некоторые успели бежать через заснеженные огороды.

Горело во многих местах, клубился дым.

Самокатчики выходили сдаваться с поднятыми руками.

Их били.

186

Вот чудо — произошла!! И до того мгновенно, что не могло вместиться ни в какую голову: гнетущая трёхсотлетняя власть отпала с такой лёгкостью, будто её и вовсе не было! Ещё вчера вечером нельзя было понять всего значения. А сегодня утром проснулись и узнали, что революция уже везде победила — сама собой, неслышно, как может выпасть ночной снег, всё царственно украшая. В столице — уже по сути всё и совершилось. Если нужна была оборона, то где-то уже за пределами города. Конечно, вся остальная Россия ещё лежала во тьме и неясности — но вот уже адмирал Непенин телеграфировал из Гельсингфорса, что весь Балтийский флот присоединяется к революции.

Такая бескровность победы! — невероятный праздник! Что-то, но сопротивление царского режима всегда ожидалось долгими смертными боями. От неожиданности победы Андрей Иваныч ощущал в душе и радостное свечение, но и тревожное разрежение. Настолько хорошо, что уже и тревожно, что уже и быть не может так.

Да неужели только позавчера они стояли со Струве на Троицком мосте — и поминали революцию как фантастическую и даже нежеланную невозможность?

А сегодня утром у того же Винавера собрался на завтрак кадетский ЦК и обсуждали: как бы революцию примедлить. (А — стремиться ли к сохранению монархии? Пока не голосовали, но Милюков настаивал: сохранить, Винавер уже сильно колебался.)

И многие члены Думы пребывали в этой душевной взлохмаченности. Слонялись по Таврическому — нет, пробивались локтями по своим привычным помещениям — в робости, растерянности, непонятном состоянии, когда не знаешь, как себя вести.

Сколько раз в костюмной тройке, крахмале и галстуке пересекал Шингарёв этот обычно пустынный Екатерининский зал, иногда с подбавкою разряженной публики с хор, проходил, всегда привязанный сердцем к нуждам огромного, прямо не видимого, обобщённого народа, о котором были и все мысли, и все речи,— а никогда не грезилось, что этот народ и сам явится в Таврический дворец — несколькими тысячами, десятком тысяч. Бесконечно трогательно было видеть вчера вечером поздно, как разрозненные солдаты постепенно составляли винтовки, по нескольку в пирамидки, постепенно опускались на пол, прислоняясь к белым колоннам, потом и ложась на паркетный пол. Бесконечно умиляло это доверие, с которым солдаты, отбившиеся от частей, приходили именно в Государственную Думу, наслышанные о ней, веря в неё, храм свободного слова, под кров её и защиту. Ведь для многих из них, не петроградских, этот город был темнее дремучего леса, а вот нашли ж они себе здесь верный огонёк и убежище. У какого другого народа могла бы проявиться такая непритязательная простота?

А сколько наивности прекрасной было вот в этом приходе в Думу с оркестром, чтобы здесь послушать подбодряющие речи! После вчерашнего бунта солдатам было радостно мириться с офицерами и возвращаться в законность,— им легко становилось на душе. Лейб-гренадеры вошли прямо сюда, в Екатерининский зал, и тут перестроились. Шингарёв с любопытством и удовольствием смотрел на это зрелище от стены. Родзянко встал на кресло, ещё тяжелей и крепче себя, и гаркнул над головами приветствие.

И ему отрявкнули „здравия желаем" лейб-гренадеры с силой, какая в этом зале не раздавалась от сводного потёмкинского оркестра после взятия Измаила.

— Спасибо вам,— гремел Родзянко,— что вы пришли помочь нам восстановить порядок, нарушенный нераспорядительностью старых властей! Поддержите же традиции доблестного российского полка, которые сам я, как старый солдат, привык любить и уважать.

Наивный простоватый Родзянко, он уверен был, что его личная причастность к армии в молодости тут всех воодушевит и расположит.

— Государственная Дума образовала Комитет, чтобы вывести нашу славную родину на стезю победы и обеспечить ей славное будущее... Православные воины! Послушайте моего совета. Я старый человек и обманывать вас не стану. Слушайтесь ваших офицеров, они вас дурному не научат. Господа офицеры, приведшие вас сюда, во всём согласны с членами Государственной Думы.

Откуда он это взял? Это ещё очень было вилами по воде. Конечно, многие офицеры, развитые и молодые, находились под влиянием Думы,— но многие были и преданы трону, а третьи знали только присягу и устав. Очень может быть, что часть офицеров сейчас пришла сюда не добровольно. У некоторых и был вид, что пришли на казнь,— опущенная голова, невидящие глаза.

— Итак, я прошу вас подчиняться и верить вашим офицерам, как мы им верим. Прошу вас спокойно разойтись по казармам. Ещё раз — спасибо вам за то, что вы явились сюда! Да здравствует Святая Русь! За матушку-Русь — ура-а!

Охотно подхватили и раскатили „ура". И Родзянко осторожно слез с кресла.

А вслед на то же кресло не без труда забрался Милюков, тоже не слишком привыкший к таким упражнениям.

— С вами говорит член Временного Комитета Государственной Думы Милюков! — объявил он, даже и без обращения, не найдя ли его.

Куда, голос его был не тот, да ещё для такой толпы. В несколько голосов ответили:

— Знаем.

Не солдаты, конечно. Никого они здесь не знали. Как странно, наверно, им было выслушивать солидных образованных людей, свои первые речи в жизни.

Но и Павел Николаевич никогда в жизни не выступал перед простым народом, а только перед аудиториями академическими и парламентарными. Однако он топорщил усы решительно и поглядывал довольно смело на солдатский строй. И голосом прихрипшим настаивал:

— После того как власть выпала из рук наших врагов, её нужно взять в наши собственные руки. И это надо сделать немедленно, сегодня. Ибо мы не знаем, что будет завтра.

Крикнули одобрительно в нескольких местах, но, кажется, не в строю — может, те именно, которых кричали „знаем!".

— Что же нужно сделать сегодня для того, чтобы взять власть в свои руки? — докторально спрашивал Милюков.— Для этого мы должны быть прежде всего организованными, едиными и подчинёнными единой власти.

Неразборчивым проплытием его слова миновали строй. Ах, не умели они говорить в такой момент! Знал Шингарёв, как звучит его собственный голос, несравнимо убеждая всех ещё прежде слов. Кажется, дай говорить, он сейчас собрал бы сердечным касанием сочувствие всех солдат Петрограда и убедил бы их во всём, что нужно! Но он не был член думского Комитета, да и в кадетской партии существовало довольно строгое чиноподчинение и разделение

обязанностей. Павел Николаевич был установленный несомненный лидер и самый умный в партии человек, и говорить было теперь ему.

— Такой властью является Временный Комитет Государственной Думы. Нужно подчиняться ему, а никакой другой власти! — очень настаивал перед солдатами строгий барин в крахмальном воротничке и очках.— Ибо двоевластие опасно и грозит нам распылением и раздроблением сил.

Это — в Думе так можно было бы сказать. А здесь — просто не поняли, и вся тирада легла зря.

Но задумался и Шингарёв: почему он говорил „двоевластие"? Если имел в виду трон — так двоевластие была пока единственная возможность для Комитета. А если имел в виду разбродных революционеров, митинговавших тут же, в Таврическом,— так они не набирались на власть.

Павел Николаевич совсем избегал слова „революция" и не напоминал об идущей войне с Германией (чтоб не потерять аудиторию на первом же шаге?). Его скучная полоса доводов тянулась скучным голосом, и не пробивалась короткая ясность:

— Помните, единственное условие нашей силы — организованность! Неорганизованная толпа не представляет силы. Если бы вся армия превратилась в неорганизованную толпу, то достаточно небольшой кучки организованных врагов, чтобы её разбить. Надо сегодня же организоваться. У кого нет — сами найдите и станьте под команду своих офицеров, которые состоят под командой Государственной Думы. Это вопрос сегодня очередной. Помните, что враг не дремлет.

И только под конец через месиво повторений пробилось:

— И готовится стереть нас с вами с лица земли.

А эта угроза — была, может быть, сразу и слишком сильно высказана? Но и — чего же другого теперь ожидать от царя? Можно себе представить гнев в Ставке!

А Милюков в ободрение солдат или в ободрение самого себя спросил:

— Так этого — не будет?

— Не будет,— розно и неуверенно закричали ему.

Да, и солдаты ощущали странность этой радости, этой победы: она была как будто безгранична, а совсем не было в ней полноты.

Гренадеры шумно поворачивались и шаркали, начиная освобождать место какому-то другому пришедшему батальону.

Шингарёв подошёл к Милюкову. Павел Николаевич моргал, кажется, недовольный собою, выражение кислое. Он был в сбитом состоянии от этих выступлений при необычной аудитории, сегодня рано утром ездил выступать перед солдатами и на Охту. Он не высказывал, но очевидно понимал, что выступления его выходят без эффекта. Но у него хватало нервной энергии перерабатывать в себе трудности и неприятности.

Принято было между ними, что Шингарёв, второй человек в думской фракции кадетов, всегда советуется с Милюковым, чем ему заняться.

Он — вполне готов был произносить речь перед следующим батальоном, но и отлично понимал, что раз прогнали слепую безумную власть — то надо же кому-то и садиться работать вместо неё. И вполне оказался готов, когда Милюков сказал озабоченно:

— Андрей Иваныч, там эти поворотливые из совета рабочих депутатов уже учредили свою продовольственную комиссию. Так они и всё продовольствие могут сейчас захватить — а это питающая жила. Надо отстоять там наши позиции. Знаете, пока что, пока прояснится ситуация — а идите вы от нас к ним туда заседать, да попробуйте стать и председателем, ведь вы же толковей их всех.

Шингарёв задумался.

— Ведь вы же из кадетов — наиболее в курсе. Кому ж, как не вам? Пока. Пока всё прояснится.

И Шингарёв — согласился. Это верно. Речи произносить — не самое первое дело. И не толкаться бессмысленно в комнатах думского Комитета, узнавать новости, ахать и рассуждать, как пойдет развитие событий. И не комиссии военно-морского бюджета заседать сейчас в этом темпе революции.

А продовольствие, конечно, нужно всего срочней, и Шингарёв незаметно для себя за последние месяцы, действительно, втянулся в дискуссию о хлебе (как попадал он и всегда во все острые дискуссии). И — он же составлял, да, в декабре, продовольственный план Прогрессивного блока (не слишком увязанный и не слишком ясный самим, но с сильным плановым элементом в заготовках, перевозках и распределении, неповышаемостью твёрдых цен, отстранением от дела всей государственной администрации, с общественностью на замену).

Получалось — да, ему в эту комиссию и идти. Всего полезнее сейчас и есть: считать пуды муки и их пути в хлебные фунты.

Пока утвердится кадетская власть — и Шингарёв сможет достойно заняться своей другой парламентской специальностью, на которой годы руку набивал,— финансами.

Как всегда у них предполагалось, Шингарёв будет министром финансов.

187

Ожидаемый спаситель родины и трона генерал Николай Иудович Иванов мало поспал в эту ночь,— уж как начнутся заботы, не поспишь. Проснулся же по обыкновению рано. А утром-то — лучшие и мысли! Как мог он начинать ехать к Петрограду и вести доверенные ему войска, не разобравшись толком в той путаной петроградской обстановке? Ясно, что надо было прежде получить самые полные разъяснения. И лучше всего это было сделать, вызвавши Хабалова к прямому телеграфному проводу и предложить ответить на главные вопросы. Которых, стал Иудович набирать, сидя в вагоне на своём любимом мягком диване за столиком, набралось десять.

С этими вопросами он к восьми утра уже был в генерал-квартирмейстерской части (между тем обдумывая и свою докладную Алексееву насчёт возложенного диктаторства, как от него уклониться, и поручение адъютанту закупить сейчас же в Могилёве провизию, которой тут много, для петербургских знакомых генерала).

Запросили Петроград. Из помещения Главного Штаба ответили, что генерал Хабалов находится в Адмиралтействе, выход его оттуда может вызвать арест на улице революционерами. Но пока есть отвод прямого провода на Адмиралтейство, соединим.

(Вот так положение в столице! И — куда же ехать?..)

Ну хорошо, пусть ответит хотя бы через доверенное лицо. Передали им 10 вопросов.

Поднялся уже и Алексеев. (Вот ему бы — и ехать.) И представил ему Николай Иудович на своём генерал-адъютантском бланке, что в минувшую ночь, около трёх часов пополуночи, Его Императорскому Величеству благоугодно было повелеть доложить начальнику штаба Верховного для поставления в известность председателя совета министров о том, что все министры должны беспрекословно исполнять все требования генерал-адъютанта Иванова.

Если достоверность этих полномочий требует проверки через сношение с царским поездом — генерал Иванов готов был ждать. (Всякий оттянутый час приносил облегчение задачи, а оттягивать всегда может найти законные поводы тот, кто долго служил в армии.)

Такой проверки быть сейчас не могло. Но и столь важного распоряжения не мог Алексеев подтвердить по словесной передаче. Он так и обещал передать в Петроград Беляеву, что есть такая словесная передача. А генерал-адъютанту Иванову предусмотрительно выписал лишь документ, по каким статьям Полевого управления войск ему предоставляется право предавать военно-полевому суду отдельных гражданских лиц и целые категории их.

Затем уведомил его Алексеев, что распорядился придать ему по пути ещё артиллерию, даже и тяжёлую.

А Иванов напомнил, что войск у него мало, и надо бы добавить с Юго-Западного фронта гвардию.

За пределами того Алексеев никак уже Иванова с выездом не торопил, больше не вмешивался.

А задача Николая Иудовича была двойственная: чтоб если придётся обороняться — то было бы войск побольше; а если сражаться не придётся (как уже сдавалось по петроградской обстановке), то было бы их поменьше и подошли б они как можно несвоевременней: тогда меньше придётся перед новым правительством отвечать за всю эту поездку.

И он не настаивал перед начальником военных перевозок и не в принудительной форме телеграфировал Рузскому на Северный фронт и Эверту на Западный насчёт точных сроков доставки всех этих пехотных и кавалерийских полков, а только назначал, что будет не сегодня, а завтра с утра ждать на станции Царское Село. Какие-то из этих полков ещё и с места не трогались, какие-то уже были в эшелонах, третьи готовились к погрузке на отправных станциях,— ох, с такою массою войск его миссия не могла кончиться благополучно! Во всяком случае прямо в Петроград ни одной части он не назначал, а только не доезжая.

Ещё дал телеграммы коменданту Царского Села готовить завтра помещения для расквартирования.

А между тем георгиевский батальон, светлокоричневые погоны с ленточкой посередине, у многих по 3 и 4 георгиевских креста,— во главе с генералом Пожарским был уже вполне готов к движению, хотя тоже, кажется, без большого пыла. Пожарский был совсем не тот доблестный князь на Красной площади, и не поджарый, но толстый и сильно недовольный поездкой, как видно. Повелел генерал Иванов выдать всем солдатам по 120 патронов, а пулемётная команда вооружена,— и отправляться в 11 часов. И об их эшелоне уговорился с начальником перевозок, что он по выгрузке не воротится в Могилёв, но пребудет в Царском Селе в распоряжении генерал-адъютанта для возможной обратной поездки.

Сам же генерал-адъютант со своим вагоном пока не ехал с ними, но оставался ещё осмотреться, подумать, да и дождаться ответов Хабалова.

В двенадцатом часу дня пришёл и ответ Хабалова на 10 вопросов.

Итак: какие части в порядке и какие безобразят? Названы немногие в распоряжении Хабалова, прочие перешли на сторону революционеров или по соглашению с ними нейтральны. Какие вокзалы охраняются? Все во власти революционеров.

Ничего себе, хорошее начало...

В каких частях города поддерживается порядок? Весь город во власти революционеров, телефон не действует, связи с частями города нет.

Так тогда — с какой же стороны в город можно вступить?..

Все ли министерства правильно функционируют? Хабалов предполагает, что уже — ни одно. Какое количество продовольствия в городе? 25 февраля было 5 с половиной миллионов пудов муки.

Поразительная цифра! — это не только до нового урожая, но Петроград может и другие города снабжать. Откуда ж волнения?..

Много ли оружия в руках бунтовщиков? Все артиллерийские заведения у них. Какие военные власти в нашем распоряжении? Один начальник штаба.

Ну-у-у-у... При таких ответах правильное решение генерал-адъютанта Иванова было бы — вообще не ехать.

Но у генерала бывает порой столько же свободы, сколько у солдата.

И оставалось — тянуть свой вагон вослед георгиевскому батальону.

Тут принесли исправление цифры: не 5 с половиной миллионов пудов муки, а 550 тысяч. Вкрался лишний ноль.

188

Отряд поручика Вержбицкого вчера в темноте достиг своего трёхэтажного здания на Сердобольской улице — прежде трамвайного управления с гаражами, теперь разграбленных гаражей самокатного батальона. Какие-то фигуры ещё шевелились там, но от одного залпа в воздух исчезли.

В доме не действовало ни электричество, ни телефон, ни отопление. Зажгли свечи — стали снаружи пулями стёкла бить. Пришлось потушить. Так и заночевали, выставив наружные посты.

А противник — за домами пораззжёг костры.

Все самокатчики были ребята молодые, развитые, дельные, только не обстрелянные на фронте. Да и трое офицеров тоже молодые, поручику двадцать семь.

Со стороны города всё время доносилась ружейная и пулемётная дальняя стрельба, в трёх местах поднимались пожарные зарева. Во всём огромном городе развернулось восстание, но связи не было, приказаний не поступало, и во всём нужно было действовать по своей догадке.

Переночевали в холоде, однако спокойно. Перед рассветом забрали внутрь свои посты, забаррикадировали мебелью и хламом входные двери, расставились при окнах.

Но и ещё несколько часов никто не нападал, и улица рядом оставалась пустынной, хотя на других улицах видно было из верхних окон движение, вооружённые люди и грузовики с красными флагами.

Стали ждать. Одно плохо — со вчерашнего полудня ничего не ели.

Но вот захлопали по их зданию выстрелы, зазвенели разбиваемые стёкла, полетела штукатурка, бело дымя.

Самокатчики пока не отвечали, офицеры присматривались.

Окружающие — штатские, матросы и солдаты, стали накапливаться — за домами, за постройками станции Ланской, за железными переплётами и каменными устоями моста Финляндской железной дороги через Сердобольскую улицу. И со всех сторон много стреляли, не жалея патронов.

Стали из окон отстреливаться и самокатчики. Странное чувство — вести огонь по своим. Никакого озлобления, и стрелять не хотелось. Да те, стрелявшие снизу вверх, только и били по потолкам.

Но потом, видно, появился у них понимающий командир: он разместил по крышам и вторым этажам хороших стрелков — и у самокатчиков появились раненые и убитые, а перевязочного материала не было.

Стали свирепеть, „свои" — перестали быть своими. Стали бить серьёзно, и кто высовывался из-за трубы или карниза соседних домов — скатывался с крыши.

Подкатил бронированный автомобиль, выпустил пулемётную ленту по окнам — но что-то у него заело, и он ушёл.

Тогда какие-то собрались в непросматриваемом пространстве, на тротуаре у самого дома, прикатили бочку, и стали насосом подавать в окна огненную струю.

Загорелись шинели раненых, лежащих на полу.

Нечем было ответить, не было ручных гранат, но догадались разбивать печку — и сбрасывать на головы огнемётчиков тяжёлые изразцы. Прогнали.

Однако убитых и раненых становилось всё больше. Особенно метко били несколько, кто залёг за насыпью железной дороги, за переплётами моста. Сами они были хорошо укрыты — и не допускали к окнам. Самокатчиками овладевали неуверенность и смятение.

Тут сверхсрочный пулемётный унтер-офицер Орлов подбежал к подпоручику Левитскому и поманил, что из другого конца здания этих замостовых хорошо видно во фланг. Действительно, не догадались раньше, отсюда противник был виден, как на учении: запасные гвардейцы с красными погонами и петлицами, матросы в бескозырках, штатские и два-три студента.

И сразу исчезло волнение, мысли стали отчётливыми, движения быстрыми. Осторожно выбили маленькие кусочки стекла в нижних углах окон, чтоб только незаметно выставить дула винтовок.

— Пиши завещание! — пророкотал Орлов, нажимая на спуск.

И сразу перепрокинулись один матрос и один штатский с багровым лицом в меховой шапке, даже видна была струйка крови из простреленной шеи.

Стреляли с выбором, не торопясь. Промахнуться было невозможно, а выстрелы тонули в общей трескотне, никто сюда и не оглянулся, те всё прикрывались с фронта.

Из-под моста ушли немногие. Двух студентов Левитский по симпатии пощадил, дал уйти.

Положение улучшилось, огонь по зданию заметно ослабел.

Но стала слышна оживлённая стрельба со стороны главных казарм самокатного на Сампсоньевском. Потом — и пушечные выстрелы, там поднялись столбы чёрного дыма.

Это значит: из пушек беспощадно расстреливали их семь самокатных рот в деревянных бараках.

Скоро там всё смолкло, и только поднимались дымы пожара.

Потом за снежным пустырём с мёрзлыми кочерыжками снятой капусты, за деревянными заборами Флюгова переулка взметнулось пушечное пламя — и трамвайное здание дрогнуло от двух одновременно попавших снарядов.

Каменное здание с толстыми стенами могло долго выдерживать обстрел, но грохот и эхо, известковая пыль как туман потрясли молодых необстрелянных, а один снаряд разорвался и в комнате, ранило нескольких, загорелось, задымило, кто-то крикнул „газ",— и самокатчики сами бросились вниз, разбирать баррикады и сдаваться толпе.

Левитский тоже был ранен, бок шинели уже заливало коричневым. Стал медленно спускаться по лестнице вместе с подпоручиком Янковским (наганы бросили).

Появились перед толпой на высоком крыльце, как на эшафоте. Раздался яростный рёв двора и улицы. Там дальше кого-то из самокатчиков били прикладами. Самообразовался конвой из солдат, матросов и студентов, повели обоих офицеров — но толпа кричала: „расстрелять! расстрелять!", разметала конвой и прижала к стене. И самые первые, кто хотели расстрелять, не могли этого сделать в таком сжатии. Матрос перед их носом тряс огромной гранатой.

А два студента кричали:

— Товарищи! Не нужно больше крови! не омрачайте светлого лика революции! Товарищи!

Опять повели, и опять толпа оттеснила конвой, опять прижала к стене и опять расстрельщики не могли отодвинуться на вытянутую винтовку, чтобы стрелять.

— Осадите, товарищи! Дайте совершиться революционному правосудию! Товарищи! — кричали они толпе и упирались ногами в стену, чтоб отжать напиравших сзади.

Офицеры приготовились к смерти. Левитский почему-то запрокинул голову и увидел сосульки под крышей.

Матрос с надписью „Бесстрашный" распоряжался:

— Без команды не стрелять! Слушай мою команду! Приготовьтесь, товарищи!

Но перебил их новый мощный голос, и вперёд протиснулся амурский казак, прапорщик, с огромным красным бантом на груди.

— Приказываю отвезти в Таврический дворец! — закричал этот единственный среди них офицер, который и руководил штурмом и так умело расставлял стрелков. (Он был в отпуску в Петрограде, в пьяном состоянии ударил часового и в ожидании военного суда сидел в тюрьме. Революция освободила его, и, как пострадавший тоже за свободу, он присоединился.)

После препираний посадили офицеров-самокатчиков на грузовик с матросами. И повезли.

Продолжение следует

Наталия КАРПОВА

◆◆◆

Пятипалые кони скачут,
пятипалые кошки воют...
Под Чернобылем чахнут дачи,
новых дач уже не построят.

Вот и рушится мирозданье,
разрастается лейкемия,
видно, это заболеванье
над страной кружит, как стихия.

Пятипалые скачут кони,
пятипалые воют кошки,
радиация в каждой кроне,
в каждой ягоде, хлебной крошке.

Стал Чернобыль одной из трещин
в теле нашего государства,
из которой страданья хлещут
и в которую льют лекарства.

И решаются сверхзадачи,
и почет воздают героям,
но ужасные кони скачут
и несчастные кошки воют.

◆◆◆

Написано много, да вовсе не тянет в редакции,
Где сонмища пишущих бродят и нету бумаги.
Пора бы журналам решиться на смелые акции,
Закрыться от авторов, выбросить белые флаги.

Написано много, не знаю, что делать с написанным,
Такое, брат, время — народу нужны эмигранты.
А если ты здесь о любви свою песню насвистывал,
Глазей, как причудливо были разыграны фанты.

Вдруг мысль обожжет — да читают ли люди поэзию?
Вокруг обнаженная проза, бушуют собрания...
А ты, словно йог, то по у́глям идешь, то по лезвию,
Не зная, какое готовят тебе наказание.

◆◆◆

Переполненное метро, Невский, превращенный
В человеческую реку, все чаще бурлящую...
Классический город, новым временем порабощенный,
Оказался в тисках своего настоящего.

Интуристы, лимитчики, проститутки, фарцовщики,
Согнутые в три погибели жалкие старики,
Инвалиды в колясках, разные проектировщики
Партий, программ... И на каждом шагу — тупики.

Что же будет с нами?
С великим городом нашим?
Поднимем красное знамя
И бодренько им помашем?
А если новое знамя
Вдруг взовьется над нами?
Не полыхнет ли пламя,
Как когда-то, кострами?

◆◆◆

Холодный день заката августа,
Дождь, сыро на сердце и сиро.
Нет дела до правленья Августа
И до сегодняшнего мира.

В природе полная анархия,
В империи — наполовину.
На ветку с ветки перепархивая,
Тоска удар наносит в спину.

Мне так наскучила политика,
Толпа, бушующие страсти...
А ветер мчится, словно с митинга,
Вкусив свободы новой власти.

Одни давно страдают ностальгией
По родине, другие рвутся вон
Из Латвии, Армении, России,
Куда удастся,— лишь бы за кордон.

Великое идет переселенье.
Единственная жизнь не велика.
Равны ли мы пред Богом от рожденья?
Ведь пропасть после смерти — глубока.

И разве разделяют континенты
Людей в коротком странствии земном,
Когда и жизнь, и смерть —
одномоментны,
И все начнется только в веке том.

Э. К.

Разделив на двоих годы жизни, печальной и дикой,
Кое-как мы пробились, пройдя нищеты лабиринты.
Коммунисты выходят на праздники с красной гвоздикой.
Как мне все они чу́жды, мне нужен, и вправду, один ты.

В этой лживой стране мы росли, бились в этой системе,
Слава Богу, что рано друг друга во тьме отыскали.
Мы чего-то достигли, участвуя в массовой сцене.
Место действия нам очертили стальными тисками.

Время действия — дети XX века и съезда.
Хорошо, что успели шагнуть мы навстречу друг другу.
Не хочу ни наград, ни богатств, ни отъезда.
Но прошу тебя, крепче сожми и держи мою руку.

Старые девы

Я засмотрюсь на подруг дорогих — королевы!
Как сложены, хороши и одеты со вкусом...
Разве возможно сказать о них «старые девы»?
Словно поранить ножом иль змеиным укусом.

Старые девы заката двадцатого века.
Да, никуда от навязчивой правды не деться.
Может быть, их интеллект — основная помеха?
Может быть, нравственность, прочно привитая с детства?

Вроде они энергичные, сильные вроде.
Где же влюбленные рыцари, мудрые принцы?
Принцип отбора, наверно, нарушен в природе
Или какой-то другой, непонятный мне принцип.

Ветрено, как надоели мне эти ветра!
Маются, стонут деревья с утра до утра.
А по ночам, словно волчий взывающий вой,—
Ветер у ставень мотив подвывает хмельной.
Печь не желает жевать — отсырели дрова,
Ветрено, зябко и кру́гом идет голова.
Ветер, беспутник, с конторы сорвал алый стяг,
Ветер деревья легко превратил в доходяг,
Ветер! Уйми свою душу, приляг, отдохни,—
И без того все короче и ночи, и дни.

Борис СЛУЦКИЙ

◆◆◆

Я был глупее всех на белом свете,
Был дураком и принимал всерьез,
Чего б ни напечатали в газете,
И хохотали умники до слез.

Зато теперь я вправе оскорбляться.
А умникам — опять кричать: «Ура!»
А умники должны приспособляться
Сегодня к правде, словно к лжи—
вчера.

◆◆◆

По давно утвержденной смете
стушеваться нельзя мне никак:
буду жить до самой смерти
и потом года два — в веках.

Года два или три посмертной
славы,
даже лет пять или шесть.
Из веков череды безмерной
у меня такой выдел есть.

Все придуманные обороты,
весь решенный ворох проблем
до угла, до поворота,
а потом исчезнут совсем,

станут полкой книг неподвижной,
станут строчкою в словаре,
станут мелкой пылью книжной,
розовеющей на заре.

Забыть о форме

Вставляю маленький оркестр,
в стихотворенье врезываю,
чтоб музыкой казался текст,
поэзией — поэзии.

А чтобы неба не лишить
стихи
и солнца также,
врезаю маленький ландшафт —
и помню о пейзаже.

Я не забыл и аромат,
вложил под строчки вкладыш —
и розы у меня гремят,
благоухает ландыш.

И вот потерянная мной
слеза
дождем рыдает,
и орошает шар земной,
и в океан впадает.

◆◆◆

Наливается стакан,
выпивается до дна.
Жизнь одна, одна, одна.
Жизнь — одна.

И нетвердою рукой
наливается другой.
Наливается,
выпивается.

Жизнь, разбавленная спиртом,
отплывает и плывет.
Где ты? Дремлешь. Значит, спи там.
Вот!

В стол уткнувшись головой,
снами странными забитой,
и с улыбкою кривой,
на устах полузабытой,
спи!

И сон смотри предлинный,
словно песенный, былинный
плачущий ямщик — в степи,
спи!

◆◆◆

Удивляя легкоподъемностью
даже собственную жену,
я, как в молодости, в ранней юности,
сон с размаху с себя стряхну.

Подойду к большому окну
и взгляну на весну.
Вот она: внизу черна,
посреди зелена,
а вверху она синяя-синяя.
Эти яркие краски и линии,
эти четкие,
словно флаг
государства нового, свежего,
что весна ежегодно вывешивает
в городах, лесах, полях.

Рядом с электропроводкою
птицы линии тянут свои.
Над травою, за ночь промокшею,
скоро зазвучат соловьи.

Повторение

Повторяю. Врезаю в гранит
то, что было написано мелом.
То, что слышано между делом,
навсегда теперь память хранит.

Повторение — мать учения
и не худо бы вам понимать:
ради дитятки на мучения
без сомнения двинется мать.

И поэтому повторяю,
а потом повторяю повтор,
и потише на тон, на полтон
вновь повто, повтото, повторяю.

И на собственном тягостном опыте
все проверив, всем говорю:
— Позабудьте,
посмейте, попробуйте,
а посмеете — вновь повторю.

Осуждение Гераклита

Все течет. Ничего не меняется.
Тот же берег. Та же вода.
Как обычно, все начинается,
чтобы кончиться, как всегда.

Все течет. Ну и что же следует
из того, что все течет?
Гераклита читать не следует.
В философии он не в счет.

Дуб посреди Литвы

Посреди холма,
посреди Литвы,
грандиозен и колоссален,
дуб в зеленом празднестве,
в пире листвы,
голосит двумя голосами.

То ладонями листьев, как Большой
театр
аплодирует танцовщице,
он приветствует ветер, по-польски
вятр,
и перешелестеть его тщится.

То из тысячи своих рукавов
выпускает птичьи тучи,
и тогда большой идет разговор,
общий хор запевает летучий.

А покудова тысячью крыльев бьет
этот взлет, этот взмет, этот взрыв,
одинокий аист на крыше вьет
личный мир, крылами укрыв.

И покуда коллектив, взлетев,
возвращается в отчий дом,
одинокий аист своим трудом
лично взращивает свой посев.

Посреди холма,
посреди Литвы
плещет дуб
ладонями всеми листвы.

Судьба

Судьба, которая непрочь,
чтобы ее испытывали,
не может вовсе выносить,
чтобы ее обжаловали.
Она не может выносить,
чтобы ее обсчитывали.
Она вам все-таки судьба,
а не просто трали-вали.

Как пес цепной, она за мной
круги большие делает.
Но знаю я длину цепи
и то, что цепь крепка,
и как она там им рычит,
и как она ни бегает,
но это тянется давно,
можно сказать — века.

И я, наверно, дотяну,
она же — не дотянется,
я дотяну свой долгий срок
и обману свой рок,
а этот лай, а этот вой,
цепные эти танцы
я все это предвидеть смог
и описать я смог.

Публикация Ю. БОЛДЫРЕВА

Виктор
СУВОРОВ

АКВАРИУМ

Повесть

Книга, которую сегодня предлагает «Нева», написана профессиональным разведчиком, или, проще говоря, профессиональным шпионом. Автор ее в свое время принял решение не возвращаться на родину, книга же его — своего рода исповедь — выдержала ряд изданий за рубежом. О разведчиках создано немало произведений. Однако «Аквариум» В. Суворова носит особый, совершенно непривычный для нашего читателя характер. Автор рассказывает о закулисной, черновой и порой весьма жестокой системе подготовки профессионального разведчика. Все это описано с детальным знанием дела. Правда, иной раз на страницах дает себя знать и беллетризм. Это, в частности, говоря о прологе, отметил в своем отзыве О. Калугин, знающий работу разведчиков тоже не понаслышке, ныне — народный депутат СССР. Кстати, по мнению О. Калугина, и сопоставления ГРУ и КГБ, и рассуждения автора о месте и роли КГБ в советском обществе довольно наивны. Тем не менее, пишет О. Калугин, перед нами «добротное, написанное не без искры божьей книга, читаемая с интересом и сочувствием. Она раскрывает еще одну малоизвестную сторону нашей жизни, долгие годы скрытую завесой секретности, мифической героикой и просто обманом».

ПРОЛОГ

— Закон у нас простой: вход — рубль, выход — два. Это означает, что вступить в организацию трудно, но выйти из нее — труднее. Теоретически для всех членов организации предусмотрен только один выход из нее — через трубу. Для одних этот выход бывает почетным, для других — позорным, но для всех нас есть только одна труба. Только через нее мы выходим из организации. Вот она, эта труба...— Седой указывает мне на огромное, во всю стену, окно.— Полюбуйся на нее.

С высоты девятого этажа передо мной открывается панорама огромного бескрайнего пустынного аэродрома, который тянется до горизонта. А если смотреть вниз, то прямо под ногами лабиринт песчаных дорожек между упругими стенами кустов. Зелень сада и выгоревшая трава аэродрома разделены несокрушимой бетонной стеной с густой паутиной колючей проволоки на белых роликах.

— Вот она...— Седой указывает на невысокую, метров в десять, толстую квадратную трубу над плоской смоленой крышей. Черная крыша плывет по зеленым волнам сирени, как плот в океане или как старинный броненосец, низкобортный, с неуклюжей трубой. Над трубой вьется легкий прозрачный дымок.

— Это кто-то покидает организацию?

— Нет,— смеется седой.— Труба — это не только наш выход, труба — источник нашей энергии, труба — хранительница наших секретов. Это просто сейчас жгут секретные документы. Знаешь, лучше сжечь, чем хранить. Спокойнее. Когда кто-то из организации уходит, то дым не такой, дым тогда густой, жирный. Если ты вступишь в организацию, то и ты в один прекрасный день вылетишь в небо через эту трубу. Но это не сейчас. Сейчас организация дает тебе последнюю возможность отказаться, последнюю возможность подумать о своем выборе. А чтобы у тебя было над чем подумать, я тебе фильм покажу. Садись.

Седой нажимает кнопку на пульте и усаживается в кресло рядом со мной. Тяжелые коричневые шторы с легким скрипом закрывают необъятные окна, и тут же на экране без всяких титров и вступлений появляется изображение. Фильм черно-белый, старый и порядочно изношенный. Звука нет, и оттого отчетливее слышно стрекотание киноаппарата.

На экране высокая мрачная комната без окон. Среднее между цехом и котельной. Крупным планом — топка с заслонками, похожими на ворота маленькой крепости, и направляющие желоба, которые уходят в топку, как рельсы в тоннель. Возле топки люди в серых халатах. Кочегары. Вот подают гроб. Вот оно что! Крематорий. Тот самый, наверное, который я только что видел через окно. Люди в халатах поднимают гроб

в устапавливают его на направляющие желоба. Заслонки плавно разошлись в стороны, гроб слегка подтолкнули, и он понес своего неведомого обитателя в ревущее пламя. А вот крупным планом камера показывает лицо живого человека. Лицо совершенно потное. Жарко у топки. Лицо показывают со всех сторон бесконечно долго. Наконец камера отходит в сторону, показывая человека полностью. Он не в халате. На нем дорогой черный костюм, правда совершенно измятый. Галстук на шее скручен веревкой. Человек туго прикручен стальной проволокой к медицинским носилкам, а носилки поставлены к стенке на задние ручки так, чтобы человек мог видеть топку.

Все кочегары вдруг повернулись к привязанному. Это внимание привязанному, видимо, совсем не понравилось. Он кричит. Он страшно кричит. Звука нет, но я знаю, что от такого крика дребезжат окна. Четыре кочегара осторожно опускают носилки на пол, затем дружно поднимают их. Привязанный делает невероятное усилие, чтобы воспрепятствовать этому. Титаническое напряжение лица. Вена на лбу вздута так, что готова лопнуть. Но попытка укусить руку кочегара не удалась. Зубы привязанного впиваются в его собственную руку, и черная струйка крови побежала по подбородку. Острые у человека зубы, ничего не скажешь. Его тело скручено крепко, но оно извивается как тело пойманной ящерки. Его голова, подчиняясь звериному инстинкту, мощными ритмичными ударами бьет о деревянную ручку, помогая телу. Привязанный бьется не за свою жизнь, а за легкую смерть. Его расчет понятен: раскачать носилки и упасть вместе с ними с направляющих желобов на цементный пол. Это будет или легкая смерть или потеря сознания. А без сознания можно и в печь. Не страшно... Но кочегары знают свое дело. Они просто придерживают ручки носилок, не давая им раскачиваться. А дотянуться зубами до их рук привязанный не сможет, даже если бы и лопнула его шея. Говорят, что в самый последний момент своей жизни человек может творить чудеса. Подчиняясь инстинкту самосохранения, все его мышцы, все его сознание и воля, всё стремление жить вдруг концентрируются в одном коротком рывке... И он рванулся! Он рванулся всем телом. Он рванулся так, как рветси лиса из капкана, кусая и обрывая собстаенную окровавленную лапу. Он рванулся так, что металлические направляющие желоба задрожали. Он рванулся, ломая собственные кости, разрывая жилы и мышцы. Он рванулся...

Но проволока была прочной. И вот носилки плавно пошли вперед. Дверки топки разошлись в стороны, озарив белым светом подошвы лакированных, давно не чищенных ботинок. Вот подошвы приближаются к огню. Человек старается согнуть ноги в коленях, чтобы увеличить расстояние между подошвами и ревущим огнем. Но и это ему не удается. Оператор крупным планом показывает пальцы. Проволока туго впилась в них. Но кончики пальцев человека свободны. И вот имн он пытается тормозить свое движение. Кончики пальцев растопырены и напряжены. Если бы хоть что-то попалось на их пути, то человек, несомненно, удержался бы. И вдруг носилки останавливаются у самой топки. Ноаый персонаж на экране, одетый в халат, как и все кочегары, делает им знак рукой. И, повинуясь его жесту, они снимают носилки с направляющих желобов и вновь устанавливают у стенки на задние ручки. В чем дело? Почему задержка? Ах, вот в чем дело. В зал крематория на низкой тележке вкатывается еще один гроб. Он уже заколочен. Он великолепен. Ов элегантен. Он украшен бахромой и каемочками. Это почетный гроб. Дорогу почетному гробу! Кочегары устанавливают его на направлнющие желоба, и вот он пошел в свой последний путь. Теперь неимоверно долго нужно ждать, когда он сгорит. Нужно ждать и ждать. Нужно быть терпеливым...

А вот теперь, наконец, и очередь привязанного. Носилки вновь на направляющих желобах. И я снова слышу этот беззвучный вопль, который, наверное, способен срывать двери с петель. Я с надеждой вглядываюсь в лицо привязанного. Я стараюсь найти признаки безумия на этом лице. Сумасшедшим легко в этом мире. Но нет этих признаков на красивом мужественном лице. Не испорчено это лицо печатью безумия. Просто человеку не хочется в печку, и он это старается как-то выразить. А как выразишь, кроме крика? Вот он и кричит. К счастью, крик этот не увековечен. Вот лаковые ботинки в огонь пошли. Пошли, черт побери. Бушует огонь. Наверное, кислород вдувают. Двое первых кочегаров отскакивают в стороны, двое последних с силой толкают носилки в глубину. Дверки топки закрываются, и треск аппарата стихает.

— Он... кто? — Я и сам не знаю, зачем такой вопрос задаю.

— Он? Полковник. Бывший полковник. Он был в нашей организации. На высоких постах. Он организацию обманывал. За это его из организации исключили. И он ушел. Такой у нас закон. Силой мы никого не вовлекаем в организацию. Не хочешь — откажись. Но если вступил, то принадлежишь организации полностью. Вместе с ботинками и галстуком. Итак... я даю последнюю возможность отказаться. На размышление одна минута.

— Мне не нужна минута на размышление.

— Таков порядок. Если тебе и не нужна эта минута, организация обязана тебе ее дать. Посиди и помолчи.— Седой щелкнул переключателем, и длинная худая стрелка, четко выбивая шаг, двинулась по сияющему циферблату. А я вновь увидел перед собой лицо полковника в самый последний момент, когда его ноги уже были в огне, а голова еще жила; еще пульсировала кровь, и еще в глазах светился ум, смертная тоска, жестокая мука и непобедимое желание жить. Если меня примут в эту организацию, я буду служить ей верой и правдой. Это серьезная и мощная организация. Мне нравится такой порядок. Но черт побери, я почему-то наперед знаю, что если мне предстоит вылететь в короткую квадратную трубу, то ннкак не в гробу с бахромой и каемочкой. Не та у меня натура. Не из тех я, которые с бахромой... Не из тех.

— Время истекло. Тебе нужно еще время на размышление?

— Нет.

— Еще одна минута.

— Нет.

— Что ж, капитан. Тогда мне выпала честь первым поздравить тебя с вступлением в наше тайное братство, которое именуется Главное Разведывательное Управление Генерального Штаба, или, сокращенно, ГРУ. Тебе предстоит встреча с заместителем начальника ГРУ генерал-полковником Мещеряковым и визит в Центральный Комитет к генерал-поковнику Лемзенко. Я думаю, ты им понравишься. Только не вздумай хитрить. В данном случае лучше задать вопрос, чем промолчать. Иногда в ходе наших экзаменов и психологических тестов такое покажут, что вопрос сам к горлу подступает. Не мучь себя. Задай вопрос. Веди себя так, как вел себя сегодня тут, и тогда все будет хорошо. Успехов тебе, капитан.

Глава I

1

Если вам захотелось работать в КГБ, то езжайте в любой областной центр. На центральной площади всенепременно статуя Ленина стоит, а позади нее обязательно огромное здание с колоннами — это обком партии. Где-то тут рядом и областное управление КГБ. Тут же на площади любого спросите, вам любой покажет: да вон то здание серое, мрачное, да, да, именно на него Ленин своей железобетонной рукой указывает. Но можно в областное управление и не обращаться, можно в особый отдел по месту работы обратиться. Тут вам тоже каждый поможет: прямо по коридору и направо, дверь черной кожей обита. Можно стать сотрудником КГБ и проще. Надо к особисту обратиться. Особист на каждой захудалой железнодорожной станции есть, на каждом заводе, а бывает что и в каждом цеху. Особист есть в каждом полку, в каждом институте, в каждой тюрьме, в каждом партийном комитете, а конструкторском бюро, а уж в комсомоле, в профсоюзах, в общественных организациях и а доброаольных обществах их множество. Подходи и говори: хочу в КГБ! Другой вопрос — примут или нет (ну, конечно же, примут!), но дорога в КГБ открыта для всех, и искать эту дорогу совсем не надо.

А вот в ГРУ попасть не так легко. К кому обратиться? У кого совета спросить? В какую дверь стучать? Может, в милиции поинтересоваться? В милиции плечами пожмут: нет такой организации.

В Грузии милиция даже номерные знаки выдает с буквами «ГРУ», не подозревая, что буквы эти могут иметь некий таинственный смысл. Едет такая машина по стране — никто не удивится, никто вслед не посмотрит. Для нормального человека, как и для всей советской милиции, эти буквы ничего не говорят и никаких ассоциаций не вызывают. Не слышали честные граждане о таком, и милиция никогда не слышала.

В КГБ миллионы добровольцев, а в ГРУ их нет. В этом и состоит главное отличие. ГРУ — это организация секретная. О ней никто не знает, и оттого не идет в нее по своей инициатнве. Но допустим, нашелся некий доброволец, каким-то образом нашел он ту дверь, в которую стучать надо, примите, говорит. Примут? Нет, не примут. Добровольцы не нужны. Добровольца немедленно арестуют, и ждет его тижелое мучительное следствие. Много будет вопросов. Где ты эти три буквы услышал? Как ты нас найти сумел? Но, главное, кто помог тебе? Кто? Кто? Кто? Отвечай, сука! Правильные отаеты ГРУ вырывать умеет. Ответ из любого вырвут. Это я вам гарантирую. ГРУ обязательно найдет того, кто добровольцу помог. И снова следствие начнется: а тебе, падло, кто эти буквы сказал? Где ты их услышал? Долго ли, коротко ли — но найдут и первоисточник. Им окажется тот, кому тайна доверена, но у кого язык превышает установленные стандарты. О, ГРУ умеет такие языки вырывать. ГРУ такне языки вместе с головами отрывает. И каждый попавший в ГРУ знает об этом. Каждый попавший в ГРУ бережет свою голову, а сберечь ее можно, только сберегая язык. О ГРУ можно говорить только внутри ГРУ. Говорить можно так, чтобы голос твой не услышали за прозрачными стенами величественного здания на Ходынке. Каждый попавший в ГРУ свято чтит закон аквариума: все, о чем мы говорим внутри, пусть внутри и останется. Пусть ни

одно наше слово не выйдет за прозрачные стены. И оттого, что такой порядок существует, мало кто за стеклянными стенами знает о том, что происходит внутри. А тот, кто знает, тот молчит. А потому, что все знающие молчат, лично я о ГРУ никогда ничего не слышал.

Был я ротным командиром. После освободительного похода в Чехословакию ураган перемещений подхватил и меня и бросил в 318-ю мотострелковую дивизию Тринадцатой Армии Прикарпатского военного округа. Под командование я получил вторую танковую роту в танковом батальоне 910-го мотострелкового полка. Рота моя не блистала, но и в отстающих не числилась. Жизнь свою я видел на много лет вперед: после роты — начальником штаба батальона, после этого надо будет прорваться в Бронетанковую академию им. маршала Малиновского, а потом будет батальон, полк, может быть что и повыше. Отклонения могли быть только в скорости движения, но не по направлению. Направление я выбрал себе однажды на всю жизнь и менять его не собирался. Но судьба распорядилась иначе.

13 апреля 1969 года в 4 часа 10 минут взял меня осторожно за плечо мой посыльный:

— Вставай, старший лейтенант, вас ждут великие дела.— Тут же он сообразил, что спросонья я к шуткам не расположен и потому, сменив тон, коротко объявил: — Боевая тревога!

Собрался я за три с половиной минуты: одеяло в сторону, брюки, носки, сапоги. Гимнастерку — на себя, не застегивая,— это на ходу сделать можно. Теперь портупею на самые последние дырочки затянуть, командирскую сумку через плечо и фуражку на голову. Ребром ладони — по козырьку, совпадает ли кокарда с линией носа. Вот и все сборы. И бегом вперед. Мой пистолет при входе в полк я из огромного сейфа схвачу. А мой вещмешок, шинель, комбинезон и шлем всегда в танке хранятся. Бегом по лестнице вниз. Эх, в душ бы сейчас, да щеки бритвой поскоблить. Но не время. Боевая тревога! Тупорылый ГАЗ-66 уж почти полон. Все молодые офицерики да их посыльные, которые и того моложе. А в небе уже звезды тают. Они уходят тихо, не прощаясь, как уходят из нашей жизни люди, воспоминания о которых сладкой болью тревожат наши черствые души.

2

Гремит парк, ревет парк боевых машин сотнями двигателей. Серая мгла кругом да копоть солярная. Рычат потревоженные танки. По грязной бетонной дороге ползут серо-зеленые коробки, выстраиваются в нескончаемую очередь. Впереди широкогрудые плавающие танки разведывательной роты, вслед за ними бронетранспортеры штаба и роты связи, а за ними танковый батальон, а дальше за поворотом три мотострелковых батальона вытягивают колонны, а за ними артиллерия полковая, зенитная да противотанковая батарея, саперы, химики, ремонтники. А тыловым подразделениям и места нет в громадном парке. Они свои колонны вытягивать начнут, когда головные подразделения далеко вперед уйдут.

Бегу я вдоль колонны машин к своей роте. А командир полка материт кого-то от всей души. Начальник штаба полка с командирами батальонов ругается, криком сотни двигателей перекрывает. Бегу я. И другие офицеры бегут. Скорее, скорее. Вот она, рота моя. Три танка — первый взвод, три — второй, еще три — третий. А командирский мой танк впереди. Вся десятка на месте. И уж слышу я все свои десять двигателей. Из общего рева их выделяю. У каждого двигателя свой нрав, свой характер, свой голос. И не фальшивит ни один.

Для начала неплохо. Перед своим танком я учащаю шаги, резко прыгаю и по наклонному лобовому броневому листу взбегаю к башне. Мой люк открыт, и радист протягивает мой шлем, уже подключенный к внутренней связи. Шлем из мира рева и грохота переносит меня в мир тишины и спокойствия. Но наушники оживают мгновенно, разрушая зыбкую иллюзию тишины. Сидящий рядом радист по внутренней связи (иначе пришлось бы орать на ухо) докладывает последние указания. Все о пустиках. Я его главным вопросом обрываю: война или учения? Хрен его знает,— пожимает плечами.

Как бы там ни было, моя рота к бою готова и ее надо немедленно выводить из парка, таков закон. Скопление сотен машин в парке — цель, о которой наши враги мечтают. Я вперед смотрю. А разве увидишь что? Первая танковая рота впереди меня стоит. Наверное, командир еще не прибыл. Все остальные впереди тоже ждут. Я на крышу башни выскакиваю. Так виднее. Похоже на то, что в разведывательной роте танк заглох, загородив дорогу всему полку. Я на часы смотрю. Восемь минут нашему командиру полка осталось, бате нашему. Если через восемь минут колонны полка не тронутся — с командира полка погоны сорвут и выгонят из армии без пенсии, как старого пса. А к голове колонны ни один тягач из ремонтной роты сейчас не пробьется: вся центральная дорога, стиснутая серыми угрюмыми гаражами, забита танками от края

до края. Я на запасные ворота смотрю. Дорога к ним глубоким рвом перерезана: там кабель какой-то или трубу начали прокладывать.

Я в люк прыгаю и водителю во всю глотку: «Влево, вперед!» И тут же всей роте: «Делай, как я!». А влево ворот нет никаких. Влево — стенка кирпичная между длинными блоками ремонтных мастерских. В командирском танке — лучший в роте водитель. Так установлено задолго до меня, и во всей армии. Я ему по внутренней связи кричу: «Ты в роте лучший! Я тебя, прохвоста, выбрал. Я тебя, проходимца, высшей чести удостоил — командирскую машину беречь да ласкать. Не посрами выбора командирского! Сокрушу, сгною!»

А водителю моему отвечать некогда: на совсем коротком отрезке разгоняет он броневого динозавра, перебрасывая передачи выше да выше. Страшен удар танком по стене кирпичной. Дрогнуло все у нас в танке, зазвенело, заныло. Кирпич битый лавиной на броню обрушился, ломая фары, антенны, срывая ящики с инструментами, калеча внешние топливные баки. Но взревел мой танк и, окутанный паутиной колючей проволоки, вырвался из кирпичной пыли на сонную улочку тихого украинского городка. А я в задний триплекс смотрю. Танки роты моей пошли в пролом за мной весело да хулиганисто. К пролому дежурный по парку бежит. Руками машет. Кричит что-то. Рот разинут широко. Да разве услышишь, что он там кричит. Как в немом кино по мимике догадываться приходится. Полагаю, что матерится дежурный. Шибко матерная мимика. Не спутаешь.

Когда десятый танк моей роты через пролом выходил, там уж регулировщики появились: форма черная, портупеи и шлемы белые. Те порядок наведут. Те знают, кого первым выпускать. Разведку — вот кого. В каждом полку есть особая разведрота с особой техникой, с особыми солдатами и офицерами. Но кроме нее в каждом мотострелковом и танковом батальоне полка подготовлено еще по одной роте, которые ни особой техники, ни особых солдат не имеют, но и они могут использоваться для ведения разведки.

Вот эти роты и нужно выпускать вперед. Нас, белые шлемы, выпускайте! Нам сейчас далеко вперед вырваться надо.

3

Смотришь на роты в дивизии или в полку — все они одинаковы постороннему взгляду. Ан, нет. В каждом батальоне первая рота и есть первая. Какие ни есть плохие солдаты в батальоне, а всё, что есть лучшего, комбат в первую роту собирает. И если нехватка офицеров, то свежее офицерское пополнение обязательно первой роте отдадут. Потому как первая рота на главной оси батальона всегда идет. Она первая с врагом лбами сшибается. А от завязки боя и его исход во многом зависит.

Вторая рота в любом батальоне — средняя. Офицеры во вторых ротах без особых отличий, вроде меня, и солдаты тоже. Зато каждая вторая рота имеет дополнительную разведывательную подготовку. У нее вроде как смежная профессия есть. Прежде всего она тоже боевая рота, но если потребуется, то она может вести разведку в интересах своего батальона, а может и в интересах полка работать, заменяя собой или дополняя особую полковую разведроту.

В Советской армии 2400 мотострелковых батальонов. И в каждом из них третья рота — не только по номеру третья. В третьих ротах обычно служат те, кто ни в первые, ни во вторые роты не попал: совсем молодые неопытные офицеры или перезрелые, бесперспективные. Солдат в третьих ротах всегда не хватает. Более того, на территории Союза третьи роты в подавляющем большинстве вообще солдат не имеют. Техника их боевая постоянно на консервации стоит. Война начнется — тысячи этих рот дополнят резервистами и быстро поднимут до уровня обычных боевых подразделений. В этой системе — глубокий смысл: добавить в дивизию резервистов, это в тысячу раз лучше, чем формировать новые дивизии целиком из резервистов.

Моя вторая танковая рота стремительно уходит вперед. На повороте я оглядываюсь и считаю танки. Пока скорость выдерживают все. Прямо за последним танком моей роты, выбивая искры из бетона, не отставая идет гусеничный бронетранспортер с белым флажком.

А у меня на сердце отлегло. Маленький белый флажок означает присутствие посредников. А их присутствие в свою очередь означает учения, но не войну. Значит, поживем еще.

А надо мною вертолет-стрекоза. Вниз скользит. Разворачивается и заходит прямо против ветра, чтоб не снесло его. С правого борта завис. Я на крыше башни. Рука правая над головой. Пилот рыжий совсем. Лицо, как сорочиное яйцо, веснушками изукрашено. А зубы — снег. Смеется. Знает он, вертолетный человек, что тем ротным, кому он сейчас приказы развез, денек выпал не из лучших. Вертолет тут же вверх и в сторону уходит. Только рыжий пилот смеется. Только зубы его блестят, лучи восходящего светила отражают.

4

Танк мой грудастый вселенную пополам режет, и то, что единым было впереди, распадается надвое. И летят перелески справа и слева. Грохот внутри — адов. Карта на коленях. И многое становится ясно. Дивизию в прорыв бросили и идет она стремительно на Запад. Только где противник — не ясно. Ничего об этом карта не говорит. И оттого впереди дивизии рвутся два десятка рот, и моя — в их числе. Роты эти, как растопыренные пальцы одной ладони. Их задача нащупать самое уязвимое место в обороне противника, на которое командир дивизии обрушит свой тысячетонный кулак. Уязвимое место противника ищут на огромных пространствах, и поэтому каждая из высланных вперед рот идет в полном одиночестве. Знаю я, что идут где-то рядом такие же роты лихо и стремительно, но обходя очаги сопротивления, деревни и города. И моя рота тоже в изнурительные стычки не ввязывается: встретил противника, сообщил в штаб и обходи. Скорее обходи и снова вперед. А где-то вдали главные силы, как ревущий поток, прорвавший плотину. Вперед, ребята, вперед на Запад!

А бронетранспортер с белым флагом не отстает. Он, проклятый, вдвое легче танка, а силищи в нем почти столько же. Пару раз пытался я оторваться: мол, высокие скорости — залог победы. Но не выгорело. Когда взводом командовал, то такие вещи вполне проходили, но с ротой не пройдет. Разорвешь колонну, танки по болотам порастеряешь. За это не жалуют, за это с роты снимают. Черт с вами, думаю, проверяйте на здоровье, а роту я растягивать не буду...

— Кран впереди! — кричит по радио командир шестого танка, высланного вперед.

Кран? Подъемный? Точно! Кран! Весь зелененький, стрела для маскировки ветками облеплена. Где на поле боя можно кран увидеть? Правильно! В ракетной батарее! Каждый ли день такая удача!

— Рота! — ору.— Ракетная батарея! К бою... Вперед!

А уж мои ребята знают, как с ракетными батареями расправляться. Первый взвод, обгоняя меня, рассыпается в боевую линию. Второй, резко увеличивая скорость, уходит вправо и, бросая в небо комья грязи из-под гусениц, несется вперед. Третий взвод уходит влево, огромным крюком охватывая батарею с фланга.

— Скорость! — рычу. А водители это и без меня понимают. Знаю, что у каждого водителя сейчас правая нога уперлась в броневой пол, вжав педаль до упора. И оттого двигатели взвыли непокорно и строптиво. И оттого рев такой. И оттого копоть невыносимая: топливо не успевает сгорать полностью в двигателях, и жутким напором газа его выбрасывает через выхлопные горловины.

— Разведку прекращаю... квадрат... 13—41... стартовая позиция... принимаю бой...— Это мой радист-заряжающий кричит в эфир наше, может быть, последнее послание. Ракетные подразделения и штабы противника должен атаковать каждый при первой встрече, без всяких на то команд, каковы бы ни были шансы, чего бы это ни стоило.

Заряжающий щелчком обрывает связь и бросает первый снаряд на досылатель. Снаряд плавно уходит в казенник и мощный затвор, как нож гильотины, дробящим сердце ударом запирает ствол. Башня плывет в сторону, а под моими ногами полетела влево спина механика-водителя, боеукладка со снарядами. Казенник орудия, вздрогнув, плывет вверх. Наводчик вцепился руками в пульт прицела, и мощные стабилизаторы, повинуясь его корявым ладоням, легкими рывками удерживают орудие и башню, не позволяя им следовать бешеной пляске танка, летящего по пням и корягам. Большим пальцем правой руки наводчик плавно давит на спуск. С тем, чтобы страшный удар не обрушился на наши уши внезапно, во всех шлемофонах раздается резкий щелчок, заставляя барабанные перепонки сжаться, встречая всесокрушающий грохот выстрела сверхмощной пушки. Щелчок в шлемофонах опережает выстрел на сотые доли секунды, и оттого мы не слышим самого выстрела.

Сорокатонная громада летящего вперед танка дрогнула. Орудийный ствол отлетел назад и изрыгнул из себя звенящую дымную гильзу. И тут же, вторя командирской пушке, бегло залаяли остальные. А заряжающий уже второй снаряд бросил на досылатель.

— Скорость! — ору я.

А грязь из-под гусениц фонтанами. А лязг гусениц даже громче пушечного грохота. А в шлемофонах щелчок — это наводчик опять на спуск давит. И снова мы своего собственного выстрела не слышим. Только орудие судорожно назад рванулось, только гильза страшно звенит, столкнувшись с отбойником. Мы слышим выстрелы только соседних танков. А они слышат нас. И эти пушечные выстрелы стегают моих доблестных азиатов, как плетью между ушей. И звереют они. Я каждого из них сейчас представить могу. В пятом танке наводчик между выстрелами резиновый налобник прицела от восторга гложет. Это не только в роте, во всем батальоне знают. Нехорошо это. Отвлекается он от наблюдения за обстановкой. Его за это даже чуть в заряжающие не перевели. Но уж очень точно стреляет, прохвост. В восьмом танке командир всегда

топор с собой держит, и когда его пушка захлебывается беглым огнем, он обухом по броне лупит. А в третьем танке прошлый раз командир включил рацию на передачу — да и забыл ее выключить, забивая всю связь в ротной сети. И вся рота слышала, как он скрежетал зубами и подвывал по-волчьи...

— Круши! — шепчу я. И шепот мой на тридцать километров радиоволны разносят, вроде я каждому из своих милых свирепых азиатов это слово прямо в ушко нашептываю.— Круши-и-и-и!

А по ушам щелчок, а гильза снова звенит. Аромат у стреляных гильз дурящий. Кто тот ядовитый аромат вдыхал, тот зверел сладострастно. Круши! От грохота, от мощи небывалой, от пулеметных трелей пьянеют мои танкисты. И не удержит их теперь никакая сила. Вот и водители всех танков вроде как с цепи посрывались. Рвут рычаги ручищами своими грубыми, терзают машины свои, гонят их, непокорных, в пекло прямо. А я назад смотрю: не обошли бы с тылов. А далеко позади бронетранспортер с белым флажком. Отстал, на сил выбился. Люди в нем несчастные: нет у них такой пушки сверхмощной, нет у них грохота одуряющего, нет аромата пьянящего. Нет у них в жизни наслаждения, не познали они его. Оттого труслив их водитель, камни да пни осторожно обходит. А ты не бойся! А ты машину ухвати лапами, рви ее и терзай. Броневая машина — существо нежное. Но если почувствует машина на себе могучего седока, то озвереет и она. И понесет она тебя вскачь по валунам гранитным, по пням тысячелетних дубов, по воронкам и ямам. Не бойся гусеницы изорвать, не бойся торсионы переломать. Рви и круши, и понесет тебя танк, как птица. Он, танк, тоже боем упивается. Он рожден для боя. Круши!

...Выводи роту из боя...

Искры из-под гусениц. Влетела рота на позиции ракетной батареи. Скрежет в уши, то ли гусеницы по стальному листу, то ли зубы моего наводчика в моих наушниках.

...Выводи роту из боя...

Чтоб не задеть друг друга, танки без всякой команды огонь прекратили, только ревут, как волки, рвущие оленя на части. Бьют танки лбами своими броневыми хлипкие ракетные транспортеры, краны да пусковые установки, в жирный чернозем втаптывают красу и гордость ракетной артиллерии. Круши!

— ...Выводи роту из боя...— снова слышу я чей-то далекий скрипучий голос и вдруг понимаю, что это проверяющий ко мне обращается. Ах, черт! Да кто же а такой момент наивысшего, почти сексуального блаженства — людей от любимого занятия отрывает? Проверяющий, твою мать, ты же моих жеребцов в импотентов превратишь! Кто тебе право дал портить великолепную танковую роту? Ты враг народа или буржуазный вредитель? Хуль тебе в зубы! Рота, круши! И треснув кулаком по броне, выматерив в открытый эфир всю штабную сволочь, которая порохового дыма по своим канцеляриям не нюхала, я командую:

— Роте боевой отбой! Влево на поляну повзводно марш!

Мой водитель в сердцах рвет левый рычаг до упора, отчего танк всей массой своей почти опрокидывается вправо, ломая красавицу березу. Мастерски водитель перебрасывает передачи почти с секундным перерывом, и мгновенно добравшись до верхней, бросает броневого динозавра вперед через кусты и глубокие ямы прямо на поляну и, лихо развернувшись, снижает обороты почти до нуля, отчего машина замирает на месте, бросив нас далеко вперед, как при внезапном торможении самолета в самом конце разбега. Остальные танки с разочарованным ревом один за другим вырываются из леса и, судорожно тормозя, выстраиваются в четкую линию.

— Разряжай! Оружие к осмотру! — подаю команду и вырываю шнур шлемофона из разъема, а заряжающий щелчком вырубает всю связь.

5

Бронетранспортер с проверяющими далеко отстал. Пока он доковылял до роты, я успел проверить вооружение, получил рапорта о состоянии машин, о расходе топлива и боеприпасов, построил роту и замер посредине поляны в готовности рапортовать.

Стою, в уме плюсы и минусы подсчитываю, за что меня хвалить могут, а за что наказывать: рота из парка начала выход на восемь минут раньше срока — за это хвалят, за это иногда командиру роты и золотые часики подбросить могут. В начале войны счет на секунды идет. Все танки, все самолеты, все штабы должны рывком из-под удара выйти. Тогда первый, самый страшный удар противника по пустым военным городкам будет нанесен. Восемь минут! Тут мне плюс несомненный. Все танки мои исправны, и весь день таковыми оставались. Это моему зампотеху — плюс. Жаль, что из-за нехватки офицеров нет у меня в роте зампотеха. Я сам за него работаю. Опорные пункты мы обходили крутым маневром, вовремя и четко сообщая о них. Это плюс командира первого взвода. Жаль, и его в роте нет: опять же нехватка. Ракетную батарею не проморгали, не пропустили, унюхали, в землю ее втоптали. А ракетная батарея, самая захудалая, может пару Хиросим сотворить. Прекратив разведку и бросив свои коробки

против ракет, я эти самые Хиросимы предотвратил. За такое на войне орденишко на грудь вешают, а на учениях хвалят долго...

А вот и проверяющий полковник. Ручки белые, чистенькие, сапожки блестят. Лужи он брезгливо обходит, как кот, чтобы лапки не испачкать. Командир полка, батя наш, тоже полковник, да только ручищи у него мозолистые, как у палача, к тяжелому труду его ручищи приучены. А рожа у нашего бати обожжена морозом, солнцем и ветрами всех известных мне полигонов и стрельбищ, не в пример бледному личику проверяющего полковника.

— Равняйсь! Смирно! Равнение напра-во!

Но проверяющий рапорта моего не слушает, он на полуслове обрывает:

— Увлекаетесь, старший лейтенант, в бою! Как мальчишка!

Я молчу. Я улыбаюсь ему. Вроде он не ругает меня, а медаль на грудь вешает. А он от моей улыбки еще пуще свирепеет. Свита его угрюмо молчит. Знает свита, что статья 97 Дисциплинарного устава запрещает ругать меня в присутствии моих подчиненных. Знают майоры и подполковники, что ругая меня в присутствии моих подчиненных, полковник не мой командирский авторитет подрывает, а авторитет всего офицерского состава доблестной Советской Армии, и в том числе свой собственный полковничий авторитет. А мне вроде бы и ничего. А и улыбаюсь.

— Это позорно, старший лейтенант, не слышать команд и не выполнять их.

Эх, полковник, а я бы на орудийных стволах вешал тех, кто в бою не увлекается, кого запах крови не пьянит. Это учения, а кабы в настоящем бою гусеницы наших танков были перепачканы настоящей кровью, не бутафорской, не театральной, так мои азиаты славные еще бы и не так распалились. Да только это не слабость. Это их сила. Их никто в мире остановить не смог бы.

— И еще со стенкой! Вы же стенку в парке поломали! Это преступление!

А про стенку я и думать забыл. Велика беда. Ее уж, наверно, восстановили. Долго ли? Пригони с губы десять арестантов, они за пару часов новую стенку сложат. И откуда мне, полковник, знать — учения это или война? Кто это во время тревоги знать может? А если война, и стенка целая осталась бы, а 200 человек и сотни великолепных боевых машин все в одной куче сгорели бы? Ась, полковник? Большой титул ты носишь, именуешься ты Начальником разведки 13 армии, так поинтересуйся, сколько мои узбеки за день целей вскрыли. Они и по-русски не говорят, а цели вскрывают безошибочно. Похвали их, полковник! Не мне, так хоть им улыбнись. И я улыбаюсь ему. К роте своей я спиной сейчас стою, и повернуться мне к ней лицом никак нельзя. Только я и так знаю, что и вся моя рота сейчас улыбается. Просто так, без всякой причины. Они у меня такие, они в любой обстановке зубы скалят.

А полковнику это не нравится. Он, наверное, думает, что мы над ним смеемся. Озверел полковник. Зубами заскрежетал, как наводчик в бою. Наши улыбки он понять и оценить не способен. И оттого он кричит мне в лицо:

— Мальчишка, вы недостойны командовать ротой. Я отстраняю вас. Сдайте роту заместителю, пусть он ведет роту в казармы!

— Нет у меня сейчас заместителя,— улыбаюсь я ему.

— Тогда командиру первого взвода!

— Нет и его.— И чтобы полковнику всех командиров нижестоящих не перечислять, я объясняю: — Один я в роте офицер.

Полковник угас. Пыл с него сошел. Сошел, вроде и не было его. Ситуация, при которой в роте один только офицер, по нашей армии, особенно на территории Союза, почти стандартная. Офицерами быть много желающих, да только все полковниками быть хотят. А лейтенантский старт мало кого влечет. И оттого нехватка на самом низу. Нехватка офицеров жестокая. Но там, наверху, в штабах, об этом как-то забывается. Вот и сейчас полковник просто не подумал, что я могу быть единственным офицером на всю роту. Меня он от командования отстранил, у него на это право есть. Но роту надо возвращать в казармы. А гнать роту, да еще танковую, одну, без офицеров, на десятки километров нельзя. Это преступление. Это непременно расценят как попытку государственного переворота. Тут тебе, полковник, исход летальный. Если уж ты отстранил командира в обстановке, когда у него нет заместителей, то этим самым ты роту под свою персональную ответственность принял и никому эту роту доверить не имеешь права. Если бы такое право предоставили, то каждый командир дивизии мог бы вывести войска в поле, сместить командиров, заменить их теми, кто ему подходит и — переворот. Но нет у нас переворотов, ибо не допущен каждый к деликатному вопросу подбора и расстановки командирских кадров. Снимать — твое право. Снимать легко. Снимать любой умеет. Это так же легко, как убить человека. Но возвращать командиров на их посты так же трудно, как мертвого к жизни вернуть. Ну что, полковник, думаешь меня вновь на роту поставить? Не выйдет. Не достоин и. И все это слышали. Не имеешь права ставить на роту недостойного. А если наверху узнают, что ты вблизи государственной границы снимал с танковых рот законных командиров и на их место недостойных ставил? Что с тобой будет? Ась? То-то.

Тут бы полковнику с командиром моего батальона или полка связаться, мол, заберите свою беспризорную роту. Но кончились учения. Кончились так же внезапно, как и начались. Кто же позволит боевой связью после учений пользоваться? Тех, кто допускал такие вольности, в 37-м расстреляли. После того никому не повадно такими вещами баловаться. Ну что же, полковник? Ну, веди роту. А может быть, ты уж и забыл, как ее водить? А может быть, никогда ее и не водил? Рос в штабах. Таких полковников множество. Любое занятие со стороны пустяковым кажется. И роту танковую вести тоже несложно. Да только команды нужно подавать так, как они в новом уставе записаны. Люди в роте не русские, не поймут. Хуже, если поймут, да не так. Тогда их и на вертолете по лесам и болотам не сыщешь. Тяжел танк, иногда на человека наехать может, под мост провалиться, в болоте может утонуть. А расплата всегда одна и та же.

Я не улыбаюсь больше. Ситуация серьезная и смеяться незачем. Мне бы в самое время ладонь к козырьку: «Разрешите идти, товарищ полковник?» Все равно я тут теперь посторонний, не командир и не подчиненный. Вы кашу заварили, вы и расхлебывайте. Захотелось покомандовать, вот, товарищ полковник, и командуйте. Но злость и злорадство во мне быстро погасли. Рота родная, люди мои и машины мои. За роту я больше не отвечаю, но и не брошу ее просто так.

— Разрешите, товарищ полковник,— бросил я ладонь к козырьку,— последний раз роту провести. Вроде как попрощаться с ней.

— Да,— коротко согласился он. На одно мгновенье показалось мне, что по привычке хочет он обычное наставление дать, мол, не гони, не увлекайся, колонну не растягивай. Но не сделал он этого. Может, у него и намерения такого не было, просто мне так показалось.

— Да, да, ведите роту. Считайте, что мой приказ еще в силу не вошел. Приведете роту в казарму, там ее и сдадите.

— Есть! — Поворачиваюсь я резко кругом, только заметил усмешки в свите полковника. Как это так, пока командуйте? Понимает свита, что нет такого положения, пока командуйте. Командир или достоин своего подразделения и полностью за него отвечает, или он недостоин, и тогда его немедленно отстраняют. Пока командуйте — это не решение. И за такой подход может полковник дорого поплатиться. Мне это ясно и свите его. Но не до этого мне сейчас. У меня дело серьезное. Я ротой командую. И нет мне дела до того, что и кто подумал, кто как поступил и как за это будет наказан.

Перед тем как первую команду подать, обязан командир свое подразделение воле своей подчинить. Обязан он глянуть на своих солдат так, чтобы по строю легкая зыбь побежала, чтобы замерли они, чтобы каждый почувствовал, что сейчас командирская команда последует. А команды в танковых войсках беззвучны. Два флажка в моих руках. Ими я и командую.

Белый флажок резко вверх. Это первая моя команда. Жестом этим коротким и резким я своей роте длинное сообщение передал: «Ротой командую — я! Работу радиостанций на передачу до встречи с противником запрещаю! В н и м а н и е». Команды бывают предварительные и исполнительные. Предварительной командой командир как бы ухватывает своих подчиненных железной уздой своей воли. И, натянув поводья, должен командир выждать пять секунд перед подачей главной команды. Должен строй застыть, ожидая ее, должен каждый почувствовать железные удила, должен каждый чуть вздрогнуть, должны мускулы заиграть, как перед хлестким ударом, должен каждый исполнительной команды ждать, как хорошая лошадь ждет удара плетью.

Красный флажок резко вверх, и оба — через стороны — вниз. Дрогнула рота, рассыпалась, коваными сапогами по броне загрохотала.

Может, прощалась со мной рота, может, проверяющим выучку свою демонстрировала, может просто злость разобрала и никак эту злость по-другому выразить невозможно было. Ах, если бы секундомер кто включил! Но и без секундомера я в тот момент знал, что бьет моя рота рекорд дивизии, а может и какой повыше. Знал я в тот момент, что много в свите полковника настоящих танкистов, и что каждый сейчас моими азиатами любуется. Много я сам видел рекордов в танковых войсках, знаю цену тем рекордам. Повидал я и руки поломанные и зубы выбитые. Но везло ребятам в тот момент. И знал я как-то наперед, что не оступится ни один, не скользнет, совершая немыслимый прыжок в люк. Знал я, что и пальцы никому не отдавит. Не тот момент.

Десять двигателей хором взвыли. Я в люке командирском. Теперь белый флажок вверх в моей руке означает: «Я — готов!». И в ответ мне девять других флажков: готов! Готов! Готов! Резкий круг над головой и четкий жест в сторону востока: «Следуй за мной!»

Просто все. Элементарно. Примитивно? Да. Но никакая радиоразведка не может обнаружить даже выдвижение четырех танковых армий одновременно. А против других видов разведки есть столь же примитивные, но неотразимые приемы. И потому мы всегда внезапно появляемся. Плохо или хорошо, но внезапно. Даже в Чехословакии, даже семью армиями одновременно.

Проверяющий полковник вскарабкался на свой бронетранспортер. Свита за ним. Бронетранспортер заревел, круто развернулся и пошел в военный городок другой дорогой.

Свита полковника его явно ненавидит. В противном случае ему подсказали бы, что он должен идти прямо за моим танком. Я ведь теперь никто. Самозванец. Доверять мне роту — все равно как если бы начальник полиции доверил проведение ареста бывшему полицейскому, выгнанному с работы. Если уж тебе и пришла в голову такая идея, так хоть будь рядом, чтобы вовремя вмешаться. Если уж отдал роту кому-то, если не умеешь ею управлять, так хоть будь рядом, чтобы на тормоза вовремя нажать. Но не подсказал никто полковнику, что он жизнь свою в руки молодого старшего лейтенанта отдал. А старший лейтенант, отстраненный от власти, может любую гадость сотворить, он в роте посторонний. Отвечать же тебе придется. А может быть, знали все в свите, что старший лейтенант роту приведет без всяких происшествий? Знали, что не будет старший лейтенант ломать полковничью судьбу.

А мог бы...

6

Так часто бывает — хлестнут дивизию плетью боевой тревоги, вырвется она на простор, а ее обратно возвращают. Глубокий смысл в этом. Так привычка вырабатывается. На настоящее дело пойдут дивизии, как на обычные учения — без эмоций. А заодно и у противника бдительность теряется. Вырываются советские дивизии из своих военных городков часто и внезапно. Противник на это реагировать перестает.

Дороги танковыми колоннами забиты. Ясно, что отбой дали всей дивизии одновременно. Кто знает, сколько дивизий сегодня по боевой тревоге было поднято, сколько их сейчас в свои военные городки возвращается! Может, одна наша дивизия, может, три дивизии, а может быть и пять. Кто знает, может, и сто дивизий были одновременно подняты.

У ворот военного городка оркестр гремит.

Командир полка нашего, батя, на танке стоит — свои колонны встречает. Глаз у него опытный, придирчивый. Ему взгляда одного достаточно, чтобы оценить роту, батарею, батальон и их командира. Ежатся командиры под свинцовым батиным взглядом. Здоровенный он мужик, портупея на нем на последние дырочки застегнута, еле сходится. А голенища его исполинских сапог сзади разрезаны слегка, по-другому не натянешь их на могучие икры. Кулачище у него, как чайник. И этим чайником он машет кому-то. Наверное, командиру третьего мотострелкового батальона, бронетранспортеры которого сейчас втягиваются в прожорливую горловину ворот. Вот минометная батарея этого батальона прошла через ворота, и теперь моя очередь. И хотя я знаю, что все мои танки идут за мной, и хотя все равно мне теперь, идут они или нет, я им больше не командир, я в самый последний момент оглядываюсь: да, все идут, не отстал ни один. Командиры всех танков ловят мой взгляд. А я снова резко вперед поворачиваюсь, правую ладонь к черному шлему бросил, и командиры всех остальных девяти танков четко повторили это древнее военное приветствие.

Командир полка все еще кричит что-то обидное и угрожающее вслед колонне третьего батальона и, наконец, поворачивает свирепый взгляд свой на мою роту. Горилла лесная, атаман разбойничий, кто твой взгляд выдержать может? Встретив взгляд его, я вдруг неожиданно для себя самого принимаю решение этот многотонный взгляд выдержать. А он кулачище свой разжал в ладонь широченную, как лопата,— к козырьку. Не каждому батя на приветствие приветствием отвечает. И не ждал я этого. Хлопнул глазами, заморгал часто. Танк мой уж прошел мимо него, а я голову назад — на командира смотрю. А он вдруг улыбнулся мне. Рожа у него черная, как негатив, и оттого улыбка его белозубая всей моей роте видна и, наверное, гаубичной батарее, которая следом за мной идет, которую он сейчас кулачищем своим приветствовать будет.

Эх, командир. Не знаешь ты, что я не ротный уже. Сняли меня, командир, с роты. Сняли с позором. Вроде как публично высекли. Это, командир, ничего. Думаешь, я заплачу? Да никогда в жизни. Я улыбаться буду. Всегда. Всем назло. Радостно и гордо улыбаться буду, вот как тебе сейчас, командир, улыбаюсь. Роту я скоро новую получу. Нехватка офицеров, сам знаешь. Жаль только с моими азиатами расставаться. Уж очень ребята хорошие подобрались. Ну, ничего — переживем. С меня и того достаточно, что полк вовремя по тревоге выход начал, что ты, командир, с полка не слетел. Стой тут и маши своим кулачищем. На то ты тут и поставлен. И не надо нам никакого другого командира в полку. Мы, командир, нрав твой крутой прощаем. И если надо, пойдем за тобой туда, куда ты нас поведешь. И я, командир, пойду за тобой, пусть не ротным, так взводным. А могу и простым наводчиком.

7

При возвращении боевой машины в парк что должно быть сделано в первую очередь? Правильно. Она должна быть заправлена. Исправленная или поломанная, но заправленная. Кто знает, когда новая тревога грянет? Каждая боевая машина должна быть готова повторить все сначала и в любую минуту. И оттого гудит снова парк. Сотни машин одновременно заправляются. Каждому танку минимум по тонне топлива надо. И бронетранспортеры тоже прожорливы. И артиллерийские тягачи тоже. И все транспортные машины заправить нужно. Тут же всем боевым машинам боекомплект пополнить надо. Снаряды танковые по 30 килограммов каждый. Сотни их подвезли. Каждая пара снарядов — в ящике. Каждый ящик нужно с транспортной машины снять. Снаряды вытащить. Упаковку с каждого снять. Почистить каждый, заводскую защитную смазку снять, и в танк его. А патроны — тоже в ящиках. По 880 штук в каждом. Патроны нужно в ленты снарядить. В ленте пулеметной 250 патронов. Потом ленты нужно в магазины заправить. В каждом танке по 13 магазинов. Теперь все стреляные гильзы нужно собрать, уложить их в ящики и сдать на склад. Стволы позже чистить будем. По очереди всем взводом каждый танковый ствол, по многу часов каждый день, повторяя чистку много дней. Но сейчас пока нужно стволы маслом залить. А вот теперь танки нужно помыть. Это грубая мойка. Основная мойка и чистка будет потом. А вот теперь солдат нужно накормить. Обеда не было сегодня, и поэтому обед совмещен с ужином. А после ужина всех на техническое обслуживание. К утру все проверить нужно: двигатели, трансмиссии, подвеску, ходовую часть. Где нужно, траки сменить. В четвертом танке торсион поломан на левом борту. В восьмом — оборачивающий редуктор барахлит. А в первой танковой роте два двигателя сразу менять будут. А с утра начнется общая чистка стволов. Чтобы готово все было! Сокрушу! И вдруг чувствую я пустоту под сердцем. И вдруг вспомнил я, что не придется мне с утра и своей роте проверять качество обслуживания. Может быть, и не пустят меня завтра вообще в танковый парк? Знаю, что все документы на меня уже готовы, и что официально снимут меня не завтра утром, в уже сегодня вечером. И знаю, что положено офицеру на снятие идти в блеске, не хуже чем за орденом. И рота моя это знает. И потому пока я с заправщиками ругался, пока ведомости расхода боеприпасов проверял, пока под третий танк лазил, уж кто-то мне и сапоги до зеркального блеска отполировал, и брюки выгладил, и воротничок свеженький пришил. Сбросил я грязный комбинезон, быстро в душ. Брился долго и старательно. А тут и посыльный из штаба полка.

Гремит парк. Через ворота разбитый бронетранспортер тягач тянет. Гильзы стреляные звенят. Гудят огромные «Уралы», доверху пустыми снарядными ящиками переполненные. Электросварка салютом брызжет. Все к утру будет блестеть и сиять. А пока грязь, грязь кругом, шум, грохот, как на великой стройке. Офицера от солдата не отличишь. Все в комбинезонах, все грязные, все матерятся. И идет среди этого хаоса старший лейтенант Суворов. И умолкают все. Чумазые танкисты вслед мне смотрят. Ясно каждому — на снятие старший лейтенант идет. Никто не знает, за что слетел он. Но каждый знает, что зря его снимают. Чувство такое у каждого. В другое бы время и не заметили старшего лейтенанта в чужих ротах, а если и заметили бы, то сделали вид, что не заметили. Так бы в двигателях и ковырялись, выставив промасленные задницы. Но на снятие человек идет. И потому грязной пятерней под замусоленные пилотки приветствуют меня чужие, незнакомые танкисты. И я их приветствую. И улыбаюсь и им. И они мне улыбаются, мол, бывает хуже, крепись.

А за стенами парка весь городок военный. Каштаны в три обхвата. Новобранцы громко, но нестройно песню орут. Стараются, но неуклюжи еще. Лихой ефрейтор покрикивает. Вот и новобранцы меня приветствуют. Эти еще телята. Эти еще ничего не понимают. Для них старший лейтенант — это очень большой начальник, гораздо выше ефрейтора. А что как-то особо сапоги у него блестят, так это, наверное, праздник у него какой-то...

Вот и штаб. Тут всегда чисто. Тут всегда тихо. Лестница — мрамор. Румыны до войны строили. Ковры по всем коридорам. А вот и полуовальный зал, залитый светом. В пуленепробиваемом прозрачном конусе — опечатанное гербовыми печатями знамя полка. Под знаменем часовой замер. Короткий плоский штык дробит последний луч солнца, рассыпает его искрами по мрамору. Я приветствую знамя полка, а часовой под знаменем не шелохнется. Он ведь с автоматом. А вооруженный человек не использует никаких других форм приветствия. Его оружие и есть приветствие всем остальным.

Посыльный прямо по коридору к кабинету командира полка. Странно это. Почему не к начальнику штаба? Стукнул посыльный в командирскую дверь. Вошел, плотно закрыв дверь за собой. Тут же назад вышел, молча уступив проход — входите.

За командирским дубовым столом незнакомый подполковник небольшого роста. Этого подполковника и сегодня в свите проверяющего полковника видел. Что за черт,

дивлюсь, где же батя, где начальник штаба? И почему подполковник в командирском кресле сидит? Неужели по своему положению он выше нашего бати? Ну, конечно, выше. Иначе не сидел бы за его столом.

— Садитесь, старший лейтенант,— не слушая рапорта, предлагает подполковник.

Сел. На краешек. Знаю, что сейчас громкие слова последуют, и оттого вскочить придется. Оттого спина у меня прямая. Вроде в строю стою, на параде.

— Доложите, старший лейтенант, почему вы улыбались, когда ввс полковник Ермолов с роты снимал?

Глаза подполковника в душу смотрят: только правду говори, я тебя, старлей, насквозь вижу.

Смотрю на подполковника, на свежий воротничок на уже ношеной, но чистенькой и выглаженной гимнастерке. А что ответишь?

— Не знаю, товарищ подполковник.

— Жалко с ротой расставаться?

— Жалко.

— Рота твоя мастерски работала. Особенно в самом конце. А со стенкой все согласны: ее лучше сломать, чем весь полк под удар поставить. Стенку восстановить не трудно...

— Ее уже восстановили.

— Вот что, старший лейтенант, зовут меня подполковник Кравцов. Я начальник разведки 13-й Армии. Полковник Ермолов, снявший тебя с роты, думает, что он начальник разведки. Но он смещен, хотя об этом еще не догадывается. На его место уже назначен я. Сейчас мы объезжаем дивизии. Он думает, что он провернет, а на самом деле это я дела принимаю, знакомлюсь с состоянием разведки в дивизиях. Все его решения и приказы никакой силы не имеют. Он распоряжается каждый день, а по вечерам я представляю свои документы командирам полков и дивизий, и все его приказы теряют всякую силу. Он об этом не догадывается. Он не знает, что его крик — это не более чем лесной шум. В системе Советской Армии и всего нашего государства он уже ноль, частное лицо, неудачник, изгнанный из армии без пенсии. Приказ об этом ему скоро объявят. Так что его приказ о смещении тебя с роты никакой силы не имеет.

— Спасибо, товарищ подполковник!

— Не спеши благодарить. Он не имеет права тебя отстранить от командования ротой. Поэтому я тебя отстраняю.— И, сменив тон, он тихо, но властно сказал: — Приказываю роту сдать!

У меня привычка давняя встречать удары судьбы улыбкой.

Но удар оказался внезапным и улыбки не получилось.

Я встал, бросил ладонь к козырьку и четко ответил:

— Есть! Сдать роту.

— Садись.

Сел.

— Есть разница. Полковник Ермолов снял тебя, потому что считал, что роты для тебя много. Я снимаю тебя, считая, что роты для тебя мало. У меня для тебя есть должность начальника штаба разведывательного батальона дивизии.

— Я только старший лейтенант.

— Я тоже только подполковник. А вот вызвали и приказали принять разведку целой Армии. Я сейчас не только принимаю дела, но и формирую свою команду. Коекого я за собой перетащил со своей прежней работы. Я был начальником разведки 87-й дивизии. Но у меня теперь хозяйство во много раз больше, и мне нужно очень много толковых исполнительных ребят, на которых можно положиться. И штаб разведывательного батальона — это минимум для тебя. Я попробую тебя и на более высоком посту. Если справишься...— Он смотрит на часы.— Двадцать минут тебе на сборы. В 21.30 отсюда в Ровно, в штаб 13-й Армии пойдет наш автобус. В нем зарезервировано место и для тебя. Я заберу тебя к себе в разведывательный отдел штаба 13-й Армии, если завтра ты сдашь экзамены.

Экзамены я сдал.

Глава II

1

От офицерской гостиницы до штаба 13-й Армии — двести сорок шагов. Каждое утро я не спеша иду вдоль шеренги старых кленов, мимо пустых зеленых скамеек прямо к высокой кирпичной стене. Там, за стеной, в густом саду — старинный особняк. Когда-то очень давно тут жил богатый человек. Его, конечно, убили, ибо это несправедливо, чтоб у одних большие дома были, а у других — маленькие. Перед войной в этом особняке размещалось НКВД, а во время нее — Гестапо. Очень уж место удобное. После войны тут разместился штаб одной из наших многочисленных Армий. В этом штабе я теперь служу.

Штаб — это концентрация власти, жестокой, неумолимой, несгибаемой. В сравнении с любым из наших противников — наши штабы очень малы и предельно подвижны. Штаб Армии — это семьдесят генералов и офицеров да рота охраны. Это все. Никакой бюрократии. Штаб Армии может в любой момент разместиться на десяти бронетранспортерах и раствориться в серо-зеленой массе подчиненных ему войск, не теряя при этом руководства ими. В этой его незаметности и подвижности — неуязвимость. Но и в мирное время он защищен от всяких случайностей. Еще первый владелец отгородил свой дом и большой сад высокой кирпичной стеной. А все последующие владельцы стену эту укрепляли, надстраивали, дополняли всякими штуками, чтобы начисто отбить охоту через стену перелезть.

У зеленых ворот — часовой. Предъявим ему пропуск. Он его внимательно рассмотрит и — рука к козырьку: проходите, пожалуйста. От контрольного пункта самого здания не видно. К нему ведет дорога между стен густых кустов. С дороги не свернешь — в кустах непролазная чаща колючей проволоки. Так что иди по дороге, как по туннелю. А дорога плавно поворачивает к особняку, спрятанному среди каштанов. Окна его первого этажа много лет назад замурованы. На окнах второго этажа — крепкие решетки снаружи и плотные шторы изнутри. Площадка перед центральным входом вымощена чистыми белыми плитами и окружена стеной кустов. Если присмотреться, то кроме колючей проволоки в кустах можно увидеть и серый шершавый бетон. Это пулеметные казематы, соединенные подземными коридорами с подвальным помещением штаба, где размещается караул.

Отсюда, от центрального дворика, дорога поворачивает вокруг особняка к новому трехэтажному корпусу, пристроенному к главному зданию. Отсюда можно наконец попасть в парк, который зеленой мглой окутывает весь наш Белый дом.

Днем на дорожках парка можно увидеть только штабных офицеров, ночью — караулы с собаками. Тут же в парке, совсем неприметный со стороны, вход в подземный командный пункт, сооруженный глубоко под землей и защищенный тысячами тонн бетона и стали. Там, под землей — рабочие и жилые помещения, узел связи, столовая, госпиталь, склады и все, что необходимо для жизни и работы в условиях полной изоляции. Но кроме этого подземного КП есть еще один. Тот не только бетоном, сталью и собаками защищен, но и тайной. Тот КП — призрак. Мало кто знает, где он расположен.

До начала рабочего дня — двадцать минут, и я брожу по дорожкам, шурша первым золотом осени.

Далеко-далеко в небе истребитель чертит небо, пугая журавлей, кружащих над невидимым отсюда полем.

Вот офицеры потянулись к Белому дому. Время. Двинемся и мы. По дорожке, к широкой аллее, мимо журчащего ручья, теперь обогнем левое крыло особняка, вот мы снова на центральном дворике среди густых кустов под тяжелыми взглядами пулеметных амбразур из-под низких бетонных лбов сумрачных казематов.

Предъявим снова пропуск козыряющему часовому и войдем в гулкий беломраморный зал, где когда-то звенели шторы, шелестели шелком юбки, и за страусовыми перьями вееров прятали томные взгляды. Теперь тут юбок нет. Редко-редко мелькнет телеграфистка с узла связи. Юбка на ней суконная, форменная, хаки, в обтяжку. Что, полковники, вслед смотрите? Нравится?

По беломраморной лестнице — вверх. Тут уж мне вслед смотрят. Там наверху часовой. Там еще одна проверка документов. И сюда, наверх, отнюдь не каждому штабному полковнику вход разрешен. А я только старший лейтенант, но пропускают меня часовые. Внизу удивляются. Что за птица? Отчего по мраморной лестнице вверх ходит?

Предъявим еще раз пропуск и войдем в затемненный коридор. Тут ковры совсем заглушат наши шаги. В конце коридора — четыре двери, в начале — тоже четыре. Там, в конце коридора, кабинеты командующего Армией, его первого заместителя, начальника штаба и политического шамана 13-й Армии, который именуется Член Военного совета.

А четыре двери в начале коридора — это самые важные отделы Штаба: первый, второй, восьмой и Особый. Первый отдел — оперативный, он занимается боевым планированием. Второй отдел — разведывательный, он поставляет первому отделу всю информацию о противнике. Восьмой отдел названия не имеет, у него есть только номер. Мало кто знает, чем этот отдел занимается. А у Особого отдела наоборот — номера нет, только название. Чем занимается — все знают.

Наш коридор — наиболее охраняемая часть штаба и доступ сюда разрешен очень ограниченному числу офицеров. Конечно, в наш коридор и некоторые лейтенанты ходят: особисты и генеральские адъютанты. Вот и мне вслед полковники смотрят: что

за гусь? А я не особист и не адъютант. Я — офицер второго отдела. А вот наша черная кожаная дверь — первая налево. Наберем шифр на пульте — и дверь плавно открылась. А за ней еще одна, на этот раз броневая, как в танке. Нажмем на кнопку звонка, на нас глянет бдительное око через пуленепробиваемую смотровую щель и щелкнет замок — вот мы и дома.

Раньше тут, видимо, был один большой зал, потом его разделили на шесть не очень больших кабинетов. В тесноте, но не в обиде. В одном кабинете — начальник разведки 13-й Армии, мой благодетель и покровитель, пока еще подполковник, Кравцов. В остальных пяти кабинетах работают пять групп отдела. Первая группа руководит всей нижестоящей разведкой — разведывательными батальонами дивизий, разведротами полков, внештатными разведротами, артиллерийской, инженерной и химической разведкой. Пятая группа занимается электронной разведкой. В ее подчинении два батальона пеленгации и радиоперехвата, а кроме того, эта группа контролирует электронную разведку во всех дивизиях, входящих в состав нашей 13-й Армии. Вторая и третья группы для меня — терра инкогнита. Но проработав в четвертой группе месяц, я начинаю догадываться о том, чем эти совершенно секретные группы занимаются. Дело в том, что наша четвертая группа занимается окончательной обработкой информации, поступающей из всех остальных групп отдела. А кроме того, к нам стекается информация снизу, от штабов дивизий, сверху — из штаба округа, сбоку от соседей — от пограничных войск КГБ.

В нашей группе в мирное время три человека. В военное время должно быть десять. В кабинете три рабочих стола. Тут работают два подполковника — аналитик и прогнозист, и я — старший лейтенант.

Я работаю на самой простой работе — на перемещениях. Понятно, что аналитик в нашей группе старший.

Раньше на перемещениях тоже работал подполковник. Но новый начальник разведки его изгнал из отдела, освободив место для меня. Но должность эта по штату подполковничья, и это означает, что если мне на ней удастся удержаться, то очень скоро стану капитаном, а потом через четыре года — так же автоматически майором, а еще через пять лет — подполковником. Если за эти годы мне удастся прорваться выше, то и следующие звания будут идти автоматически по выслуге лет. Но если я скачусь вниз, то за каждую новую звезду придется грызть кому-то глотку.

Подполковникам совсем не нравится инициатива нового начальника разведки — посадить в подполковничье кресло старшего лейтенанта, мое появление унижает их авторитет и опыт, но не это главное. Главное в том, что и в их кресла новый начальник может посадить молодых и порывистых. Они оба смотрят на меня и только слабыми кивками отвечают на приветствие.

В рабочем кабинете информационной группы разведывательного отдела три стола, три больших сейфа, книжные полки во всю стену и карта Европы — тоже во всю стену. Прямо напротив входа — небольшой портрет моложавого генерала. На погонах по три звезды. Иногда, когда никто не видит, я улыбаюсь генерал-полковнику и подмигиваю ему. Но генерал-полковник с портрета никогда мне не улыбается. Взгляд его холоден, суров и серьезен. Глаза, зеркало души, жестоки и властны. В уголках губ — легкая тень презрения. Под портретом нет никакой надписи. Нет ее и на обратной стороне портрета. Я проверял, когда в комнате никого не было. Вместо имени там стоит печать «Войсковая часть 44388» и грозное предупреждение: «Содержать только в защищенных помещениях Аквариума и подчиненных ему учреждений». Командный состав Советской армии я знаю хорошо. Офицер обязан это знать. Но совершенно уверен, что генерал-полковника с портрета я не видел ни в одном военном журнале, включая и секретные.

Ладно, товарищ генерал, не мешайте работать.

Передо мной на столе пачка шифровок, поступивших за прошлую ночь. Моя работа разобраться с ними, изменения в составе и дислокации войск противника внести в «Журнал перегруппировок» и нанести на Большую карту, которая хранится в первом отделе штаба Армии.

Первая шифровка сразу ставит в тупик: на железнодорожном мосту через Рейн вблизи Кельна зарегистрирован эшелон, двадцать британских танков «Чифтен». Идиоты! В каком направлении прошел эшелон? Это усиление или ослабление? 20 танков — пустяк. Но из таких крупиц, и только из них, создается общая картина происходящего. И аналитик, и прогнозист имеют на столах точно такие же копии шифровок. И оттого, что они совершенно четко представляют себе картину происходящего, оттого, что в своих головах они держат тысячи цифр, дат, имен и названий, им, конечно, не надо поднимать шифровки предыдущих дней, чтобы там найти ключ к разгадке такого пустикового вопроса. Они испытующе смотрят на меня и совсем не спешат подсказать нужный ответ. Я поднимаюсь со своего места и иду к сейфу. Если перечитать снова все шифровки предыдущих дней, то наверное ответ будет однозначным. А четыре злых глаза мне в спину: трудись, старлей, знай, за что подполковники свой хлеб жуют.

2

Мы работаем до 17.00 с одним часовым перерывом на обед. Тот, кто имеет срочную работу, может оставаться в кабинете до 21.00. После этого все документы полагается сдать в секретную библиотеку, а сейфы и двери опечатать. Только подземный командный пункт не спит. Во время обострения обстановки мы по очереди остаемся в штабе. В каждой группе по одному офицеру. А в моменты кризисов — все офицеры штаба по несколько дней живут и работают в своих кабинетах или под землей. В подземном КП условия для жизни гораздо лучше, но там нет солнца, и потому, если можно, большую часть времени мы проводим в наших немного тесных кабинетах.

Если нет шифровок, то я читаю «Разведывательную сводку» Генерального штаба. Я полюбил эту пухлую, в 600 страниц книгу. Я зачитываюсь ею, многие страницы знаю чуть ли не наизусть, несмотря на то, что каждая из них вмещает иногда по несколько сот цифр и названий. Когда нет кризисов и напряженного положения, то подполковники ровно в 17.00 исчезают. У них, как у павловских подопытных псов, в определенное время слюна выделяется, чтобы плюнуть на печать и вдавить ее в пластилин на сейфе. С этого момента я остаюсь один. Я читаю «Разведывательную сводку» сотый раз. А кроме общей сводки, есть такая же толстая книга о бронетанковой технике, о флоте, о системе мобилизации бундесвера, о французских ядерных исследованиях, о системе тревог НАТО и еще черт знает о чем.

— Ты спишь когда-нибудь?

Я и не заметил, как на пороге появился подполковник Кравцов.

— Иногда, а вы?

— Я тоже иногда.— Кравцов смеется. Я знаю, что Кравцов каждый вечер сидит допоздна или же неделями пропадает в подчиненных ему подразделениях.

— Тебя проверить?

— Да.

— Где находится 406-е тактическое истребительное тренировочное крыло ВВС США?

— Сарагоса, Испания.

— Что входит в состав 5-го Армейского корпуса США?

— 3-я бронетанковая, 8-я механизированная дивизии и 11-й бронекавалерийский полк.

— Для начала неплохо. Смотри, Суворов, скоро будет проверка, если ты не справишься с работой, то тебя выгонят из штаба. Меня не выгонят, но по шее дадут.

— Стараюсь, товарищ подполковник.

— А сейчас иди спать.

— Еще час можно поработать.

— Я сказал, иди спать. Ты мне рехнувшийся тоже не нужен.

3

Через две недели, когда подполковник-прогнозист находился в штабе округа, мне пришлось работать вместо него. За один день и две ночи я подготовил свой первый разведывательный прогноз: два тонких печатных листа с названием «Предполагаемая боевая активность 3-го корпуса бундесвера на предстоящий месяц». Эти листы начальник разведки просмотрел и приказал передать в первый отдел. Все прошло как-то буднично. Меня никто не хвалил, но никто и не смеялся над моим творением.

4

Воздушная волна бумаги со столов сорвала. Подполковники их телами накрывают. Не разлетелись бы. За каждую бумажку по 15 лет получить можно. Дверь кабинета без стука на всю ширину раскрылась. В двери лейтенант.

— Здравствуйте, Константин Николаевич,— улыбаются лейтенанту подполковники. Красив лейтенант, высок, плечист. Ногти розовые, полированные. Лейтенанта в штабе только по имени-отчеству называют. Положение его завидное — адъютант начальника штаба Армии. Если просто его назвать «товарищ лейтенант» — это вроде как обидеть его. Поэтому — Константин Николаевич.

— Перемещения,— небрежно бросает Константин Николаевич. Можно, конечно, сказать «Начальник штаба требует к себе офицера по перемещениям с докладом об изменениях в группировке противника за прошлую ночь». Но можно и проще это сделать, как это Константин Николаевич делает: коротко, с легким презрением.

Я быстро шифровки в папку собираю. Адъютант генеральский чуть подобрел, даже улыбнулся: «Не суетись под клиентом».

Подполковники адъютантской шутке зубки скалят. Суки штабные. За места теплые держитесь. А я этого терпеть не буду. Мне, кроме своих цепей, терять нечего:

— Не хами, лейтенант.

Лицо адъютанта вытянулось. Подполковники умолкли, на меня звериные взгляды уставили. Дурак, выскочка, хам. Как же ты с адъютантом разговариваешь? С Константином Николаевичем? Тут тебе не батальон. Тут штаб! Тут обстановку тонко чувствовать надо. Ты, деревенщина неотесанная, и на нас гнев накликаешь!

Выхожу из кабинета, генеральского адъютанта вперед себя не пропустив. И не пропущу никогда. Подумаешь, адъютантишко! Холуй генеральский. Ты солдата видел ли когда-нибудь на огневом рубеже? На стрельбище? Когда у него автомат с патронами, а у тебя только флажок красный в руке? Почувствовав оружие, идет солдат на мишени и мыслью терзается — а не врезать ли длинную очередь по командиру своему? За свою жизнь я каждого своего солдата десятки раз через огневой рубеж водил. И но однажды видел сомнение в солдатских глазах: по фанерке стрелять или насладиться смертью настоящей? А ты, адъютантик, водил солдат на огневой рубеж? А видел ты их один на один в лесу, в поле, на морозе, в горах? А видел ты злобу солдатскую? А случалось тебе вдруг застать всю роту пьяной с боевым оружием? Ты, адъютант, на мягких коврах карьеру делаешь и не рыпайся на Витю Суворова. Я терпел бы, если б ты капитаном был или если хотя бы одного возраста со мной оказался. А ты же сопляк, мальчишка, как минимум на год младше меня.

В коридоре генеральский адъютант как бы нечаянно мне больно на ногу наступил. Я ждал выходки какой-нибудь и готов к ней был. Шел я чуть впереди адъютанта и чуть левее. И потому правым своим локтем двинул резко назад. В мягкое попал. Что-то в адъютанте булькнуло. Охнул адъютант, ртом разинутым воздух хватает, изогнулся, к стенке привалился. Медленно разгибается адъютант. Выше он меня и в кости шире. Кисти рук огромные. Мячик баскетбольный наверное той кистью без труда держать можно. Но пузечко слабеньким оказалось. А может, просто не ожидал удара. Это ты, адъютант, дурака свалял. Удара всегда ожидать нужно. Каждое мгновенье. Тогда и не будет такого сокрушительного эффекта.

Медленно адъютант выпрямляется, от моей руки взгляда не отрывает. А у меня два пальца рогаткой растопырены. Во всех странах этот жест викторию означает, победу то есть. А у нас этот жест означает: «Гляделки, сука, выколю».

Поднимается он медленно по стеночке, от растопыренных пальцев взгляд не отрывает. И понимает он, что его высокий покровитель ему сейчас не защита. Мы один на один, в пустом коридоре, как единоборцы на древнем поле боя, когда перед кровавой битвой от двух несметных армий вышли на средину только двое, и будут бить друг друга. Он выше меня и шире, но сейчас он понимает, что суета жизни простилась со мной, и уже ничего кроме победы для меня не важно, и что за победу я готов платить любую цену, даже собственную жизнь. Он уже знает, что на любое его действие или даже слово я отвечу жутким ударом растопыренных пальцев в глаза и тут же вцеплюсь ему в глотку, чтобы уже никогда ее не отпустить.

Он, не моргая, медленно поднимает свои руки к горлу и нащупав галстук, поправляет его:

— Начальник Штаба ждет...

— Вас...— подсказываю я.

— Начальник Штаба ждет ВАС.

Мне трудно возвращаться в этот мир. Я уже простился с ним, перед смертельной звериной схваткой. Но он боя не принял. Я втягиваю воздух в себя и тру онемевшие от напряжения руки. Он не отрывает взгляда от моего лица. Мое лицо, видимо, изменилось, что-то говорит ему, что я его пока убивать не намерен. Я поворачиваюсь и иду по коридору. Он идет сзади. Я старший лейтенант, а ты еще только лейтенант, вот и топай сзади.

В приемной два стола, один против другого. Они, как бастионы, прикрывают каждый свою дверь. Одна дверь в кабинет командующего, другая в кабинет начальника штаба. У двери командующего за полированным столом — его адъютант. Он тоже лейтенант, но и его никто по званию или по фамилии в штабе не называет — Арнольд Николаевич его имя. Тоже высокий, тоже красивый. Форма на нем не офицерского — генеральского сукна. Ко мне с его стороны тоже никакого почтения, сквозь меня смотрит, не замечая. Есть на то причина: мой шеф, начальник разведки подполковник Кравцов, назначен на свой высокий пост без согласия командующего Армией, его заместителя и начальника штаба, вытеснив их человека с этого важного поста. И оттого к моему шефу презрение командующего, придирки начальника штаба. Оттого ко всем нам, кого Кравцов за собой привел, общая ненависть офицеров штаба, особенно тех, что работают на Олимпе, на втором этаже. Мы — чужаки. Мы незваные гости в теплой компании.

Начальник штаба генерал-майор Шевченко вопросы ставит толково, слушает, не перебивая. Я ждал придирок, но он только пристально смотрит мне в лицо. В штабе появляются новые офицеры. Чья-то невидимая мощная рука толкает их прямо на мягкие ковры второго этажа. Мнения начальника штаба теперь почему-то не спрашивают, и это не может ему нравиться. Власть мягко, как вода, струится сквозь пальцы, как ее удержать? Он отворачивается к окну и смотрит в сад, заложив руки за спину. Кожа на его щеках фиолетовая, чуть-чуть жилки проступают. Я стою у двери, не зная, что делать.

— Товарищ генерал, разрешите идти?

Не отвечает. Молчит. Может, вопроса не услышал. Нет, услышал. Помолчав еще, он коротко отвечает «да», не повернув ко мне головы.

В приемной оба адъютанта встречают меня недобрыми взглядами. Ясно, что адъютант начальника штаба уже все рассказал своему коллеге. Конечно, они еще не доложили о случившемся своим покровителям, но непременно это сделают. Для этого они должны выбрать удобный момент, когда босс в соответствующем для подобного доклада настроении.

Я иду к двери, спиной чувствуя их ненавидящие взгляды, как пистолеты в затылок. Чувства во мне два сейчас — облегчение и досада. Служба моя штабная завершена, и ждет меня бескрайняя ледяная пустыня за полярным кругом или желтая раскаленная пустыня, возможно еще, и суд офицерской чести.

Подполковники встречают меня гробовым молчанием. Они, конечно, не знают того, что случилось в коридоре, но и того, что случилось тут, в кабинете, вполне достаточно, чтобы уже меня не замечать. Я — выскочка. Я внезапно взлетел высоко, но, не понимая этого и по достоинству не оценив случившегося, на этом месте не удержался и сорвался в пропасть. Я — никто. И моя участь их не беспокоит. Их интересует более важный вопрос: будет ли удар по мне перенесен и на моего столь ими ненавидимого шефа.

Я запираю документы в сейф и спешу к подполковнику Кравцову, предупредить о грозящих ему неприятностях.

— С адъютантами не надо ссориться,— назидательно говорит он, не проявляя однако особого беспокойства по поводу случившегося. О том, что я ему рассказал, он, кажется, забывает мгновенно.— Чем ты намерен заниматься сегодня вечером?

— Готовиться к сдаче должности.

— Тебя еще никто из штаба не выгоняет.

— Значит, скоро выгонят.

— Руки коротки. Я тебя сюда, Суворов, за собой привел, и только я тебе могу дать команду убираться отсюда. Так чем ты намерен заниматься вечером?

— Изучать 69-ю группу сил 6-го флота США.

— Хорошо. Но тебе кроме умственных нужны и физические нагрузки. Ты — разведчик, ты должен пройти курс нашей подготовки. Ты знаешь, чем занимается вторая группа нашего отдела?

— Знаю.

— Как ты это можешь знать?

— Догадался.

— Так чем вторая группа, по твоему мнению, занимается?

— Руководит агентурной разведкой.

— Правильно. А может, ты знаешь и чем третья группа занимается? — Он недоверчиво смотрит на меня.

— Знаю.

Он ходит по комнате, стараясь осмыслить то, что я ему сказал. Затем он порывисто садится на стул.

— Садись.

Я сел.

— Вот что, Суворов, из второй группы ты получал для обработки крупицы информации и поэтому ты мог догадаться об их происхождении. Но из третьей группы ты ни черта не получал...

— Из этого я сделал вывод, что силы, подчиненные третьей группе, действуют только во время войны, а дальше догадался.

— Твоя догадка могла быть неверной...

— Но офицеры в третьей группе очень высокие, все как один...

— Чем же они, по-твоему, занимаются?

— Во время войны они вырывают информацию силой...

— ...и хитростью,— вставил он.

— Они диверсанты, террористы.

— Ты знаешь, как это называется?

— Этого я знать не могу.

— Это называется Спецназ. Разведка специального назначения. Диверсионная, силовая разведка. Мог ли ты догадаться, сколько диверсантов в подчинении третьей группы?

— Батальон.

Он вскочил со стула:

— Кто тебе это сказал?

— Догадался.
— Как?
— По аналогии. В каждой дивизии одна рота занимается глубинной разведкой. Это, конечно, не Спецназ, но нечто очень похожее. Армия на ступень выше дивизии, значит в вашем распоряжении должна быть не рота, а батальон, то есть на ступень выше.
— Четыре раза в неделю по вечерам будешь являтьси вот по этому адресу, имея с собой спортивный костюм. Все. Иди.
— Есть!
— Если придет новый командующий армии и новый начальник штаба, а, следовательно, и новые адъютанты, постарайся иметь с ними хорошие отношения.
— Вы думаете, что командование нашей армии скоро сменится?
— Я тебе этого не говорил.

5

В нашей информационной группе разведывательного отдела небольшие изменения. Подполковник, который работал на прогнозах, внезапно уволен в запас. Его вызвали на медицинскую комиссию, которая нашла нечто такое, что мешает ему оставаться в армии. На пенсии ему будет лучше. Уходить ему никак не хотелось, ибо каждый год после двадцати пяти дает солидную надбавку к пенсии. Но доктора неумолимы: ваше здоровье дороже всего. Вместо подполковника на должность прогнозиста назначен капитан из разведки 87-й дивизии.

6

Начальник штаба должен знать все о противнике, поэтому каждое утро, разобравшись с шифровками, я иду к нему на доклад. Он никогда не вызывает меня по телефону, просто посылает адъютанта.

После нашей стычки прошло уже две недели. Я уверен, что адъютант давно доложил своему шефу о случившемся, конечно, в выгодном для себя свете. Но я все еще хожу по коридорам второго этажа, я еще не провалился в тартарары. Это генеральским адъютантам не совсем понятно. Им ясно, что я какое-то исключение в правиле, но они не знают какое и почему, и потому они не хамят мне больше. Этот вопрос и меня занимает самого — отчего, черт побери, я исключение?

7

У нас изменения. Начальник первого отдела штаба смещен. Вместе с ним уволены старшие групп и некоторые ведущие офицеры. Вместо полковника на должность поставлен подполковник. За собой он привел целый табун капитанов и старших лейтенантов и рассадил их по подполковничьим местам.

8

— Начальник разведки 13-й армии приказал мне пройти сокращенный курс подготовки для работы в третьей группе.
— Да... да... я знаю... заходи.— Он широко улыбается. Ручищи у него, как клешни у краба.— Информаторы должны работать у нас, они должны понимать, как кусочки информации собираются и какова им цена. Переодевайся.

Сам он босиком, в зеленой куртке и в зеленых брюках, мягких, но, видимо, прочных. Руки по локоть обнажены и напоминают мне здоровенные необычно чистые волосатые лапы хирурга, который лет пять назад собирал меня из кусочков.

Мы в широком солнечном спортивном зале. Посреди зала два одиноких стула кажутся совсем маленькими в этой необъятной шири.
— Садись.

Мы сели на стулья лицом к лицу.
— Руки на колени положи и расслабь их, как плети. Всегда так сиди. В любой обстановке ты должен быть предельно расслаблен. Нижние зубы не должны касаться верхних. Челюсть должна отвисать, слегка, конечно. Шею расслабь. Ноги. Ступни. Ногу на ногу никогда не клади — это нарушает кровообращение. Та-ак.— Он встал, обошел меня со всех сторон, придирчиво оглядывая. Потом ручищами ощупал шею, мышцы спины, кисти рук.
— Никогда не барабань пальцами по столу. Так делают только неврастеники. Советская военная разведка таких в своих рядах не держит. Что ж, ты достаточно расслаблен, приступим к занятиям.

Он садится на стул, руками держится за сиденье, потом качается на двух задних ножках стула и вдруг, качнувшись резко назад, опрокидывается на спину. Улыбается. Вскакивает. Поднимает стул и садится на него, скрестив руки на коленях.
— Запомни, если ты падаешь назад, сидя на стуле, с тобой ничего не может случиться, если, конечно, сзади нет стенки или ямы. Падать назад, сидя на стуле, так же просто и безопасно, как опуститься на колени или встать на четвереньки. Но природа наша человеческая противится падению назад. Нас сдерживает только наша психика... Возьмись руками за сидение... Я тебя подстраховывать не буду, удариться ты все равно не можешь... Покачайся на задних ножках стула... Стой, стой, боишься?
— Боюсь.
— Это ничего. Это нормально. Было бы странно, если бы не боялся. Все боятся. Возьмись руками за сидение. Начинай без моих команд. Покачались...

Я качался на стуле, балансируя, затем слегка нарушил баланс, качнувшись чуть больше, и стул медленно пополз в бездну. Я вжался в сидение. Я втянул голову в плечи. Потолок стремительно уходил вверх, но падение затянулось. Время остановилось. И вдруг спинка стула грохнулась об пол. Только тут я по-настоящему испугался, и в то же мгновенье радостно рассмеялся: со мной решительно ничего не случилось. Голова, повинуясь рефлексу, чуть ушла вперед и оттого я просто не мог удариться затылком. Удар приняла спина, плотно прижатая к спинке стула. Но площадь спины гораздо больше площади ступней, и оттого падение назад менее неприятно, чем прыжок со стула на землю. Он протянул мне руку.
— А можно и еще попробую?
— Конечно, можно,— улыбается.

Я сел на стул, ухватился руками за сидение и повалился назад.
— Я еще попробую,— радостно кричу я.
— Да, да, наслаждайся.

9

— По нашему заказу Академия наук разработала методику прыжков из скоростного поезда, а равно из автомобиля, трамвая... Математические формулы тебе не нужны, пойми только вывод: из стремительно несущегося поезда надо прыгать задом и назад, приземляться на согнутые ноги, стараясь сохранить равновесие и не коснувшись руками земли. В момент касания земли нужно мощно оттолкнуться и несколько секунд продолжать бег рядом с поездом, постепенно снижая скорость. Наши ребята прыгают с поездов на скоростях 75 километров в час. Это общий стандарт. Но есть одиночки, которые этот стандарт значительно перекрывают, прыгая с гораздо более скорых поездов, прыгая под уклон, с мостов, прыгая с оружием в руках и со значительным весом за спиной. Запомни, главное — не коснуться руками земли. Ноги вынесут тебя. Мышцы ног обладают исключительной силой, динамичностью и выносливостью. Касание рукой может нарушить стремительный ритм движения ног. За этим следует падение и мучительная смерть. Потренируемся. Вначале тренажер. Настоящий поезд будет позже. Начинаем со скорости десять километров в час...

10

А через месяц мы вдвоем стояли на перилах железнодорожного моста. Далеко внизу холодная свинцовая река медленно несет свои воды, сворачиваясь в могучие змеиные кольца у бетонных опор. Я уже грамотен и понимаю, что человек может ходить и по телеграфному проводу над бездонной пропастью. Все дело в психической закалке. Человек должен быть уверен, что ничего плохого не случится, и тогда все будет нормально. Цирковые артисты тратят годы на элементарные вещи. Они ошибаются. У них нет научного подхода. Они базируют свою подготовку на физических упражнениях, не уделяя достаточного внимания психологии. Они тренируются много, но не любят смерть, боятся ее, стараются ее обойти, забывая о том, что можно наслаждаться не только чужой смертью, но и своей собственной. И только люди, не боящиеся смерти, могут творить чудеса вместе с богами.
— Дураки говорят, что вниз смотреть нельзя,— кричит он.— Какое наслаждение смотреть вниз на водовороты.

Я смотрю в глубину, и она больше не кажется мне жуткой и влекущей, как змеиная пасть для лягушонка. И ладони мои больше не покрываются отвратительной влагой.

11

Опять изменения в руководстве 13-й армии. В каждой армии по два генерал-майора артиллерии. Один командует ракетными подразделениями и артиллерией, второй — ПВО. В 13-й смещены оба.

12

В Прикарпатском военном округе грандиозные изменения.

Скоропостижно скончался командующий Прикарпатским военным округом генерал-полковник Бисярин. Еще не прошло и года с того времени, когда он командовал Прикарпатским фронтом в Чехословакии. Он был бодр и здоров, и правил четырьмя армиями фронта легко и свободно. Говорят, что он никогда не болел. И вот его нет.

Командование военным округом принял генерал-лейтенант танковых войск Обатуров. И тут же в штабе военного округа произошло массовое смещение людей Бисярина и их замена людьми Обатурова. И тут же волна изменений покатилась вниз в штабы армий. В округе их четыре: 57-я воздушная, 8-я гвардейская танковая, 13-я и 38-я. По мягкому ковру нашего коридора быстро прошли два новых генерала — новый командующий нашей 13-й армией и новый начальник штаба.

В этот день броневую дверь разведывательного отдела всем посетителям открывал я. Звонок. Через танковый триплекс я вижу незнакомого лейтенанта. О, я знаю, кто это.

— Пароль?

— Омск.

— Допуск?

— 106.

— Заходите,— тяжелая дверь плавно отошла в сторону, пропуская лейтенанта.

— Доброе утро. Товарищ старший лейтенант, мне нужен начальник разведки.

— Я доложу ему. Одну минуту подождите, пожалуйста.— Я стукнул в дверь своего шефа и тут же вошел:

— Товарищ подполковник, к вам адъютант нового командующего армией.

— Просите.

Лейтенант входит:

— Товарищ подполковник, вас просит командующий.

Я знаю наперед, что будут учения, что шифровки будут сыпаться, как из рога изобилия, что молодые адъютанты устанут смертельно, у них будут красные, воспаленные глаза, когда ночами мы будем вместе с ними работать над большой картой. Я знаю, что после первых учений два новых адъютанта и я напьемся до зеленых чертиков и станем друзьями. Я буду рассказывать им похабные анекдоты, а они мне — смешные истории из интимной жизни их покровителей. Но и сейчас уже, после самой первой встречи, уже по тому, как адъютант приветствовал меня, и по тому, как он входил в кабинет моего шефа, я понимаю, что мы фигуры одного цвета. Новые генералы в штабе армии — люди Обатурова. Новые начальники отделов, включая и Кравцова,— люди Обатурова. Новые адъютанты, новые офицеры в штабе — все они люди Обатурова. Я осознаю впервые, что и я член этой группы. И я знаю, что сам новый командующий Прикарпатским военным округом генерал-лейтенант Обатуров — человек какой-то мощной группы, стремительно и неудержимо идущей к власти.

Все, кто пришел в этот штаб и в другие штабы округа раньше нас, все они — фигуры другого цвета. И их время кончилось. Тех, кто стар достаточно, будут вышибать на пенсию, остальных — в раскаленные пески. Старая группа под мощным, но невидимым со стороны ударом рухнула и рассыпалась, и ее осколкам никогда не быть верными слугами воротил этого общества, никогда не нежиться в лучах могущества...

В секретной библиотеке я столкнулся с бывшим адъютантом бывшего начальника штаба. Он сдавал документы. Он едет куда-то очень далеко командовать взводом. Он более двух лет уже офицер, но никогда не имел в своем распоряжении недисциплинированных, полупьяных, совершенно неуправляемых солдат. Если бы с этого началась его служба, то все было бы нормально. Но его служба началась с мягких ковров. В любой обстановке он сытно ел и был в тепле. Теперь все ломалось. Человек привыкает быть на дне пропасти. А если он всегда там находился, то и с трудом представляет, что может быть какая-либо другая жизнь. Но лейтенант был вознесен к вершинам, а теперь снова падал в пропасть. На самое дно. И это падение было мучительным.

Он улыбается мне. А улыбка его кажется собачьей. Когда-то очень давно на Дальнем Востоке я видел двух псов, прибившихся к чужой своре. Но свора рычала, не желая принимать чужаков в свою среду. И тогда один из этих псов бросился на своего несчастного товарища и загрыз его. Их борьба продолжалась долго и свора терпеливо следила за исходом поединка. Один ревел, а другой, более слабый, жутко визжал, не желая расставаться с жизнью. Убив своего товарища, а может быть, и брата, весь искусанный и изорванный пес, поджав хвост, подошел к своре, демонстрируя свою покорность. И тогда свора бросилась на него и разорвала.

Почему-то бывший адъютант мне напомнил того пса с поджатым хвостом, готового грызть кого угодно, лишь бы быть принятым в свору победителей. Дурак. Будь гордым. Езжай в свою пустыню и не виляй хвостом, пока тебя не загрызли.

13

В ту ночь снился мне старый добрый еврей дядя Миша. Было мне тогда 15 лет. Учился я в школе и работал в колхозе. Зимой работал время от времени, летом — наравне с матерыми мужиками. Поэтому, когда на обсуждение встал серьезный вопрос, то на собрание позвали и меня. Дело вот в чем было: в конце августа каждый год наш колхоз отправлял в город Запорожье одного человека на две-три недели торговать арбузами. Конец августа приближался и нужно было решить, кто из мужиков поедет в этом году торговать колхозными арбузами.

Сидят мужики в клубе. Пора горячая — уборка в разгаре, а мужикам не до уборки. Спорят все, кричат. Председатель предложил на арбузы зятя своего Сережку послать. Первые ряды молчат, а с задних рядов свистят, стучат ногами и скамейками. Председатель ставит вопрос на голосование. Разгорячился он, голову теряет. В таких случаях нужно сначала спросить: «Кто против?» Никто, конечно, не поднимет руку. Тогда и голосованию конец, значит все согласны. Но председатель по ошибке спрашивает: «Кто за?». Он привык так вопрос ставить, когда нужно мудрую политику нашей родной партии одобрять. Но тут вопрос кровный. Тут все руки вверх не будут тянуть.

— Кто за? — повторяет председатель.

А зал молчит. Ни одна рука вверх не поднялась. Просчитался председатель. Не так вопрос поставил. Сережку, зятя председателева, нельзя посылать, значит. Махнул он рукой, сами тогда решайте. Опять шум и крик. Все с мест повскакали. Снова все недовольны.

А я в углу сижу. О чем люди спорят, никак в толк не возьму. Те мужики, что в прошлые годы арбузами торговать ездили, уверяют всех, что работа эта опасна: шпана на базаре зарезать может. Если ошибешься в расчетах, милиция арестует или придется потом с колхозом своими собственными деньгами рассчитываться. Но странное дело, ни один из них, раньше торговавших, вроде бы и не очень упирается, если его на эту опасную неблагодарную работу вновь выдвигают. Зато все остальные сразу ногами топают и кричат, что он мошенник и плут, и что от него только убыток колхозу.

Опять же странно, если работа опасная и неблагодарная, отчего его и не сунуть на эту работу вместо себя. Но нет. Не пускает собрание ни одного из названных.

Все новых кандидатов называют. И все так же решительно собрание их отклоняет. Чудеса. Нет бы первого, кого председатель назвал, и послать на это проклятое место. Всем бы облегчение. Так нет же, никому не хочется посылать туда ни врага своего, ни друга, ни соседа. Такое впечатление, что каждый сам туда норовит попасть, да другие его не пускают. А коли я туда не попал, так и тебя не пущу.

Спорили, спорили, утомились. Всех перебрали. Всех отклонили.

— Кого ж тогда? Витьку Суворова, что ли? Мал он еще.

Но мужики на этот счет другое мнение имели. Я им не равен ни по возрасту, ни по опыту, ни по авторитету, для мужиков вроде бы как никто. И послать меня означало для них почти тоже самое, что не послать никого. Пусть Витька едет, рассуждал каждый, лишь бы мой враг туда не попал. Так и порешили. Проголосовали единогласно. Председатель и даже зять его Сережка — и те руки вверх подняли.

Привезли меня в город два лохматых мужика в три часа ночи. Вместе мы арбузы разгрузили, уложили их в деревянный короб у зеленого дощатого навеса, в котором мне предстояло проработать шестнадцать дней и проспать пятнадцать ночей.

В пять утра базар уже гудел тысячами голосов. Мужики давно уехали, а я один со своими арбузами остался. Торгую. Из-за прилавка не выхожу. Стесняюсь. Ноги босые, а в городе никто так не ходит.

Торгую, судьбу проклинаю. Еще меня никто и резать не собирается, а жизнь уж в моих глазах меркнет. Арбузы у меня отменные. Очередь у прилавка огромная. Все кричат, как на колхозном собрании. А я считаю. Цена моим арбузам — 17 копеек за килограмм. Это государственная цена, отклониться от нее — в тюрьму посадят. Считаю. Математику я любил. Но ничего у меня не получается. Весит, допустим, арбуз 4 кг 870 граммов, если по 17 копеек за килограмм брать, то сколько такой арбуз стоит? Если б толпа не шумела, если б та баба жирная меня за волосья ухватить не норовила, то я мигом бы сосчитал. А так ни черта не получается. Ни карандаша, ни бумажки с собой нет. Откуда знать было, что потребуются?

Толстые женщины в очереди злятся на медлительность, напирают на прилавок. Те, что уже купили, в сторонке сдачу подсчитывают, снова к прилавку подбегают, кричат, милицию вызвать грозятся. А арбузы самые разные, и вес у них разный, и цена разная, а копейка на доли не делится. Вспомнил я слова мужиков на собрании: просчитаешься, потом с колхозом своими деньгами рассчитываться будешь. А откуда у меня свои деньги? Ни черта у меня не получается. Я толпе кричу, что закрываю торговлю. Тут меня чуть не разорвали. Уж больно арбузы хорошие.

А напротив меня в лавочке старый еврей с косматыми белыми бровями сидит. Шнурками торгует. Смотрит он на меня, морщится, квк от зубной боли. Невыносимо ему на эту коммерцию смотреть. То отвернется, то глаза к небу закатит, то на пол плюнет.

Долго он так сидел, мучался. Не выдержал. Закрыл лоточек свой, встал со мной рядом и давай торговать. Я ему арбузы кидаю, на которые он длинным костлявым пальцем указывает, и пока успеваю я арбуз из кучи выхватить, он предыдущий на лету ловит, взвешивает, подает, деньги принимает, сдачу отсчитывает, мне на следующий пальцем тычет, да еще и улыбаться всем успевает. Да и тычет не на всякий арбуз, а с понятием: то мени на самый верх кучи гонит, то к основвнию, то с другой стороны кучи забежать мне приходится, то обратно вернуться. А он всем улыбается. Ему все улыбаютси. Все его знают. Все ему кланяются. «Спасибо, дядя Миша»,— говорят.

За час он всю очередь пропустил. А куча наполовину уменьшилась. Только мы с очередью управились, он мне кучу денег вывалил: трешки мятые, рубли рваные, кое-где и пятерки попадаются. Мелочь звенящую он отдельной кучкой сложил, сдачу чтоб давать.

— Вот,— говорит,— выручка твоя. В правый карман ее положи, тут достаточно, чтобы с твоим колхозом за сегодня рассчитаться. А все, что сегодня еще выручишь, смело в свой левый карман клади.

— Ну, дядя Миша,— говорю,— век не забуду!

— Это не все,— говорит.— Это только я практику преподал, а теперь теорию слушай.

Принес он лист бумаги. Написал цены на нем: 1 кг — 17 копеек, 2 кг — 34... и так до десяти. Но с килограммами у меня проблемы не было, с граммами проблемв. Вот и их он отдельным столбиком пишет: 50, 100, 150...

— Копейка на доли не делится, поэтому за 50 граммов ничего можно не взять, а можно взять целую копейку. И так правильно, и так. За сто граммов можешь взять 1 копейку, в можешь 2 копейки взять. С хорошего человека бери всегда минимум, а с нормального человека всегда бери максимум.

Быстро он мне цены пишет... 750 — минимум 12 копеек, максимум — 13.

— Как же вы, дядя Миша, так считаете быстро?

— А я не считаю, я просто цены знаю.

— Черт побери,— говорю,— цены же меняются!

— Ну и что,— говорит,— если завтра тебе по 18 копеек прикажут продавать значит, например, за 5 килограмм 920 грамм можно минимум взять рубль и шесть копеек, а максимум — рубль и восемь копеек. Граммы тоже округлять нужно для хорошего человека в сторону минимума, а для нормального — в сторону максимума. Хорошему человеку хороший арбуз давай. Нормальному человеку — нормальный.

Кан хороший арбуз от нормального отличить — я знаю. У хорошего арбуза хвостик засушен, а на боку желтая лысинка. А вот как хороших людей от обычных отличить? Если спрошу, ведь он смеяться будет. Вздохнул я, но ведь и мне когда-то ума набираться надо, и спросил его...

От этого вопроса он аж присел. Долго вздыхал он, головой качал, глупости моей удивлялся.

— Заприметь хозяек из окрестных домов, тех, которые у тебя каждый день покупвют. Вот им и давай лучшие арбузы да по минимальной цене. Их немного, но они о тебе славу разносят, рекламу тебе делают, мол, честный, точный и арбузы сладкие. Они тебе очередь формируют. Раз две-три возле теби стоят, значит десять других вслед им пристроются. Но это уже покупатели одноразовые. Им-то и давай обычные арбузы похуже, а бери максимум с них. Понял?

Картон с ценами он над моей головой приладил. Со стороны не видно, но стоит мне голову вверх задрать, вроде цену вычисляя — все цены передо мной.

Так и пошла торговля. Быстро да с доходом. Хороши врбузы! Ах хороши! Подходи — налетай! Через день окрестные домохозяйки меня узнавать стали. Улыбаются. Я им арбузы по минимальной цене — улыбаюсь. Всем остальным — по максимальной, тоже улыбаюсь.

С одного покупателя — доли копеечки. С другого тоже. Вдруг я понял вырвжение, что деньги к деньгам липнут. Не обманывал я людей, просто доли копейки в свою пользу округлял, но понвились в моем левом кармане трешки мятые, рубли рваные, иногда и питерки.

Посчитаю доход — все лишние деньги у меня. Сдам колхозу выручку, а в моем собственном кармане все прибывает. Появилась в кармане хрустящая десятка. Пошел я к дяде Мише, протягиваю.

— Спасибо, дядя Миша,— говорю.— Научил как жить.

— Дурак,— говорит дядя Миша,— вон милиционер стоит. Ему дай. А у мени и своих достаточно.

— Зачем же милиционеру? — дивлюсь я.

— Просто так. Подойди и дай. От тебя не убудет. А милиционеру приятно.

— Я же преступления не совершаю. Зачем ему давать?

— Дай, говорю,— дядя Миша сердится.— Да когда давать будешь, не болтай. Просто сунь в карман и отойди.

Пошел я к милиционеру. Суровый стоит. Рубаха на нем серая, шея потная, глаза оловянные. Подошел к нему прямо вплотную. Аж страшно. А он и не шевелитси. В нагрудный карманчик ему ту десятку трубочкой свернутую сунул. А он и не заметил. Стоит, как статуя, глазом не моргнет. Не шелохнется. Пропали, думаю, мои денежки. Он и не почувствовал, как я ему сунул.

На следующее утро тот милиционер снова на посту: «Здравствуй, Витя»,— говорит. Удивляюсь я. Откуда б ему имя мое знать?

— Здравствуйте, гражданин начальник,— отвечаю.

А каждый вечер машина из колхоза приезжала. Отвалят мужики две-три тонны арбузов на новый день, а я за прошедший день отчет держу: было ровно две тонны; продал 1816 кг, остальные не проданы — битые и мятые, их 184 кг. Вот выручка — 308 рублей 72 копейки. Взвесят мужики брак, в бумагу запишут, и домой поехали. А я битые арбузы корзиной через весь базар на свалку таскаю. За этим занятием меня дядя Миша застал. Охает, кряхтит, моей тупости дивится. Отчего, говорит, ты тяжелую грязную работу делаешь да еще и без всякой для себя прибыли?

— Какая от них польза,— удивляюсь я.— Кто же их, гнилые да битые, купит?

Опять он сокрушается, глаза к небу закатывает. Продавать, говорит, их не надо. Но и таскать их на свалку тоже не надо. Оставь их, сохрани. Придет завтра контроль, а ты их и покажи второй раз, да вместе с теми, что завтра битыми окажутся. Продашь ты завтра допустим 1800 кг, а говори, что только 1650. А еще через день снова продашь 1800, но показывай все битые арбузы, что за три дня скопились, и говори, что удалось продать только 1500 килограммов.

Так и пошло.

— Не увлекайся,— дядя Миша учит.— Жадность фраера губит.

Это я и сам понимаю. Не увлекаюсь. Если 150 кг в день у меня битых, я только 300 кг показываю, но не больше. А ведь мог бы и полтонны показать. На этих битых арбузах в день я по 25 рублей в свой левый карман клал. В колхозе я и в месяц по стольку не зарабатывал. Да от полей тех копеечных в карманах оседало. Да еще несколько секретов дядя Миша шепнул.

В последний вечер захватил я шесть бутылок коньяка, надел новые туфли лакированные, пошел к дяде Мише.

— Дурак,— говорит дядя Миша.— Ты,— говорит,— эти бутылки своему председателю отдай, чтоб он и на следующее лето твою кандидатуру на собрании выдвинул.

— Нет,— говорю,— у тебя, может, и своих много, но возьми и мои тоже. Возьми их от меня на память. Если не нравятся — разбей об стенку. Но я тебе их принес и обратно не заберу.

Взял он их.

— Я,— говорю,— две недели торговал. А вы сколько?

— Мне,— отвечает,— семьдесят три сейчас, а вошел я в коммерцию с шести лет. При государе Николае Александровиче.

— Вы за свою жизнь, наверное, всем торговали?

— Нет,— отвечает,— только шнурками.

— А если б золотом пришлось торговать, сумели бы?

— Сумел бы. Но не думай, что на золоте проще деньги делать, чем на других вещах. Вдобавок все наперед знают, что ты миллионер подпольный. На шнурках больше заработать можно и спокойнее с ними.

— А чем тяжелее всего торговать?

— Спичками. Наука — исключительной сложности. Но если овладеть ею, то миллион за год сколотить можно.

— Вы, дядя Миша, если бы в капиталистическом мире жили, то давно миллионером были...

На это он промолчал.

— А у нас-то в социализме не развернешься, быстро расстреляют.

— Нет,— не соглашается дядя Миша,— и при социализме не всех миллионеров расстреливают. Нужно только десятку трубочкой свернуть — и милиционеру в кармашек. Тогда не расстрелнют.

А еще говорил дядя Миша, что деньги собирать не надо. Их тратить надо. Ради них на преступление идти не стоит и рисковать из-за них незачем. Не стоят они того. Другое дело, если они сами к рукам липнут — тут уж судьбе противиться не нужно. Бери их и наслаждайся. А на земле нет такого места, нет такого человека, к которому миллион бы сам в руки не шел. Правда, многие этих возможностей просто не видят, не используют. И сказав это, он трижды повторил, что счастье не в деньгах. А в чем счастье, он мне не сказал.

Редко дядя Миша мне снится. Трудно сказать почему, но в те ночи, когда добрый старик приходит ко мне на пыльный базар, я плачу во сне. В жизни я редко плакал, даже и в детстве. А во сне — только когда его вижу. Шепчет дядя Миша на ухо мудрость жизни, а я все запоминаю и радуюсь, что ничего не упустил. И все им сказанное в уме стараюсь удержать до пробуждения. Все просто, истины — прописные. Но просыпаюсь — и не помню ничего.

Разбудил меня лучик яркого света. Потянулся я и улыбнулся мыслям своим. Долго вспоминал, что мне дядя Миша на ухо шептал. Нет, ничего не помню. А было что-то важное, чего никак забывать нельзя. Из тысячи правил только самый маленький кусочек остался: людям улыбаться надо.

Глава III

1

Главный элемент снаряжения диверсанта — обувь. После парашюта, конечно.

Матерый диверсант со шрамом на щеке выдал мне со склада пару ботинок, и я их с интересом разглядываю. Обувь эта — не то что ботинки, но и не сапоги. Нечто среднее. Гибрид, сочетающий в себе лучшие качества и сапога и ботинка. В ведомости эта обувь числится под названием Бэ-Пэ — Ботинки Прыжковые. Так их и будем называть.

Сделаны эти ботинки из толстой мягкой воловьей кожи и весят гораздо меньше, чем это кажется по их виду. Ремней и пряжек на каждом ботинке много: два ремня вокруг пятки, один широкий вокруг ступни, два — вокруг голени. Ремни тоже очень мягкие. Каждый ботинок впитал в себя опыт тысячелетий. Ведь так ходили в походы наши предки: обернув ногу мягкой кожей и затянув ее ремнями. Мои сапоги именно так и сделаны: мягкая кожа да ремни.

Но вот таких подошв наши предки не знали. Подошвы толстые, широкие и мягкие. Мягкие, конечно, не значит, что не прочные. В каждой подошве по три титановых пластинки, они, как чешуя, одна на другую наложены — и прочно, и гибко. Такие титановые пластинки-чешуйки в бронежилетах используются — пулей не пробьешь. Конечно, в подошвы они не против пуль вставлены. Эти титановые пластинки защищают ступни от шипов и кольев, что в изобилии встречаются на подступах к особо важным объектам. При случае с такими подошвами и по огню бегать можно. Пластинки еще одну роль выполняют, они чуть выступают в стороны из подошв и служат опорами для лыжных креплений.

Рисунок на подошвах ботинок скопирован с подошв солдатской обуви наших вероятных противников. В зависимости от того, в каких районах предстоит действовать, мы можем оставлять за собой стандартный американский, французский, испанский или любой другой след.

И все же главная хитрость не в этом. Диверсионный, точнее прыжковый, ботинок имеет каблук впереди, а подошву сзади. Так что когда диверсант идет в одну сторону, его следы повернуты в другую. Понятно, что каблуки сделаны более тонкими, а подошвы более толстыми, так, чтобы ноге было удобно, чтобы перестановка — каблук вперед, подошва — назад не создавала трудностей при ходьбе.

Опытного следопыта вряд ли, конечно, обманешь. Он-то знает, что при энергичной быстрой ходьбе носок оставляет более глубокую вмятину, чем пятка. Но много ли людей всматриваются в отпечатки солдатских подошв? Многие ли из них знают, что носок оставляет более четкий след? Многие ли обратят внимание на то, что вдруг появился след, у которого все наоборот? Многие ли смогут по достоинству оценить увиденное? Кому может прийти в голову идея сапога, у которого каблук на носке, а подошва на пятке? Кому в голову придет мысль, что если следы ведут на восток, значит, человек прошел на запад?

Да ведь и мы не глупые. Диверсанты, как волки, они по одному не ходят. И, как волки, мы идем след в след. Пойми поди, сколько нас в группе было, трое или сто. А когда по одному следу прошло много ног, то уловить тонкий нюанс, что наши каблуки вдавили грунт больше, чем носки, почти невозможно.

К диверсионному ботинку есть только один тип носка: очень толстый, чистой шерсти. И куда бы мы ни шли, в тайгу или в знойную пустыню, носки будут всегда одинаковыми: толстые очень, шерстяные, серого цвета. Такой носок и греет хорошо, и хранит ногу от пота, не трет ее и не стирается сам. А носков у диверсанта две пары. Хоть на день идешь, хоть на месяц. Две пары. Крутись как хочешь.

Белье льняное, тонкое. Оно должно быть новым, но уже немного ношеным и минимум один раз стиранным. Поверх тонкого белья одевается «сетка» — второе белье, выполненное из толстых мягких веревок в палец толщиной. Так что между верхней одеждой и тонким бельем всегда остается воздушная прослойка почти в сантиметр. Умная голова это придумала. Если жарко, если пот катит, если все тело горит, такая сетка — спасение. Одежда к телу не липнет и вентиляция под одеждой отменная. Когда холодно — воздушная прослойка хранит тепло, как перина, и вдобавок не весит ничего. Сетка и еще одно назначение имеет. Комариный нос, проткнув одежду, попадает в пустоту, не доставая до тела. Диверсанта в поле только злая судьба выгнать может. Диверсант в лесу да на болоте обитает. Он часами в жгучей осоке, в огневой крапиве лежит под звенящим зудом комариным. И только сетка его и спасает. А уж сверху брюки и куртка — зеленые, из хлопчатой ткани. Швы везде тройные. Куртка и брюки мягкие, но прочные. На сгибах, на локтях и коленях, на плечах материя тройная, для большей прочности.

На голове диверсанта шлем. Зимой он кожаный меховой с шелковым подшлемником, летом — хлопчатый. Диверсионный шлем из двух частей: собственно шлем и маска. Шлем должен не слетать с головы ни при каких условиях, даже при десантировании. Он не должен иметь никаких пряжек, ремешков и выступов на внешней части, ибо он в момент прыжка находится прямо у парашюта. На шлеме не должно быть ничего, что могло бы помешать куполу и стропам четко раскрыться. Поэтому десантный шлем выполнен точно по форме человеческой головы и плотно закрывает голову, шею и подбородок, оставляя открытыми только глаза, нос и рот. Во время сильных морозов, а также маскировки ради — глаза, нос и рот закрываются маской.

Есть у диверсанта еще и куртка. Она толстая, теплая, легкая, непромокаемая. В ней можно в болоте лежать, не промокнешь, и спать в снегу — не замерзнешь. Длина куртки — до середины бедра: и ходить не мешает, и если надо на льду сутками сидеть, чтоб она и сиденьем служила. Снизу куртка широкая. При беге и быстрой ходьбе это очень важно — вентиляция. Но если нужно, нижняя часть может быть стянута туго, облегая ноги и сохраняя тепло. Раньше диверсанты и брюки такие же имели, толстые да теплые. Но это было неправильно. Когда идешь сутками не останавливаясь, такие брюки — помеха. Они всю вентиляцию нарушают. Наши предки мудрые никогда меховых брюк не нашивали. Вместо этого они имели длинные шубы до пят. Правы они были. В меховых брюках сопреешь, а в длинной шубе — нет. Древний опыт теперь учтен, и диверсант имеет только куртку, но в случае необходимости к ней пристегиваются длинные полы, которые закрывают тело почти до самых пят: всегда тепло, но никогда не жарко. Эти полы легко отстегиваются и скручиваются рулоном, не занимая много места в багаже диверсанта.

Раньше куртки выворачивались на две стороны. Одна сторона — белая, другая серо-зеленая пятнистая. Но и это было неправильно. Куртка изнутри нежной должна быть, как кожа женщины, она должна ласкать диверсантское тело. А снаружи она должна быть грубой, как шкура носорога. Поэтому куртки теперь не выворачиваются на две стороны. Они нежные изнутри, и корявые снаружи. А цвета они светло-серого, как прошлогодняя трава или как грязный снег. Цвет выбран очень удачно. Ну, а если нужда острая, поверх куртки можно надеть белый легкий маскировочный халат.

Все снаряжение диверсанта умещается в РД — ранец десантный. РД, как и вся одежда и снаряжение диверсанта, светло-серый. Он небольшой, форма его прямоугольная. Выполнен он из плотной материи. Чтобы не оттягивал плечи назад, он сделан плоским, но широким и длинным. Крепления десантного ранца выполнены так, что он может закрепляться на теле в самых разных положениях. Его можно повесить на грудь, можно закрепить высоко за спиной, можно опустить вниз на самую задницу и закрепить на поясе, высвободив на время растертые плечи.

Куда бы диверсант ни шел, у него только одна фляга воды — 810 граммов. Кроме этого он имеет флакончик с маленькими коричневыми обеззараживающими таблетками. Такую таблетку можно бросить в воду, загрязненную нефтью, бациллами дизентерии, мыльной пеной. Через минуту вся грязь оседает вниз, а верхний слой можно слить и выпить. Чистая вода, полученная таким способом, имеет отвратительный вкус и режущий запах хлора. Но диверсант пьет ее. Тот, кто знает, что такое настоящая жажда, пьет и такую воду с величайшим наслаждением.

Если диверсант идет на задание на неделю иля на месяц, время роли никакой не играет, он несет с собой всегда одинаковое количество продовольствия — 2765 граммов. Часто в ходе выполнения задания ему могут подбросить с самолета и продовольствия, и воды, и боеприпасов. Но этого может и не случиться, и тогда живи, как знаешь. Почти три килограмма продовольствия — это очень много, учитывая необычную калорийность специально разработанной и изготовленной пищи. Но если этого не хватит,— продовольствие нужно добывать самостоятельно. Можно убить оленя или кабана, можно наловить рыбы, можно есть ягоды, грибы, ежей, лягушек, змей, улиток, земляных червей, можно вываривать березовую кору и желуди, можно... да мало ли что может съесть голодный человек, особенно, если он владеет концентрированным опытом тысячелетий.

Кроме продовольствия в десантном ранце диверсант несет с собой четыре коробки саперных спичек, которые не намокают, горят на любом ветру и под водой. У него сто таблеток сухого спирта. Он не имеет права разжигать костер. Поэтому он греется и готовит пищу у огонька таблетки. Этот огонек точно такой же, как огонек свечки, только более устойчив на ветру.

Есть в его ранце и два десятка других таблеток, на этот раз медицинских. Это от всяких болезней и против отравлений.

А еще в десантном ранце — одно полотенце, зубная щетка и паста, безопасная бритва, тюбик жидкого мыла, рыболовный крючок с леской, иголка с ниткой. Расческу диверсант с собой не носит. Перед выброской его стригут наголо — меньше голова потеет и волосы мокрые не залепят глаза. За месяц отрастают новые волосы, но не настолько длинные, чтобы тратить драгоценное место для расчески. Он и так много несет на себе.

Есть два варианта вооружения диверсанта: полный комплект вооружения и облегченный комплект.

Полный комплект — это автомат Калашникова АКМС и 300 патронов к нему. Некоторые автоматы имеют дополнительно ПБС — прибор бесшумной и беспламенной стрельбы, и НСП-3 — ночной бесподсветный прицел. Во время десантирования автомат находится в чехле, чтобы не помешать правильному раскрытию парашюта. Чтобы в первый момент после приземления не оказаться беззащитным, каждый диверсант имеет бесшумный пистолет П-8 и 32 патрона к нему. А кроме того на правом его голенище висит огромный диверсионный нож-стропорез, а на левом голенище — четыре запасных лезвия для ножа. Диверсионный нож — не обычный. В его лезвии могучая пружина. Можно снять предохранитель, а затем нажать на кнопку спуска, и лезвие ножа с жутким свистом метнется вперед, отбрасывая руку с пустой рукояткой назад. Тяжелое лезвие ножа выбрасывается вперед на 25 метров. Если оно попадет в дерево, то вытащить его обратно не всегда возможно, и тогда диверсант вставляет в пустую рукоять новое запасное лезвие, всем своим телом наваливаясь на рукоять, чтобы согнуть мощную пружину. Затем застегивается предохранитель и диверсионным ножом снова можно пользоваться как обычным: резать людей и хлеб, пользоваться им, как напильником или саперными ножницами для резания колючей проволоки. Если диверсант несет полный комплект вооружения, то вдобавок ко всему этому в его сумке шесть гранат, пластическая взрывчатка, мины направленного действия или другое тяжелое вооружение.

Облегченный комплект вооружения несут офицеры и солдаты-радисты. В облегченный комплект входит автомат со 120 патронами, бесшумный пистолет и нож. Все это на складе выдает мне бывалый диверсант. Пистолет у меня настоящий. Я иду с группой диверсантов посредником. Я проверяющий, и потому мне не нужно стрелять. Но я тоже офицер разведки и тоже должен чувствовать вес автомата и патронов. Поэтому мой автомат учебный. Он такой же, как и боевые автоматы, но уже порядочно изношен и списан. В патроннике ствола просверлено отверстие и выбита надпись «учебный». Я вешаю автомат через плечо. Носить учебный автомат с дыркой в патроннике мне не приходилось уже много лет. С таких автоматов начинают службу самые молодые солдаты и курсанты военных училищ. Тот, кто носит такой автомат, обычно является в армии объектом легких, незлых шуток. Я, конечно, не чувствую себя молодым и желторотым. Но все же в диверсионных войсках я совсем новый человек. И, получив автомат с дыркой, вдруг совершенно автоматически решаю проверить, не считают ли они меня желторотым и не подбросили ли они мне одну из старых армейских шуток. Я быстро снимаю ранец с плеч, открываю его, из небольшого карманчика достаю ложку. На ложке, как и на казеннике автомата, просверлена дырка и красуется точно такая же надпись — «учебная».

— Извините, товарищ старший лейтенант,— матерый диверсант делает смущенное лицо,— не досмотрели.

Ему немного жаль, что я в армии не первый день, знаю все эти древние шутки и проявил достаточно бдительности. Он вызывает своего помощника, совсем молоденького солдатика, и тут же при мне отчитывает его за невнимание. И он и я понимаем, что молоденький солдатик тут ни при чем, что учебную ложку мне подсунул сам сержант. Сержант тут же приказывает учебную ложку немедленно выбросить, чтоб такая глупая шутка больше никогда не повторялась. Конечно, я понимаю, что ее не выбросят. Она будет служить еще многим поколениям диверсантов. Но порядок есть порядок. Сержант должен дать необходимые указания, а молодой солдат должен быть наказан. Сержант быстро достает другую ложку и подает мне. Шутка не получилась, но он видит, что я армейский юмор понимаю, умею его ценить и не нарушу старых традиций криком: на розыгрыши и шутки в армии обижаться не положено. Он снова серьезен и деловит:

— Удачи вам, товарищ старший лейтенант.

— Спасибо, сержант.

2

Каждый в Советской армии укладывает свой собственный парашют лично. Это и к генералам относится; не знаю, прыгал ли Маргелов, став генералом армии, но будучи генерал-полковником,— прыгал. Это я знаю точно. И конечно сам для себя парашют укладывал. А кроме Маргелова в воздушно-десантных войсках много генералов, и все прыгают. А кроме них десятки генералов в военной разведке, и те из них, кто прыгать продолжают, сами себе парашюты укладывают. Это мудро. Если ты гробанулся, то и вся ответственность на тебе на мертвом. А живые за тебя ответственности не несут.

Все парашюты хранятся на складе. Они уложены, опечатаны, всегда готовы к использованию. На каждом парашюте расписка на шелке: «Рядовой Иванов. Этот парашют я укладывал сам».

Но если нас поднимает не ночная тревога, если нас используют по плану с полным циклом подготовки, то все парашюты распускают и укладывают вновь. И вновь каждый на нем распишется: «Этот парашют я укладывал сам».

Укладка производится в тех условиях, в которых придется прыгать. А прыгать придется на морозе, оттого и укладка тоже на морозе. Шесть часов.

Укладывает парашюты сегодня весь батальон. На широкой площади, отгороженной высоким забором от любопытных взглядов посторонних солдат.

Приготовили парашютные столы. Парашютный стол — это не стол вообще. Это просто кусок длинного брезента, который расстилают на бетоне и крепят специальными колышками. Укладка идет в две очереди. Вначале вдвоем укладываем твой парашют: ты — старший, я — помогающий. Потом уложим мой парашют: ролями поменяемся. Потом уложим твой запасной, снова ты старший, а потом мой запасной — тогда я буду старшим. Некоторых из нас будут бросать не с двумя, а с одним парашютом. Но кому выпадет этот жребий, пока не ясно. И оттого каждый готовит оба своих парашюта.

Начали.

Операция первая. Растянули купол и стропы по парашютному столу. В каждой роте есть офицер — заместитель командира роты по парашютно-десантной службе — зам по ПДС. Он подает всей роте команду. И он проверяет правильность ее исполнения. Убедившись, что все ее выполнили правильно, он подает вторую команду: «Вершину купола закрепить»! И опять пошел по рядам, проверяя правильность выполнения. У каждого за плечами большой опыт укладки. Но мы люди. И мы ошибаемся. Если ошибка будет обнаружена у кого-то, то его парашют немедленно распустят, и он начнет укладку с самого начала. Первая операция. Правильно. Вторая операция... Рота терпеливо ждет, пока тот, кто ошибся, выполнит все с самого начала и догонит роту. Операция семнадцать. А мороз трескучий...

Вместе с батальоном укладку парашютов ведут офицеры разведотдела Армии. Мы — проверяющие. Значит, и нам идти вместе с диверсантами неделями через снега...

Темнеет зимой рано. И мы полностью завершаем укладку уже при свете прожекторов в морозной мгле. Мы уйдем в теплые казармы, а наши парашюты под мощным конвоем останутся на морозе. Если их занести в помещение, то на холодной материи осядут невидимые глазу капельки влаги. А завтра их вновь вынесут на мороз, капельки превратятся в мельчайшие льдинки, крепко прихватив пласты перкаля и шелка. Это смерть. Вещь простая. Вещь, понятная даже самым молодым солдатам. А ведь случается такое, и гибнут диверсанты все вместе. Всем взводом, всей ротой. Ошибок, возможных при укладке и хранении — сотни. Расплата всегда одна — жизнь.

Закоченевшей рукой я расписываюсь на шелковых полосках двух моих парашютов: «Старший лейтенант Суворов. Этот парашют я укладывал сам». И еще на одном: «...укладывал сам». Я разобьюсь, а виновного найдут. Это буду, конечно, я.

3

Мы греемся в приятном тепле казарм. Потом поздний ужин. А уж после того последние приготовления. Все уже пострижены наголо. Всех в баню, в парную. Попарьте, ребята, косточки, не скоро вам еще придется с горячей водой встретиться. Далеко за полночь — всем спать. Каждый должен выспаться на много недель вперед, сон каждому по десять часов. Все окна в казармах плотно завешены, чтобы утром никто не проснулся рано. Сон у каждого глубоким должен быть. Для этого небольшой секрет есть. Нужно лечь на спину, нужно вытянуться, нужно расслабить все тело. А потом нужно закрыть глаза и под закрытыми веками закатить зрачки наверх. Это норамльное состояние глаз во время сна. И приняв это положение, человек засыпает быстро, легко и глубоко. Поднимут нас очень поздно. Это не будет : «Рота подъем! Построение через 30 секунд!» Нет, несколько солдат и сержантов, которые не прыгают на этот раз, которые несут охрану рот, их вооружения и парашютов, будут подходить тихо к каждому и осторожно будить: «Вставай, Коля, время». «Вставайте, товарищ старший лейтенант, время». Время. Время. Время. Вставайте, ребята. Наше время.

4

Сорок третья диверсионная группа 296 отдельного разведывательного батальона Спецназ в своем составе имеет 12 человек. Я, офицер информации, иду с группой тринадцатым. Я — посредник, контролер действий группы. Мне легче всех. Мне не нужно принимать решений. Моя задача — в самые неожиданные моменты задавать вопросы то солдатам, то командиру группы, то его заместителю. У меня с собой лист с сотней вопросов. На многие из них я пока не знаю точных ответов. Мое дело вопрос задать и ответ зафиксировать. После офицеры третьей группы под руководством подполковника Кравцова разберут, кто ошибался, а кто нет.

Диверсионная группа несет с собой две радиостанции типа Р-351 М, аппаратуру засекречивания, аппаратуру сверхскоростной передачи сигналов.

Сегодня ночью будет произведена массированная операция по ослеплению радиолокационных станций 8-й гвардейской танковой армии, против которой мы сейчас действуем. Одновременно с этим будет произведен массовый ракетный и авиационный удар по ее командным пунктам и скоплениям войск, и в ходе этого удара будут высажены двадцать восемь первых диверсионных групп нашего батальона. Группы имеют разные задачи и разный состав, от трех до сорока человек. Во главе некоторых групп — сержанты, во главе других — офицеры. В последующие ночи будет производиться выброска все новых групп. От трех до восьми групп в ночь. Выброска производится в разных районах с разных маршрутов и с разных высот. Нас сегодня бросают со сверхмалой высоты. Сверхмалая — это сто метров. У каждого из нас только по одному парашюту. Раскрытие не свободное, а принудительное. Второй парашют на сверхмалой высоте совсем не нужен.

5

Страх животный видел в глазах людских? А я видел. Это когда на сверхмалой высоте с принудительным раскрытием бросают. Всех нас перед полетом взвесили вместе во всем, что на нас навешано. И сидим мы в самолете в соответствии с нашим весом. Самый тяжелый должен выходить самым первым, а за ним чуть менее тяжелый и так до самого легкого. Так делается для того, чтобы более тяжелые не влетели в купола более легких и не погасили бы их парашютов. Первым пойдет большой скуластый радист. Фамилии его я не знаю. В группе у него кличка Лысый Тарзан. Это большой угрюмый человечище. В группе есть и потяжелее. Но его взвешивали вместе с радиостанцией, и оттого он самым тяжелым получился, а потому и самым первым. Вслед за ним пойдет еще один радист по кличке Брат Евлампий. Третьим по весу числился Чингиз-хан — шифровальщик группы. У этих первых троих — очень сложный прыжок. Каждый имеет с собой контейнер на длинном, метров в пятнадцать, леере. Каждый из них прыгает, прижимая тяжеленный контейнер к груди, и после раскрытия парашюта бросает его вниз. Контейнер летит вместе с парашютистом, но на пятнадцать метров ниже его. Контейнер ударяется о землю первым, и после этого парашютист становится как бы легче, и в последние доли секунды падения его скорость несколько снижается. Приземляется он прямо рядом с контейнером. От скорости и от ветра парашютист немного сносится в сторону, почти никогда не падая на свой контейнер. От этого, однако, не легче. И прыжок с контейнером — очень рискованное занятие, особенно на сверхмалой высоте. Четвертым идет заместитель командира группы старший сержант Дроздов. В группе он самый большой. Кличка у него Кисть. Я смотрю на титаническую руку и понимаю, что лучшей клички придумать нельзя. Велик человек. Огромен. Уродит же природа такое чудо! Вслед за Кистью пойдет командир группы лейтенант Елисеев. Тоже огромен, хотя и не так, как его заместитель. Лейтенанта по номеру группы называют 43-1. Конечно, и у него кличка какая-то есть, но разве в присутствии офицера кто-нибудь осмелится назвать кличку другого офицера?

А вслед за командиром сидят богатырского вида, широкие, как шкафы, рядовые диверсанты: Плетка, Вампир, Утюг, Николай Третий, Негатив, Шопен, Карл де ля Дюшес. Меня они, конечно, тоже как-то между собой называют за глаза, но официально у меня клички нет, только номер 43-К. Контроль, значит.

В сорок третьей диверсионной группе я самый маленький и самый легкий. Поэтому мне — покидать самолет последним. Но это не значит, что и сижу самым последним. Наоборот, я у самого десантного люка. Тот, кто выходит последним,— выпускающий. Выпускающий, стоя у самого люка, в самый последний момент проверяет правильность выхода и в случае необходимости имеет право в любой момент десантирование прекратить. Тяжелая работа у выпускающего. Хотя бы потому, что сидит он в самом хвосте и лица всех к нему обращены. Получается, что выпускающий как на сцене, все на него смотрят. Куда я ни глину, всюду глаза диверсанта на меня в упор смотрят. Шальные глаза у всех. Нет, пожалуй, командир группы — исключение. Дремлет спокойно. Расслаблен совсем. Но у всех остальных глаза с легким блеском помешательства. Хорошо с трех тысяч прыгать! Красота. А тут только сто. Много всяких хитростей придумано, чтобы страх заглушить, но куда же от него уйдешь? Тут он — страх. С нами в обнимку сидит.

Уши заломило, самолет резко вниз пошел. Верхушки деревьев рядом мелькают. Роль у меня плохая: у всех вытяжные тросики пристегнуты к центральному леeру, лишь у меня он на груди покоится. Пропустив всех мимо себя, я в последний момент должен свой тросик защелкнуть над своей головой. А если промахнусь? А если сгоряча выйду, не успев его застегнуть? Открыть парашют руками будет уже невозможно: земля рядом совсем несется. Я вдруг представил себе, что валюсь вниз без парашюта, как кот, расставив лапы. Вот крику-то будет! Я представляю свой предсмертный вой, и мне страшно. Диверсанты на меня понимающе смотрят: истерика у проверяющего. А у меня не истерика. Мне просто смешно.

Синяя лампа над грузовым люком нервно замигала.

— Встать! Наклонись.

Первый диверсант Лысый Тарзан наклонился, выставив для устойчивости правую ногу вперед. Брат Евлампий своей тушей навалился на него. Третий навалился на спину второго, и так вся группа, слившись воедино ждет сигнала. По сигналу задние напрут на передних, и вся группа почти одновременно вылетит в широкий люк. Хорошо им. А меня никто толкать не будет.

Гигантские створки люка, чуть шурша, разошлись в стороны. Морозом в лицо. Ночь безлунная, но снег яркий, слепящий. Все, как днем, видно. Земля, вот она. Кусты и перелески взбесились, диким галопом мимо несутся. ПОШЛИ! Братцы! ПОШЛИ!!!

Хуже этого человечество ничего не придумало. Глаза сумасшедшие мимо меня все сразу. Сирена кричит, как зверь умирающий. Рев ее уши рвет. Это чтоб страх вглубь загнать. А лица перекошены. Каждый кричит страшное слово ПОШЛИ! Увернуться некуда. Напор сзади неотвратимый. Передние посыпались в морозную мглу. Ветра поток каждого вверх ногами бросает. ПОШЛИ!!! А задние, увлекаемые стадным инстинктом, тут же в черный снежный вихрь вылетают. Я руку вверх бросил. Щелчок. И вылетаю в морозный мрак, где порядочные люди не летают. Тут черти да ведьмы на помеле, да Витя Суворов с парашютом.

Все на сверхмалой высоте одновременно происходит: голова вниз, жаркий мороз плетью-семихвосткой по роже, ноги вверх, жуткий рывок за шиворот, ноги вниз, ветер за пазуху, под меховой жилет, удар по ногам, жесткими парашютными стропами опять же по морде, а в перчатках и в рукавах по локоть снег горячий и сразу таять начинает. Противно...

Парашюты в снег зарыли, какой-то гадостью вокруг посыпали. Это против собак. Вся местная милиция, КГБ, части МВД, все сейчас тренируются. Все они сейчас против наших несчастных групп брошены. А у нас руки, считай, связаны. Если бы война, мы захватили бы себе несколько бронетранспортеров или машин, да и разъезжали бы по округе. Но сейчас не война, и транспорт нам захватывать запрещено. Драконовский приказ. Ножками, ножками. От собак.

Лыжи у нас короткие, широкие. Снизу настоящим лисьим мехом отделаны. Такие легко на парашюте бросать. Такие лыжи скользят вперед, а назад отдачи нет. Лисий мех дыбом тогда становится, не пускает. Лыжи эти диверсионные, часто следа не оставляют, особенно на плотном лежалом снегу. Они широкие очень, не проваливаются. Из таких лыж и избушку в снегу сложить можно — мехом внутрь, спи, ребята, по очереди. Но самое главное, лыжи эти не обмерзают, ледяной коркой не покрываются.

6

К утру выбились из сил. Три часа из района выброски уходили, следы путали. Куртки мокрые. Лица красные. Пот ручьями. Сердце наружу рвется. Язык вываливается, как у собаки на жаре. Это всегда так сначала бывает. На четвертый-пятый день втянемся и будем идти, как машины. Но первый день всегда очень тяжелый. Первая ночь и двое последующих суток — ужасны. Потом легче будет.

— Командир, в деревне собаки брешут. Не к добру. Значит, там чужие люди.

Это любому понятно. Кто в такой глуши, в такую рань деревенских собак потревожить мог?

— Обходить будем. Влево пойдем.

— Влево засада КГБ. Вон в том лесочке. Смотри, командир, птицы над лесом кружат.

Тоже правильно. Кто их в такой мороз с мест поднял? Птицы сейчас на ветках нахохлившись сидят, инеем покрытые. Туда идти, конечно, нельзя. Остается только

путь через овраги, через бурелом, где добрые люди не ходят. Там только волкам дорога да диверсантам из Спецназа.

— Готовы? Вперед.

7

Нормы жестокие. Восемь километров в час.

Вечер. Мороз силу набирает. За день прошли 67 километров. Отдыхали дважды. Пора бы и еще в снегу полежать.

— Ни черта, дармоеды,— командир подбадривает,— вчера спать надо было.

Злой командир. Группа маршевой скорости не выдерживает. Группа злая. Ночь надвигается. Плохо это. Днем иногда группа может залечь в снегу, в кустах, в болоте и переждать. Но ночью этого никогда не случается. Ночь для работы придумана. Мы как проститутки — ночами работаем. Если днем не отдыхал, то ночью не дадут.

— Снег не жрать! — командир суров.— Сокрушу!

Это не ко мне относится. Это он Чингиз-хану и Утюгу угрозы адресует. Меня положение обязывает. Проверяющий. Нельзя мне снег в рот брать. А если бы не проверяющим я был, то обязательно тайком белой влаги наглотался бы. Горстями бы в глотку снег запихивал. Жарко. Пот струйками по лбу катит. Хорошо, голова бритая, иначе волосы в один комок слиплись бы. Куртки у всех на спинах парят. Все потом пропитано, все морозом прихвачено. Одежда вся колом стоит, как из досок сшитая. Перед глазами оранжевые круги. Группа маршевой скорости не выдерживает... Не жрите снег!.. Сокрушу... Лучше вниз смотреть, на концы лыж. Если далеко вперед смотреть, сдохнешь. Если под ноги смотришь, дуреешь, идешь чисто механически, недосягаемый горизонт не злит.

— Окорока чертовы! Желудки! — командир свиреп.— Вперед смотреть! В засаду влетим! Негатив слева огонек не заметил. Смотри, Негатив, зубы палкой лыжной вышибу!

Группа знает, что командир шуток не любит. Вышибет.— Вперед, желудки!

8

Над миром встает кровавая заря. В морозной мгле над лиловыми верхушками елей выкатилось лохматое надменное солнце. Мороз трещит по просекам леса.

Мы в ельнике лежим. За ночь второй раз. Ждем высланный вперед дозор. Лица у всех белые, ни кровиночки, как у мертвецов. Ноги гудят. Их вверх поднять надо. Так кровь отливает. Так ногам легче. Радисты спинами на снегу лежат, ноги на свои контейнеры положили. Все остальные тоже ноги вверх подняли. После десантирования прошло уже более суток. Мы все время идем. Останавливаемся через три-четыре часа на пятнадцать-двадцать минут. За обстановкой наблюдают двое и двое выходят вперед, остальные ложатся на спины и засыпают сразу. Карл де ля Дюшес запрокинул спящую голову, из-под расстегнутой его куртки медленно струится пар. Аккуратно вырезанная снежинка медленно опустилась на его раскрытое горло и плавно исчезла. Мои глаза слипаются. Под веки вроде бы золы насыпали. Проморгать бы, да и закрыть их, и не раскрывать минут шестьсот.

Командир группы подбородок трет: нехороший признак. Мрачен командир. И заместитель его Кисть мрачен. К узлу связи танковой армии шли одновременно с разных сторон пять диверсионных групп. Приказ прост был: кто до трех ночи к узлу связи доберется, тот в 3.40 атакует его. Те, кто к условному времени не успеют, в бой не вступают, обходя узел связи большим крюком, и идут к следующей цели. Наша 43-я группа ко времени не успела. Мрачен потому командир. Вдали мы слышали взрывы и стрельбу длинными очередями. В упор били, значит. С нулевой дистанции. Ко времени успела минимум три группы. Но если даже и только одна группа ко времени успела, сняла часовых и появилась на узле связи в конце холодной неуютной ночи... О, одна группа много может сделать против узла связи, пригревшегося в теплых контейнерах, против очкастых ожиревших связистов, против распутных телефонисток, погрязших в ревности и блуде. Жаль командиру, что не успели его солдаты к такой заманчивой цели. Знает командир наверняка, что группа лейтенанта Злого уж точно ко времени поспела. Наверное, и старший сержант Акл своих молодцов вовремя успел привести. Акл — это Акула значит. У старшего сержанта зубы острые, крепкие, но неровные, вроде как в два ряда. За то его Акулой величают. А может, не только за это. Скрипит командир зубами. Ясно, он сегодня группе расслабляться не позволит. Держитесь, желудки!

9

Спим. Идет одиннадцатый день после выброски. Днями поднять головы невозможно. Вертолеты в небе. На всех дорогах кордоны. На опушке каждого леса — засада.

Появилось много ложных объектов: ракетные батареи, узлы связи, командные пункты. Диверсионные группы выходят на них, но попадают в ловушку. Батальон уже потерял десятки своих диверсионных групп. Мы не знаем сколько. Нам бросают посылки с неба каждую ночь: боеприпасы, взрывчатка, продовольствие, иногда спирт. Такое внимание означает только одно: нас мало осталось. За эти дни наша группа нашла линию радиорелейной связи, не известную нашему штабу раньше. По ориентировке приемных и передающих антенн группа нашла мощный узел связи и тыловой командный пункт. Тогда на пятый день операции группа впервые вышла в эфир, сообщив о своем открытии. Группа получила благодарность лично от командующего 13-й армии и приказ из этого района уходить. Наверное, его обработали ракетами иля авиацией. На седьмой день группа объединилась с четырьмя другими, образовав диверсионный отряд капитана по кличке Четвертый Лишний. Отряд в полном составе успешно атаковал аэродром прямо днем, прямо во время проведения взлета истребительного авиаполка. Отряд без потерь ушел от преследования и рассыпался на мелкие группы. Наша 43-я временно не существовала, превратившись в две — 431-ю и 432-ю. Теперь они вновь объединились. Но работать активно пока не удается: вертолеты в небе, кордоны на дорогах, засады в лесах, ловушки у объектов. А все же мы свое дело делаем: 8-я гвардейская танковая армия парализована почти полностью, и, вместо того, чтобы воевать, она ловит нас по своим тылам.

День угасает. Никто нас днем не тревожил. Отдохнули. Нашу группу пока не накрыли, ибо командир хитер, как змей. Змеем его, оказывается, и зовут. Он нашел склад боеприпасов наших врагов, у этого склада мы проводим дни. Тут у нас база, все тяжелое снаряжение тут свалено. А по ночам часть группы налегке уходит далеко от базы и там проводит дерзкие нападения, а потом на базу возвращается. Все группы, которые по лесам непроходимым прятались, давно уже уничтожены. А мы пока нет. Трудно нашим противникам поверить и понять, что наша база прямо под самым носом спрятана, и потому вертолеты нам не докучают. А с засадами и кордонами надо быть просто осторожным.

— Готовы, желудки?

Группа готова. Лыжи подогнаны, ремни проверены.

— Попрыгали.

Перед выходом на месте прыгать положено, убедиться, не гремит ли что, не звенит ли.

— Время. Пошли.

10

— Слушай, Шопен, представь себе, что мы на настоящей войне. Заместитель командира убит, а у командира прострелена нога. Тащить с собой — всех погубишь, бросить его — тоже смерть группе. Враги из командира печень вырежут, а говорить заставят. Эвакуации у нас в Спецназе нет. Представь себе, Шопен, что ты руководство группой принял, что ты с раненым командиром делать будешь?

Шопен достает из маленького карманчика на рукаве куртки шприц-тюбик одноразового действия. Это «блаженная смерть».

— Правильно, Шопен, правильно. На войне у нас единственный способ выжить: убивать своих раненых самим.— В контрольной тетрадке я рисую еще один плюс.

Идет семнадцатый день после выброски. Активно действуют только пять-шесть диверсионных групп, и наша в их числе. Группа Акулы, как и группа Злого, давно поймана. Командир 43-й знает это каким-то особым чутьем. И Злой и Акула — его друзья и его соперники. Наверное, лейтенант Змей думает о них сейчас и слабо сам себе улыбается.

— Готовы? Попрыгали. Время. Пошли, ребята.

Своих солдат он больше не называет желудками.

Глава IV

1

Я иду по красному ковру. Тут я не был двадцать три дня. Отвык от тишины, от ковров, от тепла. Одичал. Вообще, человек дичает быстро и возвращается в животный мир легко и свободно, без затруднений.

В коридорах штаба спокойно и уютно. Тут сытые чистые люди, тут бритые лица. Тут нет простуженного командирского хрипа и нетерпеливого повизгивания собак, которых вот-вот спустят с поводков.

Нашу 42-ю диверсионную группу захватили в числе последних. Обложили, загнали в овраг. Все, как на войне настоящей. И собаки настоящие были. А они, четвероногие

друзья человека, разницы совсем не понимают: настоящая травля или учебная... Им один черт.

Тонкий, гибкий солдат Плетка вывернулся и из этого переплета. Его первого от группы отбили и погнали к реке, на которой уже тронулся лед. Думали к берегу прижать. Но он сбросил куртку, бросил автомат и поплыл между льдин. Вертолет за одним не послали, а собаки в воду не пошли, не дурные. Через четыре дня он пришел в казармы своего батальона, вконец отощавший, в темно-синей милицейской шинели. Украл.

За это Плетке было пожаловано сержантское звание и пятнадцать суток отпуска. Вообще, таких ребят в батальоне немало. По одному они возвращаются в батальон на сломанных лыжах, в изорванных куртках, иногда с кровавыми ранами.

Нашу группу захватили в глубоком овраге, отрезав все пути. Нас привезли в казармы полка МВД. Встретили, как старых друзей. Выпарили в бане, накормили, дали сутки отоспаться. Для захваченных групп была заранее освобождена одна казарма и санитарная часть полка работала только на нас.

В бане солдаты МВД на нас с уважением и испугом смотрят: скелеты.

— Тяжкая вам, братишки, служба выпала.

Не спорим. Тяжкая. Да только каждый год в Спецназе за полтора года службы считается. Прослужи десять лет — пятнадцать запишут. Соответственно с этим и по полторы получки платят, и за прыжки платят, да за каждый рейдовый день особо добавляют. А жиру мы скоро нового нагуляем. Не зря нас желудками зовут. Отоспался я. Отдохнул. И вот вновь по мягкому ковру иду. Штаб меня шутками встречает:

— Расскажи, Витя, как ты вес сбрасываешь?

— Эй, разведчик, ты откуда такой загорелый?

Лицо мое обожжено морозом, ветром и безжалостным зимним солнцем. Губы черные, растрескались. Нос облупился.

— Давай, Витя, в воскресенье на лыжах покатаемся!

Это жестокая шутка. Такие шутки я переношу с трудом. И вообще после Спецназа я больше всего в мире ненавижу людей, которые добровольно одевают лыжи просто из-за того, что им нечего делать.

Мой путь — к начальнику разведки.

— Разрешите войти? Товарищ подполковник! Извините...

На новеньких погонах Кравцова не по две, по три звезды.

— Товарищ полковник, старший лейтенант Суворов с выполнения учебно-боевого задания прибыл!

— Здравствуй.

— Здравия желаю, товарищ полковник! Поздравляю вас.

— Спасибо. Садись.— Он смотрит на мои обтянутые скулы. Эко тебя обтесало. Отоспался?

— Да.

— Работы много. За время твоего отсутствия мир изменился. В кратчайший срок постарайся войти в курс дел. Все забыл в рейде?

— Старался все, что знаю, повторять в уме...

— Тебя проверить?

— Да.

— Шпангдалем.

— Шпангдалем — авиабаза ВВС США в Западной Германии. 25 километров севернее города Трир. Постоянно базируется 52-е тактическое истребительное крыло. Семьдесят два истребителя «Р-4». Взлетная полоса одна. Длина — 3050 метров. Ширина 45 метров. В состав крыла входят...

— Хорошо. Иди.

2

Мир стремительно меняется. Двадцать три дня я не имел доступа к информации, и вот теперь передо мной толстые папки с разведывательными сводками, приказами, шифровками. За двадцать три дня мир изменился неузнаваемо. Я понимаю, что начальник разведки пощадил мое самолюбие и задал легкий вопрос о неподвижном объекте, об авиабазе. Если бы он спросил о 6-й мотопехотной дивизии Бундесвера, например, то я непременно попал бы в неловкое положение. За обстановкой нужно следить постоянно, иначе превратишься в носителя устаревшей информации. Итак... Совершенно секретно... Агентурной разведкой Белорусского военного округа обнаружено усиление охраны стартовых батарей ракет «Першинг» на территории Западной Германии... Совершенно секретно... 5-й отдел разведывательного управления Балтийского флота зарегистрировал полную смену системы кодирования в правительственных и военных каналах связи Дании... Совершенно секретно... Агентурной разведкой Генерального штаба вскрыты... Совершенно секретно... Агентурной разведкой 11-й Гвардейской

армии Прибалтийского военного округа на территории Западной Германии зарегистрированы работы по строительству колодцев для ядерных фугасов. Приказываю начальнику Второго Главного Управления Генерального штаба, начальникам разведки ГСВГ, СГВ, ЦГВ, Прибалтийского, Белорусского и Прикарпатского военных округов обратить особое внимание на сбор информации о системе ядерных фугасов на территории ФРГ. Начальник Генерального штаба генерал армии Куликов.

Двадцать три дня назад никто не слышал ничего о ядерных фугасах... А теперь колоссальные силы агентурной разведки брошены на вскрытие этой таинственной системы самозащиты Запада... Меняется лицо и нашей армии... Секретно... О результатах экспериментальных учений 8-й Воздушно-штурмовой бригады Забайкальского военного округа. Не было таких бригад еще двадцать три дня назад... Совершенно секретно... Приказываю принять на вооружение истребительно-противотанковой артиллерии изделие «Малютка-М» с системой наведения по двум точкам... Министр обороны маршал Советского Союза А. Гречко... Совершенно секретно... Только для офицеров Спецназ... Расследование обстоятельств гибели иностранных курсантов Одесского особого центра подготовки в ходе учебных боев с «куклами»... Приказываю усилить контроль и охрану... Особое внимание обратить...

Этот приказ я перечитываю три раза. Ясно, как нужно обходиться с «куклой», как ее содержать и охранять. Только не ясно, что такое «кукла».

3

Нелегко готовить иностранных бойцов и агентуру Спецназа. Мы, советские бойцы Спецназа, будем действовать во время войны, а эти ребята действуют уже сейчас и по всему миру. Они бесстрашно умирают за свои светлые идеалы, не подозревая, что и они бойцы Спецназа. Удивительные люди! Мы их готовим, мы тратим миллионы на их содержание, мы рискуем репутацией нашего государства, а они наивно считают себя независимыми. Тяжело иметь дело с этой публикой. Приходя к нам на подготовку, они приносят с собой дух удивительной беззаботности Запада. Они наивны, как дети, и великодушны, как герои романов. Их сердца пылают, а головы забиты предрассудками. Говорят, что некоторые из них считают, что нельзя убивать людей во время свадьбы, другие думают, что нельзя убивать во время похорон. Чудаки. Кладбище на то и придумано, чтобы там мертвые были.

Особый центр подготовки эту романтику и дурь быстро вышибает. Их тоже рвут собаками, их тоже по огню бегать заставляют. Их учат не бояться высоты, крови, скорости, не бояться смерти чужой и собственной, когда молниеносным налетом они захватывают самолет или посольство. Особый центр их учит убивать. Убивать умело, спокойно, с наслаждением. Но что же в этой подготовке может скрываться под термином «кукла»?

Наша система сохранения тайн отработана, отточена, отшлифована. Мы храним свои секреты путем истребления тех, кто способен сказать лишнее, путем тотального скрытия колоссального количества фактов, часто и не очень секретных. Мы храним тайны особой системой отбора людей, системой допусков, системой вертикального и горизонтального ограничения доступа к секретам. Мы охраняем свои тайны собаками, караулами, сигнальными системами, сейфами, печатями, стальными дверями, тотальной цензурой. А еще мы охраняем их особым языком, особым жаргоном. Если кто-то и проникнет в наши сейфы, то и там он не многое поймет.

Когда мы говорим о врагах, то употребляем нормальные, всем понятные слова: ракета, ядерная боеголовка, химическое оружие, диверсант, шпион. Те же самые советские средства именуются: изделие ГЧ, специальное оружие, Спецназ, особый источник. Многие термины имеют разное значение. «Чистка» в одном случае — исключение из партии, в другом — массовое истребление людей.

Одно нормальное слово может иметь множество синонимов на жаргоне. Советских диверсантов можно называть общим термином Спецназ, а кроме того глубинной разведкой, туристами, любознательными, рейдовиками. Что же в нашем языке кроется под именем «кукла»? Используют ли «кукол» и для тренировки советских бойцов, или это привилегия для иностранных курсантов? Существовали ли «куклы» раньше, или это нововведение, наподобие воздушно-штурмовых бригад?

Я закрываю папку с твердым намерением узнать значение этого странного термина. Для этого есть только один путь: сделать вид, что я понимаю, о чем идет речь, и тогда в случайном разговоре кто-либо действительно знающий может сказать чуть больше положенного. А одной крупицы иногда достаточно, чтобы догадаться.

4

296 отдельный разведывательный батальон Спецназ спрятан со знанием дела, со вкусом. Есть в 13-й Армии полк связи. Полк обеспечивает штаб и командные пункты.

Через полк проходят секреты государственной важности, и потому он особо охраняется. А на территории полка отгорожена особая территория, на которой и живет наш батальон. Все диверсанты носят форму войск связи. Все машины в батальоне — закрытые фургоны, точно как у связистов. Так что со стороны виден только полк связи и ничего больше. Мало того, и внутри полка большинство солдат и офицеров считают, что есть три обычных батальона связи, а один необычный, особо секретный, наверное правительственная связь.

Но и внутри батальона Спецназ немало тайн. Многие диверсанты считают, что в их батальоне три парашютные роты, укомплектованные обычными, но только сильными и выносливыми солдатами. Только сейчас я узнал, что это не всё. Кроме трех рот существует еще особый взвод, укомплектованный профессионалами. Этот взвод содержится в другом месте, вдали от батальона. Он предназначен для выполнения особо сложных заданий. Узнал я о его существовании только потому, что мне как офицеру информации предстоит обучать этих людей вопросам моего ремесла: правильному и быстрому обнаружению важных объектов на территории противника. Я еду в особый взвод впервые и немного волнуюсь. Везет меня туда полковник Кравцов лично. Он представит меня.

— Догадайся, какую маскировку мы для этого взвода придумали?

— Это выше всех моих способностей, товарищ полковник. У меня нет никаких фактов для анализа.

— Все же попытайся это сделать. Это тебе экзамен на сообразительность. Представь их, на то у тебя воображение, и попытайся их спрятать, вообразив себя начальником разведки 13-й Армии.

— Они должны четко представлять местность, на которой им предстоит действовать, поэтому они должны часто выезжать за рубеж. Они должны быть отлично натренированы... Я бы их, товарищ полковник, объединил в спортивную команду. И маскировка, и возможность за рубеж ездить...

— Правильно...— смеется он.— Все просто. Они — спортивная команда общества ЦСКА: парашютисты, бегуны, стрелки, боксеры, борцы. Кажется, армия и флотилия имеет такую команду. Каждый военный округ, флот, группа войск имеют еще более мощные и еще лучше подготовленные спортивные команды. На спорт мы денег не жалеем. А где бы ты своим спортсменам учебный центр спрятал?

— В Дубровице.

Он разведчик. Он владеет собой. Только зубы слегка заскрипели да желваки на щеках заиграли.

— Отчего же в Дубровице?

— В составе нашей любимой 13-й только один штрафной батальон для непокорных солдат, и он в Дубровице. Военная тюрьма. Из нашей дивизии часто туда солдатиков загребали. Заборы там высокие, собаки злые, колючей проволоки много рядов. Отгородил себе сектор да и размещай любой особо секретный объект. Людей нужных туда в арестантских машинах возить можно — никто не дознается...

— Мало ли в нашей 13-й объектов, хорошо охраняемых. АПРТБ [1], к примеру...

— В АПРТБ, товарищ полковник, «куклу» негде содержать...

Он только подарил мне долгий тяжелый взгляд, но ничего не сказал.

5

Только осенней ночью так много звезд. Только холодной сентябрьской ночью их можно видеть так отчетливо, словно серебряные гвоздики в черном бархате.

Сколько их смотрит на нас из холодной черной пустоты! Если смотреть на Большую Медведицу, то рядом с яркой звездой, той, что на переломе ручки ковша, можно разглядеть совсем маленькую звездочку. Она, может быть, совсем и не маленькая, просто она очень далеко. Может быть, это громадное светило с десятками огромных планет вокруг. А может быть — это галактика с миллиардами светил...

Во вселенной мы, конечно, не одни. В космосе миллиарды планет очень похожих на нашу. На каком основании мы должны считать себя исключением? Мы не исключение. Мы такие же, как и все. Разве только форма и цвет глаз у нас может быть разной. У жителей одних планет глаза голубые, как у полковника Кравцова, а у кого-то — зеленые, треугольные, с изумрудным отливом. Но на этом, видимо, и кончаются все различия. Во всем остальном мы одинаковы — все мы звери. Звери, конечно, разные бывают: мыслящие, цивилизованные, и не мыслящие. Первые отличаются от вторых тем, что свою звериную натуру маскировать стараются. Когда у нас много пищи, тепла и самок, мы можем позволить себе доброту и сострадание. Но как только природа и судьба ставят вопрос ребром: одному выжить, другому сдохнуть, мы немедленно впиваем свои желтые клыки в горло соседа, брата, матери.

Все мы звери. Я — точно, и не стараюсь этого скрывать. И обитатель двенадцатой планеты оранжевого светила, затерянного в недрах галактики, не имеющей названия,— он тоже зверюга, только старается добрым казаться. И начальник разведки 13-й Армии полковник Кравцов — зверь. Он зверюга, каких редко встретишь. Роста небольшого, подтянут, лицо красивое, молодое, чуть надменное. Улыбка широкая, подкупающая, но уголки рта всегда чуть вниз — признак сдержанности и точного расчета. Взгляд сокрушающий, цепкий. Взгляд его заставляет собеседника моргать и отводить глаза. Руки точеные, не пролетарские. Полковничьи погоны ему очень к лицу. Люди такого типа иногда имеют совершенно странные наклонности. Некоторые из них, я слышал, копейки ржавые собирают. Интересно, чем наш полковник увлекается? Для меня и всех нас он — загадка. Мы знаем о нем удивительно мало, он знает о каждом из нас все. Он зверь. Маленький, кровожадный, смертельно опасный. Он знает свою цель и идет к ней не сворачивая. Я знаю его путеводную звезду. Зовется она *власть*. Он сидит у костра, и красные тени мечутся по скуластому волевому лицу. Черный правильный профиль. Красные тени. Ничего более. Никаких переходов. Никаких компромиссов. Если я совершу одну ошибку, то он сомнет меня, сокрушит. Если я обману его, он поймет это по моим глазам — интеллект у него могучий.

— Суворов, ты что-то хочешь спросить?

Мы одни у костра в небольшом овражке в бескрайней степи. Наша машина спрятана во-о-он там в кустах, и водителю спать разрешено. У нас впереди длинная осенняя ночь.

— Да, товарищ полковник, я давно хочу спросить вас... В вашем подчинении сотни молодых, толковых, перспективных офицеров с великолепной подготовкой, утонченными манерами... А я крестьянин, я не читал многих книг, о которых вы говорите, мне трудно в вашем кругу... Мне не интересны писатели и художники, которыми восхищаетесь вы... Почему вы выбрали меня?

Он долго возится с чайником, видимо, соображая — сказать мне что-то обычное о моем трудолюбии и моей сообразительности или сказать правду. В чайнике он варит варварский напиток: смесь кофе с коньяком. Выпьешь — сутки спать не будешь.

— Я тебе, Виктор, правду скажу, потому что ты ее понимаешь сам, потому что тебя трудно обмануть, потому что ты ее знать должен. Наш мир жесток. Выжить в нем можно только карабкаясь вверх. Если остановишься, то скатишься вниз и тебя затопчут те, кто по твоим костям вверх идет. Наш мир — это кровавая бескомпромиссная борьба систем, одновременно с этим — это борьба личностей. В этой борьбе каждый нуждается в помощи и поддержке. Мне нужны помощники, готовые на любое дело, готовые на смертельный риск ради победы. Но мои помощники не должны предать меня в самый тяжелый момент. Для этого существует только один путь: набирать помощников с самого низа. Ты всем обязан мне, и если выгонят меня, то выгонят и тебя. Если я потеряю все — ты тоже потеряешь все. Я тебя поднял, я тебя нашел в толпе, не за твои таланты, а из-за того, что ты — человек толпы. Ты никому не нужен. Что-то случится со мной, и ты снова очутишься в толпе, потеряв власть и привилегии. Этот способ выбора помощников и телохранителей — стар как мир. Так делали все правители. Предашь меня — потеряешь все. Меня точно так же в пыли подобрали. Мой покровитель идет вверх и тянет меня за собой, рассчитывая на мою поддержку в любой ситуации. Если погибнет он, кому я нужен?

— Ваш покровитель генерал-лейтенант Обатуров?

— Да. Он выбрал меня в свою группу, когда он был майором, а я лейтенантом... не очень успешным.

— Но и он кому-то служит. Его тоже кто-то вверх тянет?

— Конечно. Только не твоего это ума дело. Будь уверен, что ты в правильной группе, что и у генерал-лейтенанта Обатурова могущественные покровители в Генеральном штабе. Но тебя, Суворов, я знаю уже хорошо. У меня такое чувство, что это не тот вопрос, который тебя мучает. Что у тебя?

— Расскажите мне про Аквариум.

— Ты и это знаешь? Услышать это слово ты не мог. Значит, ты его где-то увидел. Дай подумать, и я тебе скажу, где ты его мог увидеть.

— На обратной стороне портрета.

— Ах вот где. Слушай, Суворов, про это никогда никого не спрашивай. Аквариум слишком серьезно относится к своим тайнам. Ты вопрос просто задашь, а тебя на крючок подвесят. Нет, я не шучу. За челюсть или за ребро — и вверх. Рассказать тебе об Аквариуме я просто не могу. Дело в том, что ты можешь рассказать еще кому-то, а он еще кому-то. Но настанет момент, когда события начнут развиваться в другом направлении. Одного арестуют, узнают у него, где он слышал это слово, он на тебя укажет, а ты на меня.

[1] АПРТБ — Армейская подвижная ракетно-техническая база — подразделение в составе общевойсковых и танковых армий, занимается транспортировкой, хранением и техническим обслуживанием ракет для ракетной бригады армии и ракетных подразделений дивизий, входящих в состав данной армии.

— Вы думаете, что если меня пытать начнут, я назову ваше имя?

— В этом я не сомневаюсь, и ты не сомневайся. Дураки говорят, что есть сильные люди, которые могут пытки выдержать, и слабые, которые не выдерживают. Это чепуха. Есть хорошие следователи и есть плохие. В Аквариуме следователи хорошие... Если попадешь на конвейер, то сознаешься во всем, включая и то, чего никогда не было. Но... я верю, Виктор, что мы с тобой на конвейер не попадем, и потому тебе об Аквариуме немного расскажу...

— Что за рыбы там водятся?

— Там только одна порода — пираньи.

— Вы работали в Аквариуме?

— Нет, этой чести меня не удостоили. Может, в будущем... Там, наверное, считают, что зубы у меня еще недостаточно остры. Итак, слушай. Аквариум — это центральное здание 2-го Главного управления Генерального штаба, то есть Главного разведывательного управления — ГРУ. Военная разведка под различными названиями существует с 21 октября 1918 года. В это время Красная Армия уже была огромным и мощным организмом. Управлял армией Главный штаб — мозг армии. Но реакция штаба была замедленной и неточной, оттого что организм был слепым и глухим. Информация о противнике поступала из ЧК. Это как если бы мозг получал информацию не от своих глаз и ушей, а со слов другого человека. Да и чекисты всегда рассматривали заявки армии как нечто второстепенное. По-другому и быть не может: у тайной полиции свои приоритеты, а у Генерального штаба свои. И сколько Генеральному штабу ни дааай информации со стороны, ее никогда не будет достаточно. Представь себе, случилась неудача, с кого спрашивать? Генеральный штаб всегда может сказать, что информации о противнике было недостаточно, оттого и неудача. И он всегда будет прав, потому что сколько ее ни собирай, начальник Генерального штаба может поставить еще миллион вопросов, на которые нет ответа. Вот поэтому и было решено отдать военную разведку в руки Генерального штаба — пусть начальник Генерального штаба ею управляет: если недостаточно сведений о противнике, так это вина самого Генерального штаба.

— И КГБ никогда не стремилось установить власть над ГРУ?

— Всегда стремилось. И сейчас стремится. Это однажды удалось Ежову: он был одновременно шефом НКВД и военной разведки. За это его пришлось немедленно уничтожить. В его руках оказалось слишком много власти. Он стал монопольным контролером всей тайной деятельности. Для верховного руководства это страшная монополия. Пока существуют минимум две тайные организации, ведущие тайную борьбу между собой — можно не бояться заговора внутри одной из них. Пока есть две организации — есть качество работы, так как существует конкуренция. Тот день, когда одна организация поглотит другую — станет последним днем для Политбюро. Но Политбюро этого не допустит. Деятельность КГБ ограничена деятельностью враждебных организаций. Внутри страны МВД делает очень сходную работу, МВД и КГБ готовы сожрать друг друга. Кроме того, внутри страны действует еще одна тайная полиция — Народный контроль. Сталин стал диктатором, придя с поста руководителя именно этой тайной организации — из Народного контроля. А за рубежом тайную деятельность КГБ уравновешивает деятельность Аквариума. ГРУ и ГБ постоянно дерутся за источники информации, и оттого обе организации так успешны.

Я молчу, переваривая смысл сказанного. Долгая ночь впереди. Метрах в тридцати от нас в ивняке спрятана большая резиновая надувная ракета «Першинг» — точная копия американского оригинала. Прошлой ночью весь диверсионный батальон Спецназ был выброшен небольшими группами вдали от этого места. Соревнования. Маршрут 307 километров. На маршруте пять контрольных точек: ракеты, радиолокатор, штаб. Группа, которая первой пройдет весь маршрут, обнаружив все объекты и сообщив их точные координаты, получит отпуск и золотые часы каждому солдату. Все солдаты победившей группы станут младшими сержантами, а сержанты — старшими сержантами. Высший командный состав разведывательного отдела контролирует прохождение групп. Сам Кравцов обычно на вертолете вдоль трассы соревнований летает. Но сегодня он почему-то решил находиться на контрольной точке и в помощники он выбрал меня.

— Кажется, идут.

— Поговорим, потом.

6

Камешки чуть шуршат под ногами и катятся вниз. В овраг тихо, по-змеиному скользя, спускается гигантская тень. Огонь костра в ночи чуть ослепил широкого диверсанта. Он всматривается в наши лица и, узнав Кравцова, докладывает: «Товарищ полковник, 29-я рейдовая группа 2-й роты Спецназ. Командир группы сержант Полищук».

— Добро пожаловать, сержант.

Сержант оборачивается к группе и тихо свистит, как свистят суслики. По откосу вниз зашуршали диверсантские подошвы. Двое занимают позицию на гребне: наблюдение и оборона. Радист быстро разбрасывает антенну. Двое растягивают брезент: под брезентом будет колдовать шифровальщик группы. Как он готовит сообщение, знать обычным смертным не положено, и оттого во время работы его всегда накрывают брезентом. В боевой обстановке командир группы головой за шифры и шифровальщика отвечает. В случае, если группе угрожает опасность, командир обязан шифровальщика убить, шифры и шифровальную машину уничтожить. Если он этого не сделает, отвечать жизнью будет не только он сам, но и вся группа.

Вот готово сообщение. Теперь мы все его видим: обыкновенная кинопленка с несколькими рядами аккуратных дырочек на ней. Сообщение вкладывается в радиостанцию. Станция еще не включена и не подстроена. Радист на хронометр смотрит. И вот жмет на кнопку. Радиостанция включается, автоматически подстраивается, протаскивает сквозь недра кусок пленки, тут же выплевывая его. Несколько цветных лампочек на радиостанции сразу гаснут. Весь сеанс связи длится не более секунды. Заряд информации радиостанция практически выстреливает.

Шифровальщик подносит спичку к пленке, и та мгновенно исчезает, злобно шипя. Кинопленка только кажется обычной. Горит она так же быстро, как радиостанция передает шифрованное сообщение.

— Готовы? Попрыгали. Время. Пошли.

Жесток сержант Полищук и на руку дерзок. Группу сгрызет, а гнать будет без остановки. Да только цыплят на финише считают. Пока все хорошо. А если группа на первых двух сотнях сдохнет? Командирам групп большие права даны. На то и соревнования. Хочешь, останови группу. Хочешь, спать ее положи. Хочешь, через каждые 10 минут хода — отдыхай. Но если в последней десятке групп окажешься — сорвут лычки сержантские, в рядовые спишут, а на твое сержантское место много любителей.

— Товарищ полковник, одиннадцатая группа первой роты. Командир сержант Столяр.

— Добро пожаловать, сержант. Действуй, на наше присутствие внимания не обращай.

— Есть! Носорог и Гадкий Утенок — на стремя!

— Есть!

— Блевантин!

— Я!

— Связь давай.

— Есть связь.

— Готовы? Попрыгали. Время. Пошли.

Теперь группы потоком пойдут. Так всегда на соревнованиях бывает. Несколько групп вырываются далеко вперед, потом идет основная масса с короткими перерывами или без перерывов вообще, а потом отставшие, заблудившиеся. Некоторые отдыхают у нашего костра по часу. Некоторые по два. Некоторые останавливаются только чтобы развернуть связь, передать сообщение и — вперед. Рядом с нами сразу несколько групп готовят свой нехитрый ужин. В ходе учений огонь разводить запрещено, и тогда диверсант готовит себе пищу на спиртовой таблетке. Но на соревнованиях можно пользоваться и огнем. Главное на соревнованиях — точное ориентирование, скорость, определение координат и связь. Остальное не так важно.

От костра пряным запахом потянуло. Диверсанты курицу жарят. Жарят ее особым методом: выпотрошили, срезали голову и ноги, но перья не ощипывали. Курицу толстым слоем мокрой глины измазали и в костер. Вот уж и запах пошел. Скоро она и готова. Нет у диверсанта кастрюли и оттого в глине готовить приходится. Когда совсем она изжарится, глину собьют, а вместе с глиной слетят с нее и перья, и курочка во всем своем жиру — прямо к столу.

— Товарищ полковник, милости просим.

— Спасибо. А где ж вы курицу взяли?

— Дикая, товарищ полковник. Беспризорная.

В ходе соревнований часто спецназы и дикую свинку найти могут, и курочку, и петушка. Иногда дикая картошка попадается, дикие помидоры и огурцы, дикая кукуруза. Кукурузу другая группа в чайнике огромном варит.

— А чайник откуда?

— Да как сказать. Лежал на дороге. Чего ж, думаем, добру пропадать. Отведайте кукурузки! Хороша.

У Кравцова правило, приглашение солдата он принимает с благодарностью, как принимает приглашение начальника штаба округа или самого командующего. Разницы он не делает. Весело у костра:

— Обмани ближнего, или дальний приблизится и обманет тебя.

Шутник полковник. За него любой диверсант глотку перегрызет. Не просто такого уважения среди них добиться. Подчиняются они всякому поставленному над ними

начальнику, а уважают не всякого, и тысячи способов зверехитрый диверсант знает, чтобы командиру своему продемонстрировать уважение или неуважение. А за что они Кравцова уважают? За то, что тот натуру звериную свою не прячет и прятать не пытается. Диверсанты уверены в том, что натура людская порочна и неисправима. Им виднее. Они каждый день жизнью рискуют и каждый день имеют возможность наблюдать человека на грани смерти. И поэтому всех людей они делят на хороших и плохих. Хороший, по их понятиям, тот человек, который не прячет зверя, сидящего внутри него. А тот, кто старается хорошим казаться, тот опасен. Самые опасные люди те, которые не только демонстрируют свои положительные качества, но и внутренне верят в то, что являются хорошими. Старательный, мерзкий преступник может убить человека, или десять человек, или сто. Но преступник никогда не убивает людей миллионами. Миллионами убивают только те, кто считает себя добрым. Робеспьеры получаются не из преступников, а из самых добрых, из самых гуманных. И гильотину придумали не преступники, а гуманисты. Самые чудовищные преступления в истории человечества совершили люди, которые не пили водки, не курили, не изменяли жене и кормили белочек с ладони.

Ребята, с которыми мы сейчас жуем кукурузу, уверены в том, что человек может быть хорошим только до определенного предела. Если жизнь припрет, хорошие люди станут плохими, и это может случиться в самый неподходящий момент. Чтобы не быть застигнутым врасплох такой переменой, лучше с хорошими не водиться. Лучше иметь дело с теми, кто сейчас плохой. По крайней мере, знаешь, чего от него ждать, когда фортуна оскал продемонстрирует. Полковник Кравцов в этом смысле для них свой человек. Идет, к примеру, девочка грудастая по улице. Ягодицы, как два арбуза в авоське, перекатываются. Что диверсант в этом случае делать будет? По крайней мере взглядом изнасилует, если по-другому нельзя. Но и полковник Кравцов так же поступит, не постесняется. За это его уважают.

Опасен тот, кто женщине вслед не смотрит. Опасен тот, кто старается показать, что это его не интересует совсем. Вот именно среди этой публики можно найти тайных садистов и убийц.

Кравцов к этой категории не относится. Любит он женский пол (а кто не любит?) и секрета из этого не делает. Любит власть — зачем же свою любовь скрывать? А любит он ее крепко. Любую власть.

Почувствовал я это, когда впервые увидел, как он куклу бил. Это был апофеоз мощи и беспощадной власти.

Кукла — это человек такой. Человек для тренировки. Когда ведешь учебный бой против своего товарища, то наперед знаешь, что он тебя не убьет. И он знает, что ты его не убьешь. Поэтому интерес к учебному бою теряется.

А вот кукла тебя убить может, но и тебя ругать не очень будут, если ты кукле ребра переломаешь или шею.

Работа у нас ответственная. И рука наша не должна дрогнуть в ответственный момент. И не дрогнет. А чтоб командиры наши полную уверенность в том имели — подбрасывают нам для тренировок кукол. Куклы не нами выдуманы. Их и до нас использовали, и гораздо шире, но назывались они по-другому. В ЧК их называли гладиаторами, в НКВД — волонтерами, в Смерше — робинзонами, а у нас они — куклы.

Кукла — это преступник, приговоренный к смерти. Тех, кто стар, болен, слаб, тех, кто знает очень много — уничтожают сразу после вынесения приговора. Но тот, кто силен да крепок — того перед смертью используют для усиления мощи нашего государства. Говорят, что приговоренных к смерти на уран посылают. Чепуха. На уране обычные зэки работают. Приговоренных к смерти более продуктивно используют. Один из видов такого использования — сделать его куклой в Спецназе. И нам хорошо, и ему. Мы можем отрабатывать приемы борьбы, не боясь покалечить противника, а у него отсрочка от смерти получается.

Раньше гладиаторов да кукол на всех достаточно было. Теперь нехватка. Во всем у нас нехватка. То мяса нет, то хлеба, а теперь вот и кукол не хватает на всех. А желающих использовать кукол не убавляется. А где ты их наберешь? Потому приказывают куклу длительно использовать, осторожно. Но это на качество занятий не очень влияет. Ты его не можешь сильно калечить, а у него ограничений нет. Он в любой момент озвереть может. Терять ему нечего. Шею свернуть запросто может. Оттого бой с куклой в сто раз полезнее, чем тренировка с инструктором или с коллегой. Бой с куклой — настоящий бой, настоящий риск.

Во всем батальоне Спецназ только один особый профессиональный взвод допущен к тренировкам с куклами. Три обычных диверсионных роты о существовании кукол просто не знают. Особый взвод отделен от батальона Спецназ и спрятан в Дубровице, внутри штрафного батальона: и место хорошо охраняется, и кукол содержать есть где.

Не любит Кравцов зря рисковать. Но любит власть. И потому, попав в Дубровицу, он каждый раз переодевается и идет лично сам тренироваться на куклах. Он тренируется долго и упорно. Он очень настойчив.

7

Немного воды, полбанки кофе, коньяка солидную порцию — и на огонь. Это варварское месиво должно долго вариться. Попьешь — будешь прыгать, как молодой козлик. Приятный аромат щекочет ноздри.

Серый рассвет. Холодный туман. Едкий дым костра. Мы снова одни.

— Много ГБ нашей крови выпило?

— Ты, Витя, про всю армию или только про разведку?

— И про армию, и про разведку.

— Много.

— Почему так получилось?

— Мы были очень наивны. Мы служили Родине, а чекисты служили сами себе и партии.

— Это может повториться?

— Да. Если мы будем так же наивны, как и раньше...

Он мешает ложкой коньячное варево. А мне кажется, что он судьбу мою вершит. Не зря он один со мной в глухой степи оказался. Не зря он разговоры такие ведет. Рассказав мне об Аквариуме — он доверил мне свою судьбу. Я же ее поломать могу. Зачем он рискует так? Не иначе он от меня требует мою собственную судьбу. Я согласен рисковать вместе с Кравцовым и ради него. Но как мне выразить это?

— Мы не должны им позволить, чтобы это повторилось. Ради благополучия нашей родины мы должны быть сильными. Армия должна быть не менее сильной, чем ГБ...— Внезапно я чувствую, что это именно то, чего он ждет от меня.— Мы не должны им позволить этого. Монополия чекистской власти может удушить советскую власть...

— Но и монополия власти военной может уничтожить советскую власть. Ты этого не боишься, Виктор? — Он смотрит в упор.

— Не боюсь.

— Что бы ты на моем месте делал? На месте советских генералов и маршалов?

— Я бы поддерживал жесткий контакт с коллегами. Если один в опасности, все генералы и маршалы должны его защищать. Нам нужна солидарность.

— Представь, что есть такая солидарность. Тайная, конечно. Представь, что партия и ГБ решили свергнуть одного из нас. Как же всем остальным реагировать? Бастовать? Всем в отставку подать?

— Я думаю, что мы должны отвечать ударом на удар. Но не по всем нашим врагам, а только по самым опасным. Если вы лично имеете проблемы с местным партийным руководством или с ГБ, не вам с ними биться, но все ваши друзья со всего Союза должны наносить тайные удары по вашим врагам. И наоборот, когда кто-то из ваших далеких друзей в беде, вы обязаны использовать всю свою мощь для нанесения тайных ударов по его врагам...

— Хорошо, Суворов, но помни, что этого разговора никогда не было. Ты просто перепился коньяку и все это сам придумал. Запомни, что лучше всего стоять в стороне от всех этих драк, но тогда ты так и останешься в пыли. Драка за власть — жестокая драка. Тот, кто проиграл,— преступник. Для победителя все равно, совершал ты преступления или нет. Все равно преступник. Так что лучше уж их делать, чем быть наивным дураком. С волками жить... А то ведь съедят. Но уж если ты встал на этот путь, то лучше не попадаться, а если попадаться, так не сознаваться, а уж если и сознаваться, то в простом деле, а не в организованном. Каждый, кто дерется за власть, имеет свою группу, свою организацию, и каждый не прощает этого своим соперникам. Участие в организации — это самое страшное, в чем ты можешь признаться. Это жуткий конец для тебя лично. Под самыми страшными пытками лучше признаться, что ты действовал один. В противном случае пытки станут еще страшнее. А теперь слушай внимательно.

Его голос резко изменился, как и выражение лица.

— Через неделю ты пойдешь контролером с группой Спецназ. Вас выбросят на Стороженецком полигоне. На второй день группа распадется надвое. С этого момента ты исчезнешь. Твой путь в Кишинев. Ехать только товарными поездами. Только ночью. В Кишиневе есть педагогический институт. Уровень национализма в институте — выше среднего. Этот лозунг ты напишешь ночью на стене.

Он протягивает мне листок тонкой папиросной бумаги.

— Ты по-молдавски не говоришь, поэтому запомни весь текст наизусть. Сейчас. Попробуй написать. Еще раз. Помни. Ты делаешь все сам. Если тебя где-то остановят: ты отстал от группы, потерял направление. Стараешься сам вернуться в штаб Армии без посторонней помощи. Поэтому ты по ночам едешь в товарных вагонах. Смотри, не усни. Отсыпайся днями в лесу.

— Какой величины должны быть буквы?

— 15—20 сантиметров будет достаточно, чтобы свалить председателя молдавского ГБ.

— Одним лозунгом?

— Тут особый случай. С национализмом в институте боролись давно и безуспешно. Принимали самые драконовские меры. Донесли в Москву, что теперь все хорошо. Твое дело — доказать, что это не так. Может, конечно, подозрение пасть на Одесский округ, но одесское военное руководство легко докажет свою полную невиновность. Удар мы наносим не прямой, а из-за угла, из соседнего округа. Я повторяю, ты действуешь сам. Ты видел этот лозунг на клочке бумаги, который валялся на улице, выучил его наизусть и написал на стенке, не зная его значения. Лучше быть дураком, чем конспиратором. Не забыл лозунг?

— Нет.

8

Нас бросали с трех тысяч метров. На второй день группа распалась надвое. Командиры двух подгрупп знали, что с этого момента они действуют самостоятельно, без контроля сверху...

9

Через пять дней я появился в штабе Армии. Мой путь к начальнику разведки. Я докладываю, что в ходе учений после разделения групп я должен был встретить третью группу, но не встретил ее, потерял ориентировку и долгое время искал правильный путь, не пользуясь картой и услугами посторонних. Легкой улыбкой я докладываю, что дело сделано. Чисто сделано. Легким кивком он дает мне знать, что понял. Но он не улыбается мне.

10

Прошло три недели. Я внимательно слежу за всеми публикациями. Понятно, что ни в местных, ни в центральных газетах никто ничего не опубликует. Но в местных газетах может появиться статейка под названием «Крепить пролетарский интернационализм!». Но нет такой статейки...

Он положил мне руку на плечо, он всегда подходит неслышно.

— Не теряй времени. Ничего не случится.

— Почему?

— Потому что то, что ты написал на стене, не принесет никому никакого вреда. Текст был совершенно нейтральным.

— Зачем же я его писал на стене?

— Затем, чтобы я был в тебе уверен.

— Я был под наблюдением все время?

— Почти все время. Твой маршрут я примерно знал, а конечный пункт тем более. Бросить десяток диверсантов на контроль — и почти каждый твой шаг зафиксирован. Конечно, и контролеры не знают того, что они делают... Когда человек в напряжении, ему в голову могут прийти самые глупые идеи. Его контролировать надо. Вот я тебя и контролировал.

— Зачем вы мне рассказали о том, что я был под вашим контролем?

— Чтоб тебе и впредь в голову дурные идеи не пришли. Я буду поручать тебе иногда подобные мелочи, но ты никогда не будешь уверен в том — идешь ты на смертельный риск или просто я тебя проверяю.— Он улыбнулся мне широко и дружески.— И знай, что материалов на тебя у меня столько, что в любой момент я тебя могу превратить в куклу.

...Он смотрит на меня выжидающе, потом наливает по полстакана холодной водки и молча кивает мне на один стакан: — С начальником тоже иногда выпить можно. Не бойся, не ты ко мне в друзья навязываешься, это я тебя вызвал, пей.

Я взял стакан, поднял его на уровень глаз, улыбнулся своему шефу и медленно выпил. Водка — живительная влага. Он снова налил по полстакана.

— Слушай, Суворов, своим взлетом ты обязан мне.

— Я всегда об этом помню.

— Я за тобой наблюдаю давно и стараюсь понять тебя. На мой взгляд — ты урожденный преступник, хотя об этом и не догадываешься, и не имеешь уголовной закалки. Не возражай, я людей знаю лучше, чем ты. Тебя насквозь вижу. Пей.

— Ваше здоровье.

— Осади огурчиком.

— Спасибо.

Лицо у него мрачное. По всей видимости, он до моего прихода уже успел употребить. А выпив, он всегда становился мрачным. Со мной всегда происходит то же самое. Он, видимо, это давно подметил, и по некоторым другим, почти незаметным признакам, с самого себя рисует мой портрет.

— Если бы ты, мерзавец, к уркам попал, то ты бы у них прижился. Они бы тебя за своего считали, а через несколько лет ты бы в банде определенным авторитетом пользовался. Возьми колбаски, не стесняйся. Мне ее из спецраспределителя доставляют. Ты о существовании такой колбасы, наверное, и не догадывался, пока я тебя к себе не забрал. Пей...

То, что водки в нем было уже более полкило, сомнений не было. Она понемногу действовать начинала. Вилка в его руке точностью уже не отличалась, но ум его от влияния алкоголя полностью изолирован. Говорит он ясно и четко, мыслит тоже ясно и четко.

— Одного я в тебе, Суворов, не понимаю: ты в мучительстве наслаждения не находишь или только скрываешь это? У нас широкие возможности наслаждаться своей силой. Ваньку-педераста можно мучить столько, сколько душа пожелает. А ты от этих удовольствий уклоняешься. Почему?

— Я в мучительстве наслаждения не чувствую.

Он покачал головой:

— Жаль.

— Это плохо для нашей профессии?

— Вообще-то нет. В мире астрономическое число проституток, но лишь немногие из них наслаждаются своим положением. Для большинства из них — это очень тяжелая физическая работа и не более. Но независимо от того, нравится проститутке ее работа или нет, ее уровень во многом зависит от отношения к труду, от чувства ответственности, от трудолюбия. Профессией не обязательно наслаждаться надо, не обязательно ее любить надо, но на любом месте проявлять трудолюбие надо. Чего зубы скалишь?

— Оборот интересный — «трудолюбивая проститутка».

— Нечего смеяться, мы не лучше проституток, мы делаем не очень чистое дело на удовольствие кому-то, и за наш тяжкий труд много получаем. Профессию свою ты не очень любишь, но трудолюбив, и этого мне достаточно. Наливай сам.

Я налил.

— А вам?

— Немного совсем налей. Два пальца. Хорош. Я тебя вот зачем вызвал. Прожить на нашей вонючей планете можно только перегрызая глотки другим. Такую возможность предоставляет власть. Удержаться у власти можно только карабкаясь вверх. Скользкая она очень. Кроме того, помощь нужна, и потому каждый, кто по ее откосам вверх карабкается, формирует свою группу, которая идет с ним до самого верха или летит с ним в бездну. Я тебя вверх тащу, но и твоей помощи требую, помощи любой, какая потребуется, пусть даже и уголовного порядка. Когда ты чуть выше вслед за мной поднимешься, то и ты свою собственную группу сколотишь, и будешь ее вслед за собой тянуть, а я тебя буду тянуть, а меня еще кто-то. А вместе мы нашего главного лидера вверх продвигать будем.

Он вдруг ухватил меня за ворот:

— Предашь — пожалеешь!

— Не предам.

— Я знаю.— Глаза у него мрачные.— Можешь предавать кого хочешь, хоть Советскую Родину, но не меня. Бойся об этом думать. Но ты об этом и не думаешь. Я это знаю, по твоим сатанинским глазам вижу. Допивай и пошли. Поздно уже. Завтра придешь на работу в 7.00 и к 9.00 подготовишь все свои документы к сдаче. Меня назначили начальником Разведывательного Управления Прикарпатского военного округа. Туда, в Управление, я свою команду потянул за собой. Конечно, я беру с собой не всех и не сразу. Некоторых позже перетяну. Но ты едешь со мной сразу. Цени.

11

Я не знаю, что со мной. Что-то не так. Я просыпаюсь ночами и подолгу смотрю в потолок. Если бы меня отправили куда-то умирать за чьи-то интересы, я бы стал героем. Мне не жалко отдать свою жизнь, и она мне совсем не нужна. Возьмите, кому она нужна. Ну, берите же ее! Я забываюсь в коротком, тревожном сне. И черти куда-то несут меня. Я улетаю высоко-высоко. От Кравцова. От Спецназа. От жестокой борьбы. Я готов бороться. Я готов грызть глотки. Но зачем это все? Битва за власть — это совсем не битва за Родину. А битва за Родину — даст ли она утешение моей душе? Я уже защищал твои, Родина, интересы в Чехословакии. Неприятное занятие, прямо скажем. Я улетаю все выше и выше. С недосягаемой звенящей высоты я смотрю на свою несчастную Родину-мать. Ты тяжело больна. Я не знаю чем. Может, бешенством. Может, шизофрения у тебя? Я не знаю, как помочь тебе. Надо кого-то убивать. Но я не знаю кого. Куда же лечу я? Может, к Богу? Бога нет! А может, все-таки к Богу? Помоги мне, Господи!

Глава V

1

Львов — самый запутанный город мира. Много веков назад его так строили — чтобы враги никогда не могли найти центр города. Природа все сделала для того, чтобы строителям помочь: холмы, овраги, обрывы. Улочки Львова спиралями скручены и выбрасывают непрошеного посетителя то к оврагу отвесному, то в тупик. Видно, я этому городу тоже враг. Центр города я никак отыскать не могу. Среди каштанов мелькают купола собора. Вот он, рядом. Вот обогнуть пару домов. Но переулок ведет меня вверх, ныряет под мост, пару раз круто ломается, и я больше не вижу собора, да и вообще с трудом представляю, в каком он направлении. Вернемся назад и повторим все сначала. Но и это не удается. Переулок ведет меня в густую паутину кривых, горбатых, но удивительно чистых улочек, и наконец выбрасывает на шумную улицу с необычно маленькими, чисто игрушечными трамвайчиками. Нет, самому мне не найти, и вся моя диверсионная подготовка мне не поможет. Такси! Эй, такси! В штаб округа! В Пентагон? Ну да, именно туда, в Пентагон.

Огромные корпуса штаба Прикарпатского военного округа выстроены недавно. Город знает эти стеклянные глыбы под именем Пентагон.

Львовский Пентагон — это грандиозная организация, подавляющая новичка обилием охраны, полковничьих погон и генеральских лампасов.

Но на деле все не так уж сложно, как кажется в первый день. Штаб военного округа — это штаб, в распоряжении которого находится территория величиной с Западную Германию и с населением в семнадцать миллионов человек. Штаб округа отвечает за сохранность советской власти на этих территориях, за мобилизацию населения, промышленности и транспорта в случае войны. Кроме того, штаб округа имеет в своем подчинении четыре армии: воздушную, танковую, две общевойсковые. Накануне войны штаб округа превратится в штаб фронта и будет управлять этими армиями.

Организация штаба округа точно такая же, как и организация штаба армии, с той разницей, что тут все на ступень больше. Штаб состоит не из отделов, а из управлений, а управления, в свою очередь, делятся на отделы, а те на группы. Зная организацию штаба армии, тут совсем легко ориентироваться.

Все ясно. Все понятно и логично. Мы, молодые пришельцы, еще раз стараемся во всем убедиться и всюду суем свои носы: а это что? а это зачем?

Бывший начальник разведки Прикарпатского военного округа генерал-майор Берестов смещен, а за ним ушла и вся его компания: старики на пенсию, молодежь в Сибирь, на Новую Землю, в Туркестан. Начальником разведки назначен полковник Кравцов, и мы — люди Кравцова — бесцеремонно гуляем по широким коридорам львовского Пентагона. Строился он недавно и специально как штаб округа. Тут все рассчитано, тут все предусмотрено. Наше Второе управление занимает целый этаж во внутреннем корпусе колоссального сооружения. Одно нехорошо — все наши окна выходят в пустой, огромный, залитый бетоном двор. Наверно так для безопасности лучше. Отсутствие хорошего вида в окнах, пожалуй, единственное неудобство, а в остальном — все нам подходит. Нравится нам и разумная планировка, и огромные окна, и широкие кабинеты. Но больше всего нам нравится уход наших предшественников, которые совсем недавно контролировали всю разведку в округе, включая и нашу 13-ю Армию. А теперь этих ребят судьба разметала по дальним углам империи. Власть — дело деликатное, хрупкое. Власть нужно крепко держать. И осторожно.

2

На новом месте вся наша компания, и я в том числе, обживаемся быстро. Работа у нас все та же, только тут размах шире. Тут интереснее. Меня уже знают, и мне уже улыбаются в штабе. У меня уже хорошие отношения с ребятами из «инквизиции» — из группы переводчиков, мне уже рассказывают анекдоты шифровальщики с узла связи и операторы с центра радиоперехвата. Но и за пределами Второго управления меня уже знают. Прежде всего в боевом планировании — в Первом управлении. Боевое планирование без наших прогнозов жить не может. Но им вход в наше управление запрещен, и потому они нас к себе зовут:

— Витя, что в ближайшую неделю супостат в Битбурге делать собирается?

Битбург — американская авиабаза в Западной Германии. И чтобы ответить на этот вопрос, я должен зарыться в свои бумаги. Через десять минут я уже в Первом управлении:

— Активность на аэродроме в пределах нормы, одно исключение: в среду прибывают из США три транспортных самолета С—141.

Когда мы такие прогнозы выдаем, операторы улыбаются: «Хорошо тот парень работает!»

Им, операторам, знать не положено, откуда дровишки к нам поступают. Но операторы — люди, и тоже шпионские истории читают, и оттого они наверняка знают, что у Кравцова есть супершпион в каком-то НАТОвском штабе. Супершпиона они между собой называют «тот парень». Хвалят «того парня» и довольны им очень офицеры боевого планирования. Действительно, есть у Кравцова люди завербованные. Каждый военный округ вербует иностранцев и для получения информации и для диверсий. Но только в данном случае «тот парень» ни при чем. То, что от секретной агентуры поступает, то Кравцов в сейфе держит и мало кому показывает. А то, чем мы боевое планирование питаем, имеет куда более прозаическое происхождение. Называется этот источник информации — графики активности. И сводится этот способ добывания информации к внимательному слежению за активностью радиостанций и радаров противника. На каждую радиостанцию, на каждый радар дело заводится: тип, назначение, где расположена, кому принадлежит, на каких частотах работает. Очень много сообщений расшифровывается нашим пятым отделом. Но есть радиостанции, сообщения которых расшифровать не удается годами. И именно они представляют для нас главный интерес, ибо это и есть самые важные радиостанции. Понятны нам сообщения или нет, на станцию заводится график активности и каждый ее выход в эфир фиксируется. Каждая станция имеет свой характер, свой почерк. Одни станции днем работают, другие ночью, третьи имеют выходные дни, четвертые не имеют. Если каждый выход в эфир фиксировать и анализировать, то скоро становится возможным предсказывать ее поведение.

А кроме того, активность радиостанций в эфире сопоставляется с деятельностью войск противника. Для нас бесценны сведения, поступающие от водителей советских грузовиков за рубежом, от проводников советских поездов, от экипажей «Аэрофлота», от наших спортсменов и, конечно, от агентуры. Сведения эти отрывочны и несвязаны: «Дивизия поднята по тревоге», «Ракетная батарея ушла в неизвестном направлении», «Массовый взлет всех самолетов». Эти кусочки наша электронная машина сопоставляет с активностью в эфире. Замечаются закономерности, учитываются особые случаи и исключения из правила. И вот в результате многолетнего анализа становится вполне возможным сказать: «Если вышла в эфир РБ—7665—1, значит через четыре дня будет произведен массовый взлет в Рамштейне». Это нерушимый закон. А если вдруг заработает станция, которую мы называем Ц—1000, тут и ребенку ясно, что боеготовность американских войск в Европе будет повышена. А если, к примеру...

— Слушай, Витя, мы, конечно, понимаем, что нельзя об этом говорить... Но вы уж того... Как бы сказать понятнее... В общем, вы берегите того парня.

3

Меня проверяют. Меня всю жизнь будут проверять. Такая работа. Меня проверяют на уравновешенность, на выдержку, на сообразительность, на преданность. Проверяют не меня одного. Всех проверяют. Кому улыбаешься, кому не улыбаешься, с кем пьешь, с кем спишь. А если ни с кем — опять же проверка: а почему?

— Заходи.

— Товарищ полковник, старший лей...

— Садись,— приказывает он.

Он — это полковник Марчук, новый заместитель Кравцова. У советской военной разведки формы особой нет. Каждый ходит в форме тех войск, из которых в разведку пришел. Я, к примеру,— танкист, Кравцов — артиллерист. В разведывательном управлении у нас и пехота, и летчики, и саперы, и химики. А полковник Марчук — медик. На малиновых петлицах чаша золотистая да змеюга вокруг. Красивая у медиков эмблема. Не такая, конечно, как у нас, танкистов, но все же красивая. В армии медицинскую эмблему по-своему расшифровывают: хитрый, как змей, и выпить не дурак.

Марчук смотрит на меня тяжелым, подавляющим взглядом. Гипнотизер, что ли? Мне от этого взгляда не по себе. Но я его выдерживаю. Тренировка у меня на этот счет солидная. Каждый в Спецназе на собаках тренируется. Если смотреть в глаза собаке, то она человеческого взгляда не выдерживает. Человек может ревущего пса взглядом остановить. Правда, если пес один, а не в своре. Против своры нужно ножом взгляду помогать. В глаза ей смотришь, а ножичком под бочок ей, под бочок. А тогда на другую начинай смотреть.

— Вот что, Суворов, мы на тебя внимательно смотрим. Хорошо ты работаешь и нравишься нам. Мозг у тебя вроде как электронная машина... ненастроенная. Но тебя настроить можно. В это я верю. Иначе тебя бы тут не держали. Память у тебя отменная. Способность к анализу развита достаточно. Вкус у тебя точеный. Девочку из группы контроля ты себе хорошую присмотрел. Звонкая девочка. Мы ее знаем. Она к себе никого не подпускала. Ишь ты какой. А вроде ничего в тебе примечательного нет...

Я не краснею. Не институтка. Я офицер боевой. Да и кожа у меня не та. Шкура у меня азиатская и кровь азиатская. Оттого не краснею. Физиология не та. Но как, черт их побери, они про мою девочку узнали?

— Как ни печально, Суворов, но мы обязаны такие вещи знать. Мы обязаны о тебе все знать. Такая у нас работа. Изучая тебя, мы делаем заключения, и в своем большинстве это положительные заключения. Больше всего нам нравится прогресс, с которым ты освобождаешься от своих недостатков. Ты почти не боишься теперь высоты, закрытых помещений. С кровью у тебя хорошо. Крови ты не боишься, и это исключительно важно в нашей работе. Тебя не пугает неизбежность смерти. С собачками у тебя хорошие отношения. Поднатаскать тебя, конечно, в этом вопросе следует. Но вот с лягушками и со змеями у тебя совсем плохо. Боишься?

— Боюсь,— признался я.— А вы как узнали?

— Это не твоя проблема. Твоя проблема научиться змей не бояться. Чего их бояться? Видишь, у меня змеюги даже на петлицах сидят. А некоторые люди лягушек даже едят.

— Китайцы?

— Не только. Французы тоже.

— В голодный год я, товарищ полковник, лучше бы людей ел...

— Они не от голода. Это деликатес. Не веришь?

Ну конечно же я этому не верю. Пропаганда. Мол, плохая жизнь во Франции. Если он настаивать будет, я, конечно, соглашусь, что плохо пролетариату во Франции живется. Но это только вслух. А про себя я останусь при прежнем мнении. Жизнь во Франции хорошая, и пролетариат лягушек не ест. Но не обманешь Марчука. Сомнение в моих глазах он разглядел без труда.

— Иди сюда.— В кинозал зовет, где нам фильмы секретные про супостата крутят. Марчук кнопку нажимает, и на экране замелькали кухня, повара, лягушки, кастрюли, красный зал, официанты, посетители ресторана. На фокусников посетители не похожи, но лапки съели.

— Ну, что?

А что тут скажешь? Крыть вроде нечем. Но вот фильм недавно показывали «Освобождение», и Гитлер там. Но ведь это не Гитлер совсем, а артист из ГДР. Диц ему имя. Вот если бы ты, полковник, сам лягушку съел, тут бы я тебе поверил, а в кино что угодно показать можно, даже Гитлера, не то что лягушек.

— Ну, что? — повторяет он. Что ему скажешь? Скажи, что поверил, он тут же и прицепится, да как же ты, разведчик, такой чепухе поверил? Я тебе всякую чушь показываю, а ты веришь? Да как же ты, офицер информации, сможешь отличать ценные документы от сфабрикованных?

— Нет,— говорю,— этому фильму я поверить не могу. Подделка. Дешевка. Если людям есть нечего, то они в крайнем случае могут съесть кота или собаку. Зачем же лягушек? — Мне ясно совершенно, что фильм учебный. Сообразительность проверяют. Вон у дамы какой пудель пушистый был. Тут меня проверяют, заметил я пуделя или нет. Ну, конечно, я его заметил. И вывод делаю, которого вы явно от меня добиваетесь: не станет нормальный человек лягушку есть, если у него в запасе есть пудель. Не логично это. А Марчук уже сердится:

— Лягушки денег стоят — и не малых.

Я молчу. В полемику не ввязываюсь. Каждому ясно, что не могут быть лягушки дорогими. Но с полковником соглашаюсь дипломатично, неопределенно, оставляя лазейку для отдоха:

— С жиру бесятся. Буржуазное разложение.

— Ну вот. Наконец поверил. Я тебе фильм вот зачем показал: люди их едят, а ты даже в руки их взять боишься. Откровенно говоря, лягушку или змею я сам в руки взять не могу, но мне это и не надо. А ты, Виктор, начинающий молодой перспективный офицер разведки, и тебе это надо.

Внутри холодеет все: неужели и есть заставят. Марчук психолог. Он мои мысли как в книге читает:

— Не бойся, есть мы тебя лягушек не заставим? Змей, может быть, а лягушек — нет.

4

Солдатик совсем маленький. Личико детское. Ресницы длинные, как у девочки. Диверсант. Спецназовец. Четыре батальона диверсионной бригады огромными солдатами укомплектованы. Идут по городку, как стая медведей. Но одна рота в бригаде укомплектована разнокалиберными солдатиками, совсем маленькими иногда. Это особая профессиональная рота. Она опаснее, чем все четыре батальона медведей вместе взятых.

Тоненькая шейка у солдатика. Фамилия не русская у него — Кипа. Однако в особой роте он не зря. Значит, он специалист в какой-то особой области убийств. Видел я однажды, как он отбивал атаку четверых, одетых в защитные доспехи, вооруженных длинными шестами. Отбивался он от шестов обычной саперной лопаткой. Не было злости в нем, а умение было. Такой бой всегда привлекает внимание. Куда бы диверсант ни спешил, а если видит, что на центральной площадке бой идет, обязательно остановится посмотреть. Ах, какой хороший бой был! И вот солдатик этот передо мной. Чему-то он меня обучать будет. Вот достает он из ведра маленькую зеленую лягушку и объясняет, что лучше всего привыкать к ней, играя. С лягушкой можно сделать удивительные вещи. Можно, например, вставить соломинку и надуть ее. Тогда она на поверхности плавать будет, но не сможет вынырнуть, и это очень смешно. Можно раздеть лягушку. Стриптиз сотворить. Солдатик достает маленький ножичек и показывает, как это нужно делать. Он делает небольшие надрезы на уголках рта и одним движением снимает с нее кожу. Кожа, оказывается, с нее снимается так же легко, как перчатка с руки. Раздетую лягушку Кипа пускает на пол. Видны все ее мышцы, косточки и сосуды. Лягушка прыгает по полу. Квакает. Такое впечатление, что ей и не больно совсем. Солдатик запускает руку в ведро, достает еще одну лягушку, снимает с нее кожу, как шкурку банана, и пускает ее на пол. Теперь вдвоем прыгайте, чтоб не скучали.

— Товарищ старший лейтенант, полковник Марчук приказал мне показать вам все мое хозяйство и немного вас к этим зверюшкам приучить.

— Ты и со змеями так же легко обращаешься?

— С ними-то я и обращаюсь. А лягушки в моем хозяйстве — только чтобы змеюшек кормить.

— Ты и этих к змеям отправишь?

— Раздетых? Ага. Зачем добру пропадать?

Он берет двух голых лягушек и ведет меня в змеиный питомник. Тут влажно и душно. Он открывает крышку и опускает двух лягушек в большой стеклянный ящик, где застыла в углу серая отвратительная гадина.

— Ты с какими змеями работаешь?

— С гадюками, с эфами. В разведке Туркестанского округа мы кобру просили, но она еще не прибыла. Такая чепуха, но дорог перевоз. Ее в пути греть нужно, кормить, поить. Существо нежное, нарушишь режим — непременно окочурится.

— Тебя кто этому ремеслу обучал?

— Самоучка я. Любитель. С детства увлекался.

— Любишь их?

— Люблю.— Сказал он это буднично и совсем не театрально. И понял я — не врет солдатик. Любитель хулев. С твоими змеями!

В этот момент обе голые лягушки пронзительно закричали. Это толстая ленивая гадина, наконец, удостоила их своим вниманием.

— Садитесь, товарищ старший лейтенант.— Глянул я на стул. Убедился, что не свернулась на нем прохладная скользкая гадина. Сел. Передернуло меня.

Кипа улыбается:

— Через десять уроков вы сюда сами проситься будете.

Но не сбылось его пророчество. Змеи мне все так же отвратительны. Но все же я могу держать змею в руке. Я знаю, как хватать ее голой рукой. Я знаю, как потрошить ее и жарить на длинной палочке или на куске проволоки. И если жизнь поставит альтернативу: съесть человека или змею, я сначала съем змею.

5

Вертолет оставил нас на заболоченном острове. Кравцова вертолет скоро заберет, а я останусь один на контрольной точке.

— Если группа начнет входить в связь, не организовав наблюдение и оборону, такой группе штрафной час прибавляй...

— Понял.

— За любое нарушение в подготовке шифрованного сообщения с соревнований снимай всю группу.

— Понял.

— Смотри, чтобы пили воду правильно. Воду глотать нельзя. Нужно немного в рот набрать и держать ее несколько секунд во рту, смачивая язык и гортань. Тот, кто воду глотает, тот никогда не напьется, тот потеет, тому воды никогда не хватает, тот из строя быстро выходит. Увидишь, неправильно воду пьют, смело по пять штрафных рисуй, можешь и по десять.

— Я все понимаю, товарищ полковник. Не первый раз на контроле. Вы бы поспали немного. Вертолет через час вернется. Самое время вам. Вы уж сколько времени не спите...

— Да это, Виктор, ничего. Служебные заботы я и за заботы не считаю. Хуже, когда партийное руководство донимает. Везет нам: во Львове между партийным руководством и командованием округа хорошие отношения. А вот в Ростове командующему

Северо-Кавказским военным округом генерал-лейтенанту танковых войск Литовцеву не сладко приходится. Местные партийные воротилы вместе с КГБ ополчились против него. Жизни не дают. Жалобы в Центральный Комитет пишут. Уже написали жалоб и доносов больше, чем Дюма романов...

— И никто генералу Литовцеву помочь не может?

— Как тебе сказать... Друзей у него много. Но ведь как поможешь? Люди мы подневольные. Уставы, наставления, военное законодательство чтим, не нарушаем... Как ты ему в рамках закона поможешь?

— Товарищ полковник, может, я чем помочь могу?

— Чем же ты, Витя, старший лейтенант — генерал-лейтенанту поможешь?

— У меня впереди ночь длинная, я подумаю...

— Думать вообще-то много не надо... Все уж продумано. Действовать надо. Кажется, вертолет гудит... Это за мной, наверное. Вот что, Виктор, тут на учениях присутствует мой коллега, начальник разведки Северо-Кавказского военного округа генерал-майор Забалуев. Он хочет лично посмотреть прохождение диверсионных групп, но диверсантов своим званием смущать не желает. Завтра он тут с тобой на контрольной точке будет сидеть. Форма у него наша, обычная: куртка серая без знаков различия. В действия групп он вмешиваться не станет. Просто хочет понаблюдать да с тобой потолковать... Если ты и вправду помочь желаешь, попроси...

— Вы думаете, товарищ полковник, что после окончания соревнований мне придется заболеть?

— Я тебе такого приказа не давал. Если сам чувствуешь, что надо, то тогда конечно. Но помни: в нашей армии так просто не болеют: нужно справку от врача иметь.

— Будет справка.

— Только смотри, бывают ситуации, когда человек чувствует себя больным, а врач — нет. Это нехорошая ситуация. Нужно так болеть, чтобы у врача сомнений не было. Температура действительно должна быть высокой. Знаешь, как бывает, сам чувствуешь себя больным, а температуры нет.

— Будет температура.

— Ладно, Виктор. Успехов тебе желаю. У тебя есть, чем генерала накормить?

— Есть.

— Только с водкой не суйся... если сам не попросит.

6

Через девять дней являюсь к полковнику Кравцову доложить, что после соревнований заболел, но теперь себя чувствую хорошо. Он улыбается мне и журит слегка. Тренированный разведчик никогда не болеет. Нужно себя контролировать. Нужно гнать болезнь от тела. Наше тело подчинено нашей воле, а усилием воли можно выгнать из себя любую болезнь, даже рак. Сильные люди не болеют. Болеют слабые духом.

Он ругает меня, а сам цветет. А сам улыбку свою погасить не в силах. Он улыбается ярко и открыто. Так солдаты улыбаются после штыкового боя: не тронь наших! Только тронь, кишки штыками выпустим.

7

Много у тебя, брат-диверсант, врагов. Ранний рассвет и поздний закат — против тебя. Звенящий комар и ревущий вертолет — твои враги. Плохо тебе, брат, когда солнце в глаза. Плохо тебе, парень, когда попал ты под луч прожектора. Плохо тебе, когда сердце твое галопом скачет. Плохо тебе, когда тысячи электронных устройств эфир прослушивают, ловя твой хриплый шепот и срывающееся дыхание. Плохо тебе, брат, всегда. Но бывает хуже. Бывает совсем плохо. Совсем плохо — это когда появляется твой главный враг. Много еще против тебя придумают всяких хитростей: противопехотных мин и электронных датчиков, но главный враг всегда останется главным. У главного твоего врага, мой друг, уши торчком, желтые клыки с каплями злой слюны, серая шерсть и длинный хвост. Глаза у него карие с желтыми крапинками и рыжая шерсть под ошейником. Главный твой враг быстрее тебя. Он твой запах носом чувствует. У главного твоего врага прыжок гигантский, когда он на твою шею бросается.

Вот он. Вражина. Главный. Наиглавнейший. У, гад, как клычищи-то оскалил. Шерсть дыбом. Хвост поджал. Уши прижал. Это перед прыжком. Сейчас, зараза, прыгнет. Не рычит. Хрипит только. Слюна липкая вокруг пасти. Точно бешеный. В КГБ для таких собак особая графа в персональном деле предусмотрена. Называется «злостность». И пишут умудренные специалисты в этой графе страшные слова: злостность хорошая, злостность отличная. У этого пса наверняка в графе о злостности одни восклицательные знаки. Зовут зверюгу Марс, и принадлежит он пограничным войскам КГБ. Не скажу, что огромен пес. Видел я псов и покрупнее. Но опытен Марс. И это все знают

Сегодня не я против Марса. Сегодня против Марса Женя Быченко работает. Прокричали мы Жене слова напутственные, мол, держись Женя, мол, всыпь ты ему, мол, продемонстрируй хватку диверсантскую и все, чему тебя в Спецназе учили. Советы в таком деле кричать не положено, не принято. Совет, даже самый расчудесный, в самый последний момент может отвлечь внимание бойца, и вцепится ему свирепое животное прямо в глотку. Оттого советчиков в такой ситуации посылают подальше.

Нож Женя в левой руке держит, а куртку — в правой. Но не обмотал он руку курткой. Просто ее на весу держит на вытянутой вперед руке. Не нравится это псу. Не обычно это. И нож в левой руке не нравится. Почему в левой? Не спешит пес. Взгляд свой звериный бросает с ножа на глотку, и с глотки на нож. Но и на куртку пес смотрит. Почему ее человек вокруг руки не обернул? Знает серый своим песьим разумением, что у человека только одна рука решающая, вторая только дополняющая, только отвлекающая. И надо ему, псу, не ошибиться. Надо ему на ту руку броситься, которая страшнее, которая решающая. А может, все же за горло? Бросает свой взгляд пес, выбирает. Когда он свое песье решение примет, то остановится его взгляд, и бросится он. И человек на арене, и мы, зрители, ждем именно этого момента. Перед прыжком у собаки взгляд останавливается, и у человека будет короткое мгновенье для встречного удара. Но опытен Марс. И бросился он внезапно, без рыка и хрипа. Бросился он, как другие собаки не бросаются. Бросился Марс, не остановив своего взгляда, не сжавшись перед прыжком. Его длинное тело вдруг повисло в воздухе, его пасть, его страшные глаза вдруг полетели на Женьку, и не крикнул никто, не визгнул. Момент прыжка не уловил никто. Мы прыжок ожидали секундой позже. И оттого в тишине пес на Женькино горло летел. Только Женькина куртка стегнула серого по глазам. Только черный его сапог подковой сверкнул. Только взвыл пес, отлетев в угол. Взревели мы от восторга, У-у-у-у-у-у... Зарычали мы, как кабаны дикие. Завизжали мы от радости.

— Режь его, Женька! Режь серого! Ножичком его, ножичком! Топчи серого, пока не встал!

Но не стал Женька топтать пса скулящего. Не стал резать задыхающегося. Перемахнул Женька через барьер прямо в объятия ликующей диверсантской братии.

У, Женька! Как ты его сапожищем-то! На выходе поймал! На излете! В полете прямо! Женька!

А на арене, в опилках, возле издыхающего пса плакал солдатик в ярко-зеленых погонах и зачем-то совал в окровавленную звериную пасть кусочек замусоленного сахара.

8

— Товарищ старший лейтенант, вас вызывает начальник строевого отдела.

— Иду.

Из всех отделов штаба строевой отдел самый маленький. В штабах военных округов отделами обычно командуют полковники, управлениями — генерал-майоры, и только в строевом отделе начальником — майор. Но когда офицера в строевой отдел вызывают, он подтягивается весь. Что же, черт побери, ждет меня? Строевой отдел — это небольшой зал, в котором старый седой майор, крыса канцелярская да трое ефрейторов-писарей. Мурашки по коже бегут у любого, когда в строевой отдел вызывают. Неважно, старший лейтенант ты или генерал-майор. Строевой отдел — это учреждеиие, в котором воля командующего округом превращается в письменный приказ. А что написано пером... Строевой отдел — это канал, по которому Верховный Главнокомандующий, Министр обороны, начальник Генерального штаба доводят свои приказы до подчиненных. Строевой отдел эти приказы доводит до тех, кому они адресованы.

— Товарищ майор! Старший лейтенант Суворов по вашему приказанию прибыл!

— Удостоверение на стол.

Вздохнул я глубоко, маленькую зеленую книжечку с золотой звездой перед майором положил. Майор спокойно взял «Удостоверение личности офицера», внимательно осмотрел его, почему-то долго рассматривал страницу, где зарегистрировано мое личное оружие, и страницу, где обозначена моя группа крови. Ни один мускул на его дряблом лице не дрогнет. Делает он свою работу точно, как машина, и бесстрастно, как палач. Майор ефрейтору передал удостоверение. У ефрейтора на столе уже все готово. Обмакнул ефрейтор длинное золотое перо в черную тушь и что-то аккуратно написал в нем. Я стою вытянувшись, но шею не вытягиваю, чтобы ефрейтору через плечо глянуть. Потерпим. Через минуту объявит майор чье-то решение. Промокнул ефрейтор черную тушь, удостоверение майору возвращает. Глянул майор на меня испытующе, достал из маленького потайного кармашка затейливый ключ на цепочке, открыл огромную дверь сейфа, достал большую печать, долго примерялся и вдруг четко и резко ударил ею по только что исписанной странице удостоверения.

— Слушай приказ!

Вытянулся я.

— Приказ по личному составу Прикарпатского военного округа № 0257. Секретно. Пункт 17. Старшему лейтенанту Суворову В. А., офицеру 2-го Управления штаба округа присвоить досрочно воинское звание капитан, в соответствии с представлением начальника 2-го управления полковника Кравцова и начальника штаба округа генерал-лейтенанта Володина. Подпись: «Генерал-лейтенант танковых войск Обатуров».

— Служу Советскому Союзу!

— Поздравляю вас, капитан.

— Спасибо, товарищ майор. Примите приглашение на вынос тела.

— Спасибо, Витя, за приглашение. Но не могу я его принять. Если бы я каждое предложение принимал, то спился бы давно. Не обижайся. Вот только сегодня 116 человек в списке, 18 из них досрочно. Не обижайся, Витя.

Майор протянул мне удостоверение и руку.

— Еще раз спасибо, товарищ майор.

Лечу я, как на крыльях, по лестницам и коридорам.

— Ты чего счастливый такой?

— Тебя зачем к Барсуку в нору вызывали?

Не отвечаю никому. Нельзя отвечать сейчас. Плохая примета. Первым о присвоении командир мой должен узнать и никто больше.

— Витя, чего цветешь? Звание, что ли, присвоили?

— Нет, нет. Мне до капитана еще полтора года ждать.

Ах, скорее в отдел. Уж эти чертовы дверк броневые, эти допуски и пропуски.

— Товарищ полковник, разрешите войти.

— Войди,— Кравцов от карты не отрывается.

— Товарищ полковник, старший лейтенант Суворов. Представляюсь по случаю досрочного присвоения воинского звания капитан.

Осмотрел меня Кравцов. Почему-то под ноги себе глянул.

— Поздравляю, капитан.

— Служу Советскому Союзу!

— В Советской Армии капитан больше всех звездочек имеет, аж четыре. У тебя, Витя, в этом отношении максимум. Поэтому я не желаю тебе много звездочек, я тебе желаю мало звездочек, но больших.

— Спасибо, товарищ полковник. Разрешите пригласить Вас на вынос тела.

— Когда?

— Сегодня. Когда же еще?

— Что ты думаешь, если мы на завтра перенесем? В ночь нам на подготовку учений ехать. Перепьются ребята вечером, не соберешь их. А выйдем в поле, там завтра и справим.

— Отлично.

— На сегодня ты свободен. Помни, что выезжаем в три ночи.

— Я помню.

— Тогда свободен.

— Есть.

9

Учения обычно из года в год проводят на одних и тех же полях и полигонах. Штабные офицеры хорошо знают местность, на которой развернутся учебные бои. И все же перед большими учениями офицеры, которым предстоит действовать в качестве посредников и проверяющих, должны еще раз выйти на местность и убедиться в том, что все к учениям готово: местность оцеплена, макеты, обозначающие противника, расставлены, опасные зоны обозначены специальными указателями. Каждый проверяющий на своем участке должен прочувствовать предстоящее сражение и подготовить для своих проверяемых и обучаемых вводные вопросы и ситуации, соответствующие именно этой местности, а не какой-либо другой.

Оттого, что проверяющие знают районы предстоящих учений неплохо (многие здесь имели свой лейтенантский старт, тут их самих когда-то кто-то проверял), выезд на местность перед учениями превращается в своего рода маленький пикник, небольшой коллективный отдых, некоторую разрядку в нервной штабной суете.

— Всем все ясно?

— Ясно,— дружно взревели штабные.

— Тогда и отобедать пора. Прошу к столу. Сегодня Витя Суворов нас угощает.

Стола, собственно, никакого нет. Просто десяток серых солдатских одеял расстелены на чистой полянке в ельнике у звенящего ручья. Все, что есть,— все на столе: банки рыбных и мясных консервов, розовое сало ломтиками, лук, огурцы, редиска. Солдаты-водители картошки в костре напекли да ухи наварили.

Я полковнику Кравцову рукой на почетное место указываю. Традиция такая. Он отказывается и мне на это место указывает. Это тоже традиция. Я отказаться должен.

Дважды. А на третий раз должен приглашение принять и Кравцову место указать справа от себя. Все остальные сами рассаживаются по старшинству: заместители Кравцова, начальники отделов, их заместители, потом старшие групп, ну, и все прочие.

Бутылки на стол расставлять должен самый молодой из присутствующих. Это Толя Бутурлин — лейтенант из «Инквизиции», из группы переводчиков то есть. Добрый парень. Но работу свою серьезно делает. Традиция запрещает ему сейчас улыбаться. Все остальные тоже серьезны. Не положено сейчас ни улыбаться, ни разговаривать. И вопросы не положено задавать, отчего во главе стола старший лейтенант сидит. Ясно всем, почему холодные бутылки расставляют, но неприлично о них говорить, и о причине их появления — тоже. Сиди да помалкивай степенно.

Бутылки Толик из ручья носит. Они там аккуратной горкой в ледяной воде сложены. Играет вода на прозрачном стекле, журчит да пенится.

— Где ж твой сосуд? — так спросить положено.

— Вот он.— Подаю Кравцову большой граненый стакан. Наливает Кравцов стакан по ободок прозрачной влагой. Передо мной ставит. Аккуратно ставит. Ни одна капля пролиться не должна.

Но и стакан полным быть должен. Чем полнее, тем лучше. Молчат все. Вроде бы и не интересует их происходящее. А Кравцов достает из командирской сумки маленькую серебристую звездочку и осторожно ее в мой стакан опускает. Чуть слышно та звездочка звякнула, заиграла на дне стакана, заблестела.

Беру я стакан, ах, не плеснуть бы, к губам несу. Губы навстречу стакану тянуть не положено, хотя так и подсказывает природа отхлебнуть самую малость, тогда и не прольешь ни капли. Выше и выше свой стакан поднимаю. Вот солнечный луч ворвался в ледяную жидкость и рассыпался искрами многоцветными. А вот теперь от солнца стакан нужно чуть к себе и вниз. Вот он и губ коснулся. Холодный. Потянул я огненный напиток. Донышко стакана выше и выше. Вот звездочка на дне шевельнулась и медленно к губам скользнула. Вот и коснулась губ она. Офицер звездочку свою новую как бы поцелуем встречает. Звездочку чуть-чуть губами придержал, пока огненная влага из стакана в душу мою журчала. Вот и все. Звездочку я осторожно левой рукой беру и вокруг себя смотрю: стакан-то разбить надо. На этот случай на мягкой траве чьей-то заботливой рукой большой камень положен. Хряснул я тот стакан об камень, звонкие осколки посыпались, а звездочку мокрую полковнику Кравцову подаю. Кравцов на моем правом погоне маленькой командирской линеечкой место вымеряет. Четвертая звездочка должна быть прямо на красном просвете, а центр ее должен отстоять на 25 миллиметров выше предыдущей. Вот она, мокрая, и встала на свое место. Теперь мое время закусить, запить, огурчиком водочку осадить.

— Где ж твой стакан? — так спросить положено.

Два плеча. Два погона. Значит, и две звездочки. Значит, и два стакана... в начале церемонии.

Подаю я второй стакан. Снова в нем огненно-ледяная жидкость заиграла. Снова до краев.

Встал я. Стоя пить легче. Встать разрешается. Никто тут не возразит. Можно было и первый стакан стоя пить. Традиция этому не препятствует. Лишь бы стаканы полными были. Лишь бы не уронил офицер драгоценные бриллиантовые капли.

Сверкнула вторая звездочка-красавица в водочном потоке. Пошла огненная благодать по душе. Зазвенели осколки битые. Вот и на втором погоне мокрая да остроконечная появилась. Теперь Кравцов себе наливает. До краев. И каждый в тишине сам себе льет. Своя рука — владыка. Лей, сколько хочешь. Если Витю Суворова уважаешь, так полный стакан лей. А уж коли не уважаешь, лей сколько знаешь. Только пить до дна.

— Выпьем...— смиренно предлагает полковник.

Не положено в такую минуту говорить, за что пьем. Выпьем и все тут. Пьют все медленно да степенно. Все до дна пьют. Только я не пью. Теперь мое право на каждого смотреть. Кто сколько налил себе. Кто полный стакан, а кто на две трети. Но полные у всех были. А теперь вот сухие у всех. Теперь мне и улыбнуться можно. Но широко. Ибо по традиции я все еще старший лейтенант, хотя приказ вчера был, хотя сегодня мне уже и звезды новые на погоны повесили.

Вот и Кравцов допил. Чуть водичкой запил. Теперь фраза должна ритуальная последовать...

— Нашего полку прибыло!

Вот именно с этого момента считается, что офицер повышение получил. Вот только с этого момента — я капитан.

Закричали все, зашумели. Улыбки у всех. Пожелания — поздравления. Теперь все говорят. Теперь смеются все. Теперь церемонии кончились. Теперь традиции побоку. Пьянка офицерская начинается. И если правда в вине, то быть ей сегодня всецело на нашей стороне. Беги, Толик, к ручью. Беги, Толик. Ты моложе всех. Будет, Толик, и твое время. Будет праздник и на твоей улице. Будет обязательно.

10

Жара. Пыль. Песок на зубах хрустит. Степь от горизонта до горизонта. Солнце белое, жестокое и равнодушное бьет безжалостно в глаза, как лампа следователя на допросе. Редко-редко где уродливое деревце, изломанное степными буранами, нарушает пугающее однообразие.

Добрый человек, плюнь, перекрестись да возвращайся домой. Нечего тебе тут делать. А мы, грешные, пойдем вперед, туда, где выжженная степь вдруг обрывается крутым берегом грязного Ингула, туда, где в дрожащем мареве столпились скелеты караульных вышек, туда, где десятки рядов колючей проволоки безнадежно опутали чахлые рощицы. Деревца тощие. Листья серые под толстым слоем пыли. Может, вышки-то не караульные? Может, геологи? Может, нефть? Какая, к черту, нефть! Вышки с прожекторами и с пулеметами. Много вышек. Много прожекторов. Много пулеметов. Ну, значит, не ошиблись мы. Значит, правильный путь держим. Верной дорогой идете, товарищи! Сюда нам. Желтые Воды. Будет время и будет это название звучать так же страшно, как Хатынь, Освенцим, Суханово, Бабий Яр, Бухенвальд, Кыштым. Но не наступило еще то время. И потому, услышав это страшное название, не вздрагивает обыватель. Не коробит его от этого названия и мурашки по коже не бегут. Да и не только у обывателя это название никаких ассоциаций не вызывает, но и у зэков, которых бесконечной колонной гонят со станции к вышкам. Рады многие: не Колыма, не Новая Земля, Украина, черт побери, живем, ребята. И не скоро узнают они, а может, и никогда не узнают, что Центральный Комитет имеет прямую связь с директором «глиноземного завода», на котором им предстоит работать. Не положено им знать, что из Центрального Комитета каждый день звонят большие люди директору завода, производительностью интересуются. Важен завод, важнее Челябинского танкового. И не очень вам, ребята, повезло что гонят вас сюда. И не радуйтесь пайке жирной и щам с мясом. Того, у кого зубы начнут выпадать да волосы, заберут в другое место. Того, кто догадается, что тут за глинозем — тоже быстро заберут. А уж если вы все там в лагере взбунтуетесь, то охрана в Желтых Водах надежная, а если нужно, то и мы поможем. Имейте в виду, рядом с вами соседствует самый большой учебный центр Спецназа. С этим не играйте. Лучше уж подыхайте понемногу, не рыпаясь на... «глиноземном заводе».

11

Пыль. Жара. Степь. Мы прыгаем. Мы много прыгаем. С больших высот. С малых высот. Со сверхмалых. Мы прыгаем в два потока с Ан-12 и в четыре потока с Ан-22. А вы себе можете представить выброску в четыре потока? Ни хрена вы не можете. Только тот, кто прыгал — тот знает, что это такое. Мы прыгаем днем и ночью. Желтые Воды это Европа. Желтые Воды это у самого Кировограда. Но лето тут всегда душно и засушливо. Лето знойно и безоблачно. Тут нелетной погоды не бывает. И оттого со всех концов страны сюда собирают роты, батальоны, полки и бригады Спецназ, и бросают их тут от июня до сентября. Боже, пошли ливень. Пусть раскиснет проклятый аэродром. Он крепок, как гранит, но это просто глина, и не надо его бетонировать. Солнце забетонировало его лучше всякого технолога. Ну, пошли же ливень! Пусть он раскиснет. Мы все тебя, Боже, просим. Много нас тут. Тысячи. Десятки тысяч. Ну, пошли же ливень!

12

Гроза надвигается, как мировая революция: лениво и неуверенно. Пересохла степь. Гонит ветер пыльные смерчи. Затянуло горизонт чернотой, и блещет небо вдали. Далеко-далеко громыхает слабо гром. Но нет дождя. Нет. Ах, как бы я подставил лицо крупным каплям теплой летней грозы. Но не будет ее. Будет и завтра изнуряющий зной, будет горячий ветер с мелкими песчинками. Будет бескрайняя выжженная степь. И пересохшими глотками мы будем орать «Ура!». Вот как сейчас орем От края и до края взлетной полосы построен цвет Спецназа. Чуть колышется море запыленных выцветших голубых беретов.

— СМИРНО! ДЛЯ ВСТРЕЧИ СПРАВА! НА...КАРАУЛ!!!

Грянул встречный марш. И вот уж не надо мне ни воды, ни дождя. Понес меня марш на крыльях. Вдали показалась машина с огромным маршалом. И увидев его, взревел первый батальон «Ура!», и покатилось солдатское приветствие по рядам: «А-а-а-а!». Наверное, с таким воплем вставали батальоны в атаку. Ура-а-а-а!

— Товарищ Маршал Советского Союза, представляю сводный корпус специального назначения для проведения строевого смотра и марш-парада. Начальник 5-го управления генерал-полковник Петрушевский.

Глянул маршал на бесконечные ряды диверсантов, улыбнулся.

Генерал Петрушевский свое воинство представляет:

— 27-я бригада Спецназ Белорусского военного округа!

— Здравствуйте, разведчики! — рявкнула маршальская глотка.

— ЗДРАВ...ЖЛАВ...ТОВ...СОВ...СОЮЗ...!!! — рявкнула в ответ 27-я бригада.

— Благодарю за службу!

— СЛУЖ...СОВ...СОЮЗУ!!! — рявкнула 27-я.

— 3-я морская бригада Спецназ Черноморского флота!

— Здравствуйте, разведчики!

— ЗДРАВ...ЖЛАВ...

— 72-й отдельный учебный батальон Спецназ!

— ЗДРАВ...ЖЛАВ...

— 13-я бригада Спецназ Московского военного округа!

— 224-й отдельный батальон Спецназ 6-й гвардейской танковой армии!

Кричит маршал приветствия, и эхо радостно гонит слова его за горизонт: БЛАГОДАРЮ ЗА СЛУЖБУ! СЛУЖБУ! СЛУЖБУ!!!

Суров и строг церемониал военных парадов. И радостен. Не зря придуманы смотры. Ах, не зря. Машина генерала Петрушевского идет правее и чуть сзади маршальской машины. Что блестит в глазах генеральских? Гордость! Конечно, гордость. Полюбуйся, маршал, на моих молодцов. Разве хуже они головорезов Маргелова? Ах, не хуже! Нет, не хуже.

— 32-я бригада Спецназ Закавказского военного округа!

— Здравствуйте, чудо-богатыри!

— ЗДРАВ...ЖЛАВ...!!!

Нет конца аэродрому. Нескончаемой стеной стоит Спецназ.

— Благодарю за службу!

После каждых крупных учений по традиции строят войска для общей проверки. Традиции этой сотни лет. Так после сражения полководец собирал оставшихся, считал потери, поздравлял победителей. Грандиозные учения завершены. И только тут на бескрайнем поле, когда все участники собраны вместе, можно представить невероятную мощь 5-го управления ГРУ. А ведь не все еще тут.

— 703-я отдельная рота Спецназ 17-й Армии!

А ведь едет маршал вдоль рядов и, несомненно, мысль его терзает, на кого же всю эту рать с цепи спустить? На Европу? На Азию? А может, на товарищей по Политбюро?

Ну что же ты, маршал? Чего медлишь? Мы тут все свои. Злые мы все. Ну, спусти с цепи. Всю Россию кровью зальем. Только команду дай. Не всех убивать, конечно, будем, не всех. Если у кого дача большая да машина длинная, тех мы не тронем. Это не грех иметь дачу да длинную машину. Тех, кто о социальной справедливости говорит, мы тоже не тронем. Грех это, но не очень большой. Заблуждаются люди, что с них возьмешь, с юродивых? Убивать мы, маршал, только тех будем, кто две этих вещи воедино объединяет: кто о социальной справедливости болтает да на длинной машине ездит. Тех, как бешеных собак на фонари, на столбы телеграфные. От них, маршал, все беды на нашу землю сыплются, от них. Ну спусти цепь, маршал! Эх, маршал. Ведь если не ты, так последователь твой спустит Спецназ с цепи. Спустит. Будь уверен. Много будет крови. Чем дольше тянуть будете, тем больше потом крови будет. Но, будет! Будет! Ура-а-а-а-а! Ура!

Катится рев по полю. Катится, в дальних балках без дождя пересохших, лает эхо нашего рева.

— А поработаем, ребята? — вопрошает маршал.

— А-а-а-а-а,— ревет Спецназ восторженно в ответ. Поработаем, значит. Поработаем.

13

Мы работаем. Мы работаем дни и ночи. И уже не различаешь дней и ночей. Все несется серым колесом. Прыжки дневные. Прыжки ночные. Прыжки со сверхмалой. Прыжки со средних высот. Прыжки с катапультированием, но это не для всех. Прыжки из стратосферы, это тоже для избранных. Соревнования. Соревнования. Соревнования. И снова прыжки. Горькая пыль на губах. Красные глаза. Злость наружу просится. Иногда апатия полная. И уже укладываем парашюты свои без трепета. Скорей бы сложить да поспать минут тридцать. Может, проверить укладку еще раз? Да ну ее на... Учебные бои. Напалм. Собаки. МВД. КГБ. Опять стрельбы и опять прыжки.

А смерть рядом с нами ходит. Нет, никого она под свои черные крылья не прибрала. Но рядом старуха. Не дремлет. В 112-м отдельном батальоне новый парашют проверяют, Д-1-8. Плохой парашют. Боятся его спецназы. Не хотят на Д-1-8 прыгать. Что-то не так в нем. На каждые сто прыжков минимум один перехлест приходится. Тут и конструктор парашюта и испытатели. Объясняют, что уложили мы не так, хранили не так. Ну вас всех на..., а гробиться нашему брату. Старшина из 112-го батальона прыгал, перехлестнуло ему стропы через купол, он их стропорезом полоснул. Хорошо при-

землился. Мягко. А ему шутки на земле: надо ж было не с маху полосовать стропы, а найти, где они шелковой ниточкой сшиты, да ниточку аккуратно и распустить. А старшина после прыжка такого совсем шуток не понимает. Да матом шутников. И конструктора заодно.

Рядом с нами смерть. Вон за теми заборами. Желтые Воды рядом. Концлагеря. Уран. А значит, и смерть. Не тут ли каждый начальник себе «кукол» да «гладиаторов» подбирает? Запретные зоны. Вышки сторожевые. Вышки парашютные. Все рядом. Концлагерь и мы. Зачем это? Чтобы нас пугать? А может, еще какая причина есть держать главный учебный центр Спецназа рядом с урановыми рудниками? Рядом с концлагерями. Рядом со смертью.

14

И опять прыжки. «Капитан Суворов. Этот парашют я укладывал сам». Операция первая. Закрепили вершину купола. «Этот парашют я укладывал сам». Готовы? Попрыгали. Вперед. Вперед. Вперед. «Генерал-майор Кравцов. Этот парашют я укладывал сам». Я долго тупо смотрю на расписку моего соседа, который закончил укладку. Что-то в этой надписи мне не понятно. Что-то не так. Но тупые мозги у меня. Недосып. Я мучительно напрягаю свое сознание и вдруг меня озаряет:

— Товарищ генерал!

— Тихо, не шуми. Да, Витя. Да.— И он смеется.— Только не шуми. Я уже 32 часа как генерал. Ты первый сообразил.

— Поздравляю Вас...

— Спасибо.

— Много вам звезд...

— Да не шуми ты. Пить потом будем. Не время сейчас. Ах, черт. Замотался я совсем. Ты-то свой парашют уложил?

— Оба, товарищ генерал.

— Сдай их оба.

— Есть сдать.— И предчувствуя что-то, вопреки уставам я лишний вопрос задал:

— Я не прыгаю сегодня?

— Ты никогда больше прыгать не будешь.

— Ясно.— Хотя ничего мне не ясно.

— Вызывают тебя в Киев. А там, наверное, в Москву.

— Есть.

— О вызове ни с кем не болтать. При оформлении документов в строевом отделе скажешь, что вызов из 10-го Главного управления Генерального штаба.

— Есть,— рявкнул я.

— Тогда до свиданья, капитан. И успехов тебе.

15

— Капитан, есть предварительное решение Генерального штаба забросить тебя в тыл противника для выполнения особого задания,— незнакомый генерал измерил меня тяжелым взглядом.— Сколько времени надо на подготовку?

— Три минуты, товарищ генерал.

— Почему не пять? — Он впервые улыбнулся.

— Мне только в туалет сбегать, три минуты достаточно.— И понимая, что мою шутку он может не оценить, я добавил,— всю ночь меня сюда в автобусе везли, там никакой возможности не было.

— Николай Герасимович,— обратился генерал к кому-то,— проводите капитана. Через две с половиной минуты и вновь стоял перед генералом.

— Теперь готов?

— Готов, товарищ генерал.

— Куда угодно?

— В огонь и в воду, товарищ генерал.

— И тебя не интересует, куда?

— Интересует, товарищ генерал.

— Если бы мы решили тебя готовить к выполнению задачи очень долго. Например, пять лет. Как бы ты отнесся к этому?

— Положительно.

— Почему?

— Это означает, что задание будет действительно серьезным. Это мне подходит.

— Что ты, капитан, знаешь о Десятом главном управлении Генерального штаба?

— Оно осуществляет поставки вооружения всем, кто борется за свободу, готовит командиров для национально-освободительных движений, направляет военных советников в Азию, Африку, на Кубу...

— Как бы ты отнесся к предложению стать офицером Десятого главного управления?

— Это была бы высшая честь для меня.

— Десятое главное управление направляет советников в страны с жарким влажным и с жарким сухим климатом. Что бы ты предпочел?

— Жаркий влажный.

— Почему?

— Это Вьетнам, Камбоджа, Лаос. Там воюют. А в жарком сухом сейчас прекращение огня...

— Ты ошибаешься, капитан. Воюют всегда и везде. Перемирия никогда нигде нет и не будет. Война идет постоянно. Открытая война иногда прерывается, но тайная никогда. Мы рассматриваем вопрос об отправке тебя на войну. На тайную войну.

— В КГБ?

— Нет.

— Разве бывает тайная война без участия КГБ?

— Бывает.

— И эту войну ведет Десятое главное управление?

— Нет, ее ведет Второе главное управление Генерального штаба — ГРУ. Для прикрытия своего существования ГРУ использует разные организации, в том числе и Десятое главное управление. Тебя, капитан, мы отправим на экзамены в тайную академию ГРУ, но все будет организовано так, как будто ты становишься военным советником. Десятое главное управление — это твое прикрытие. Все документы будут оформляться только в Десятом главном управлении. Это управление вызовет тебя в Москву, а там мы тайно заберем тебя к себе сдавать экзамены...

— А если я экзаменов не сдам?

Он брезгливо фыркнул:

— Тогда мы тебя и вправду отдадим в 10-е главное управление, и ты действительно станешь военным советником. Они тебя возьмут, ты им нравишься. Но ты и нам нравишься. Мы уверены, что ты наши экзамены сдашь, иначе мы бы с тобой сейчас не беседовали.

— Все ясно, товарищ генерал.

— А коль так, необходимо выполнить некоторые формальности.

Он извлек из сейфа хрустящий, как новенький, червонец, лист бумаги с гербом и грифом «Совершенно секретно».

— Прочитай и подпиши.

На листе двенадцать коротких пунктов. Каждый начинается словом «запрещается» и завершается грозным предупреждением: «карается высшей мерой наказания». А заключение гласило: «Попытка разглашения данного документа или любой его части карается высшей мерой наказания».

— Готов?

Вместо ответа я только кивнул. Он придвинул мне ручку. Я подписал, и лист исчез в недрах сейфа.

— До встречи в Москве, капитан.

16

Сдав дела совсем молоденькому старшему лейтенанту, я предстал перед своим теперь уже бывшим командиром:

— Товарищ генерал, капитан Суворов, представляюсь по случаю перевода в Десятое главное управление Генерального штаба.

— Садись.

Сел.

Он долго смотрит мне в лицо. Я выдерживаю его взгляд. Он подтянут и строг, и он не улыбается мне.

— Ты, Виктор, идешь на серьезное дело. Тебя забирают в Десятку, но, я думаю, это только прикрытие. Мне кажется, что тебя заберут куда-то выше. Может быть, даже в ГРУ. В Аквариум. Просто они не имеют права об этом говорить. Но вспомни мои слова — приедешь в Десятое главное, а тебя заберут в другое место. Наверное, так оно и будет. Если мой анализ происходящего правильный, то тебя ждут очень серьезные экзамены. Если ты хочешь их пройти, то будь самим собой всегда. В тебе есть что-то преступное, что-то порочное, но не пытайся скрывать этого.

— Я не буду этого скрывать.

— И будь добрым. Всегда будь добрым. Всю жизнь. Ты обещаешь мне?

— Обещаю.

— Если тебе придется убивать человека, будь добрым! Улыбайся ему перед тем, как его убить.

— Я постараюсь.

— Но если тебя будут убивать — не скули и не плачь. Этого не простят. Улыбайся, когда тебя будут убивать. Улыбайся палачу. Этим ты обессмертишь себя. Все равно каждый из нас когда-нибудь подохнет. Подыхай человеком, Витя. Гордо подыхай. Обещаешь?

На следующий день зеленый автобус доставил группу офицеров на пустынную железнодорожную станцию, где формировался воинский эшелон. Всех их вызывало в Москву Десятое главное управление Генерального штаба. Всем им предстояло стать военными советниками во Вьетнаме, в Алжире, Йемене, Сирии, Египте. В этой группе находился и я. Для всех моих друзей, коллег, начальников и подчиненных с этого момента я перестал существовать. Пункт первый документа, который я подписал, запрещал мне любые контакты со всеми людьми, которых я знал в прошлом.

Продолжение следует

Наталья ГАЛКИНА

Олегу Базунову

Я уже не успею в Мадрид или в Константинополь,
в золотую Сахару и в Дели зеленый.
Остается окно. И канал. Или тополь,
уронивший в канал этот пух раскаленный.

Мне уже не удастся осмыслить насканскую птицу,
в смысл проникнуть фиванского зренья и слуха.
Остается открыть эту раму и в слух обратиться
или в зренье над этой волной в обрамлении пуха.

Мне едва ли теперь уготованы странствия плоти,
от вокзалов и стран приходящей в восторг все поспешней.
Остается вглядеться в кривые суставы напротив
тополей за каналом из ртути и подпуши здешней.

Мне уже не осилить тома вековых философских законов,
остается самой лепетать про великое в малом.
Но он так непонятен и дивен, пейзаж заоконный
с опушенной волной и грядой тополей за каналом.

Он как будто твердит мне: я создан из пуха и праха,
обречен на дыханье весеннего белого свея.
Но вглядеться глазами без оптики горя и страха
и увидеть его, наконец, я уже не успею.

◆◆◆

Все жития распахнули жилье:
Хижину, хутор и скит,—
Там, где бессмертное счастье мое
В смертном обличии спит.

По светотени темниц и светлиц
Бродит вино тишины;
Лéдников камни и стекла теплиц
Гулки и отрешены.

Сказано каждой луне: воссияй! —
Вот и горит на ура.
Мир заколочен, как старый сарай,
С вечера и до утра.

Ты погружен в опредмеченный дым:
Комната — утварь — рука.
Время струится по жилам твоим,
Юное, словно река.

Бредит сиренью сирень на столе,
Летний ультрафиолет,
И угнездилось в телесном тепле
То, чему имени нет.

◆◆◆

Скажи, о чем, о Родина, ты просишь
своих царей?
И что ты им кричишь,
коленопреклоненная страна,
когда к ним руки простираешь?
И, нарядив живых своих божков,
как идолов, язычница в рядне,
их приодев в парчу и жемчуг скатный,
с какою горечью слепой глядишь
в их смертные неузнанные лица?
О чем ты думаешь, ввергая их
во прах,
царей своих? прислужников их
втаптывая в глину?
Необгонимая и обмершая Русь,
о чем ты молишь
любого, каждого, дюжинного, того,
который нынче — царь?
За что им веришь так?
За что их ненавидишь и лелеешь?

— Не спрашивай!
Не спрашивай меня.
Не вем — не вем — не вем...

◆◆◆

Брать гнилушки лесные без спросу,
надевать что другим велико,
беспрепятственно ездить в Каноссу
и в калошу садиться легко.
Пробивалось и солнце сквозь пятна,
и загар сквозь веснушки рябил.
Кто не бил — приласкал, вероятно,
кто не гнал — очевидно, любил.
Собирать эти жалкие крохи,
эти жалкие крохи любви.
Велика, видно, паперть эпохи,
как велик ее Храм на крови.

◆◆◆

Дом угловой томился на краю
между судьбой и случаем слепым;
и все-таки ведь я жила в раю,
отомкнутом для нас Петром святым.
Сними ладонь с некрашеных перил
и радуйся, неназваный мой брат,
что в город свой нас заживо впустил
голубоокий ключник райских врат.

Памяти Даниила Андреева

Подъяремный кроветок
да тюремный небосвод:
гулко.
Даниил-Заточник спит
между небом и землей,
все-то ему видно,
все-то ему слышно.
Даниил-Заточник спит
как валожиник.
Время ему не впору,
а пространства для него не хватило.

Ох, хорош у тебя юродивый,
век проклятый!
Ох, и шут у тебя, эпоха,
сидит в клетке,
между небом и землей
гремит цепью!
Да еще и тебя за цепь
на свет тащит.

Лев МОЧАЛОВ

◆◆◆

Как счастливое воспоминанье,
разворачивают парад,
проплывая на телеэкране,
Мойка, Марсово, Летний сад...
Вроде, все известно, знакомо.
Здесь прошел сегодня... И все ж,
очень странно, будучи дома,
видеть город, в котором живешь.
Будто тронул печалью и тайной
каждодневные улицы те
этот сон
документальный
в изумленной своей чистоте.
Будто телеизображенье,
отделившее, как деталь,
непогоду, листьев круженье,
нас отбросило в дальнюю даль.
Пролегла расстоянья мука
между невским ветром и мной,
и, даруя прозренье, разлука
вдруг и дом покажет родной.
И прозрением этим ранен,
я рассматриваю в телеокно,
точно некий
инопланетянин,
то, где быть мне не суждено...

◆◆◆

Не отболела давность...
И предъявляет свой
рисунок месяц август,
год шестьдесят восьмой.
Как меркнущую правду,
в чаду, в бреду густом,
в ночи — мы ловим Прагу —
и зов ее, и стон...
И — неизбывна тяжесть,—
стыд, что пошла писать
по улице, куражась,
алкоголичка-мать...
Но мы — во мгле подводной,
и наши рыбьи рты
за пеленою плотной
безмолвьем налиты.
Почто же ты, Россия,
толкаешь сыновей
рехнуться от бессилья,
от подлости своей?

Не слабакам, не рохлям —
нам выть от тошноты,
мы заживо подохнем,
статисты и шуты!..
И нам — из-за полбанки —
не различить вполне,
что там трамбуют танки
в тебе или во мне.
Еще живем, как будто
не ведая громов,
как будто нет Кабула
и цинка — для гробов...

Кадры военной кинохроники

Завороженно и отрешенно
прилипаем к телеокну,
входим в юность, во время оно,
окунаемся вновь — в войну.
Видно, мы — недовоевали!..
И сдаем свои города,
и обратно берем... Но едва ли
довоюем уже когда...
Оттого ли, что скрежето-лязгом
в землю вмазана наша плоть,
к фонтанирующим фугаскам
странной тяги не преобороть?
К дыму аспидному и вою,
что, пронизывая насквозь,
нависает над головою,
проедает самую кость?..
Нам бы лишь успеть — разобраться,
как — у гибели на краю —
обреченности кровное братство
окликает свободу свою;
и срастаются страх и бесстрашье,
и ведут в огонь и во тьму,
и прозренье горькое наше
вызревает в тяжком дыму...

Наши горести, наши беды —
всё вплотную у наших глаз...
А жестокая слава Победы
лишь потом
ослепляет нас.

Костры

От жизни — что запомнится? — Костры,
сквозной пунктир земного бытия
в пространствах, что безвидны
и пусты,
где таешь ты и где мгновенен я...
Летят штрихи посадочных огней.
Прерывиста
воспоминаний нить.
И оттого не позабыть о ней,
что не порвать и не соединить!
Объемлет нас
знобящий небосвод,
созвездия процеживают свет,
бездонность оглушающе зовет
искать ответ, когда ответа нет.
И где-то рядом — протянуть рукой —
свеченье немоты твоей, сестра,
проносится вселенною другой...
И снова — от костра и до костра
столетья... Снегопада мельтешня,
в пяти шагах не видно ничего,
но вдруг — живое празднество огня,
горения, сгоранья торжество!
У памяти — пристрастье к пустякам.
Во что уткнется света полоса? —
Окоченело звякнувший стакан
и спичка — вспышка строгого лица...
И вспышки-встречи. Вспышки-города.
И ветром пламенеющий простор.
И грустная усмешка — навсегда.
И навсегда
прощания задор.

◆◆◆

Вроде, зыбко под ногами,
червоточина во всем...
Боже! Как недомоганье,
знание свое несем...
Знание того, что с нами
было — до рожденья нас.
Да, и знали... И не знали...
Лишь слегка косили глаз
на того, кто был когда-то...
Но, отсутствуя вполне,
в виде темного квадрата
оставался на стене.
Меж родными и друзьями
будто маялось всегда
это зрящее зиянье,
безъязыкая беда.
Набегала тень на лица,
холодом тянул подвал,
да стреляла половица,
если призрак гостевал...
Детство! Как нам догадаться,
в мир глазея из прорех,—
все наследство, все богатство —
этот! — первородный грех!
Где найти целебных капель?
Не больны — и тем больны.
Ты прости нас, дядя Авель,
виноватых без вины!

Юрий СЛЕПУХИН

ЧАС МУЖЕСТВА

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1

В начале октября 1943 года командование Степного фронта предприняло спешную перегруппировку войск, стягивая в районе Переволочная—Верхнеднепровск мощный ударный кулак для прорыва на Криворожье.

441-й мотострелковый полк, вместе с другими частями 5-й гвардейской армии снятый накануне с кременчугского плацдарма, к рассвету добрался до небольшого села в нескольких километрах выше устья Ворсклы. Не дожидаясь, пока подоспеют кашевары, солдаты позавтракали сухим пайком и завалились спать где кто смог пристроиться — в машинах и под машинами, в хатах, если еще находилось где свободное место, в клунях, в давно пустых катухах, откуда за два года оккупации успело выветрить домовитый запах скотины.

Капитан Дежнев, командир второго батальона, проснулся около полудня. Большинство офицеров, разместившихся вместе с ним, еще спало, только адъютант Лукин с полковым начхимом Богатыренко играли в шахматы, сидя на немецких снарядных ящиках.

— Как там погодка, гроссмейстеры? — спросил Дежнев, зевнув.

— Лётная, к сожалению,— рассеянно отозвался адъютант.— Шахец вам, Петро Степаныч. Ворон изволите ловить, а шахматы, между прочим, игра умственная.

— Побачимо, побачимо,— пробасил усатый немолодой начхим.— А вот так не хочешь?

— М-да,— после недолгого молчания отозвался Лукин огорченно.— Скользкий вы человек, Петро Степаныч, с вами играть — все равно что голыми руками намыленного ужака ловить...

Они опять замолчали. Из-под шинели в углу высунулась взъерошенная голова ротного Ковалева, огляделась непонимающими глазами и снова спряталась.

В осторожно приоткрытую дверь заглянул немолодой солдат с унылым лицом; Федюничев, ординарец комбата-два, всегда безошибочно, каким-то шестым чувством угадывал, что начальство уже проснулось. Перехватив взгляд капитана, Федюничев раскрыл дверь пошире и вошел на цыпочках, неся курящийся паром котелок и завернутые в вафельное полотенце бритвенные принадлежности.

— Чем недовольны сегодня, Федюничев? — поинтересовался комбат, ответив на хмурое приветствие ординарца.

— А чему радоваться, товарищ гвардии капитан. Нас как с того берега сняли, ребята думали, может, на отдых отводят, а что получается? В леске вон танков видимо-невидимо, тоже ночью подошли. Говорят, с-под самого Харькова гнали.

— На вас, Федюничев, не угодишь. Не будь танков, вы бы ворчали, почему их нет. Помыться найдется чем?

— Я принесу, товарищ гвардии капитан, тут до берега полкилометра не будет.

— Смотрите, чтоб с той стороны не подстерегли.

— Никак нет, ребята ходили — говорят, там вроде никого.

Федюничев разложил все принесенное на подоконнике и вышел. Подсев к окну на снарядный ящик, Дежнев заправил в бритву новое золингеновское лезвие, задумчиво потер подбородок. Под пальцами шуршало. Хорошо блондинам — тому же Лукину, бреется через день и все равно ничего не видно...

— Шах, юноша,— объявил начхим.— А заодно и мат, извиняюсь за выражение. Ото, как говорится, не лезь поперек батьки в пекло.

— Постойте, постойте...

— Я и посидеть могу. Да мат, мат, ну чего смотришь?

— Ладно, ваша взяла,— Лукин притворно зевнул, демонстрируя умение проигрывать с достоинством, и смешал фигуры.— Ну что, еще одну до обеда засадим?

Журнальный вариант.

— Нет, пойду,— Богатыренко посмотрел на часы и поднялся.— Данилыч, у тебя в батальоне как с противогазами? Ты скажи ротным, нехай следят. А то ведь сам проверю, хуже будет.

— А нечего и проверять,— сказал Дежнев невнятно, скобля бритвой щеку.— Будто сами не знаете, что солдаты в противогазных сумках носят...

Выбрившись до младенческой гладкости, он сполоснул и разобрал бритву и тоже вышел из хаты — в солнечную, пахнущую прелым листом прохладу погожего осеннего дня. Федюничев уже ждал его с ведром ледяной даже на вид воды.

— Рысцой, что ли, сбегали? — спросил комбат, удивленный необычной расторопностью ординарца.

— Никак нет, товарищ гвардии капитан, тут рядом разжился — у артиллеристов. Аккурат привезли себе для кухни, я и подгадал...

— Хитрец вы, Федюничев. Ну, давайте,— скомандовал капитан, и нагнулся, затаив дыхание.— У-у-у, ч-черт!! Холоднее не было? Лейте, чтоб вам пусто было!

— Сами же любите, чтоб пробрало...

— Не до оп-п-пупения же,— отозвался Дежнев сдавленным голосом и заикаясь, так свело челюсти.— У! А! Хорош-шо, Федюничев, зд-д-дорово...

— Привет вам от старшего лейтенанта товарища Игнатьева,— сообщил ординарец, когда комбат, стуча зубами, принялся растирать спину полотенцем.— Сказал, что зайдет, как вырвется, хочет вас повидать.

— Что, Игнатьев здесь? Где они разместились?

— А вон туда, к балочке, там ихние пушки замаскированные...

Дежнев подумал с огорчением, что теперь-то уж точно — накрылся отдых; присутствие иптаповцев подтверждает его догадку о предстоящих тяжелых боях. На плацдарме все ждали — сменят, мол, отведут в тыл хоть ненадолго, а тут теперь такая петрушка получается. Он понимал, что ему — боевому офицеру — положено скорее радоваться тому, что готовится очередная наступательная операция, тем более здесь. Удар через Днепр, похоже, намечается в направлении его, Дежнева, родных мест, а это означает теоретическую хотя бы возможность побывать в Энске...

Конечно, этому полагалось бы радоваться. Однако сейчас, думая о новом наступлении, он прежде всего думал о том, что люди в ротах измотаны до предела, а отдохнуть так и не дали. Странно — казалось бы, воевать теперь легче, чем, скажем, год назад; и снабжается фронт не в пример лучше, и танков хватает, и артиллерийской поддержки, и в воздухе нет уже у «люфтваффе» былого превосходства,— но вот поди ты, что-то не заметно, чтобы воевалось «легче». Напротив, на каждом шагу видишь, как все устали.

Да, в этом-то, наверное, и дело, подумал капитан Дежнев. Раньше еще как радовался бы, а вот теперь такая новость — а у него никакой реакции. Точнее, реакция есть, но не та. Что же он — забыл, что ли, что в Энске осталась Таня?

Он попытался представить себе, как они сейчас там, в оккупации, жадно читают сводки в немецких газетах, пересказывают друг другу базарные слухи... Как в сорок первом, наверное, только тогда приближения фронта боялись, а теперь ждут. Они там ждут, а мы недовольны тем, что отдых накрылся.

А с Игнатьевым повидаться — это хорошо. Познакомились недавно, под Кременчугом, и сразу как-то возникла взаимная симпатия — хотя артиллерист, ленинградец, был на восемь лет старше и поначалу показался слишком уж «интеллигентом»; но скоро Дежнев перестал придавать этому слову насмешливый смысл. С Игнатьевым было интересно, и не только потому, что он был более начитан, больше знал; разговаривая, он не поучал, а просто делился мыслями, и эти мысли его оставались в памяти. С ним было хорошо советоваться по самым разным вопросам. Дежневу и раньше случалось встречать людей, располагающих к откровенности и умеющих на нее ответить, но это были люди, как правило, в летах. Старший же лейтенант Игнатьев, конечно, не молод — шутка ли, человеку под тридцать! — но ведь это и еще не тот почтенный возраст, когда вместе с сединами приходит мудрость. Иногда, видно, это случается и без седин. Пойду навещу, как только вырвусь, решил капитан Дежнев, привычными движениями застегнув ремень и разглаживая под ним гимнастерку.

Вырваться ему так и не удалось до самого вечера. После обеда он занимался поднакопившимся батальонным делопроизводством — еще не были составлены сводки потерь и расхода боеприпасов там, на плацдарме, надо было подписать похоронки, представления к наградам. Потом было политзанятие — слушали про объявленный московскими строителями месячник помощи освобожденным районам Украины, про ход формирования добровольческих частей из румынских военнопленных, про положение в Италии; а потом командирам батальонов объявили, что сегодня ночного марша не будет.

Новость подействовала на комбата-два обескураживающе: дождешься тут «конца» с такими темпами! Чего, в самом деле, волынку тянут? Нет хуже вот такого — ни отдых, ни наступление, болтаешься, как цветок в проруби...

Про темпы, впрочем, подумалось сгоряча, уж на них-то грех жаловаться. Белгород, Харьков, Полтава, Кременчуг — не так мало за два месяца. Хотелось бы, конечно, побыстрее. Но ведь и потери растут пропорционально скорости наступления, а уж что дороже обойдется — более долгая война с меньшими потерями или короткая, но с большими,— вто, наверное, только там, на самых верхах, могут рассчитать. Да и то, если вообще рассчитываются такие вещи...

Об этом он и спросил старшего лейтенанта Игнатьева, когда они наконец встретились — уже после ужина. Артиллерист, подумав, сказал, что теоретически такой расчет возможен, но насколько он будет соответствовать реальному положению вещей, сказать трудно. И потом, добавил он, что значит «дороже»? Дороже в чем — в человеческих жизнях? В стоимости потерянной техники, истраченных боеприпасов? В таком исчислении, вероятно, затяжная, «осторожная» война обошлась бы дешевле; но есть и другая сторона дела, есть моральный фактор.

— Видите ли, война всегда нравственно убыточна,— добавил Игнатьев, помолчав.— Всякая война, даже самая справедливая.

— Ну почему же,— удивился Дежнев.— Столько героизма кругом... Война, помоему, как раз в человеке все лучшее раскрывает — в мирное время жил себе, ничем не выделялся, а тут вдруг идет на подвиг.

— Бывает,— согласился Игнатьев.— Но в целом, как социальное явление, война не способствует подъему нравственности, и это тем заметнее, чем дольше она длится. В этом смысле затяжная война дороже.

— Мудрите вы что-то, Пал Митрич,— заметил Дежнев, не столько возражая, сколько констатируя необычность хода мысли собеседника. С Игнатьевым общепринятое между офицерами приблизительно равного звания обращение на «ты» почему-то не получалось, и они продолжали церемонно именовать друг друга по батюшке.— Ладно, черт с ней, с войной. У вас-то что новенького за эту неделю — в личном плане?

— В личном? Ну, что в личном плане — письмо получил от сестры, к сожалению, неутешительное. Еще в один детский дом съездила, там Димки тоже нет.

— Найдется, раз эвакуировали,— бодро сказал Дежнев, кривя душой; он прекрасно понимал, что сам факт эвакуации еще ничего не значит, но надо же как-то поддержать человека, у которого жена умерла от голода, а трехлетний сын потерялся.— Их же по всей стране небось разбросало!

— Надеюсь, найдется,— Игнатьев бегло улыбнулся, показывая, что моральную поддержку принимает с благодарностью.— У нас в дивизионной газете работает одна моя довоенная знакомая... Вот у нее совсем худо. Молодая женщина, муж был моим сотрудником по кафедре. Он тоже ушел в ополчение и погиб сразу, под Лугой, а она после этого оставила годовалого ребенка на родителей и тоже пошла в армию... Причем без всякой военной специальности, просто машинисткой при штабе. Так вот, прошлой весной ей сообщили, что они умерли все — и старики, и сын.

— Ни хрена себе,— сказал комбат.— Чем же она думала — в такое время ребенка бросить? И где, в Ленинграде!

— В такие моменты, наверное, люди не думают. Да и кто из ленинградцев представлял себе, чем может обернуться блокада... Мне один путеец, работавший в управлении Октябрьской дороги, рассказал вещь совершенно невероятную: в июле и августе, когда уже были потеряны Прибалтика и Белоруссия, шедшие туда эшелоны с продовольствием для фронта переадресовывались на Ленинград, но потом ленинградские власти потребовали это прекратить, поскольку-де в городе все продовольственные склады переполнены [1]. И эшелоны стали разгружать прямо в прифронтовой полосе, под носом у наступавших немцев...

— Чего же тут невероятного, это по-нашенски, сколько угодно такого навидались. Когда мы отступали из Белоруссии, у нас на глазах жгли интендантские склады с обмундированием — там миллионы пар сапог, а бойцы многие шли чуть не босиком, так нет того, чтобы раздать хоть по паре, все равно же пропадает,— так нет, не положено, есть приказ жечь... Но эта ваша знакомая,— Дежнев недобро усмехнулся, покрутил головой.— Ну, мамаша! Я бы таких...

— Сейчас ее только пожалеть можно.

— Пожалеть! Надо бы, наверное, кто ж спорит. Но только у меня для матери, которая ребенка в такое время могла бросить, жалости нет и не будет. Муж погиб, так она что — мстить решила? Ребенка лучше бы сберегла, стерва, мстителей без нее хватает... Я этих всех дур вообще гнал бы из армии в три шеи... кроме медперсонала, конечно! Это дело святое, им после войны из чистого золота памятник надо поставить. Хотя опять-таки не понимаю, почему это у противника хватает мужиков служить санитарами, а у нас раненых из-под огня девчатам таскать приходится... Я про других

[1] По свидетельству А. И. Микояна («Военно-исторический журнал», 1977, № 2, стр. 45—46), с просьбой прекратить завоз продовольствия в Ленинград обратился к Сталину А. А. Жданов.

говорю, про всех этих штабных пепеже, бодисток-машинисток. А еще хуже — когда баба за автомат берется или за снайперскую винтовку. Это уж вообще...

— Да, это страшно,— согласился Игнатьев.— Это очень страшно. Я, кстати, это тоже имел в виду, когда сказал о нравственной убыточности войны. Однако, холодает...

— Октябрь пошел,— сказал Дежнев.— У нас тут в это время ночи уже прохладные.

— Да, вы ведь, кажется, из этих краев?

— Почти. Туда, чуть южнее,— капитан движением головы указал на другую сторону майдана, где небо над черными осокорями еще прозрачно розовело медленно гаснущей зарей.

— Может статься, что через Днепр пойдем прямо к вам в гости.

— Это уж как командование...

Глава 2

Визита к крестной Болховитинов побаивался. Как все Ададуевы-Нащокины, нрава старуха была крутого и мнений своих прятать за обтекаемыми словами не привыкла, резала правду-матку сплеча и наотмашь.

— Хорош,— сказала она, когда Болховитинов, приложившись к ручке, присел на указанный хозяйкой стул.— Я уж думала, ты в feldgrau [1] ко мне пожалуешь, спасибо догадался переодеться!

— Зачем же мне переодеваться,— возразил Болховитинов,— отлично знаете, что я не в армии, я ведь писал вам...

— Помилуй Бог, какая радость — он не в армии! Выходит, тевтоны тебе пока на длинном поводке позволяют порезвиться? Ничего, укоротят, дай срок. Нынче с этими тотальными мобилизациями они у себя там, слышно, всех подчистую в солдаты гонят, неужто тебя оставят.

— Иностранцев в армию берут только добровольцами,— объяснил Болховитинов терпеливо,— мне это не грозит.

— Хорошо, хоть отец не дожил до этакого срама,— не слушая его, продолжала крестная.— Впрочем, почем знать, покойник тоже был сумасбродом... видно, ваша болховитиновская порода такая. Ну, расскажи, что в отечестве любезном повидать успел. Дома-то побывал?

— Нет, не удалось: Орел немцы объявили крепостью, и там вокруг запретная зона была, да я не особенно и стремился. Едва ли дом уцелел, и не помню я его совершенно. Матушка говорила, что оттуда уехали, когда мне четвертый год шел. Мне всего-то и снится иногда, что окно какое-то — высокое, от самого полу, а за окном зелень и солнце, и еще занавес белый, таким парусом... А больше ничего. Стоило ли пытаться увидеть, как это выглядит теперь?

— Да, ты прав, старые пепелища лучше не посещать. А эти места, где ты работал,— тевтонов оттуда уже выгналя, так я понимаю?

— Пока нет, но, думаю, скоро выгонят. Фирма наша уже свернула все работы на Правобережье.

— Лютовали они там?

— Где как... по-разному.— Подумав, Болховитинов добавил: — В общем, меньше, чем в Польше, я бы сказал. Но я ведь сужу только по степной части Украины, где не было партизан. А в Белоруссии — и вообще севернее, где леса,— там страшные вещи творились, сами немцы этого не скрывают. Жгли, говорят, целые села, жителей расстреливали поголовно.

— Это они умеют,— кивнула крестная.— У нас вон тут тоже — Лидице, не слыхал? Да, не надо было тебе на службу к ним идти, нехорошо все-таки — дворянин, а служит у этих прохвостов. Да хоть и по гражданской части, что с того! Неужто тебе там этого не говорили?

— Говорили. По правде сказать, поначалу смотрели косо... Как только узнавали, что я русский, сразу какое-то отчуждение, настороженность, что ли. Ну, их можно понять, все-таки живой белогвардеец,— Болховитинов усмехнулся, помолчал.— Вообще люди там довольно скрытны, раскрываются не сразу. Я как-то иначе себе представлял... знаете, все эти разговоры о «душе нараспашку». По Достоевскому, русский человек вообще только и знал, что либо сам исповедовался перед первым встречным, либо чужие исповеди выслушивал...

— Ну, Достоевский! Он без экзажерации не мог. Да и Россию-то описывал не ту, в которой ты побывал. Марксисты что говорят? — бытие, мол, определяет сознание, так мудрено ли было россиянам скрытными стать за это время. Но все-таки было у тебя ощущение, что ты среди соотечественников, или там вообще уже ничего русского не осталось?

[1] Серо-зеленом *(нем.)*.

— Да почему же не осталось, я больше перемен ожидал найти. Когда поездишь по селам... а я ездил, нарочно интересовался, не упускал случаев. В воскресенье, например, да еще если где храм сохранился... Посмотришь на толпу, и так и кажется, что это про них Бунин писал. С некоторыми поправками, конечно. Ну, хотя бы отсутствие мужчин призывного возраста. Мужчин мало, мальчишки да старики, а в целом — этакое бабье царство.

— И в ту войну то же было, мужика на Руси спокон веку не берегли, не в нашем то обычае. Ты-то что не женился при таком раздолье? Год ведь там пробыл, было время приглядеть себе девицу. Иль сам не приглянулся?

— Выходит, не приглянулся,— с натянутой улыбкой ответил Болховитинов.

— Да ты не отшучивайся, я дело спрашиваю! Неужто так никого и не встретил?

— Встретил, да. Но... мне не хотелось бы об этом,— добавил он поспешно, и тут же — в противоположность сказанному — почувствовал вдруг, что именно об этом хочется ему сейчас говорить, рассказывать во всех подробностях, включая даже совсем уж, наверное, ненужные собеседнику.— История эта очень невеселая, знаете ли, и... непонятного в ней много. Эта барышня, она... служила там у них, в оккупационной администрации, была простой дактило [1]. Позже... когда мы уже знали друг друга лучше... она мне дала понять, что поступила туда по заданию подпольного руководства.

— С ума все посходили,— неодобрительно заметила Варвара Львовна.— Конечно, мужчине иной раз другого ничего и не остается, но девки-то куда лезут?

— Да не могла, видно, не полезть... Знаете, бывают ситуации, когда иначе нельзя. Ну вот, а этим летом их группа провалилась, в первых числах июля. Руководителя застрелили при аресте, а потом другой член группы убил на улице областного комиссара и сам погиб. Я обо всем этом узнал, вернувшись из Винницы; естественно, спросил о Татьяне Викторовне — был там один офицер из остзейцев, он ее знал,— и оказалось, что она просто исчезла, сбежала, но куда и как,— он пожал плечами.— Юноша, убивший комиссара, жил в ее доме и был ее одноклассником...

— Как это — одноклассником?

— Да ведь в гимназиях там обучаются совместно.

— Ах, да, не сообразила. Но, помилуй, ежели она так близко была связана с этим аттентатором, то, стало быть, ее сразу должны были арестовать?

— Ее и арестовали,— подтвердил Болховитинов.— Но не в городе, потому что накануне она уехала как переводчица с каким-то ревизором из Берлина. Ее арестовали по пути и отправили обратно в город, но она исчезла. Вместе с полицейским, кстати, который ее конвоировал.

— Экая кавалерист-девица,— Варвара Львовна покачала головой,— еще и жандарма прихватила. Да, друг мой, история невеселая, ты прав, но ведь могло и хуже обернуться? Так хоть надежда есть, да ты нос-то не вороти, я знаю, что говорю! Николенька мой в четырнадцатом году пропал под Гумбиненом, а объявился в двадцать третьем в Софии, вот так-то. Сколько я по нему панихид за эти девять-то лет отслужила, ну-ка? Так что, может, и отыщется твоя Татьяна — как бишь ее по батюшке?

— Викторовна. Не моя она вовсе, у нее жених в действующей армии.

— Ну, жених,— крестная отмахнулась,— жених — не муж венчанный, что о женихах-то говорить. Да еще в военное время! А имя хорошее. Я думала, в Советах-то оно давно вывелось, не в чести, слыхала, как же — Писарев-то, поганец, как Таню Ларину расшельмовал, а он же у них там в пророках ходит...

Поговорив еще с полчаса о том и о сем, Болховитинов с облегчением откланялся. Странно — то вдруг нестерпимо потянуло рассказать о Тане, а потом — так же внезапно — разговор сделался тягостным, мучительным. Словно ждал получить какое-то утешение, и не получил...

На улице, пока он сидел у крестной, похолодало, ветер срывал с каштанов желтые листья, они кружились, словно спеша в последний раз испытать чувство свободы, прежде чем припечататься к мокрому асфальту. Болховитинов поежился, поднял воротник плаща. Черт его тогда надоумил подписать этот проклятый контракт!

Но кто же знал, кто мог предполагать... Тогда, в сорок первом, война выглядела совсем иной (тем более — если наблюдать ее, сидя в Париже), немцы казались не столько врагом, сколько обычным противником — ну, примерно, как в 1914—1918. И противником, достойным уважения; разгромив более сильную Францию по-цезарски молниеносно — veni, vidi, vici [2],— они на первых порах вели себя в оккупированной стране вполне корректно (о том, что́ уже тогда творилось в Польше, стало известно значительно позднее). Ему самому воевать пришлось недолго, всего неделю, но то, чего он насмотрелся перед этим, во время постыдного фарса drôle de guerre [3], не могло укрепить его симпатий к Третьей республике. Нет, он был к ней лоялен и дрался за

[1] Машинисткой *(фр.)*.
[2] «Пришел, увидел, победил» *(лат.)* — донесение Юлия Цезаря сенату.
[3] Странной войны *(фр.)*.

нее — надо полагать — не хуже других, но не мог не понимать, что войну она проиграла уже заранее, не сделав еще ни одного выстрела, просто не могла не проиграть — такая, какой стала к тому времени. Кагуляры, аферисты, разные устрики и ставиские, а тут еще лавали, и даладье, и бездарное военное руководство во главе с маршалом-пораженцем...

А в немцах — так ему тогда казалось — было, напротив, что-то здоровое. Гитлер, понятно, сукин сын и проходимец, да еще и шут гороховый с этими своими римскими жестами, «мистикой крови» и факельными шествиями,— но чем-то он, очевидно, сумел привлечь нацию, коли она за ним пошла... Вообще вести из Германии до войны приходили разные, разобраться было не просто.

Многим из побывавших в Берлине на олимпийских играх новая немецкая действительность скорее понравилась: прекрасные дороги, порядок, чистота, полиция безупречно-предупредительна, на улицах не видно ни безработных, ни нищих. С другой стороны, было известно, что свободомыслие там не в чести: неугодные нацистам книги публично сжигаются на площадях, а за открыто высказанное несогласие с главой государства можно угодить и в особый лагерь «на перевоспитание». Подобные факты аттестовали нацистский режим не с лучшей стороны, но Болховитинов склонен был видеть в этом скорее дух времени, нежели специфический порок национал-социализма. В Советском Союзе, что ли, позволено возражать Сталину? Да и книги неугодные там тоже давно изъяты из обращения, хотя в Москве никто спектаклей с кострами не устраивал — только и разницы...

Он ни на миг не допускал возможности окончательной победы Германии, но, что советский режим рухнет неминуемо, он поверил — довольно скоро, уже где-то в середине июля, когда пал Смоленск. Крах сталинской системы казался неизбежным и закономерным: режим, который накануне войны обезглавил армию, казнив самых талантливых военачальников,— этот режим нес прямую вину за самое страшное военное поражение в истории России. Казалось, какой народ стерпит, не возмутится, не призовет к ответу за миллионы погубленных солдатских жизней...

Он был тогда уверен, что это произойдет не сегодня-завтра — скорее всего, с падением Москвы. Появится какое-то новое правительство, условия мира наверняка будут тяжелейшими, немцы своего не упустят, но России ли привыкать к трудностям? Сдюжила и татар, и смутное время, неужто теперь сил не хватит!

С этой мысли, наверное, все и началось. Сил у Отечества должно хватить, но понадобятся они все, искони строилась Русь миром, соборно; значит, теперь — как никогда — всем русским надо быть вместе, на своей земле, которую придется отстраивать, подымать из руин и пепелищ небывалого разорения...

Ему не терпелось поскорее попасть домой, чтобы работать. И казалось, сама судьба безошибочно ведет его, куда надо. Случайно ли было, что в Политехническом он попал на строительное отделение, стал гражданским инженером? А та непредвиденная задержка в Дрездене — тоже «случай»?

Отец умер весной тридцать девятого года, когда в Праге уже были немцы, и возможность посетить могилу представилась Болховитинову лишь в сентябре сорок первого. Ехать пришлось кружным путем, через Берлин, с пересадкой там на венский поезд; десятиминутная стоянка в Дрездене почему-то затягивалась, прошло пятнадцать минут, потом двадцать, пассажиры громко возмущались неслыханным безобразием, наконец в купе заглянул кондуктор и объявил, что отправление поезда задерживается на два с половиной часа. «Военные перевозки»,— объяснил он многозначительно, понизив голос, и посоветовал дамам и господам выйти в город, прогуляться. Сидеть в душном вагоне и впрямь не было смысла, он вышел, спустился вниз и на привокзальной площади нос к носу столкнулся с Димкой Извольским — когда-то учились вместе в пражской русской гимназии.

Димка, оказывается, уехал тогда в Германию сразу после получения «матуры» — думал учиться дальше, но с этим не вышло, окончил коммерческие курсы и теперь работал в одной строительной фирме агентом на процентах. Зашли в пивную там же на углу Прагерштрассе, обменялись воспоминаниями, а потом, под конец разговора — ему уже пора было возвращаться на вокзал,— Димка сказал вдруг, что фирма получила крупный подряд через концерн «Централь-Ост» — будет строить дороги на оккупированных территориях и теперь ищет инженеров со знанием русского языка.

— Слушай, а почему бы тебе не попробовать, а? — спросил он.— Чего тебе там у лягушатников околачиваться? Меня, честно говоря, в любезное отечество не тянет, но ты ведь, помнится, был из патриотов...

Вот так оно и получилось, понимай как знаешь — судьба или «его величество случай». Неделей позже, вернувшись из Праги, он подписал контракт, зиму провел в Дрездене, знакомясь с работой и подучивая основательно забытый немецкий, а летом сорок второго был уже на Украине.

Но к тому времени все изменилось, ход войны оказался совсем не таким, как можно было предположить год назад. Сталин не только удержался у власти, но и, судя по

всему, укрепил свой авторитет. Видимо, к советскому обществу были уже неприменимы старые мерки, какими еще по привычке пользовались в эмиграции.

В Энске он пытался говорить об этом с некоторыми людьми, но безуспешно, его просто не понимали. Однажды, вспомнив один довоенный фильм, где будущая война рисовалась в шапкозакидательских тонах, выразил недоумение, что подобная ахинея могла восприниматься всерьез; хозяин дома, похоже, почувствовал себя задетым. Такие фильмы и книги, объяснил он, были нужны и делали полезное дело, все эти годы нам здесь слишком многим приходилось жертвовать, поэтому понятно, что людям нужно было внушать бодрость, веру в свои силы...

Сталина, как ни странно, за катастрофическое начало войны не винил почти никто — говорили о вероломстве Гитлера, о внезапности нападения, это тоже было непонятно: какая «внезапность», какое «вероломство»? Гитлер с самого начала своей политической карьеры призывал немцев к завоеванию жизненного пространства на Востоке. Или советские люди всерьез поверили в пакт 39-го года?

Да, непросто было общаться с соотечественниками, крестная (до чего проницательная старуха!) не зря задала этот вопрос. А он, отвечая, все-таки покривил душой — в Энске ему не раз приходилось спотыкаться о барьер некоммуникабельности. Но рассказывать об этом не хотелось, могло сложиться неверное впечатление — будто он осуждает тамошних людей, а он не осуждал их, чувствовал себя не вправе судить, он их порой просто не понимал...

Как все рухнуло — внезапно, непоправимо... Еще этой весной ему казалось, что желать больше нечего: он был в России, Танины друзья не отвергли его помощь, а она сама — о, он нисколько не заблуждался на этот счет, с ее стороны не могло быть ничего, кроме короткого увлечения, не более. Когда она попросила не встречаться больше, это не было для него неожиданностью, в сущности он давно был готов к такому повороту их отношений; Тавя, такая, какой была для него, воплощение чистоты и верности,— она просто не могла поступить иначе, в тот памятный вечер он окончательно почувствовал, что жить без нее не сможет. Нет, он даже не о том думал, что вдруг жених не вернется, и тогда, может быть,— нет, ему было достаточно, что она здесь, рядом, и что он сможет хоть иногда, издали, увидеть ее, не попадаясь на глаза... Впрочем, к чему хитрить, наверное, была и надежда — а вдруг все переменится? Вот и переменилось.

Если исключить худшее (а о Танином аресте так или иначе стало бы известно, скорее всего ее привезли бы в Энск, с чего бы немцам делать из этого тайну) — если она тогда спаслась, то или прячется в тех же местах, или — это более вероятно — постаралась уйти на восток, навстречу фронту. Здесь, во всяком случае, ее искать бессмысленно. Да и как искать? Во вражеской стране, где все под запретом, все засекречено, где даже немец не имеет права свободно поехать, куда ему надо по своим делам,— немыслимо, безнадежно, об этом и думать нечего.

Больше шансов найти ее после войны там, в России. Но кто его туда пустит?

Глава 3

Уже позднее, на медсанбатовской койке, разорванно вспоминая все случившееся, Дежнев задним числом понял, что иначе случиться и не могло, и он подсознательно, нутром знал, что так оно и будет. Никто, понятно, не мог предположить, что именно под Александровкой немцы нанесут такой мощный удар с фланга, но что они обязательно попытаются контратаковать где-то здесь, было очевидно. Форсирование Днепра прошло быстро и почти без потерь, но на правом берегу завязались тяжелые бои, тут уже потери были большие, а со снабжением становилось все хуже. Погода, так долго стоявшая сухой и солнечной, в середине октября наконец испортилась, пошли затяжные дожди, а места здесь черноземные — грунтовые дороги раскисли так, что даже «студебекеры» увязали намертво, по самый дифер. В войсках сразу же начала ощущаться нехватка боеприпасов, горючего, продовольствия.

Немцам — хотя их техника тоже не справлялась с бездорожьем — все-таки проще было обеспечить передовую хотя бы боеприпасами, в обороне это всегда проще.

Капитан Дежнев со своей батальонной колокольни не мог, понятно, судить, право ли было командование, требуя не снижать темпов продвижения, или разумнее было приостановиться, подтянуть тылы, восполнить потери — и двинуть дальше с новыми силами. Но что в этих обстоятельствах наступать практически вслепую было нельзя, это и взводному понятно, да что там взводный — любой солдат сообразит, что нельзя переть на рожон, если не знаешь хотя бы приблизительно, что там, впереди, у гансов делается.

Тут, конечно, было особое обстоятельство — приближались октябрьские праздники, а к такой дате надо, чтобы было о чем доложить. Как же иначе? Ставка ждет праздничного доклада от фронта, фронт — от армии, армия — от дивизии, и дальше до самого низу, до четырех рот второго батальона 441-го мотострелкового полка. Говорили, что соседнему фронту — 1-му Украинскому, который по старой памяти все еще

называли Воронежским,— приказано к 7 Ноября овладеть Киевом; это, само собой, обязывало к чему-то и войска 2-го Украинского.

5-я гвардейская армия после прорыва фронта отвернула вправо, расширяя проделанную в обороне противника сорокакилометровую брешь и прикрывая фланг главной ударной группировки, брошенной на Кривой Рог. В полосе армии никаких особо важных целей впереди не лежало, здесь можно было отличиться к празднику только освободив побольше населенных пунктов — пусть хотя бы и никому не известных, разве в этом дело. Поэтому установка была простая: давай жми.

Они соответственно и жали. Батальону Дежнева в тот день была поставлена задача овладеть Александровкой — небольшим, ничем не примечательным местечком. Оборона на подступах была обычная, не предвещающая особых неожиданностей.

Единственное, что тревожило комбата, это погода — как назло снова летная. И предчувствие не обмануло, недаром так гладко все шло поначалу. Налет ударил, как всегда, внезапно; опрометью выскочив из хаты, где только что расположился батальонный КП, Дежнев едва успел подумать — ну вот, нагадал! — как его накрыло мгновенной ревущей тенью. Хата вспыхнула сразу, как облитая бензином,— хорошо еще только с крыши. Уже лежа в грязи, он с облегчением увидел, как из окна вместе с обломками рамы вывалился кубарем радист, вроде бы целый и невредимый и даже в обнимку со своим «Севером», а начштаба выбежал из двери, на бегу заталкивая за пазуху кое-как сложенную карту.

Головастые «фокке-вульфы» прошли над самыми тополями, почти рубя винтами их голые, как метлы, верхушки. Дежнев заорал связистам, указывая на погребок в стороне от хаты,— туда, мол, туда ныряйте! — и почти сразу, едва успели стихнуть вдали моторы истребителей, послышались гулкие удары танковых пушек. Тут же вдруг скособочился и поехал, разваливаясь, угол соседней хаты, а из-под осевшей крыши выдвинулась осыпанная саманным крошевом и соломой корма одного из приданых батальону двух легких Т-70. Танк крутнулся, довершая разрушение, из люка высунулся чумазый башнер и, увидев подбегающего комбата, крикнул что-то осипшим голосом — и на этом для капитана Дежнева все кончилось. Он только успел ощутить, как туго и беззвучно ударило сзади волной обжигающего жара — и очнулся уже неведомо где, ничего еще не соображая.

Сообразил позже, начав воспринимать окружающее преимущественно обонянием и на слух. Он был в помещении, рядом с ним кто-то постанывал, кто-то слабым голосом просил пить, еще один бормотал, видно, в забытье; а разило в помещении карболкой и йодоформом, вместе с другими обычно сопутствующими им запахами неоспоримо госпитального свойства.

Вот те, бабушка, и юрьев день, подумал он тоскливо, боясь разбередить притаившуюся неведомо где боль, а то и — того хуже — обнаружить в себе какую-нибудь недостачу. Ему сразу вспомнился ярославский госпиталь прошлым летом после изюм-барвенковского бардака, откуда ему чудом — не в пример многим другим — удалось ускользнуть относительно целым и невредимым. Да, тем другим повезло меньше, из окружения вышло не больше двадцати пяти тысяч; а в обеих ударных группировках всего насчитывалось около трехсот, вот и считай. Две армии сдуру загубили, стратеги недоделанные, а виноватых нет...

Отважившись все-таки пошевелиться, он с облегчением убедился, что руки-ноги на месте и даже отчасти функционируют, хотя и с трудом. Вот голова стала вдруг болеть невыносимо, но не так, как может болеть рана, а по-другому, по-мирному. Да и не было на голове повязки, это он тоже проверил. Выходит, контузия?

Догадка подтвердилась после разговора со строгой майоршей медслужбы, которая сказала, что хотя случай и легкий (так, по крайней мере, выглядит), но лучше бы все же подлечиться в тылу — эти контузии штука коварная, не всегда можно предсказать последствия.

— Вот еще,— возразил Дежнев,— с такой ерундой в тыл, вы уж меня, доктор, не конфузьте.

— Ну, если ты так хорошо разбираешься в медицине,— майорша, не поддержав шутливого тона, пожала плечами,— настаивать не буду, выпишем и геройствуй на здоровье.

Тоже мне, дуреха, подумал он, когда врач ушла, простых вещей не соображает. При чем тут геройство? Из тылового госпиталя направят в офицерский резерв, оттуда вообще неизвестно куда попадешь, а ему надо вернуться в свой полк. «Геройствовать» все равно придется до самого Берлина, вопрос — с кем? Здесь он всех знает, его знают, в батальоне порядок, с ротными полное взаимопонимание — притерлись, приработались. А как на новом месте будет? Нет уж, спасибо, от добра добра не ищут...

В начале ноября капитана Дежнева выписали. От сослуживцев, навещавших его в госпитале, он уже знал, что батальон тогда в Александровке трепанули, но не так чтобы очень, могло быть хуже. А вообще дела фронта обстояли неблестяще, немцам удалось восстановить оборону, Кривой Рог все еще в их руках. Танкисты Ротмистрова

там, правда, побывали, но лишь наскоком — израсходовали боезапас в уличном бою, а горючего в баках едва хватило, чтобы отойти, снова сдав город противнику. У соседей успехов больше — войска 3-го Украинского освободили Днепропетровск, а под Киевом бои уже на самых подступах. Тем-то будет о чем рапортовать к празднику!

День, когда Дежнев возвращался в полк, был ясный, с крепким уже утренним морозцем. Предъявив на КПП свои документы, он узнал, что машина в нужном ему направлении сейчас уходит. Возле ободранной ЗИСовской трехтонки, стоящей у шлагбаума, старшина с повязкой регулировщика проверял бумаги у девушки-сержанта.

— Вот, товарищ гвардии капитан, и попутчица вам нашлась,— сказал он, возвращая девушке документы,— ей туда же.

— Давай в кабину, сестричка,— Дежнев забросил свой вещмешок в кузов.— Садись, и поехали.

— Что вы, что вы,— возразила она,— я лучше наверх, вы ведь из госпиталя!

— Давай-давай, не спорь со старшим по званию,— он легонько подтолкнул ее к кабине, но было уже поздно — объявился еще один попутчик; из помещения КПП вышел немолодой тучный майор, спросил у водителя, не в хозяйство ли Прошина едет, и полез в кабину, бесцеремонно оттеснив капитана и сержанта.

— Вот вопрос и решен,— Дежнев подмигнул, забрался в кузов и, протянув руку попутчице, помог вскарабкаться и ей.— Другой раз умнее будешь!

— Не беда, сегодня не так уж и холодно, а сесть можно вон на мои газеты,— она указала на два перевязанных бечевкой тючка в передней части кузова.— Их уже раньше сюда перегрузили.

— Газеты? А я думал, ты из медперсонала,— сказал Дежнев.

— Нет, я в дивизионке вашей.

— Журналистка, значит.

— Какая из меня журналистка, на машинке просто стучу. А иногда вроде курьерши — сегодня вот это вызвалась отвезти; все оказались в разгоне, а мне нужно у Прошина в полку побывать, у меня там знакомый...

— Дружок твой где, при штабе? — спросил Дежнев немного погодя, просто чтобы не сидеть молча.

— Что? А, нет-нет. Он артиллерист, командир ... батареи, если не ошибаюсь. Я иногда путаю. Но вы, наверное, не так меня поняли, он не «дружок» мне, если вы это в том смысле употребили, как обычно употребляют... Просто хороший знакомый, давний, еще по Ленинграду...

— Так вы тоже оттуда? К Ленинграду у меня особое какое-то отношение, даже сам не знаю... Началось, может, оттого, что у меня там, в ваших краях, брат погиб, с белофиннами был конфликт... В Выборге его убили, под самый конец. Ну, и потом я после школы к вам туда собирался, учиться там думал.

— Хорошо, что не попали... Впрочем, вы-то там все равно не остались бы.— Попутчица помолчала, подняла воротник шинели — выбравшись на более ровный участок дороги, водитель прибавил скорости, и поверх кабины стало задувать. Потом добавила негромко, словно думая вслух: — Мужчинам вообще легче пришлось... Муж мой погиб на фронте в первый месяц войны, а вся его семья... исключая меня, я тоже к тому времени ушла исполнять «священный долг», и тоже добровольно, как и он... Так вот, семья — вся целиком — вымерла от голода в начале сорок второго года. А я жива, как видите. Как, по-вашему, кто кому может завидовать?

Дежнев, помолчав, искоса глянул на нее более внимательно — она сидела, прикрыв щеку поднятым воротником шинели, не оборачиваясь к собеседнику. Он увидел теперь, что она старше, чем показалась на первый взгляд, в углу глаза были даже едва заметные — лучиками — морщинки, а он читал где-то, что это безошибочно выдает женщин преклонного возраста; возможно, ей было уже и за двадцать пять.

Еще помолчав, он спросил, не Игнатьевым ли, случайно, звать ее знакомого артиллериста? Она сразу обернулась к нему.

— Да, Павел Дмитриевич Игнатьев, а вы тоже его знаете? Как вы догадались?

— Ну, просто подумал вдруг — артиллерист, из Ленинграда, бывают же совпадения...

— Да, это он, а вы давно с ним познакомились?

— Их к нам под Кременчугом прислали...

Он сразу, как только она сказала про мужа, вспомнил один разговор с Игнатьевым — тот рассказал о своей знакомой из Ленинграда, бросившей в блокаде грудного ребенка. Ну, не в блокаде, строго говоря, потому что тогда блокады еще не было; но все равно, бросила на стариков и — хвост трубой. Так это, значит, она и есть, мать-«героиня»...

— Мне почему захотелось его увидеть,— продолжала она,— просто порадоваться вместе, поздравить, у него ведь сын нашелся — вы не знаете еще? Ну да, вы же в госпитале лежали — нашелся его Димочка, он получил письмо от сестры, разыскала-таки, можете себе представить?

— Вот это здорово,— сказал Дежнев,— что сына он разыскивал — это я знал, он мне говорил.

— Да, представьте, отыскала в одном из детдомов для эвакуированных, просто чудо.— Она вздохнула, и добавила почти тем же тоном, словно сообщая о чем-то постороннем: — А мои вот так и не смогли эвакуироваться, сначала не хотели, а потом уже стало поздно. Мишеньке нашему было бы теперь уже три с половиной годика.

Дежнев помолчал, потом сказал, глядя на убегающую дорогу:

— Мне старший лейтенант Игнатьев вашу историю рассказывал... не называя имени, понятно. И если вас интересует, что я тогда подумал, могу сказать: подумал, что жаль нельзя за такое под трибунал.

— Несправедливо это было бы, капитан.

— И вы еще о справедливости можете говорить?

— Как раз я-то и могу. За такое не под трибунал надо, трибунал самое большее может расстрелять; за такое надо оставлять жить, вот как я живу — в трезвом уме и здравой памяти. Понимаете? Да где вам понять, давайте лучше оставим эту тему.

— Не я ее затронул.

— Знаю, знаю, затронула я, со мной это бывает.

Некоторое время ехали молча, потом он сказал:

— Ладно, товарищ сержант, если у меня грубо получилось, насчет трибунала, то извините. Я просто сказал, что подумалось — тогда, сразу. Вам-то напрямик не следовало, наверное.

— Ну почему же, меня ваша прямота не задела. Что мне до мнения других? Видите, я откровенна не меньше вашего... Я и раньше часто думала: Господи, как глупо, столько убивают вокруг нужных кому-то людей, остаются сироты, вдовы, матери, а тут и хотела бы, а живешь как заговоренная...

— Наверное, все-таки, редакция дивизионной газеты — не самое опасное место службы,— безжалостно сказал Дежнев.— Если уж так хочется, можно в снайперскую школу поступить, там шансов больше.

— Опять вы не поняли... Мне ведь не убивать хотелось, а самой умереть, убивать я не хотела и тогда, в сорок первом, может быть, это нелепо звучит, но о мести я не думала, это же бессмысленно — один случайно убивает другого, а за это третий берет и убивает четвертого, тоже случайного...

— Чушь вы несете, «случайно» человек под трамвай может попасть, а в вашего мужа специально целились.

— Да нет, целились не в него вовсе, не в Михаила Алексеевича Сорокина, а просто в человека в красноармейской форме, это же разное — неужели не понятно? Вы, когда по немцам стреляете, не какую-то определенную личность имеете в виду, для вас это безличное понятие «враг», то же самое и для них...

— Выходит, разницы нет — что мы, что они? Договорились, ничего не скажешь! Они на нас напали, мы от них отбиваемся, а разницы, значит, никакой — никто не виноват, по-вашему!

— Да не солдаты же, согласитесь. Виноват Гитлер, правительство... Солдат не спрашивают — быть или не быть войне...

— Бросьте,— сказал Дежнев,— это все пустые разговоры. Если так рассуждать, тогда действительно вся вина на одного, может, человека ложится. Ну, или там на десять-двадцать человек, а остальные — вся армия — ни при чем. Это все у вас рассуждения, а в жизни по-другому. Тут счет простой: пошел ты завоевывать чужую землю — значит, ты и виноват. И нечего его оправдывать — ему, мол, приказали, он не по своей воле...

— Послушайте, капитан, вы сказали, что ваш брат погиб в Выборге. А это ведь была территория Финляндии; так вот этот ваш «простой счет» — он, выходит, и к вашему брату применим? В том смысле, что сам виноват, если пошел завоевывать чужую землю?

Гвардии капитан Дежнев едва сдержался, чтобы не выругаться. Помолчав, сказал сквозь зубы:

— Я не знаю... вы или провокационные разговорчики со мной затеваете... хотя не пойму, на кой вам это надо... или у вас окончательно мозги набекрень. Мы, что ли, на Финляндию нападали?!

— Ну, если вы всерьез верите, что это она на нас тогда напала, то у вас и набекрень-то нечему своротиться. С чем и поздравляю, это в самом деле большая удача, когда в голове пусто, жить куда проще.

Он готов был уже обернуться, заколотить кулаком по крыше кабины, чтобы водитель тормознул,— сойти, ну ее к черту с такой попутчицей; но тут ему вспомнился один давний, очень давний — еще до войны — разговор с Таниным дядькой, тогда еще полковником, только что вернувшимся с Карельского перешейка. Они в ту зиму часто играли по вечерам в шахматы — придешь к Тане, а ее нет дома, дядька и усаживает за доску. Игра, конечно, шла не на равных, хотя и он играл неплохо для своего возраста;

Александр Семенович, скорее всего, просто не очень знал, о чем можно беседовать с десятиклассником, поэтому предпочитал такой способ общения. Но на вопросы отвечал серьезно и без скидок, и однажды Сергей спросил его, чем все-таки думали эти придурки белофинны, начиная войну против Советского Союза. Полковник помолчал немного, задержав в воздухе поднятую с доски фигуру, и, раздумывая, куда ее поставить, произнес негромко:

— Да там, понимаешь, сложно все получилось... Мы иначе тоже не могли, вот что главное, граница была слишком близко, а на мирный обмен территориями они не соглашались...

Странно — он отлично запомнил сказанное Николаевым, но почему-то не задумался над смыслом того, что услышал, и позже не задумывался, а сейчас вдруг вспомнил опять — и понял. Выходит, начали все-таки мы? Кажется, какие-то инциденты на границе до этого были, кто-то кого-то обстреливал, но военные действия начались вторжением наших войск туда, а не финских на нашу сторону...

— Ладно, ладно,— сказал он примирительно.— Я вам, товарищ сержант, хочу только два замечания сделать. Во-первых, старшего по званию не положено в глаза называть дураком, даже если так оно и есть. А во-вторых, вы с этими своими разговорчиками когда-нибудь нарветесь, но только уже не на дурака, и тогда узнаете, что почем.

— А я уже давно все это знаю.

— Выходит, еще не все знаете, если заводите такой вот трёп с первым встречным... показываете, какая вы храбрая и умная.

— Бог с вами, умной я себя никогда не считала, а насчет храбрости вы правы, наверное, я с некоторых пор действительно ничего не боюсь. Раньше боялась, как все, а теперь...

Мотор, до сих пор тянувший ровно, хотя и с явной натугой, стал вдруг давать перебои, машина пошла рывками, замедляя ход, потом умолкла совсем, сползла на обочину и остановилась. Водитель, сдержанно матюгаясь, вылез и с грохотом откинул створку капота.

— Что там, отец? — спросил Дежнев, встав и перегнувшись через крышу кабины.

— Да ничего, продую сейчас,— ответил тот.

Дорога оставалась пустынной, было тихо, лишь где-то отдаленно погромыхивало — километров за десять, как показалось Дежневу. Попутчица тоже услышала, глянула вопросительно:

— Стреляют?

— Похоже, бомбят. Опять, верно, Знаменку. Ноги размять не хотите, прогуляться?

— Спасибо, не хочется вылезать, я тут угрелась. Холодно все-таки...

— Дело к зиме, а она в этих местах суровая. По-разному, конечно, год на год не приходится. В Ленинграде, наверное, климат мягче?

— Более сырой, а вообще тоже по-разному бывает. Первая блокадная зима, говорят, была ужасной... Да, и в сороковом тоже — когда бои были на перешейке. Всегда получается, как нарочно. Сколько было обмороженных... И в блокаду — если бы не такие морозы — погибло бы вдвое меньше, наверное. Я понимаю, у вас это в голове не укладывается — как я могла. Я и сама — теперь уже — когда пытаюсь взглянуть со стороны, не понимаю, отказываюсь понять. Но тогда было по-другому... У меня было такое чувство, что я просто обязана... не мстить, нет, а просто быть там, где был он. Я очень его любила, хотя не сразу, это удивительно получилось — он ведь был намного старше, у нас двенадцать лет была разница, и сначала я просто... Понимаете, я перед войной осталась без родителей, институт пришлось бросить, я на первом курсе была, ну и стала печатать на машинке — для заработка. А Михаилу Алексеевичу надо было срочно одну работу перепечатать — ему кто-то сказал про меня, мы так и познакомились... Я и не думала, он мне казался таким... ну не знаю, старше намного, доцент, и вообще... Если откровенно, согласилась выйти за него замуж из страха. Все было так ужасно — я совершенно одна осталась, из института отчислили, из квартиры выселили...

— Так родителей ваших что — посадили, что ли?

— Ну, естественно! Так что можете себе представить. Словом, вышла я замуж, летом сорокового родился Мишенька, я еще думала, как это солидно будет звучать: Сорокин Михаил Михалыч. У мужа семья была удивительная, я в нее вошла как-то сразу... Вы понимаете, часто ведь отношения бывают непростыми — свекровь, невестка,— а тут...

Она замолчала, глядя куда-то мимо собеседника, словно его здесь и не было. Да так оно, наверное, и есть, подумал Дежнев, она все это самой себе говорит, зачем ей слушатель. Но тут она все-таки глянула на него, усмехнулась невесело — одними губами.

— А вы мне про трибунал какой-то,— сказала она.

— Да ладно, я ведь не всерьез... Вас как звать-то, сержант Сорокина? А то вроде неудобно — разговариваем, а не знакомы. Меня Сергеем зовут, а фамилия Дежнев.

— Очень приятно,— она выпростала руку из слишком широкого рукава шинели и протянула ему.— Меня — Елена Петровна. Только вы и отчество свое тогда уж скажите, не могу же я гвардии капитана звать просто Сергеем...

— Ну, Данилович, но это необязательно. А вы о ... родителях так ничего и не знаете с тех пор?

— Мама была в одном из мордовских лагерей, я ей даже три посылки успела туда отправить, а о папе — ничего. Его осудили без права переписки, на десять лет.

— После войны увидитесь,— сказал он уверенно.— Полсрока, считайте, уже прошло. Да и амнистия какая-нибудь наверняка выйдет, когда победу отпразднуем...

Через полчаса они были в большом, богатом и почти не пострадавшем от боев селе, где расположился штаб полка. Дежнев соскочил на землю, помог сойти попутчице, приказал бойцам выгрузить и занести в хату тючки с газетами.

— Ну что ж, счастливо,— сказал он, протягивая руку.— Игнатьеву привет от меня, скажите — рад буду повидаться.

— Может быть, сегодня и встретитесь, раз уж вы тоже здесь.

— А это уж как служба, не знаю, пойду сейчас к нашим кадровикам — чем там они меня порадуют...

Да-а, подумал он, идя к хате, где, как ему сказали, расположилось управление кадрами, повидал дур, но чтобы такую... А с другой стороны, конечно, человек она несчастный — бывает же так, чтобы все в жизни кувырком. И за что, спрашивается, страдает?

Глава 4

Дожди шли уже вторую неделю. Они шли с перерывами, иссякая обычно к концу дня, и по ночам над островерхими крышами соседних домов мерцали тусклые звезды; но каждое утро, когда рабочая колонна строилась посреди превращенного в аппельплац школьного двора, с туманного неба опять сеялась та же ледяная мокрядь.

Сбор и перекличка продолжались долго. Ни переводчица, ни комендант лагеря Фишер — бывший учитель, который жил при школе и стал временным комендантом, после того как здание было реквизировано под лагерь для восточных рабочих,— никто из них не хотел утруждать себя в такую рань, а охранявшие лагерь украинские полицейские были малограмотны и вечно путались в списках. Люди стояли под дождем, переминаясь с ноги на ногу и чувствуя, как проклятая сырость уже пробирается сквозь тряпье. Мастеровые, которым удалось получить постоянную работу на разного рода мелких предприятиях здесь, в Штееле, или в самом Эссене, группами выходили за ворота, лагерь постепенно пустел. Наконец выводили и их, «шарашкину команду», занятую на общих работах.

Таня шла в хвосте колонны, волоча ноги в огромных деревянных башмаках и глубоко, почти до локтей, спрятав руки в рукава драного ватника. Шла и старалась думать о приятном. С утра это особенно важно — не расхныкаться внутренне, не погрузиться в мрачные мысли. Ну вот, скажем, хотя бы эти деревянные башмаки — совсем неплохое изобретение, если к ним привыкнуть. Толстая, в три пальца, деревянная подошва снизу не промокает, жаль только, что пропускает воду верх, сделанный из какого-то немыслимого эрзаца. Впрочем, если намотать побольше тряпок, то почти до обеда ноги остаются сухими. Зимой, наверное, дождей будет поменьше. А ватник — да это просто подарок судьбы!

В Рейнхаузенский пересыльный лагерь их навезли столько, что продовольствия не хватило, и они голодали целую неделю. К концу той памятной недели она до того ослабела, что почти не могла двигаться. Хорош, наверное, был у нее вид! Иначе почему бы это вдруг сжалился над ней тот охранник, что однажды вечером отозвал в сторонку и сунул ей завернутую в газету буханку хлеба. Подумать только, что есть еще в Германии такие люди. Целый стандартный кирпич весом в кило двести. Другая бы его просто съела! А вот она съела только половину — и то понемногу, растянув удовольствие на два дня. За вторую половину она приобрела этот самый ватник.

Над нею тогда смеялись. Во-первых, говорили, она невероятно продешевила — отдать за такую рвань шестьсот грамм хлеба; за них, дескать, можно было получить часы. Кроме того, дело было в августе, стояла жара, и ватник на первый взгляд казался довольно странным приобретением. Но вот тут-то и нужно было иметь на плечах голову! Хороша она была бы теперь, если бы польстилась тогда на часы (нужные ей здесь, как кошке мандолина).

Таня с удовольствием поеживается в своем ватнике, уже немного отсыревшем, но достаточно теплом. Если Эрика, дочь коменданта, не надует и принесет обещанный кусок клеенки, она просто нашьет его на плечи, сделает что-то вроде такой кокетки, тогда будет совсем отлично. Да что говорить, человек с головой не пропадет даже в Германии!

На площадке третьего этажа шумно толпились возле раковины парни из восьмой «холостяцкой» — самой буйной комнаты в лагере, куда не решались заходить даже полицаи. Холостяки были все как один в широких, наподобие лыжных шаровар, бумазейных голубых кальсонах в мелкие цветочки. Роскошные эти кальсоны выдали лагерникам неделю назад; предполагалось, что их будут использовать по назначению как исподнее, но обносившиеся до дыр холостяки рассудили иначе и щеголяли в новых кальсонах поверх рваных брюк. В таком живописном виде они ходили и на работу.

— Танечке комсомольский привет! — закричал кто-то.— Чего в гости не заходишь?

Она отшутилась на ходу, увернулась от чьих-то объятий и прошмыгнула к себе.

В седьмой было тихо. За большим столом посередине, под низко опущенной лампой, несколько человек перелистывали журналы, писали письма, один из кубанских агрономов латал рубаху, неумело орудуя иглой. Двухэтажные казарменные койки вдоль стен были составлены где покоем, где глаголем; разгороженные листами светомаскировочной бумаги или цветастыми домашними занавесками, они образовали крошечные семейные отделения, вроде железнодорожных купе.

Таня сбросила башмаки, прошла на цыпочках к своей койке и достала из-под нее сшитые из мешковины шлепанцы. Ее место было нижним, верхнее занимала Аня Кириенко — та, что работала у полоумной старухи. Сейчас она лежала лицом в подушку и шмыгала носом.

— Ты плачешь? — Таня приподнялась и тронула ее за плечо.— Что случилось?

Кириенко дернула локтем и всхлипнула еще громче.

— Час уже ревет,— недовольно отозвалась переводчица со своей койки по соседству.— К бауэру ее отправляют, подумаешь, беда какая!

— Тебе, ясно, не беда! — со слезами выкрикнула Аня Кириенко.— Тебе-то что! А я уже была у бауэров, спасибо!

— Ну, хватит! — оборвала ее переводчица.— Помолчи, люди с работы пришли — надо им отдохнуть или нет? Я тебя туда не назначала, и я Фишеру говорила, что ты не хочешь. Чего тебе еще надо? Что я, командую здесь?

В дверь кто-то заглянул, крикнул: «Переводчицу к коменданту, живо!» Валя, пробормотав что-то насчет проклятой должности, вышла из комнаты. Вскоре на лестнице послышались голоса, шум и знакомый лязг металлических баков по ступенькам.

— Седьмая, гемюзу получать! — крикнули из-за двери. Двое мужчин внесли бактермос с завинченной крышкой — прибыл лагерный ужин.

Таня едва успела проглотить несколько ложек, как дверь распахнулась и в комнату быстро вошел комендант, явно чем-то расстроенный, а за ним — двое в шляпах и кожаных пальто.

— Mahlzeit,— хмуро сказал Фишер, ни на кого не глядя.— Wo schläft die Dolmetscherin? [1]

Кажется, только она одна сразу, в первую же секунду поняла, что происходит. Почему — неизвестно. Она никогда не видела, как выглядят *они* в штатском; тем не менее при первом же взгляде на этих двоих, на их одинаковые кожаные пальто, сапоги и одинаковые тирольские шляпы она сразу все поняла и замерла, сжалась в комок, не поднимая глаз от коричневой эмалированной мисочки с недоеденной «гемюзой». Для нее остался теперь только один выход: при первом же обращенном к ней слове кинуться к окну и выброситься туда, вниз, на мокрый черный асфальт. Лучше так, сразу. Потом она вздрогнула от грохота чего-то упавшего, подняла глаза и увидела, как один в кожаном пальто перетряхивает Валину постель, а другой, присев на корточки, роется в вещах, высыпавших из опрокинутой тумбочки. Сорванный занавес из одеял валялся на полу.

Она оглянулась и обвела глазами белые лица сидящих за столом. Теперь поняли и они — это, вошедшее в комнату вместе с комендантом, и была Geheime Staatspolizei. Тайная государственная полиция. Гестапо.

Оказывается, им действительно была нужна эта белокурая Валя, переводчица. Они производили обыск тщательно и профессионально, распороли даже тюфяк и наволочку, вывалив истертую солому прямо на пол, прощупали лоскутный коврик, развинтили подставку настольной лампы. Потом ушли, забрав Валино пальто и ее чемодан. Следом за ними вышел и комендант, такой же бледный и растерянный, ни на кого не глядя.

Стояла гнетущая тишина. То, что произошло сейчас на глазах обитателей седьмой комнаты, было слишком страшно, чтобы говорить об этом вслух. И страшен был вид растерзанной постели, весь этот оставшийся после обыска разгром. Таня не выдержала первой. Вскочив, она подошла к куче соломы и принялась трясущимися руками запихивать ее обратно в тюфяк. «Да помогите же кто-нибудь!» — крикнула она истерично.

[1] Приятного аппетита... Где спит переводчица? *(нем.)*

Вдвоем с Кириенко они наспех привели в порядок постель, покрыли ее одним из валявшихся на полу одеял, Таня подняла и поставила на место тумбочку. Потом она взяла щетку и смела к печке соломенную труху.

— Вот вам и переводчица,— сказал кто-то негромко. И сразу — словно только и ждали этих слов — заговорили все, громко и возбужденно, как обычно говорят люди, только что пережившие сильный испуг. Высказывали разные предположения, вспоминали не совсем обычную историю появления Вали в эшелоне; действительно, тут было много загадочного, просто на это раньше не обратили внимания. Она появилась в вагоне уже на пути сюда, когда их везли из Рейнхаузена, и (кто-то это теперь припомнил) попросила сказать в случае чего, что была вместе с ними в пересыльном лагере. Вероятно, откуда-то бежала и присоединилась к ним, чтобы замести следы. А может быть, она была разведчицей?

В эту ночь Таня долго лежала без сна. Валю, несомненно, арестовали за какие-то старые грехи: здесь, в лагере, она едва ли занималась чем-либо противозаконным. Теперь стало понятным и ее странное появление, и ее всегдашняя замкнутость. Она никогда не рассказывала о себе, и в седьмой комнате, где все знали более или менее всё друг о друге, только переводчица была исключением. И еще, разумеется, сама Таня.

Очевидно, Валю за что-то разыскивали, разыскивали не один месяц, пока не обнаружили здесь, в лагере «Шарнхорст-Шуле». Но ведь и ее — бывшую сотрудницу Энского гебитскомиссариата — тоже не могут не разыскивать! Не может быть, чтобы тамошняя служба безопасности, узнав о ее побеге как раз в день отправки эшелона, не сделала для себя соответствующих выводов. Вероятнее всего, начальник кадров гебитскомиссариата давно уже направил куда следует ее личное дело — с фотографиями, описанием особых примет и всем прочим. Значит, вопрос теперь только в сроках.

Из лагеря надо бежать, и бежать немедленно. Но как? И — главное — куда? До польской границы отсюда не добраться, нечего и пробовать... Аня Кириенко, спящая на верхней койке, заворочалась и пробормотала что-то во сне. Вот уж действительно у каждого свои заботы! Этой дурище дают возможность покинуть лагерь, а она еще ревет. Деревенская жизнь ей, видите ли, не нравится...

А что, если поговорить с ней — предложить ехать вместо нее? Пусть скажет Фишеру, что, мол, упросила одну подругу, та согласна. Надо только, чтобы он не догадался, от кого исходит инициатива...

Но утром поговорить с Кириенко ей не удалось. Та исчезла из лагеря раньше обычного, верно, побежала прощаться к своей старухе, а вечером весь Танин план, так хорошо продуманный, лопнул, как мыльный пузырь. Перед ужином (Кириенко еще не вернулась) в седьмую комнату заглянул парень из соседней «холостяцкой», нашел взглядом Таню и поманил пальцем. Недоумевая, Таня вышла на лестничную площадку.

— Слышь, сестренка, какое дело,— сказал парень.— Тут ребята просили с тобой поговорить. Ты немецкий хорошо знаешь?

Таня готова была уже сказать, что вовсе не знает немецкого, но что-то ее удержало: очень уж непривычно серьезным тоном говорил парень из восьмой комнаты, обычно они с ней балагурили, норовили ущипнуть, шлепнуть.

— Немецкий? Да так себе,— ответила она осторожно.— А что?

— Да понимаешь... Валя была хорошая девчонка, а кого теперь пришлют — неизвестно. Среди этих переводчиков такие бывают суки — страшное дело. Мы с ребятами и подумали...

— Что вы подумали?

— Ну, Валя говорила, ты вроде шпрехаешь по-ихнему. Подойди к коменданту, заговори с ним, может, он оставит тебя здесь как переводчицу...

— Зачем это мне? — возразила она испуганно.— Ты что!

— Тебе-то, может, и незачем,— согласился парень.— А лагерю это еще как нужно, могла бы и сама сообразить.

— Мало ли что нужно лагерю! А мне нужно дожить до конца войны, ясно? Нашли себе козу отпущения!

— Ладно, кончай сопли распускать,— перебил парень.— Насилуют тебя, что ли? Валя тебе хорошую дала характеристику, поэтому и подумали, но раз ты только за свою шкуру дрожишь, то и дрожи на здоровье. Кому ты такая нужна! Еще небось в комсомолках ходила.

— Ну и не обращались бы, если не нужна! Поищите себе другую дуру на роль героини, а с меня хватит, нагеройствовалась!

— Да искали уже,— признался парень обескураженным тоном.— Тань, а может, подумаешь, а?

— Да что ты ко мне пристал как банный лист! Если я стану переводчицей, может, получиться так, что в один прекрасный день мне надо будет отсюда смываться. Вы в таком случае поможете?

— Там видно будет. Обещать, сама понимаешь, ничего не можем.

— Да уж понимаю! Обещать никто из вас ничего не может, вы только призывать можете, красивые слова говорить насчет комсомольского долга... Ладно, подумаю!

На следующее утро, когда лагерники не спеша строились на аппель-плацу, она подошла к Фишеру. Тот был в дурном настроении, с непонимающим видом листал списки и сердито бормотал что-то себе под нос.

— Прошу меня извинить, герр лагерфюрер,— сказала она непринужденным тоном, копируя берлинское произношение своей прежней начальницы фрау Дитрих.— Могу я обратиться с небольшой просьбой?

— Валяй, выкладывай,— буркнул тот, не глядя на нее.

— Я была бы вам так признательна, если бы вы сегодня разрешили мне не идти на общие работы. Дело в том, что вчера я растерла ногу, а эти деревянные башмаки...

— Знаю, знаю, кожаные были бы удобнее, согласен. Черт с тобой, иди мыть котлы, кофе сегодня смердит хуже обычного, боюсь уж, не крысу ли вы там сварили, с вас станется...

Тут он вдруг уставился на нее ошалело, разинув рот.

— Постой, постой! Ты что — говоришь по-немецки?

— О, в весьма ограниченном объеме, герр лагерфюрер,— скромно ответила Таня.— Словарный запас, вы понимаете...

— Так какого же черта ты до сих пор молчала?! — заорал Фишер.— Gottverdammtkruzifixnochmal!! Вторые сутки — с тех пор, как эти мерзавцы забрали Фалентину — я объясняюсь на пальцах, как глухонемой кретин, а эта ослица разгуливает тут с невинным видом! Словарный запас у нее, видите ли, мал! Я тебе такой словарный запас покажу, что ты неделю не сядешь! Ты что, не знала, что мне нужна переводчица? Марш в контору — в аптечке найдешь лейкопласт, заклей, что там у тебя растерто, и — немедленно обратно! Нам еще надо распределить людей по группам, а уже почти семь. Живее, я сказал!

Глава 5

К исполнению своих новых обязанностей Таня приступила с неохотой, даже страхом. Она теперь была избавлена от физического труда, но свободного времени у нее оставалось меньше, чем когда вкалывала в «шарашкиной команде». Треть лагерного населения не имела постоянного места работы, и каждый день мелкие группы рабочих направлялись то туда, то сюда, в зависимости от разовых заявок-требований; приходилось каждый вечер допоздна сидеть над списками, решая, кого куда послать. Комендант скоро перестал вмешиваться в эти дела, и лагерники теперь не давали ей проходу своими жалобами и просьбами — почти всегда обоснованными, но не всегда выполнимыми.

С середины декабря участились воздушные тревоги. Самолеты пролетали мимо, их цели лежали пока восточнее — Бремен, Ганновер, Магдебург, Берлин; но каждую ночь можно было ожидать, что бомбы снова посыпятся на Рур. О майских бомбежках лагерные старожилы вспоминали с ужасом, да Таня и сама побывала в Эссене, видела километры мертвых руин, целые кварталы, дотла выжженные фосфором и термитом, превращенные в щебень взрывами «воздушных торпед».

Однажды тревога застала ее за работой в канцелярии, она решила не идти в убежище. Проревели и замолкли сирены, затих топот бегущих по лестницам; Таня выключила свет, подняла маскировочную штору и распахнула окно. Промозглая ледяная сырость декабрьской ночи хлынула в комнату. Зябко обхватив плечи руками, Таня стояла у окна, всматриваясь и прислушиваясь. Начали вспыхивать прожектора — она увидела два, потом еще три, потом их стало уже слишком много, чтобы сосчитать; размытые туманом голубоватые световые столбы обшаривали черное небо, качались опрокинутыми маятниками, перекрещивались, сходились в пучки. Стало светлее, на фоне колеблющегося зарева обозначились угольно-черные ломаные очертания крыш.

Далеко впереди уже мерцали тусклые короткие вспышки — это вели огонь зенитные батареи западнее Эссена. Вспышки приближались, стал слышен далекий еще грохот орудий и, почти одновременно, гул самолетов.

Почувствовав инстинктивное желание бежать, Таня отступила от окна, но что-то словно приковало ее к месту. Еще никогда в жизни не слышала она ничего даже отдаленно подобного этому чудовищному звуку, источником которого было все небо от горизонта до горизонта; тысячи моторов, миллионы взбесившихся лошадиных сил мрачно и торжествующе ревели сейчас у нее над головой, в черной ледяной вышине, исполосованной прожекторами и кипящей огненными пузырями зенитных разрывов. На полнеба расплескивая кровавые зарницы, с резким железным грохотом стали бить пушки больших калибров, установленные поблизости, у Ваттеншайда и Гельзенкирхена. А англичане летели дальше — теперь уже было ясно, что и в эту ночь на их штурманских картах обозначены другие цели...

Захваченная жутким и фантастическим зрелищем, Таня не услышала, как за ее спиной отворилась даерь. Вошедший комендант окликнул ее, она вздрогнула от неожиданности и оглянулась.

— Почему переводчица не в бункере? — спросил он, подойдя, закрыл окно и опустил штору. В комнате стало тихо. Не включая света, Фишер присел на край стола и закурил.

— Пронесло, слава Богу,— сказал он.— Сейчас они бомбят Кассель, а вторая волна пошла дальше — в направлении Лейпциг, Галле.

— Уже было сообщение?

— Только что, «тяжелый террористический налет». Ты, надо полагать, чувствуешь глубокое удовлетворение. Приятно видеть, как приходит возмездие, не правда ли?

— Умирают ведь не те, кто виноват...

— О, я знаю, у тебя на все готов ответ. И кто же виноват, по-твоему?

— Я думаю,— убежденно ответила Таня,— что в этой ужасной войне виноваты масоны и евреи. Всякие плутократы, я хочу сказать.

— Ах, плутократы! Ну-ну. А ты не думаешь, что и нам — немцам — тоже хотелось немножко повоевать, а? Может быть, нам действительно не хватало жизненного пространства?

Комендант включил настольную лампу и теперь испытующе смотрел на Таню, поджав губы. Разговор становился опасным.

— Откуда мне знать,— сказала Таня, пожав плечами.— Разрешите, я пойду вниз?

— Погоди-ка, ты мне не ответила. Так как насчет пространства? По-твоему, это выдуманная проблема для Германии?

— Но ведь так ее все равно не решить, правда? Жизненного пространства у вас не прибавится, я думаю.

Комендант усмехнулся.

— Это ты думаешь теперь, когда мы проигрываем аойну. Год назад, когда мы были на Волге и на Кавказе, ты так не думала. И никто не думал! Это все чепуха, все эти разговоры насчет виновности и невиновности. Не знаю, как насчет плутократов в Америке, но в этой стране войны хотел аесь народ. Слышишь? Весь без исключения! Так что бремя ответственности за случившееся несут все — а том числе и те, кто в эти минуты сгорает заживо от английского фосфора. Кто действительно не виноват, так это дети. Детей жаль. Это страшно, когда маленькие умирают под бомбами, страшнее ничего быть не может. Но им все-таки лучше умереть сейчас, чем потом пережить то, на что Германия себя обрекла... Ну? Что ты смотришь на меня своими загадочными славянскими глазами? Ладно, забудь все, что я наговорил, и ступай в бункер, нечего здесь торчать. Они могут сбросить остаток бомб на обратном пути.

На немецкое Рождество окончательно установилась зима. Выпал снежок, стояли ясные солнечные дни с легким морозцем. Жизнь в лагере «Шарнхорст» шла без изменений — каждое утро люди встаaали по сигналу побудки, дежурные таскали бачки с эрзац-кофе, резали хлеб, буханку на четверых, раздавали «цулагу» [1] — иногда это был маргарин, иногда мармелад, иногда конская колбаса, каждая порция размером с половину спичечной коробки. Позавтракав и намотав на себя все что можно, лагерники выходили на аппель-плац, где в морозном тумане тускло светили синие фонари вдоль опутанного колючей проаолокой забора. До аечера здание затихало, только «штубендинсты» [2] мыли полы, драили лестницы и площадки, разносили по комнатам суточные порции угля. Следить за всем этим входило в Танины обязанности, но днем ей все-таки удавалось выкроить два-три свободных часа, чтобы постирать или поштопать, а то и почитать что придется.

Конопатый орловец Валерка подстерег ее на лестнице поздно вечером, когда она возвращалась к себе из канцелярии.

— Тань, ты в воскресенье сможешь съездить в Эссен? — спросил он негромко.— Там один парень хочет тебя видеть...

Таня остановилась.

— Какой еще парень? — спросила она, изумленно глядя на своего напарника по «шарашкиной команде», которого ей удалось вытащить оттуда и устроить на постоянную работу в Эссене в какой-то деревообделочной мастерской.

— Наш, остовец — он про тебя спрашивал, это в том лагере, откуда нам гемюзу возят, знаешь?

— Гемюзу нам возят из «Фридрихсфельда». А ты что там делал? И почему этот парень обо мне спрашивал?

— Да я почем знаю! Мы там работаем, от мастерской, бараки ремонтируем. С самого Нового года. Он вчерась подошел и спрашивает, с какого мы лагеря. А я говорю — со Штееле. Он тогда спрашивает, как, мол, у нас зовут переводчицу, не Татьяной ли...

[1] Zulage — дополнительный паек *(нем.)*.
[2] Stubendienst — дневальный *(нем.)*.

У Тани перехватило дыхание.

— Как он выглядит? — шепнула она, боясь поверить догадке.

— Да так,— Валерка неопределенно пожал плечами,— вроде рыжеватый. А лицо такое корявое, вроде бы от оспы. Ростом невысокий, с меня будет, только пошире.

— Ну, хорошо,— сказала Таня разочарованно.— Так зачем я ему понадобилась?

— А он не говорил. Сказал — спроси, мол, у нее, сможет ли взять в воскресенье увольнительную. Нужно, мол, поговорить. И если сможет, то чтоб передала, где будет.

— Я могу, конечно... но только нужно заранее спросить у коменданта, а сейчас он уже ушел. Завтра я спрошу и вечером передам тебе, а ты послезавтра ему скажешь. Сегодня среда? Ну вот, это будет как раз пятница, успеешь...

На следующий день она сказала Фишеру, что хочет в воскресенье съездить в Эссен, и попросила дать увольнительную сразу, чтобы потом не забыл. Тот не стал возражать.

— Только никаких кино! — зaнаил он, прихлопнув лагерной печатью заполненный бланк.— Попадешься — я тебя выручать не стану.

Вечером она сказала Валерке, что в воскресенье в три часа будет у главного вокзала, где «Дом техники».

— А как он меня узнает? — спросила она.— Ты вот что — скажи, что у меня в левом кармане будет торчать русская газета. «Новое слово» — знаешь?

— Знаю,— снисходительно ответил Валерка.— Читал я эту брехаловку. В левом, говоришь? Ладно, я передам.

По мере того как приближалось воскресенье, ее волнение все росло. Кому и зачем могла она понадобиться? Неужели кто-нибудь из Энска?

Когда пришел долгожданный день, она так торопилась, что не рассчитала времени и приехала на вокзал Эссен-главный почти за час до назначенного срока. Был тусклый январский день, медленный снег беззвучно ложился на мокрый асфальт, тут же превращаясь в слякоть под ногами прохожих. Поглядывая на часы, Таня обошла асю привокзальную площадь до отеля «Хандельсхоф» и назад к виадуку, порассмотрела аитрины, постояла у журнальных киосков. Без четверти три она уже стояла на условленном месте, на углу у многоэтажного, полностью выгоревшего изнутри кирпичного остова с уцелевшими наверху огромными буквами «Haus der Technik».

Она прождала десять минут, двадцать, полчаса — никто не шел. С железнодорожных путей, расположенных как во всех здешних вокзалах на втором ярусе, доносился гул проходящих поездов, свистки, удары колокола. Ее негромко окликнули сзади.

Она обернулась с замершим сердцем — перед ней стоял человек, довольно точно описанный Валеркой, коренастый, с рябым от оспы лицом.

— Татьяна? — спросил он, коснувшись газеты, которая торчала из ее кармана.— Извини, припоздал. Давно ждешь?

— С полчаса,— ответила Таня. Она с удивлением заметила, что на нем нет нашивки «OST»; и вообще по одежде его нельзя было отличить от немца-рабочего — такая же двубортная поношенная теплая куртка, пестрый вязаный шарф, темно-синяя суконная фуражка-тельманка.— Вы хотели меня видеть?

— Ага. Пойдем-ка, поговорим по пути.

— Куда?

— Ну, просто пройдемся, чтобы не стоять. Озябла, небось?

— Ничего-ничего, я не замерзла,— соврала Таня.

Они пошли вдоль кирпичной стены путепровода, от площади.

— Послушай,— сказал Танин спутник,— я буду без предисловий. Ребята из вашего лагеря считают, что ты человек надежный, и Валя тоже хорошо про тебя отзывалась...

— Вы знали ее? — спросила Таня, останавливаясь.

— Знал, раз говорю. Идем, идем.

— Что с ней?

— С ней плохо. Засыпалась она, сама ведь знаешь. Так вот, слушай. Есть к тебе одно небольшое дельце. Сможешь устроить — хорошо, не сможешь — ладно, будем искать в другом месте. Но только в таком случае — молчок. Поняла? Ты меня не видела и со мной не встречалась. Я говорю — для твоей же безопасности, поняла? Если ты, скажем, сболтнешь кому-то про наш разговор и дойдет это до немцев — до меня они то ли докопаются, то ли нет; но уж тебя-то так просто не отпустят. Ну, ты не маленькая, сама понимаешь. Дело, Татьяна, вот в чем. Хорошо бы в ваш лагерь сунуть одного парня, но так сунуть, чтобы комар носу не подточил. Провести по спискам задним числом, будто он у вас давно. Ты подумай хорошенько и прикинь — сумеешь ли это спроворить, чтобы не засыпаться к чертовой матери.

— Я... я не знаю, конечно, можно попробовать, но... ведь лагерные списки есть и в арбайтсамте, и если обнаружится расхождение...

— Это мы понимаем, что списки там есть. Но расхождение может обнаружиться, только если будет проверка; поэтому надо сделать так, чтобы им не пришло в голову

проверять, все должно быть заподлицо, впотай, чтобы, как говорится, без сучка-задоринки. У вас вообще проверки часто бывают? Вот это все ты и выясни. Не выйдет, так не выйдет, что ж делать. Тогда будем пытаться в другом месте. Но хорошо, если бы получилось. Это очень нужно, Татьяна. И тянуть с этим делом нельзя. Ну, скажем — от силы неделя сроку... Ответ ты тогда передашь через Валерку — скажешь просто, да или нет. В обиде не будем. Ну, а если «да», то встретимся тут же, когда тебе удобнее...

Глава 6

Дрезден был ему глубоко противен. Противной была вся Германия, причем не только эта, нынешняя, погрязшая в национал-социалистической гнусности, но даже и прежняя, всегдашняя, Германия вообще — не меняющаяся от режима к режиму, всегда ordentlich, всегда gemütlich, всегда непоколебимо довольная собой и при кайзере и при фюрере, и при ком угодно; противны были немецкие города, одинаково — что новые, бездушно разлинеенные и однообразные, что старые, маниакально кичащиеся своей древностью, подслеповатыми окнами-бойницами, фахверковыми фасадами в кривых переулочках, угрюмыми шестисотлетними кирхами; но из всех немецких городов едва ли не самым противным представлялся Дрезден, напыщенный, весь в пышнозадом барочном купидонстве вперемешку с бидермайером и купеческим модерном начала века, помешанный на своем куртизанском прошлом и культе Августа Сильного...

Взгляд был типично эмигрантский, Болховитинов сам это сознавал, но ничего не мог с собой поделать. Эмигранта ведь медом не корми, а дай позлословить насчет страны, куда его забросила судьба. Брюзжат и негодуют не только по поводу национальных качеств того или иного народа, самому решительному осуждению подлежит вообще все; где бы эмигрант ни жил, окружающее не может идти ни в какое сравнение с тем, что было там, дома. В Брюсселе слишком дождливо, в Париже — зимой слишком сыро, а летом нечем дышать из-за бензиновой вони, где-нибудь в Канне или Ментоне слишком жарко, вместо березок одни пальмы, чертовы метелки, а уж как мистраль задует — вообще житья нет...

Он, правда, всегда считал эту вздорную эмигрантскую ксенофобию явлением чисто российским, с другими эмигрантами общаться не случалось, а вот теперь обнаружил ее и у Риделя — тот тоже любил пройтись насчет неумеренной любви дрезденцев к своей «Северной Флоренции».

Неясным человеком был этот Людвиг Ридель — уроженец Австрии и международный бродяга, бабник, выпивоха, неглупый и вроде бы порядочный, а в то же время обыватель, открыто исповедующий самые обывательские взгляды и даже как бы ими гордящийся — вот, дескать, ничего из себя не строю, весь на виду, таким меня и принимайте... Нацистов Ридель презирал, но говорить о какой-то «борьбе» против них считал недостойным мыслящего человека.

— На фронте — пожалуйста,— пояснял он,— будь я помоложе и похрабрее, с превеликим удовольствием перебрался бы на ту сторону и напялил мундир любой из союзных армий — исключая, понятно, твою обожаемую Красную... Бороться же здесь, сидя в тылу, это вздор и самообман. И вообще, чего ради? Бороться против нацизма как государственной системы уже бессмысленно, государство обречено так или иначе, а нацизм как система взглядов неистребим — задавят его здесь, завтра он вылезет в другом месте и под другим именем. Так ради чего рисковать шкурой? Я еще хочу пожить в свое удовольствие, попить и пожрать, да и поблудить я еще в состоянии — о, еще как!

Предаваясь этим своим рассуждениям, Ридель делался непереносим, разговаривать с ним становилось невозможно — ну что скажешь человеку, который бахвалится цинизмом? Начни возражать всерьез, и будешь выглядеть дураком, провозглашающим банальные истины, а отшутиться, подхватив разговор в таком же ёрническом ключе, язык не поворачивается. Не та тема, чтобы балагурить.

Болховитинов понимал к тому же всю двусмысленность своего собственного положения. Как и Ридель, он служил у немцев, пошел к ним на службу сам, обдуманно и сознательно (по каким причинам — это уж вопрос другой), и разглагольствовать теперь насчет того, что вот, мол, сидим тихо и мирно, приспособились, стали коллаборантами,— не выглядит ли это самым настоящим ханжеством?

Так худо ему не было еще никогда — впереди полная бесперспективность, глухо, никакого просвета. Отсидев положенные часы в конторе, где занимался какими-то ерундовыми расчетами (даже работы интересной, и той не было), он возвращался к себе домой, в Плауэн, где жил неподалеку от православного храма на Рейхсштрассе — собственно, из-за этого соседства он там и поселился. В январе сводка ОКВ сообщила об очередном «выравнивании фронта» на Востоке, в ходе которого был оставлен Энск. Болховитинов уже знал об этом из сообщения лондонского радио накануне, но теперь схема выравненного участка была помещена в газете — да, никакой ошибки, черная линия уже проходила западнее. Долго разглядывая схему, он думал о том, что вот теперь всё, теперь действительно кончено. Раньше хоть были бредовые мечтания: вдруг обстановка там стабилизируется, а ему предложат съездить за чем-нибудь именно туда, и он сможет что-то узнать, выяснить... А теперь будто броневая дверь захлопнулась — глухо, намертво.

Вскоре ему опять пришлось ехать в Прагу. Там уже чувствовалось приближение весны, башенные шпили и колокольни призрачно сквозили в тумане, часто шел мокрый оттепельный снег. Призрачным и тихим казался весь город, погруженный в свое прошлое; молча и торопливо проходили по узким тротуарам немногочисленные прохожие, все городские шумы были приглушены, даже трамваи пробегали без обычного звона и скрежета на поворотах. Неживую тишину пражских улиц нарушало лишь рычание патрульных вездеходов с номерными знаками войск СС.

Побывал Болховитинов в нескольких русских семьях — здесь все было более или менее по-прежнему, колония жила обычной эмигрантской жизнью, только победнее да потише. Ходили слухи о том, что немцы собираются в скором времени провозгласить нечто вроде «русского эмигрантского правительства», и именно здесь, в Праге. Называли разные имена, чаще других — генерала Власова; формируемая им РОА получит якобы прежнюю русскую форму и войдет в состав германских вооруженных сил как одно из «самостоятельных» национальных формирований — наподобие словацких, хорватских и иных частей.

В этот свой приезд он с особой, беспощадной ясностью увидел, до какой степени чуждым стал теперь для него привычный когда-то эмигрантский мирок. Как мог он раньше находить общий язык с этими выпавшими из времени и реальности людьми? Сейчас общего языка не находилось. Недавно крестная опять сказала ему: «Да ты вовсе обольшевичился там за этот год, сударь мой, и что это ты, право, назад вернулся — уж оставался бы там в своей Совдепии, коли так по сердцу пришлась...»

Вернувшись в Дрезден утром в воскресенье, Болховитинов позвонил Риделю и узнал, что на работе полный бедлам — еще трое десятников получили повестки, фактически фирма остается без среднего технического персонала, и старик грозится разогнать по объектам самих инженеров, пусть, мол, все катится в свинячью задницу. И действвтельно, в понедельник Вернике собрал сотрудников и объявил, что все проектные разработки фирма прекращает, а господам инженерам придется отныне взять на себя функции прорабов, десятников и тому подобное — это уж кому как придется, в зависимости от объекта.

— Понимаю, господа, что разумным такой способ использования ваших профессиональных знаний не назовешь,— добавил он,— но убедить в этом вышестоящие инстанции я не сумел. «Никаких проектов», было мне сказано, и сказано категорически. Даже в области вооружений фюрер дал указание прекратить все разработки, которые не обещают конкретных результатов в шестимесячный срок...

Далее шеф сказал, что пока еще плохо представляет себе, куда кого можно направить, и предложил сотрудникам подумать самим — может быть, каждый подыщет себе объект, наиболее устраивающий его по тем или иным соображениям.

Болховитинов сразу подумал про Остерберг. Там пробивали какую-то «штольню промышленного назначения», как было сказано в проектном задании,— вероятно, для расположенного неподалеку оттуда фрейтальского сталелитейного завода. В Остерберге, насколько ему было известно, работали русские, он только не знал — военнопленные или «восточники».

Чтобы не вызвать подозрений, он выждал еще два дня, пока большинство объектов было распределено и страсти вокруг этого поутихли, и пришел к шефу.

— А куда же мы денем вас, дорогой Больхо-фитинофф? — осведомился тот, по обыкновению произнося его фамилию так, словно второй ее половиной была немецкая «Фитингоф».

— Да мне, в общем, все равно,— ответил он,— самые удобные места, насколько понимаю, уже разобраны? — Он подошел к плану окрестностей и стал его изучать, словно впервые видел.— Конечно, осталось что похуже... Во Фрейталь, держу пари, никто не вызвался. Что у вас там — подземные сооружения? Я мог бы, хотя не совсем мой профиль...

— Остербергская штольня практически готова, теперь туда будут подводить эстакаду, это проще. Вы крайне меня обяжете, если возьмете этот объект...

Глава 7

Возможность побывать в Энске представилась Дежневу лишь спустя две недели после освобождения города, когда полк был наконец отведен в тыл для отдыха и восполнения потерь, понесенных в тяжелых боях под Звенигородкой.

Комендатура, где ему отметили командировочное предписание, разместилась на проспекте Фрунзе, неподалеку от парка. Эта часть города выглядела малопострадав-

шей, развалины — старые, двухгодичной давности — начались только за площадью Урицкого. Точнее, уже на самой площади, где от громадного здания Электромонтаж остались одни присыпанные снежком железобетонные торосы.

Ночью пуржило, но сегодня с утра прояснилось, стало морозить, в разрывах между снеговыми тучами льдисто засветилось между развалинами студеное бледно-голубое небо. А развалины высились вокруг в застывшем безмолвии — плоские пустые фасады, за которыми ничего не было, бесформенные холмы, торчащие из-под снега ржавые швеллера, куски внутренних стен с висящими на погнутых трубах батареями отопления. На выщербленном крупными осколками брандмауэре, оставшемся от трех- или четырехэтажного дома, можно еще было прочитать рекламу Госстраха. Снег был нетронут — в этом районе люди не жили уже давно.

Он шел, оглядываясь и посматривая по сторонам, с трудом распознавая знакомые когда-то здания и места. Пройдя пустую арку ворот, оглядел двор — посреди лежал на днище раскулаченный, без колес, дверей и сидений, кузов немецкой легковушки — и направился к знакомому подъезду. Лестница была завалена битым кирпичом, отвалившейся с потолков штукатуркой, перил не было. Ясно, что Тани здесь быть не может. Нечего даже было сюда идти, надо было сразу к кому-нибудь из тех, кто жили на окраинах — к Володьке на Подгорный, к Людке Земцевой на Пушкинскую, к кому еще? Он попытался припомнить адреса других одноклассников, потом вдруг сообразил, что — если Таня в городе — она должна была оставить весточку о себе именно здесь, по прежнему адресу. Конечно же, все так делают! Он стал торопливо подниматься — площадка второго этажа, еще один марш — окно во двор — добравшись до третьей площадки, сразу увидел бледную, полустершуюся надпись углем на уцелевшем куске штукатурки возле зияющего дверного проема. «Николаева живет на Пушкинской, дом 16». Едва различимые буквы ударили его с такой силой, что ему показалось — пошатнулся дом. А может быть, это он сам пошатнулся. Он стоял и смотрел, потом сделал еще несколько шагов и осторожно коснулся ладонью холодной шершавой штукатурки. Надпись была сделана давно, очень давно.

— Танюша,— сказал он хрипло,— Танюша моя родная...

И кинулся вниз по лестнице, спотыкаясь и обрушивая сапогами мусор и куски кирпичей.

Он почти бежал всю дорогу. Опять мимо руин обкома, за угол, по Коцюбинского, мимо разрушенной ограды биоинститута, и дальше, дальше — пока не увидел знакомый забор, ржавую калитку, палисадник. Ворота были распахнуты, снег за ними истоптан, глубоко прочерчен сдвоенной рубчатой колеей «студебекера» — грузовик загнали правее дома, в изломанные кусты сирени, где когда-то стояла у Земцевых старенькая покосившаяся беседка. Они с Володькой несколько раз обещали Люде ее починить, да так как-то и не собрались...

Он взбежал на крыльцо, без стука рванул дверь в прихожую, потом другую — в коридор. В коридоре было натоптано мокрыми валенками, валялась пустая немецкая катушка от полевого телефона. Перед гудящей печкой сидел на корточках солдат — отвернув от жара лицо, заталкивал в дверцу охапку наколотых досок. Дежнев заглянул в одну комнату, в другую — ни мебели, ничего. В бывшем кабинете Галины Николаевны трое бойцов, весело переругиваясь, расстилали на полу трофейный брезент, оживленные голоса других слышались из кухни.

— Здесь что, никто не жил? — осипшим внезапно голосом спросил он у того, что топил печку.

— Видать, другая часть стояла, мы-то только вот заступили,— ответил солдат.— А гражданских вроде не было викого, товарищ капитан...

Дежнев постоял еще, пытаясь что-то сообразить, повернулся и вышел, затем побежал через улицу — к домику напротив, где из трубы тоже шел дым. Калитка оказалась на запоре, он дернул ее, нетерпеливо забрязал язычком щеколды.

— Хозяева! — крикнул он громко.— Эй там, в тринадцатом — есть кто? Хозяева!!

На крыльцо вышла женщина в накинутой на голову шали.

— Занято, занято все,— закричала она плаксиво.— Сколько можно — почитай человек двадцать уже, ступить в доме некуды!

— Да я не ночевать,— сказал он,— на что мне ваш дом. Давно здесь живете? Я Земцевых ищу — вон напротив, из шестнадцатого. Где они сейчас?

— Так ведь Галвна Николаевна эвакуировалась, аккурат как немец здесь бомбить стал. А Людочку, бедную, угнали в Германию вскорости, сразу после ноябрьских.

— Еще жил там кто-нибудь?

— А как же, товарищ командир! Самая главная ихняя переводчица жила, Татьяной звали. Ох и вредная была девка, прямо сказать потаскуха,— гордая такая, нос кверху, идет это по улице — и не посмотрит, слова не скажет, будто не люди вокруг. А сама ведь с кем только не путалась, то у ей один, то другой, и хлопец этот блондинистый тоже, видать, неспроста...

— Да ты что,— бешеным шепотом сказал Дежнев, когда прошел первый мгновенный шок и его губы снова обрели способность выговаривать слова,— ты что мне прешь, старая дура, ты соображаешь, что говоришь?!

Он схватил ее за плечо и тряхнул так, что она подвизгнула.

— Да истинная же правда, товарищ командир! — завопила она истошно.— Ну хоть кого спросите по соседям — вся улица ее знала, так немецкой подстилкой и называли — провалиться мне, вот-то кстинный крест! Она ведь спервa в магазине работала, в комиссионке, одежей они тут с одним торговали, наживались на чужой-то беде. А после в гестапу пошла служить, уж и одеваться стала по-модному, а немцы к ей на машинах так и шастали, так и шастали,— и военные, и в гражданском, один по-русски чисто так говорил, и не скажешь, что из фашистов! Она на машине и уехала — черная такая машина, вся сплошь лаковая — немец на улице поджидал, она после выходит с чемоданчиком, как прынцесса, он еще дверку за ей прикрыл да подергал. Так и укатила, больше ее, срамницу, и не аидали! Люди говорили, с самим гебицкомиссаром жила...

До сих пор он почему-то слушал, не прерывая, потом долго не мог понять — что заставило его тогда выслушивать все эти гнусности, не мог же он поверить хотя бы сотой доле — или все-таки было, мелькнуло сомнение хотя бы тенью? — а вдруг... да нет, нет, не было этого, просто второй волной снова ударил по нему тот же болевой шок, словно отключив способность осмыслить и понять до конца; но это сразу прошло — он понял, ужаснулся: «Как же я позволяю — такое — о ней?»

— Брешешь, сволочь!! — бешено крикнул капитан.— Я вот тебя сейчас — как собаку!!

Хозяйка, вырываясь, закричала дурным голосом. Хлопнула дверь, забухали с крыльца сапоги. На Дежнева навалились сзади, он вывернулся, потеряв шапку, снова очутился в тисках. «Тише, тише, браток,— уговаривал кто-то, заломив его локти за спину и дыша водочным перегаром в самое ухо,— ну чего шухер поднял...»

— Пус-с-сти,— хрипел Дежнев, шатаясь под тяжестью навалившихся на него, и пытался дотянуться до пистолета,— пусти, говорю... я ее сейчас, фашистскую гадину...

— Да бросьте, товарищ капитан, охота вам под трибунал из-за всякого дерьма! Не связывайтесь, тут есть кому фрицевскими прихвостнями заняться, разберутся...

— Да сыночки! Да милые же! — вопила баба.— Да что ж это делается — что ж он напраслину на меня — я ж ему про переводчицу ихнюю рассказала — вон напротив жила, кто ж ее не знал! — а он меня ж теперь фашисткой и обзывает! Да что ж это, родненькие!

— А ну, цыть! — прикрикнул кто-то.— Расшумелась тут, старая зараза!

Хозяйка крысой шмыгнула в дом. Бойцы отпустили Дежнева, расступились, кто-то поднял его ушанку, отряхнул от снега. Он нахлобучил шапку, стоял ни на кого не глядя, загнанно дыша.

— Спасибо, ребята,— сказал он тихо, и пошел к калитке. Потом обернулся: — Бабу не трогайте, я про нее ничего не знаю... Дура какая-то малахольная, язык без костей, вот и психанул...

На углу он остановился, опять закурил, стал жадно затягиваться, не ощущая вкуса. Зайти еще к кому-то здесь по соседству — зачем? Чтобы еще раз услышать то же самое? Это проклятое бабье если уж кого ославит... Что Таня работала у немцев — это, наверное, факт, такого не придумаешь, если не было. Именно этого он и боялся — давно уже, с той встречи с Николаевым в позапрошлом году, в Москве, когда генерал рассказал ему о дошедших из Энска вестях о каком-то комсомольском подполье; он ведь тогда сразу — как только узнал, что Кривошеин оставлен по заданию,— сразу понял, что Лешка втянет и Таню, не останется она в стороне... Но где она могла работать, неужели и в самом деле хватило ума сунуть ее прямо в гестапо, или это уже домысел? Он понимал, что едва ли сумеет выяснить все сегодня или завтра (срок командировки был двое суток, больше он здесь задерживаться не мог), но в то же время и уехать, не узнавши всего, было немыслимо, он не представлял себе — жить дальше, не зная о сегодняшней Тане ничего, кроме услышанного только что... А у кого узнавать, к кому идти прежде всего — к Глушко? Володька-то — если в городе — должен знать все точно; он вспомнил вдруг, что гораздо ближе, где-то возле «Ударника», живет Сергей Митрофанович — ну точно, на Карла Либкнехта, он еще один раз книги из школы помогал ему нести!

Номера дома он не помнил, но узнал его сразу — старый трехэтажный дом с башенкой на углу, стоит как и стоял, только еще более облупленный, да стекла во многих окнах забиты фанеркой. Дежнев без труда отыскал и квартиру, постучал. Долго не открывали, он уже стал бояться, что и здесь никого не найдет, потом наконец послышались за дверью шаги, женский немолодой голос спросил, кто там, он ответил, что к Свиридовым. Дверь не сразу приоткрылась. Сестру Сергея Митрофановича Дежнев узнал сразу, хотя видел ее раньше всего раза два-три.

— Здравствуйте,— сказал он,— вы меня не помните, наверное, я ученик Сергея Митрофановича — Дежнев Сергей, из десятого бэ, последний выпуск — я был у вас тут один раз...

— Дежнев,— повторила она,— Дежнев, что-то знакомое... Ах, ну конечно же! Дежнев, конечно, брат называл мне вашу фамилию совсем недавно...

— Так Сергей Митрофанович в городе? — спросил он с облегчением.

— В городе, да... Вы проходите, сейчас я вам все объясню. Сюда вот, пожалуйста... и не раздевайтесь, у меня холодно...

Следом за Свиридовой (он не мог вспомнить, как ее зовут, а спросить было неловко) он вошел в ободранную комнату с какой-то нищенской обстановкой — закопченная кастрюлька на покрытом рваной клеенкой столе, фанерный кособокий шифоньер, потолок с обвалившейся штукатуркой, в косой штриховке дранок.

— Дело в том, что брата арестовали на прошлой неделе,— сказала Свиридова, придвигая стул.— Садитесь, прошу вас...

— Как — арестовали? — Спросил Дежнев оторопело.— Наши? За что?

Свиридова пожала плечами.

— Он ведь преподавал в немецкой школе... Да, вы не в курсе, конечно,— немцы здесь в позапрошлом году, осенью, открыли несколько начальных школ; они, правда, не проработали и до середины третьей четверти, но так или иначе... Я ему говорила — зачем это тебе, но ведь вы знали его, он умел быть упрямым... Считал, что лучше свой учитель, чем какой-нибудь немец из колонистов или вообще неизвестно кто. Ну, и надо ведь было на что-то жить, об этом тоже не следует забывать, а работы в городе практически не было... Кто помоложе и посильней, те как-то устраивались, а что мог брат? Мы к тому времени распродали уже все, что имело хоть какую-то ценность в такое время, остались только его книги — на них просто не было спроса — да и то, как «остались», половину сожгли... Впрочем, вам это все неинтересно и ненужно; вы пришли узнать о друзьях?

— Да, я... только сегодня приехал, пытался тут разыскать кое-кого, и вот — вспомнил, что Сергей Митрофанович должен знать...

— Видите, он как в воду глядел. При немцах не говорил мне ни слова — даже после этой истории с Глушко...

— Какой истории?

— Ну как же, Глушко — ваш одноклассник — прошлым летом застрелил здесь какого-то высокопоставленного немца. Ну, и сам погиб. Брат мне тогда ничего не сказал. И только вот теперь, как только их прогнали...

— Глушко? Глушко — застрелил немца? — переспросил он оторопело.— И погиб, вы сказали? Володька Глушко?

— Да, да, это была громкая история, его фотографии были расклеены по городу — немцы объявили вознаграждение, если кто назовет родственников или друзей. И только вот две недели назад брат признался, что был отчасти в курсе, и рассказал мне все, что знал. На случай, если кто-нибудь будет спрашивать, сказал он, и в частности, назвал вас. Он прекрасно понимал, что его могут посадить, поэтому рассказал мне...

— Что он говорил о Николаевой, Тане?

— Танечка работала в гебитскомиссариате, это и я знала, это знали многие. Она, боюсь, вела себя не очень осторожно. Впрочем не знаю, может быть, так было нужно...

— Что вы... имеете в виду? — выговорил он через силу.

— Она несколько... афишировала, что ли, свое положение немецкой служащей. На открытии выставки, например... зачем ей надо было стоять на трибуне вместе со всеми этими оккупационными чинами? Стоять у всех на виду, переговариваться с каким-то офицером, улыбаться — не знаю, впрочем, скажу еще раз — не мне судить, вероятно, это действительно было необходимо. Коль скоро она туда пошла...

— Но почему пошла? Почему?

— Ах, ну это понятно — я и сама подозревала, это было задание подполья, тех же, что и листовки выпускали, у них Алексей Кривошеин был руководителем, но эту деталь я, естественно, узнала только вот теперь, от брата! Самое странное, конечно, это то, что она исчезла — именно тогда, когда погибли Кривошеин и Глушко... Нет, ее не арестовали, она просто исчезла...

Свиридову позвали из-за двери, она извинилась и вышла. Дежнев навалился локтями на стол, стиснул голову в ладонях. Зачем? Какой был смысл? Кто придумал эту проклятую «подпольную деятельность» в немецком тылу, какой от нее был толк, какая и кому польза? Послать девчонку во вражеское кодло, заставить «афишировать» — а что же ей еще оставалось делать, раз она там работала, кричать что ли «смерть немецким оккупантам»? Наверняка в улыбалась, попробуй не улыбнись, да что они в самом деле, с ума что ли посходили? Ладно на фронте — там не приходится думать, кого на смерть посылаешь, солдат есть солдат, но здесь-то, здесь... Мало того, что отступили, бросили, эвакуацию, и ту провести по-человечески не сумели — так нет же, еще мало показалось крови, пошли разжигать всю эту партизанскую героику...

— А почему вы не думаете, что Николаеву немцы арестовали? — спросил он, когда Свиридова вернулась.

— Тут работал один русский из эмигрантов, не военный — просто инженер, строил здесь что-то. Он знал Танечку и был знаком с братом; так вот, уже после всех этих событий он однажды ему сказал, что тоже опасался, не арестована ли она, и наводил справки через немцев, но те ничего о ней не знали...

Дежнев почувствовал, что вообще уже перестает что-нибудь понимать,— еще и эмигрант какой-то, а этот каким образом сюда затесался? Но большего, видно, все равно пока не узнать. Он дал Свиридовой номер своей полевой почты и сказал, чтобы обратилась к нему в случае, если что понадобится.

— Сергею Митрофановичу, если свидание дадут, большой от меня привет,— сказал он.— Насчет немецких этих школ что бы там ни было, но до войны я Сергея Митрофановича знал очень хорошо — ну, как ученик может знать учителя,— и если будет нужно, напишу и подпишу все что надо...

Странно как-то все это, думал он потом, выйдя на безлюдный Коминтерновский проспект, вроде и не в свой город вернулся. Два с небольшим года оккупации — а уже и люди стали другими, не всегда и понять друг друга... Чтобы Сергей Митрофанович учительствовал в фашистской школе? «Не было работы», «немцы даром никого не кормили» — выходит, когда работа находилась, люди спокойно шли и работали, как ни в чем не бывало? Действительно — а как жили люди при немцах, каким был их повседневный быт, как выглядела оккупация изнутри?

Надо все-таки сходить в Замостную Слободку, решил он. Родных разыскивали, значит, они прятались где-то, а сейчас, возможно, вернулись? Может, помочь чем-то — деньгами хотя бы, деньги у него были (он только сейчас запоздало сообразил, что мог бы предложить и Свиридовой, она ведь наверняка тоже бедствует); отца Володькиного вроде сразу тогда призвали, мать, значит, с двумя пацанятами теперь осталась...

Когда добрался до Слободки, уже начало смеркаться. Дежнев прошел из конца в конец весь Подгорный спуск, повернул обратно — и только тут сообразил, что пустырь с давнишней и уже полузасыпанной бомбовой воронкой и есть все, что осталось от усадьбы Глушко. Без следа исчез не только крытый белым этернитом домик, построенный перед самой войной и запомнившийся ему запахами краски и штукатурки и клейкими золотистыми подтеками смолы на свежевыструганных притолоках, исчезло вообще все: сарайчик, летняя кухонька, забор, даже посаженные Василием Никодимычем яблоньки и кусты сирени. Это было понятно — за две оккупационные зимы соседи разобрали на топливо все, что могло гореть.

Капитан машинально прикинул диаметр воронки, профиль выброса — фугасная двухсотпятидесятка, и скорее всего немецкая, значит, еще тогда... да это и видно, что давнишняя, края уже почти сравнялись. Неужели кто-нибудь из Володькиных...

Он обошел несколько соседних домиков — в двух жили новые люди, поселившиеся здесь год-полтора назад, в третьем дверь открыл какой-то глухой в ничего не соображающий дед, и только в четвертом наконец удалось что-то узнать. Да, Глушко погибли все — кроме Володи — в ту первую бомбежку, в августе сорок первого; сам он был где-то в плену, сюда вернулся зимой — нет, не жил, просто приходил один раз, жил он где-то в другом месте. Этим летом, после убийства гебитскомиссара, сюда несколько раз приходили — и из «допомоговой полиции», и немцы какие-то в цивильном — все расспрашивали, интересовались...

Дежневу захотелось вдруг напиться до беспамятства, да где напьешься, остается одно — обратно в комендатуру, отметить убытие и первой же попуткой уехать. Ну, побывал в родных местах, ничего не скажешь...

Самым ужасным было то, что Танин образ вдруг расплылся в его душе — в памяти, в представлении; еще вчера она была чем-то самым близким, знакомым до мельчайшей подробности, живой — будто расстались месяц назад. А теперь он вдруг осознал, что той Тани больше нет, что она перестала существовать, исчезла — даже если и физически невредима, даже если ей удалось спастись — все равно это уже не она, она изменилась внутренне, не могла не измениться, не стать совершенно иной, непохожей на ту, прежнюю, довоенную. Та не могла бы стоять на трибуне с немецкими офицерами, пересмеиваясь с ними на виду у всех.

Сеню Лившица он встретил, не дойдя до комендатуры, и очень кстати, потому что первыми словами Сени было «слушай откуда ты взялся пошли у нас тут небольшой сабантуй» — будто и впрямь судьба подслушала его желание выпить; да и сам Сеня был хороший парень, даром что газетчик, поэтому Дежнев пошел и только потом поинтересовался, по какому поводу сабантуй.

— Странный ты человек как будто обязательно нужен повод,— ответил Лившиц, словно телеграмму вслух зачитал.— Но в данном случае повод действительно есть обмываем высокую правительственную награду наш главный оторвал орден.

— Это что же, журналистская ваша братия гулять будет?

— Не только почему же не все ведь разделяют твои теплые чувства к нашей братии. Ты бы, кстати, объяснил когда-нибудь, чем они вызваны.

— Чем вызваны...— Дежневу не хотелось сейчас затевать спор, но и отмалчиваться почел излишним.— Больно уж правдиво о войне пишете... А вы что, уже сюда перебрались?

— Так точно уже четвертый день со всеми прочими дивизионными тылами. Возможно кстати увидишь свою приятельницу Сорокину она недавно о тебе осведомлилась.

— А-а,— неопределенно откликнулся Дежнев. Назвать сержанта Сорокину его «приятельницей» было, пожалуй, не совсем точно, хотя на фронте кто только не приятель. Им за это время случалось встретиться еще два-три раза, и они даже как-то незаметно перешли на «ты» — так что, может, и в самом деле приятельница; во всяком случае, хорошо, что она сегодня будет, а то там наверняка сплошь народ ему чужой — на уровне дивизии у капитана Дежнева знакомых было не много.

Веселье, когда они пришли, было уже в разгаре, Сеню Лившица встретили шумными приветствиями, пришлось пить штрафную — Дежнев был уверен, что вырубится незамедлительно, все-таки стакан водки на пустой желудок; но ничего подобного не произошло, он вообще не почувствовал никакого действия.

Сорокина действительно была здесь, он приветственно помахал ей через стол. Потом, когда несколько пар пошли танцевать под хрипучий и спотыкающийся патефон, пересел к ней.

— Привет, Леночка,— сказал он,— рад тебя видеть — хоть одно знакомое лицо.

— Я тоже рада, а что ты тут делаешь?

— Командировку себе выбил, это ведь мои родные места.

— Ах вот что, я и не знала. И родные здесь?

— Нет, мать с сестренкой в Туле. Друзей было много.

— Было?

Дежнев молча кивнул, налил себе, потом, спохватившись, потянулся с бутылкой к ее стакану — она быстро прикрыла его ладонью.

— Не надо, Сережа, не могу.

— А я выпью, мне сегодня так хотелось напиться — не получается, идет, как вода...

— Ты, наверное, перенервничал, алкоголь в таких случаях не действует. Узнал что-нибудь... плохое?

— Да уж, наслушался. Ну что, пойдем пофокстротим, тряхнем стариной?

— Не надо, нет. Я вообще думаю скоро уходить. Ты останешься?

— Не знаю, может, и посижу еще. Вообще-то я не знаю здесь никого, меня ведь Сеня затащил — хороший парень, я из-за него и пошел.

— Лившиц? Да, он симпатичный,— согласилась Лена.

— Понимаешь, я его на передке видел, потому и говорю. Он ведь не из тех, о ком нашему брату на ка-пэ звонят и сообщают строгим голосом: «К тебе товарищ корреспондент едет, прими там, обеспечь безопасность» и все такое. Вот тех паразитов видеть не могу... сидел бы уж у себя в Москве, если тебе на фронте безопасность требуется...

— Ну, тут ты не совсем прав, я думаю, это уж местное начальство себя подстраховывает. После того случая со Ставским...

— Не знаю я, кто там кого подстраховывает, а все равно противно. И приезжает зачастую молодой амбал вполне призывного возраста — это как? Есть ведь у нас старые писатели, вот пускай бы они этим и занимались. Ладно, ну их к черту. Я почему заговорил — вспомнил, как Сеня у меня роту в атаку водил. Ничего, нормальный мужик, за Сеню я и выпью. И пойдем, да?

— Куда пойдем?

— Ты ведь уходить собралась, а меня тоже сегодня на веселье не тянет. Схожу в комендатуру, возьму квартирный талон. Я, как приехал, не взял... Думал, будет где переночевать.

Скоро они ушли вместе — потихоньку, ни с кем не прощаясь. На улице подмораживало еще сильнее, воздух сделался обжигающе-колючим, в чистом звездном небе сиял молодой месяц — будто и нет войны, такая стояла вокруг глубокая, мирная тишина.

— Тебе в какую сторону? — спросил Дежнев.

— Недалеко от комендатуры, так что все равно по пути. Если не очень торопишься, пройдемся немного, проветримся, там так накурили. Я, в общем-то, тоже туда случайно попала... не хотелось оставаться дома, мне в эти дни трудно быть одной...

— В какие «эти дни»?

— Да, понимаешь, мальчик мой умер в это время,— объяснила она спокойно, почти деловым тоном.— Когда — точно не знаю, но где-то вот... конец января — начало февраля. Два года уже, я ведь тебе, кажется, рассказывала...— Она помолчала, потом добавила так же деловито: — Знаешь, я, наверное, долго не выдержу. Говорят, время залечивает — какое там, только страшнее становится.

— Это тебе сейчас так кажется,— тоже помолчав, откликнулся Дежнев.— В конце концов...

— Знаю, знаю. «В конце концов, не у одной тебя погиб ребенок» — это ты хотел сказать? Дурак ты, Сережа, извини за прямоту. Впрочем, почему же, по-своему ты прав, просто о другом совсем говоришь. Можешь ты себе представить полуторагодовалого ребенка, который умирает от голода в темной ледяной комнате, рядом с трупами двух стариков? Не можешь? Тогда и не говори ничего. А я вот представляю себе это, понимаешь? Не знаю, может, это и не так было, может быть, бабушка была еще жива, и он умер у нее на руках, и она отогревала его дыханием, сказку ему рассказывала, не знаю. Но я вижу это так, поэтому и говорю, что надолго меня не хватит. Извини, впрочем, у тебя сегодня и своего хватает, как я понимаю...

Ему действительно выше головы хватало своего, и он уже пожалел даже, что пришел на этот дурацкий сабантуй и встретил ее в таком состоянии; но для нее-то это, наверное, лучше — все-таки есть с кем поделиться. Так что, может, и хорошо, что пришел и встретил.

Они уже миновали комендатуру, когда Лена заговорила снова — с той же странной, безжизненно-спокойной интонацией:

— Видишь ли, я погубила их всех, не только Мишеньку, но и Мишиных родителей. Мне недавно рассказали про одну женщину, которая была там в самое страшное время, в первую зиму, и прокормила всю семью — мать, двух сестер — знаешь как? Очень просто, она стала донором; там, оказывается, можно было сдавать кровь, за это давали дополнительный паек, и вот этим пайком она всех спасла. Худо-бедно, но прокормились. Что на меня нашло, Господи, что на меня тогда нашло...

— Война нашла, ясно что,— отозвался Дежнев,— много ли мы тогда, в первое лето, понимали. Кто знал, что оно так обернется.

Говоря это, он думал и о себе — не в том смысле, что мог не пойти тогда в военкомат; не сделать этого он не мог, но он мог и должен был позаботиться о Тане, заставить ее уехать куда угодно — в Москву, в Тулу, куда угодно, надо было списаться с Николаевым, он бы устроил. А как получилось, что и он бросил ее на произвол судьбы, одну совершенно, без единого близкого человека...

— Я иногда просыпаюсь от его голоса,— говорила Лена,— он меня по утрам будил, проснется раньше, и «мама, мама»... У него кроватка рядом стояла — такая, знаешь, с сеточками по бокам, вроде как гамак, только помельче — и он встанет, держится за верхний пруток, прыгает так на месте, как обезьянка, и зовет, будит. Он ходить уже начинал, несмело так, а стоял хорошо, иногда даже не держался. Проснешься, он уже ждет — смотрит, улыбка во всю рожицу, и в глазенках столько радости, столько... доверия, понимаешь, у маленьких ведь всегда эта доверчивость к...

Она не договорила, обеими руками вцепилась вдруг в рукав его полушубка, уткнулась лицом, вся сотрясаясь от беззвучных рыданий. Он стал молча гладить ее по плечам, не пытаясь даже что-то сказать. Пусть плачет, подумал он, это ведь вроде облегчает. И действительно, скоро она затихла.

— Ну что, идем? — спросил он.— Где ты квартируешь-то?

— Послушай, Сережа,— сказала она тихо.— Если хочешь, мы больше не встретимся, я тебе обещаю — но сегодня не оставляй меня одну, прошу тебя, потом я могу хоть на другой фронт перевестись, у меня есть возможности. Но сегодня побудь со мной, я не знаю, что ты сейчас обо мне думаешь, да не все ли равно в конце концов — иначе я — я не смогу, не вынесу, мне ведь от тебя совершенно ничего не надо, просто я одна уже не могу...

Глава 8

Новый комендант появился в лагере неожиданно. Однажды днем, когда Таня, распределив работы между дежурными, занималась стиркой у себя в комнате, ее вызвали в канцелярию. Явившись туда, она увидела человека в форме СА — сапоги, заправленная в бриджи темно-желтая рубаха с продетым под погон ремнем портупеи, заколотый круглым значком со свастикой галстук и большой нож на поясе. Штурмовик был высок и пузат, с подстриженными а-ля фюрер усиками. Он стоял посреди комнаты, расставив ноги и держась обеими руками за широкий поясной ремень. Фишер, морщась от дыма зажатой в губах сигареты, рылся в выдвинутом ящике своего стола.

— Это вот наша переводчица,— сказал он, когда вошла Таня. Потом покосился на нее и добавил: — А это новый комендант, шарфюрер Хакке. Куда к черту могли деваться бланки отпускных свидетельств?

— Они в другом ящике,— сказала Таня.— Разрешите, я найду...

Подойдя к столу, она раскрыла левую тумбу и быстро нашла бланки.

— В высшей степени странно,— квакающим голосом заявил шарфюрер.— Переводчица имеет доступ к лагерной документации? Может быть, печать тоже находится у нее?

— Печать я ношу с собой,— сказал Фишер и ощупал карманы.— Нет, оставил дома. К печати, разумеется, никто, кроме меня, доступа не имеет.

— Но содержимое вашего стола переводчица знает лучше вас,— продолжал новый комендант тем же мерзким голосом.— Должен сказать, это вопиюще противоречит инструкциям.

— А я этих инструкций не помню,— сказал Фишер.— Я, партайгеноссе Хакке, разбираюсь в них так же, как вы в педагогике. Двадцать раз я просил убрать меня отсюда куда угодно... хоть на Восточный фронт.

— Не сомневаюсь, что ваше истинно-германское желание будет удовлетвореяо, партайгеноссе Фишер,— проквакал Хакке.— Переводчица может удалиться.

— Jawohl, Herr Lagerfuhrer! — отчеканила Таня и сделала четкий поворот налево кругом. Выйдя на площадку, она присвистнула изумленно и горестно — ну и фрукт!

Через час к ней зашел Фишер. Видно было, что он расстроен, но старается этого не показывать.

— Н-ну, переводчица,— усмехнулся он, закуривая,— кажется, твоя сладкая жизнь окончилась. Что?

— Зачем вам было отсюда уходить,— сказала Таня с упреком.— Сидели бы тихо — никто о вас и не вспомнил бы...

— Не по мне должность. Я все-таки учитель, а не надсмотрщик.

— Но людям было с вами хорошо. А теперь прислали этого...

— Да, это экземпляр,— Фишер покрутил головой.— Ладно, проживете и без меня. В сущности, помочь им всем я все равно не мог... Что я мог сделать — увеличить хлебные нормы? Или снять колючую проволоку? Не неси чепуху, переводчица. Лагерь есть лагерь, независимо от личности коменданта. Проживете и с новым. Я только хотел тебя предупредить!

Он поднял палец, строго глядя на Таню:

— На жизнь лагерников перемена начальства повлияет мало. Но! На твою жизнь она повлиять может. И еще как! Слушай меня внимательно, переводчица. У тебя могло сложиться самое превратное представление о собственной безнаказанности, а также о снисходительности и доверчивости немцев вообще. Но ты жестоко ошибаешься, моя милая. Просто тебе посчастливилось напасть на Фишера, который сквозь пальцы смотрел на все твои фокусы!

— Но... я не понимаю... о каких фокусах вы говорите?

— Не спрашивай, переводчица, не спрашивай, я не такой уж дурак, каким тебе показался. Ты думаешь, я не заметил подчищенных списков? Невиданное свинство, за месяц протащить в лагерь двух человек, неизвестно откуда взявшихся. Ты слишком уж расхрабрилась, переводчица! И ты хоть немножко отдаешь себе отчет, в какую игру ввязалась?

Он смотрел на нее, ожидая ответа. Она молчала.

— Кто эти двое? — негромко спросил Фишер.— Откуда они вообще выползли?

— Не знаю,— сказала Таня, глядя в сторону.

— Кто дал тебе указание устроить их в лагере?

— Никто мне не давал никаких указаний...

— Логичный ответ, переводчица. Логичный и вполне убедительный. Такие ответы особенно нравятся следователям. Ты знаешь, что делают в гестапо с такими упрямыми дурами?

Таня посмотрела Фишеру в глаза и снова отвела взгляд.

— Ты даже не позаботилась приготовить хотя бы самое примитивное объяснение,— сказал тот.— Слушай-ка, ослиная ты голова! Если это дело вскроется — ты устроила их за взятку. Это ясно? «Шарнхорст» до сих пор слыл лагерем довольно либеральным, и неудивительно, что эти двое просто захотели перебраться сюда из лагеря с более строгим режимом. Они предложили тебе взятку — не знаю там, плитку шоколада или пару чулок — и ты согласилась. Так, может быть, отделаешься сравнительно легко. И сиди тихо и смирно, а тем, кто подучил тебя подобным фокусам, скажи, что обстановка в лагере изменилась. Ты меня поняла, переводчица?

— Да, господин Фишер... А нельзя мне уйти? Уж лучше копать землю...

— Не думаю, что он тебя отпустит. Ты действительно хотела бы отказаться?

— Если бы отпустил...

— Значит, остановка только за этим? А кто, в таком случае, стал бы колдовать над списками?

— Ну...— Таня беспомощно пожала плечами.— Вы же говорите, теперь это все равно невозможно — при новом коменданте...

— Это как сказать,— усмехнулся Фишер.— Ведь ты же такая хитрая и находчивая, а? А вдруг тебе в голову придет еще какая-нибудь блестящая идея? Вдруг партайгеноссе Хакке тоже окажется болваном? До сих пор тебе, насколько я знаю, удавалось неплохо обделывать свои делишки. А, переводчица?

— Я не понимаю,— сказала Таня.— То вы говорите, что нужно сидеть тихо, то...

— То что? Сидеть тихо, моя милая, вовсе не значит сидеть сложа руки. Что главное в жизни? Долг, долг и еще раз долг! Человек рождается именно для этого, для постоянного и неуклонного выполнения своего долга, каким бы он ни был. Раньше моим долгом было учить детей, а теперь мне снова придется стать солдатом — да, да, это тоже будет выполнением долга, не смотри на меня так! Долг — это не всегда то, что нам нравится. Ты что же думаешь, я не понимаю всей преступности этой войны? Однако, если отечество потребует, чтобы я принял в ней участие, я так и сделаю. Потому что долг есть долг! А твой долг здесь, сейчас, это помогать соотечественникам — чем можешь и сколько можешь. Фалентина это понимала.

— А те, что ее увезли, они тоже выполняли свой долг?

— Естественно! Долг не может быть каким-то универсальным, общим для всех; на фронте немец стреляет в русского, русский стреляет в немца, и каждый при этом выполняет свой долг — так уж устроен мир, никуда не денешься...

Начало царствования шарфюрера Хакке подтвердило справедливость пословицы о новой метле. В первый же день он обошел все комнаты и устроил Тане разнос, заявив, что в лагере грязно, как в иудейской бане. Кроме того, он нашел, что население распределено неравномерно — в одних комнатвх народу больше, в других меньше. Таня объяснила, что вначале все были расселены поровну, но потом люди сами начали переселяться, как им было удобнее; тут есть, например, группа крестьян, вывезенная из-под Орла,— естественно, что они предпочитают держаться вместе. Или, скажем, холостяки — они тоже собрались в одной комнате, потому что жить вместе с семейными им неудобно, те и другие будут стеснять друг друга...

— Quatsch,— решительно квакнул Хакке.— Это трудовой лагерь, а не санаторий! Чем это они могут друг друга стеснять?

— Вы понимаете, у семейных есть дети, а в мужской комнате курят...

— Курят? Почему курят? Кто разрешил курить в лагере? Неслыханное безобразие! Откуда они берут сигареты — попрошайничают на улицах?

— Да нет, просто подбирают окурки.

— Подбирают окурки! Великолепно! Колоссально! Вместо того, чтобы работать, они таскаются по улицам и собирают окурки! Ну ничего, я живо наведу порядок в этой синагоге! Немедленно перераспределить людей по комнатам! Объявишь об этом сегодня перед ужином! Возьми списки и раздели общее количество людей на число комнат, и пусть перебираются сегодня же вечером. Койки в каждой комнате должны стоять в определенном порядке! Никаких занавесок и перегородок — только порядок! И чистота!

До самого вечера она просидела над списками, пытаясь перераспределить людей по комнатам так, чтобы по возможности меньше нарушить их сложившийся уже как-то быт, чтобы и овцы были целы и волки сыты. Раздав списки дежурным, пошла к себе. Приближалось время ужина, и все обитатели седьмой комнаты были уже дома.

— Товарищи, к нам вселяют еще четырнадцать человек,— объявила Таня.— И потом придется разобрать все «купе». Это приказ коменданта. Койки расставить строго по ранжиру. Занавески он тоже запретил.

В комнате стало тихо.

— Позвольте,— сказал желчный интеллигент,— это же нелепость, по меньшей мере...

— А вы скажите это коменданту,— посоветовала Таня.

— Лично я считаю, что Леонид Викторович прав,— вмешалась жена николаевского коммерсанта.— Если комендант такое придумал, так уж переводчице молчать нечего! Взяла бы да сказала, чем приходить тут распоряжаться — это убрать, это переставить! Подумаешь, шишка какая!

Коммерсантша была дура-дурой, все это знали, и обижаться на ее слова было глупо; но Таня, и без того уже взвинченная, обиделась так, что у нее перехватило дыхание.

— Потрудитесь мне не уквзывать! — крикнула она звенящим голосом.— Я сама знаю, что можно сказать коменданту, и чего нельзя!

Ни на кого не глядя, она ушла к себе за занавеску. Действительно, собачья должность!

За столом продолжался оживленный разговор — одни собрались идти с протестом к коменданту, другие считали это бессмысленным. Спорили долго, потом кто-то позвал:

— Танечка, можно вас на минутку?

Она встала, вышла из-за своей занавески.

— В чем дело?

— Вы можете сейчас пойти с нами к коменданту?

— Хорошо, идемте,— сказала Таня, пожав плечами.

В канцелярии горел свет, Таня постучалась и услышала из-за двери квакающее «Herein!».

— Господин комендант, люди из комнаты номер семь просят разрешения с вами поговорить,— сказала она, войдя вместе с двумя «делегатами».

— В чем дело? Выкладывайте!

Таня обернулась к желчному интеллигенту.

— Господин комендант вас слушает.

— Мы просим перевести ему следующее,— сказал тот въедливым голосом.— В седьмой комнате живут интеллигентные люди с семьями, что было принято во внимание прежним комендантом, когда решался вопрос о числе жильцов. Сейчас к нам хотят вселить дополнительно четырнадцать человек, среди которых могут оказаться люди, лишенные определенных культурных навыков, шумные, неопрятные...

— Вы не то говорите, Леонид Викторович,— шепнул второй делегат.— Ну при чем тут «шумные»? Скажите, что мы просим не переставлять койки...

— Попрошу не перебивать,— огрызнулся интеллигент и продолжал, обращаясь к Тане: — Скажите, что мы, в конце концов, имеем право на какие-то элементарные удобства. Не можем же мы жить так, как живут в других комнатах простые колхозники!

— Чего они хотят? — нетерпеливо спросил комендант.

Таня перевела. Как по-немецки «интеллигентные», она не знала, и сказала просто «специалисты с высшим образованием». Хакке слушал ее, выпучив глаза.

— Итак, господам требуются удобства,— проквакал он, когда Таня кончила.— Может быть, их не устраивает также отсутствие ванных комнат? Может быть, им нужны номера-люкс?

Он осведомился об этом вполне мирным тоном, словно обсуждая реальную возможность, и вдруг обернулся к желчному интеллигенту, еще больше выкатив глаза и побагровев.

— Невиданная наглость! — заорал он диким голосом.— Я тебе покажу «удобства»!! Я тебе покажу «высшее образование»!! Вон отсюда, старая задница!!!

Делегацию вымело за двери в один миг.

— Хамство какое,— с достоинством сказал Леонид Викторович, поднимаясь по лестнице.— Обычная история, произвол местных властей. Уверен, что наверху ничего об этом не знают...

Они были уже на площадке второго этажа, когда внизу с треском распахнулась дверь.

— Dolmetscherin hierher! [1] — раздался на всю лестницу вопль коменданта.

Таня вернулась в канцелярию. Хакке стоял посреди комнаты, расставив ноги в начищенных сапогах, и держал руки за спиной.

— Zu Befehl, Herr Lagerfuhrer [2],— упавшим голосом сказала Таня, стоя у порога. Она сразу поняла, что дело плохо.

Хакке смерил ее свирепым взглядом.

— Ближе!

Таня несмело приблизилась.

— Так ты что это задумала, красотка? — угрожающе тихим голосом спросил комендант.— Решила организовать коллективный протест?

— Я... я ничего не организовывала,— пролепетала она, и отступила на шаг.

— Смирно стоять! — рявкнул Хакке.— Кто тебе разрешил водить сюда делегации? Это ты посоветовала этим дегенератам явиться ко мне со своими идиотскими претензиями?

— Я не советовала,— сказала Таня совсем тихо, чуаствуя, как холодеют щеки.— Они попросили меня перевести — это ведь моя обязанность...

— Твоя обязанность состоит в том, чтобы переводить мои распоряжения, а не белиберду всякого болвана, которому они не нравятся! Твоя обязанность состоит в том, чтобы помогать мне управлять трудовым лагерем — а не ставить палки в колеса! О-о, я сразу понял, что ты за штучка. Я видел, как ты тут вертела задом перед старым слюнтяем Фишером! Неудивительно, что он дал тебе слишком много воли! Но только учти, со мной это не пройдет. Я тебя вышколю, красотка, и очень скоро. Ты у меня будешь ходить по струнке! Что?

— Прошу освободить меня от должности переводчицы, господин комендант,— сказала Таня, снимая с левого рукава повязку.— В лагере есть люди, которые достаточно знают немецкий, чтобы переводить ваши распоряжения.

Хакке смотрел теперь на нее с интересом исследователя, наблюдающего новое явление.

— Вот как,— сказал он.— Ну, что ж. Дай-ка сюда!

Таня подошла и протянула ему повязку. Это была полоса плотной, вроде прорезиненной, белой ткани шириной в ладонь и около сорока сантиметров длиной с отпечатанными по ней черными готическими буквами. Хакке взял ее, скрутил в жгут и наотмашь хлестнул Таню по щеке. Она вскрикнула и отшатнулась, схватившись руками за лицо.

— Опусти руки! — крикнул шарфюрер.— Стоять смирно!

Новый удар обжег другую щеку. Потом Хакке швырнул скомканную повязку ей в лицо и, тяжело дыша, отошел к своему столу.

— Надень,— сказал он.— А теперь ступай скажи дежурному шуцману, что я приказал запереть тебя на ночь в угольном бункере и выпустить завтра перед побудкой. Ты думала отделаться от меня так просто? Дрессировка только начинается, мое сокровище!

Продолжение следует

[1] Переводчицу сюда! *(нем.)*

[2] По вашему вриказанию, господин комендавт *(нем.)*.

УСТАМИ БУНИНЫХ

Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы под редакцией Милицы Грин

12/25 апреля [1]

В «Известиях» написано, что Волошин отстранен из первомайской комиссии: зачем втирается в комиссию по устройству первомайских торжеств он, который еще так недавно называл в своих стихах народ «сволочью».

Часов в 10 утра Волошин прибегает к нам. Он написал ответ и хочет прочесть его Яну. Содержание его письма приблизительно следующее: Есть разница между тем, если сам человек предлагает свои услуги или к нему обратились за помощью. В данном случае обратились к нему, как знатоку русской поэзии. Он согласился оказать посильную помощь и вдруг его за это же порочат.

Ян слушает, ухмыляется: — Прекрасно, но только ваш ответ не будет напечатан.— Волошин удивлен: — Что вы, мне обещали. Я уже был в редакции.— Попробуйте,— говорит Ян,— я очень сомневаюсь.〈...〉

〈...〉Яна стали травить в «Известиях». Пишут, между прочим, что «нижняя часть его лица похожа на гоголевский сочельник». Что это значит, мы так и не поняли. Перелистала даже Гоголя, но и он не помог.

Шли по улице, как всегда чувствовали омерзение, и вдруг чудное пение. Что это?

— Это Синагога,— сказал Ян,— зайдем.

Мы вошли. Мне очень понравилось пение. Масса огня, но народу мало. 〈...〉 Я ощутила религиозный трепет. Лучшее, что создало человечество,— это религия.〈...〉

18 апр./1 мая

Декрет о запрещении пользоваться электричеством — всем, кроме коммунистов.〈...〉

〈...〉Рабочий праздник. 〈...〉 После завтрака иду бродить по городу одна. 〈...〉 Все дома с красными флагами, на балконах ковры — по приказу новых властителей,— вероятно, для того, чтобы узнать, у кого есть ковры и затем их реквизировать. 〈...〉

На Соборной площади плакат: стоит толстый буржуй и за шиворот держит рабочего, подписано 1918 г., рядом стоит рабочий, а буржуй подметает улицу, подписано — 1919 год.

На углу Дерибасовской и Екатерининской плакаты на ту же тему: разница между 1918 и 1919 годами. В 1918 стоят буржуй и немец, а под ними лежит рабочий, в 1919 стоят рабочий и солдат на буржуе, у которого изо рта торчит огненный язык. 〈...〉 На бывшей кофейне Робина, которая с первых же дней новых завоевателей была превращена в красноармейскую казарму, и на балконах которой постоянно сушатся подштанники, рубахи, висит огромный плакат: рабочий, солдат и матрос выдавливают прессом из огромного живота буржуя деньги, которые сыпятся у него изо рта. Народ останавливается, молча посмотрит и двигается дальше. Дальше двигаюсь и я, до самой Екатерины, которая завернута в серый халат. А сзади памятника, над Чрезвычайкой, огромный плакат в кубическом духе: кто-то стоит с неестественно длинной ногой на ступенях, увенчанных троном, а подпись такая:

Кровью народной залитые троны
Мы кровью наших врагов обагрим.

Авторы плакатов, в большинстве случаев, очень молодые художники. Есть среди них дети богатых буржуев, плохо разбирающиеся в политике и почти не понимающие, что они делают. 〈...〉

19 апреля/2 мая

В газетах — списки расстрелянных. Тон газет неимоверно груб. Приказы, касающиеся буржуев, в самых оскорбительных тонах, напр., «буржуй, отдай свои матрацы». В газетах вообще сплошная ругань. Слово «сволочь» стало техническим термином в оперативных сводках: «золотопогонная сволочь», «деникинская сволочь», «белогвардейская сволочь».

По городу плакаты такого возмутительного содержания, что «от бессильного бешенства темнеет в глазах и сжимаются кулаки»,— говорит Ян.

И что за язык у них! Все эти сокращения, брань, грубость. 〈...〉

Окончание. Начало см.: Нева. 1991. № 5.

26 апр./9 мая

У нас завтракает писатель Федоров. У него седые длинные волосы. Он очень приятен на этот раз. Настроен против большевиков.〈...〉

Заходим вечером к Куликовским. Сидят в полутьме. Дм. Н. бодр. Ир. Л. волнуется, говорит, как всегда, быстро, быстро, сама себя перебивая. 〈...〉 Передает, что идут разговоры о дне «мирного восстания». 〈...〉 Что за бессмысленное сочетание слов — «мирное восстание»? И как может восставать правительство? 〈...〉 Говорят, что отбирать будут все, оставляя только самое необходимое и то в очень малых размерах. Как-то даже не верится. Ведь этим они возмутят всех, восстановят против себя все население. 〈...〉

30 апр./13 мая

С утра в городе волнение. Угроза приведена в исполнение: издан декрет о «Мирном восстании», то есть в законном порядке ходить по домам и отбирать у всех все, оставляя по паре ботинок, по одному костюму или платью, по 3 рубашки, по 3 пары кальсон, по 2 простыни, по 2 наволочки и все в таком роде, и по 1000 рублей денег на человека. Город разделен на участки и в каждый участок командируются работники и работницы, стоящие на советской платформе, и для контроля, что ли, назначаются чиновники и служащие в банках. Многие, говорят, отказываются, что, конечно, не безопасно. 〈...〉

Легко представить, что пережили все граждане, и сознательные, и несознательные. Одни мучились, в чем остаться, что надеть на себя — башмаки или туфли? Некоторые напяливали на себя несколько костюмов. 〈...〉 Мы испытывали очень противное чувство: мы живем в доме, где много ценных вещей — картин, фарфора, ковров, икон... Поживиться было бы чем.

Но вдруг в 2 часа дня узнаем, что «мирное восстание» отменяется. Моментально город облетают 2 версии: 1) вмешательство английского крейсера 〈...〉 и 2) немирное восстание «ропитовцев» (т. е. рабочих в «Русском Обществе Пароходства и Торговли»), они меньшевики. Рассказывают, что когда начали производить «мирное восстание» в порту, то пролетарии встретили пришедших кипятком и ножами. О, эти легко не расстанутся с собственностью, они не буржуи!

В тех квартирах, где это «восстание» произошло, обыскивали «честно». Женщинам распускали волосы, подозревая, что в прическах драгоценности, тщательно осматривали клозеты, высыпали соль, сахар, желая убедиться, что ничего не спрятано. 〈...〉

2/15 мая

〈...〉 И вот все, как водится: самый революционный народ в мире устраивает еврейский погром. 〈...〉 На Большом Фонтане убито 14 комиссаров и человек 30 мирных жителей. Все лавчонки против дачи Ковалевской разнесены, хозяевам удалось спастись. Ночью в рыбацком селении около монастыря солдаты врывались в дома, стаскивали с кроватей ни в чем не повинных людей. Люди бросались в поле, в море. За ними охотились, как за зайцами, по мокрым от росы хлебам. Убит Моисей Гутман, тот самый, который нас перевозил с дачи,— очень милый еврей. Все сделано было так неожиданно, что многие попались врасплох, спаслись те, кто успел сесть в лодку и уйти в море. Расстреливали человека со сна, на глазах родных. Расстреливали люди, не видевшие раньше своих жертв, месяц назад прибывшие с севера.

В этом погроме чуть не погиб Алек. Абр. Кипен. Он живет у рыбаков, как раз там, где происходил погром, а в эту ночь он, к счастью, ночевал в санатории «Белый цветок», которая стоит среди поля совершенно одиноко в верстах двух от моря. На рассвете к ней подъехал отряд красноармейцев. На крыльце кто-то находился. Солдаты спросили: «Нет ли здесь жидов?» Им ответили, что нет ни одного.— «Побожись!» — Побожились. И солдаты отъехали. Как это страшно и примитивно! Великое счастье, что Александр Абрамович спал. Он не отрекся бы. С ним был уже такой случай в Кишиневе во время погрома. Его спросили, кто он. Он, конечно, по своему благородству и храбрости, ответил, что он еврей. Но ему не поверили, найдя, что он не похож на «жида». 〈...〉

7/20 мая

〈...〉 ухожу в библиотеку с радостным чувством, что большевики еще не заставили меня работать черную работу, и я спокойно могу сидеть там, сколько душа хочет, в тишине и оторванности от всего,— это настоящий отдых! И все же во мне разлита печаль. Читать не могу,— вместо этого вношу в свою голубенькую тетрадку свои заметки. У меня своя полка. Иногда голубенькая тетрадка остается на ночь тут, среди моих книг; но иногда охватывает страх, что сделают обыск, и я уношу ее домой.

С утра слухи, что опять назавтра день «мирного восстания». Избит, ранен и ограблен художник Бодаревский. Он лежит теперь в больнице. Он с сестрой жил у себя на даче. 〈...〉 Явились «товарищи» и заявили, что им известно, что у них в саду зарыто золото. Конечно, никакого золота не оказалось, а бедный старик чуть не умер. 〈...〉

15/28 мая

⟨...⟩ Приходил Юшкевич уговаривать Яна поступить в Агит-Просвет. Он доказывал, что просвещать всегда, при всяких властях, хорошо. Ян только плечами пожимал. Юшкевич настаивал, указывал, что Яна могут обвинить в саботаже. Ян возражал: «Саботируют те, кто служит и портит дело. Я же не служил и заставить меня служить никто не смеет».— «Но ты умрешь с голоду»,— кричит Семен Соломонович.— «Лучше стану с протянутой рукой на Соборной площади, чем пойду *т у д а*. Пусть этот факт останется в истории...».

Оба кричат, волнуются. Юшкевич просит отложить ответ до завтра: — «Обдумай!». ⟨...⟩

Охотников в Красную армию нашлось очень мало: почти никто не явился ни из буржуев, ни из пролетариата. Вероятно, начнутся скоро обыски и облавы. Будут искать уклоняющихся.

16/29 мая

Дождь, холод. Мы сидим после нашего так называемого обеда с Яном и обсуждаем, что же ему ответить Юшкевичу. Вчерашнее посещение оставило на нас очень неприятное впечатление. Ему, понятно, хочется, чтобы Ян вошел туда. Репутация Яна безупречна, а потому для всех входящих важно, чтобы он был с ними. Решаем, что быть с Юшкевичем откровенным не следует, кроме крика из этого ничего не выйдет, что Ян твердо заявит ему, что уж если он решит работать у большевиков, то вернется в Москву.

Через 2 часа Ян возвращается, говорит, что решительно отказался, и что Юшкевич, наконец, отстал, поняв, что ничем его не возьмешь. ⟨...⟩

⟨...⟩ Вечером за бутылкой вина Ян с Нилусом спорят: П. А. искренно верит, что они повернут дело по-своему. Ян доказывает, что, кроме позора и неприятностей, они ничего не получат.— «Уж если нечего есть, так служи где-нибудь писцом или чем хочешь, но отдавать им самое дорогое — никогда!» П. А., волнуясь: «Искусство выше всего и нельзя отказываться от того, что возвышает жизнь». ⟨...⟩

19 мая/1 июня

⟨...⟩ Делается все голоднее и голоднее.

Ежедневно появляются списки расстрелянных. В Киеве пишут прямо и откровенно — «в порядке проведения красного террора в жизнь, расстреляны такие-то», перечислено 40 человек, после каждой фамилии краткая характеристика вины, как, например, домовладелец. Есть уже и профессор — Флоренский. Ян из себя выходит:

— Что значит — в порядке проведения в жизнь красного террора? ⟨...⟩

4/17 июня

⟨...⟩ Перед сном мы с Яном вспоминали Ростовцевых, Котляревских, их журфиксы и салоны, и как все это странно, точно с другой планеты. Могли выходить из дому, когда хотели, зажигать электричество и так далее, а теперь... ⟨...⟩

6/19 июня

⟨...⟩ Мы часы не переставили и живем по-прежнему. Говорят, опасно ходить по улице с часами, на которых Божеское время. Уже родился рассказ, как один красноармеец спросил у одного господина: «Который час?». Тот вынул часы и сказал. Красноармеец увидел, что время старое, схватил часы и растоптал.

11/24 июня

Вчера целый день была занята стиркой, сегодня полоскала, развешивала. Физический труд приятен, но досадно, что он утомляет так сильно, что нет уже сил заниматься умственным. ⟨...⟩

Есть слух: подписан мир и взят Харьков. ⟨...⟩

На днях Ян принес известие, что в Одессу присланы петербургские матросы, знаменитые своей беспощадностью. ⟨...⟩

⟨...⟩ По улицам на каждом шагу подводы с награбленным буржуйским добром. Многие дома стоят почти пустыми. Куда же все увозится? ⟨...⟩

⟨...⟩ До чего дожили: из Одессы в Москву, все равно, как в сказке о Змее-Горыныче, и сколько всяких застав в виде тифа, холеры, крушения поездов и, наконец, че-ка.

⟨...⟩ узнали, что в Киеве опять «в проведение в жизнь красного террора» расстреляли еще нескольких профессоров, среди них Яновский. И я вспоминаю высокую фигуру этого знаменитого профессора-медика ⟨...⟩

⟨...⟩ Фельдман [2] предлагал употреблять буржуазию, вместо лошадей, для перевозки тяжестей. ⟨...⟩

12/25 июня

Целый день гладила. Устала больше, чем от стирки. Никогда не подозревала, что гладить так тяжело. ⟨...⟩ Руки, как у прачки,— все облезли. ⟨...⟩ Но приятное чувство удовлетворения. Исполнила то, что казалось невыполнимым. ⟨...⟩

13/26 июня

После обеда выхожу пройтись и вдруг ⟨...⟩ встречаю Анюту. Вот обрадовалась! Показываю с гордостью содранные пальцы. Возвращаюсь домой. Она загостилась дома из-за забастовок. ⟨...⟩

⟨...⟩ — Ну, а что слышно в деревне, что говорят о большевиках?

— Там ужасное творится. Придут петлюровцы — забирают в солдаты. Потом большевики — тоже. Вот и бывает так, что отец против сына, брат на брата. Страсть, что делается. Все ждут перемены власти, а какой — не знают. ⟨...⟩

14/27 июня

⟨...⟩ Главный комиссар университета студент второго курса ветеринарного института Малич. При разговоре с профессорами он неистово стучит кулаком по столу, а иногда и кладет ноги на стол.

Комиссар Одесских Высших курсов — студент первокурсник Кин, который на всякое возражение отвечает: «Не каркайте».

Комиссар Политехнического Института Гринблат, разговаривая со студенческими старостами, держит в руке заряженный револьвер.

Говорят, что низшие служащие очень недовольны, о чиновниках и говорить нечего. Такой идет повсюду кавардак, что даже подумать страшно. Вот куда заводит мнение, что университет — это фабрика, профессора — высшая администрация, а студенты — рабочие. И это мнение бывшего ученого, пишу «бывшего» потому что, мне кажется, что Щепкин сошел с ума, ⟨...⟩

27 июня/10 июля

Вечером на бульваре, но никого из знакомых не встречаем. Проходим по всему бульвару. Останавливаемся у лестницы под памятником Ришелье, пощаженным большевиками. Неподалеку от нас видим двух барышень, очень кокетливо одетых, и молодого человека. У всех на руках повязка с буквами «Ч. К.». Стоят с оживленными лицами, чему-то смеются... Взглядываю на Яна, он, побледнев, как полотно, с искаженным лицом, говорит: — Вот, от кого зависит наша судьба. И как им не стыдно выходить на люди со своим клеймом!

Я вглядываюсь в их лица, стараюсь запомнить: барышни брюнетки, довольно хорошенькие, с черными глазами, худенькие, среднего роста — барышни, как барышни, типичные одесситки. Молодой человек с самым ординарным лицом во френче, с фатовским пошибом, со стэком в руке.

Стараюсь поскорее увести Яна, хотя и хочется последить за этой тройкой. Даю слово больше сюда не приходить, так как он очень неосторожен и, кроме того, вижу, что подобное зрелище, ему доставляет невыносимое страдание.

Идем мимо домов, из окон которых свешиваются ленивые морды красноармейцев, отовсюду слышится гармония, пение, ругань. В некоторых домах уже пылает электричество, хотя еще светло. Театры и иллюзионы залиты электрическими лампочками, кровавыми звездами.

Всю дорогу Ян не может успокоиться. Он даже как-то сразу осунулся. И все повторяет: — Нет, это иное племя. Раньше палачи стыдились своего ремесла, жили уединенно, стараясь не попадаться на глаза людям, а тут не стесняются не только выходить на людное место, а даже нацепляют клеймо на себя, и это в двадцать лет! ⟨...⟩

30 июня/13 июля

Трудно описать, что пережили мы вчера. Такого состояния я никогда не испытывала. ⟨...⟩

Около 10 часов по астрономическому времени слышим голоса под окнами во дворе, стук сапог, лязг берданок. Влетает Анюта, бледная, но спокойная:

— Пришли. И пошли прямо к Евгению Осиповичу [Буковецкому], в столовую.

Ян остается на месте за письменным столом. На столе маленькая керосиновая лампочка — дожигаем остаток керосина. Я не выдерживаю и иду туда, где обыскивают. Стараюсь быть спокойной. А между тем уверена, что кончится большой бедой. В буфетной, где как раз находились солдаты с берданками, за тонкой перегородкой, лежит в пустой комнате много нестиранного белья наших сожителей. Они затянули со стиркой и теперь нет возможности перестирать все это количество. Если заглянут туда — все пропало... Красноармейцы, самые обыкновенные великороссы, стоят как-то конфузливо. Прохожу мимо, здороваюсь, кланяюсь, прохожу в столовую, где живет хозяин. Около столовой маленькая комнатка, в которой стоит комод. Начинают обыски-

вать именно этот комод. Считают рубашки. За обеденным столом, где час тому назад весело пировали скромные именины, сидит высокий, с наклонностью к полноте молодой человек и записывает, сколько чего обыскивающие находят. Я сажусь за этот же стол, слушаю и смотрю. Слышу, спрашивают:

— Сколько рубашек?

— Семь,— отвечает хозяин, который все время что-то безостановочно говорит.

Начинают считать. Оказывается девять. Возмущение.

— Как не стыдно,— говорит записывающий,— интеллигентный человек, а обманывает.

— Да помилуйте,— говорю я,— какой мужчина знает, сколько у него в комоде белья!

⟨...⟩ Кроме рубашек, все оказалось правильным. Обыскивающие вошли в столовую.

— Показывайте припасы.

Вынимает наволочку, в которой мука.

— Сколько?

— Пятнадцать фунтов,— отвечает хозяин,— да нас 7 человек здесь живет.

— Какое пятнадцать,— перебивает грудным голосом солдат,— тут целые тридцать будет.

Начинается спор. Мирятся, что 25 и что это на 7 человек. Муки ни у нас, ни у Нилуса нет, а потому хозяин и говорит, что это на всех. То же самое было и с сахаром. Наконец, им, видимо, надоело, и они пошли в следующие комнаты. Хозяин умно повел их после столовой наверх, где спал П. Ал. и где теперь школа. Я не стала подниматься с ними. Пришла и села на диван против стола. Ян сидел все в той же позе, как и полчаса тому назад. Он был в очках, перед ним лежала книга, но он не читал.

Прошло минут 20. Слышим спускающиеся тяжелые шаги по нашей чудесной широкой деревянной лестнице. Еще минута, и стук в дверь. Опять остроумно — он привел их сначала в комнату Яна, а не в мою, которая выходит в холль. Я чувствую, что у меня сердце бьется так, что я едва могу дышать. Я знаю, что в ванной комнате, которая находится между нашими комнатами, стоят огромные сундуки, оставленные румынскими офицерами, которые реквизировали во время войны эти комнаты. Что в этих сундуках, мы не знаем. Вероятно, оружие, мундиры — а за все это не помилуют. Лично у нас мало чего — драгоценности зарыты на очень высокой печке,— вряд ли они туда полезут. Могут только отнять последние деньги. Но мерзее всего, если они начнут рыться в рукописях Яна — и на что еще наткнутся в них.

Входят трое более ли менее интеллигентных людей, а за ними, стуча берданками, вваливаются кривоногие мордастые красноармейцы. Ян, в очках, с необыкновенно свирепым видом, неожиданно для меня заявляет:

— У меня вы обыска не имеете права делать! Вот мой паспорт. Я вышел из возраста, чтобы воевать.

— А запасы, может быть, у вас есть,— вежливо спрашивает тот молодой человек, который возмущался хозяином.

— Запасов, к сожалению, не имею,— отрывисто и зло говорит Ян.

— А оружие? — еще вежливее спрашивает предводитель шайки.

— Не имею. Впрочем, дело ваше, делайте [обыск],— он кидается зажигать электричество.

При свете я испугалась его бледного, грозного лица. Ну, будет дело, зачем он их раздражает,— мелькнуло у меня в голове.

Но солдаты стали пятиться, а молодой человек поклонился со словами: — Извиняюсь. И все вышли тихо один за другим.

Мы долго сидели молча, не в силах произнести ни слова.

Вошла Анюта.

— Ушли, слава Богу, пошли по квартирам теперь,— и смеясь, передает, как один солдат сказал другому: — Дом-то хорош, а живут голоштанники! ⟨...⟩

Идем в столовую. Вытаскивается из недр бутылочка вина, и мы распиваем ее на радостях. ⟨...⟩

⟨...⟩ Были у Тальниковых. Виделись там с Куликовскими. Как он всегда весело, с радостной улыбкой здоровается. Но как он за последнее время подался, похудел. Рассказывает, что на днях он чуть не потерял сознание на улице.

— Уж очень действуют на меня расстрелы и издевательства в чрезвычайке. ⟨...⟩

— Говорят, палачам платят по 1000 рублей с жертвы плюс все, что на нем.

— Говорят, что расстреливают, и особенно свирепо, две молоденькие девушки. Есть еще один садист, который перед тем, как выдать расстреливаемого палачам, вызывает его из камеры и катается с ним на извозчике, нежно прижимая его к себе ⟨...⟩

10/23 июля

Большевики большевиками, а жизнь берет свое. После Петровок очень много свадеб среди простого народа. Не довольствуясь гражданским браком, идут венчаться в церковь. Попадаем и мы на свадьбу. Жениху, сыну умершего друга Яна, 19 лет, невесте — 20. Когда их уговаривали подождать, они возражали: «Мы столько уже пережили, сколько раньше в 30 лет не переживали. Что еще дальше будет? ⟨...⟩

⟨...⟩ Я надеваю лучшее платье. Мы идем. Пять часов вечера (я всегда указываю астрономическое время). Церковь пуста. Народу немного еще. Жених и невеста приходят пешком. Невеста в белом, но без фаты. ⟨...⟩ Пировать будем завтра, в Ольгин день, именины сестры молодого. После венчания грустно расходимся по домам. Все нелепо — и эта скороспелая свадьба, муж-мальчишка, студент Художественной школы, невеста учится танцевать, а теперь при большевиках уже выступает в одном из многочисленных театриков. Оба уже люди новой формации, новых вкусов, стремлений, и хотя они не коммунисты, не большевики, но большевизм уже развращающе действует на их души. Вспоминаем его отца, оригинального и интересного человека, необыкновенно органического. Как был бы чужд ему сын...

11/24 июля

⟨...⟩ Я рассказываю, что дорогой видела по стенам расклеенные афиши, извещающие, что в СКВУЗ'е — нулевой семестр. ⟨...⟩ Я объясняю, что это обозначает подготовительный курс для университета, открытый для того, чтобы революционный народ мог в 6 месяцев, будь то рабочий, мужик от сохи или баба, подготовиться к университету, по всем факультетам, вплоть до математического. Я не шучу. Один вновь испеченный профессор из большевицкой печки доказывает совершенно серьезно, что весь гимназический курс можно пройти в полгода. ⟨...⟩

Отправляемся на пир. Пьем чай с хворостиками, едим фрукты. Молодые с молодежью веселятся. ⟨...⟩ Среди гостей дама, только что выпущенная из чрезвычайки. Она сравнительно хорошо прожила там, пристроившись к кухне. Но навидалась многого.— «Самое тяжелое для молоденьких барышень, когда их гонят убирать, например, Крымскую гостиницу, населенную красноармейцами, которые кувшины, тазы употребляют совсем не на то, на что они предназначены. ⟨...⟩ если узнают, что она княжна или графиня, тут на самую грязь назначают, а какая ругань стоит, если бы вы знали! Особенно Богородицу не щадят. Прямо жуть брала».

Потом шли разговоры, что куда ни поселится революционный народ, всюду он вносит разрушение: «Вот,— рассказывает один господин,— ⟨...⟩ в лучшие дома и особняки переселили рабочих с Пересыпи, и, Боже, ⟨...⟩ во что они превратили дома и квартиры, я уж не говорю, что все засалено, ободрано, но они ванны превратили в отхожие места, и получились такие очаги заразы, что самые красные врачи говорят, что если не принять экстренных мер, то эпидемии разовьются. ⟨...⟩ Кажется, решено — весь этот революционный пролетариат водворить на старые квартиры. ⟨...⟩

15/28 июля

⟨...⟩ Настроение у всех тяжелое. Арестовывают профессоров. Некоторые успели скрыться. Так Линиченко, дав слово, что отправляется в чека, куда-то ушел, и его не могут найти. Билимович тоже скрывается. Рассказывают, что Левашов скрывался где-то в Отраде, и его кто-то выдал. Ночью пришли, сделали обыск. Он спал, его разбудили, спросили, кто он. Он назвал себя фальшивым именем, но ему не поверили и арестовали. Арестован и проф. Щербаков. Председатель чрезвычайки Калиниченко, студент-медик второго курса, профессорам говорит «ты» и издевается над ними, все грозит расстрелами.

16/29 июля

Утром библиотека. Там тоже рассказы о расстрелах.— «По ночам, после 12, я слышу пение — это гонят на расстрел буржуев и заставляют их петь. Вы представляете, какое это ужасное пение»,— рассказывает N.

Расстреливать приходится так много, что иногда в мертвецкую привозят еще живого. Недавно сторож так испугался, увидя, что труп зашевелился, что позвонил в чека. И мгновенно оттуда явились палачи и добили несчастного.

Вечером пробираемся по тихим улицам на черствые именины к В. М. Розенбергу. Они ждали нас накануне с пирогом. ⟨...⟩

У них узнаем, в каком ужасном положении находится детский приют. ⟨...⟩ Дети голодают, у них по одной смене, и, когда нужно стирать, они должны лежать голыми в постели. ⟨...⟩ Мы ничего не можем понять: ведь только 3 месяца тому назад было реквизировано столько всяких материй, неужели нельзя было одеть хоть один пролетарский приют! ⟨...⟩

[Запись Бунина:

23.VII/5.VIII

Снова прекрасный летний день, каких было много,— то же серовато-синее чистое небо, зелень акаций, солнце, белизна стен,— и никакой видимой перемены, все буднич-

но. А меж тем вчера, как никогда, была уверенность, что нынче должна быть перемена непременно.

Вчера после трех пришел Кондаков, безнадежно говорил о будущем, не веря в прочность ни Колч[ака], ни Деникина, вспоминал жестокий отзыв Мишле [3] и его пророчества о том, что должно быть в России и что вот уже осуществилось на наших глазах. Потом пришел Федоров и г-жа Розенталь,— принесла весть об эвакуации большев[иков] из Одессы. Кондаков не отрицает эвакуации, но говорит, что она делается для того, чтобы грабить город и куда-то вывозить, расхищать награбленное,— тянут, в самом деле, все, что только можно, не только ценности, мануфактуру, остатки продовольствия, но даже все имущество ограбляемых домов, вплоть до мебели,— и для того, чтобы разворовать те 50 миллионов, которые, говорят, прислали из Киева на предмет этой эвакуации. Потом прибежал Коля: у них был [неразборчиво написанное слово, поставленное в кавычки.— *М. Г.*], которому [неясно.— *М. Г.*] официально заявил об этой эвакуации. Пошел к ним. «Одесса окружена повстанцами. Подвойский прислал телеграмму об эвакуации Одессы в 72 ч., перехвачено радио Саблина — сообщает Деник[ину], что взял Очаков, совершил дессант в Коблеве и просит позволения занять Одессу». ⟨...⟩ Как было не верить? Но вот опять день, каких было много, вышли газеты, долбящие все то же, и ни звуком не намекающие на эту передачу... ⟨...⟩

Вчера говорили о новых многочисл[енных] арестах и расстрелах. Нынче похороны «доблестных борцов» с немцами ⟨...⟩

4 ч. дня в городе. Читал приказы. Уныние снова. О проклятая жизнь!

[Бунин записывает:]
24.VII/6.VIII

⟨...⟩ Ночи прекрасные, почти половина луны. В одиннадцатом часу смотрел в открытое окно из окна Веры. Луна уже низко, за домами, ее не видно, сумрак, мертвая тишина, ни единого огня, ни души, только собака грызет кость,— откуда она могла взять теперь кость? ⟨...⟩ Соверш[енно] мертвый город! На ночь опять читал «Обрыв». Как длинно, как умно нередко! А все-таки это головой сделано. Скучно читать. ⟨...⟩ Сколько томов культивировалось в подражание этому Марку! Даже и Горький из него ⟨...⟩

⟨...⟩ Комендант печатает в газете свое вчерашнее объявление — о лживости слухов, что они уходят: «Эвакуация, правда, есть, но это мы вывозим из Одессы излишние запасы продовольствия» и еще чего-то. Бог мой, это в Одессе-то «излишние запасы»! ⟨...⟩ На базаре говорят, что мужики так ненавидят большевиков, что свиньям льют молоко, бросают кабачки, а в Одессу не хотят везти. ⟨...⟩

[Из записей Ив. Ал. Бунина:]
25.VII/7.VIII

Во всех газетах все то же, что вчера. ⟨...⟩ Возвращаясь, чувствовал головокружение и так тянуло из пустого желудка,— от голода. В магазин заходил — хоть шаром покати! «Нечего есть!» — Это я все-таки в первый раз в жизни чувствую. Весь город голоден. ⟨...⟩

⟨...⟩ Какая гнусность! Все горит, хлопает дерев[янными] сандалиями, залито водой — все с утра до вечера таскают воду, с утра до вечера только и разговору, как бы промыслить, что сожрать. Наука, искусство, техника, всякая мало-мальски человеческая трудовая, что-либо творящая жизнь — все прихлопнуто, все издохло. Да, даром это не пройдет! ⟨...⟩

28.VII/10.VIII
[Вера Николаевна записывает:]

Очень тяжелые известия об арестованных профессорах. Свирепствует Калиниченко. Говорит им «ты», все время грозит расстрелами... Но пока расстрелян один Левашов. За него хлопотали многие, вплоть до еврейской общины, которая доказывала, что несмотря на то, что он был ярый юдофоб, он у постели больного никогда не делал никакой разницы, бывал всегда безупречен. Щепкин отказался хлопотать о нем...

О расстреле Левашова прежде всего услышали от сторожа, который его узнал в морге среди привезенных трупов расстрелянных.

Говорят, профессор Щербаков заболевает психически. ⟨...⟩

Удается спасать многих госпоже Геккер. Я знаю, что благодаря ей, спасен один чиновник, знакомый Куликовских, он при губернаторе заведовал заграничными паспортами. Удалось доказать, что он выдал по чьей-то просьбе паспорт и одному из теперешних властителей. ⟨...⟩

Но чаще всего удается освобождать из ч. к. за деньги. Освобождение художника Ганского стоило семьдесят тысяч рублей. Торговались долго. Арестован он был, как крупный землевладелец и яростный юдофоб. Сидел он на Маразлиевской и писал портреты своих тюремщиков. ⟨...⟩

А сколько ошибок — расстреливают одного вместо другого. Бывают и чудесные спасения, например, Клименко ⟨...⟩

⟨...⟩ Теперь большинство населения, как говорит наша горничная Анюта, «жаждет перемены власти». Всем надоело жить впроголодь, таскать воду из порта, слышать постоянную стрельбу, сидеть в темноте и, несмотря на весь страх, который желает власть внушить своим подданным, [народ.— *М. Г.*] совершенно ее не уважает. Да, внешне большевиков почти никто не принял и не примет, конечно, никогда. Но внутренне большевизм уже многих развратил и, вероятно, будет развращать еще долго. ⟨...⟩

[Из записей Ив. Ал. Бунина:]
1/14.VIII

⟨...⟩ Нынче газеты победоносно сообщают, что многие «селения восставших кулаков снесены красными до основания». И точно — по городу ходят слухи о чудовищных разгромах, учиняемых красноармейцами в немецк[их] колониях. Казни в Одессе продолжаются с невероятной свирепостью. Позапрошлую ночь, говорят, расстреляли человек 60. Убивающий получает тысячу рублей за каждого убитого и его *одежду*. Матросы, говорят, совсем осатанели от пьянства, от кокаина, от безнаказанности: — теперь они часто врываются по ночам к заключенным уже без приказов ⟨...⟩ пьяные и убивают кого попало; недавно ворвались и кинулись убивать какую-то женщину, заключенную вместе с ребенком. Она закричала, чтобы ее пощадили ради ребенка, но матросы убили и ее, и ребенка, крикнув: «дадим и ребеночку твоему *маслинку!*» Для потех выгоняют некот[орых] заключенных во двор чрезвычайки и заставляют бегать, а сами стреляют, нарочно долго делая промахи.

Вчера ночью опять думал чуть не со слезами — «какие ночи, какая луна, а ты сиди, не смей шаг сделать — почему?» Да, дьявол не издевался бы так, попади ему в лапы! ⟨...⟩

⟨...⟩ Репортер из «Рус[ского] Слова» — «инспектор искусств» по всей России. Говорят, что сын Серафимовича [4] вполне зверь. Сколько он убил! Отец одобряет, «что ж, это борьба!»

4/17.VIII

⟨...⟩ Нынче опять один из тех многочисл[енных] за последние месяцы дней, который хочется как-нибудь истратить поскорее на ерунду — на бритье, уборку стола, франц[узский] язык и т. д. Конечно, все время сидит где-то внутри надежда на что-то, а когда одолевает волна безнадежности и горя, ждешь, что, может быть, Бог чем-нибудь вознаградит за эту боль, но преобладающее — все же боль. Вчера зашли с Верой в архиерейск[ую] церковь — опять почти восторгом охватило пенье, поклоны друг другу священнослужителей, мир всего того, м[ожет] б[ыть], младенческого, бедного с высшей точки зрения, но все же прекрасного, что отложилось в грязной и неизменно скотск[ой] человеч[еской] жизни, мир, где [неразборчиво написанное слово.— *М. Г.*] как будто кем-то всякое земное страдание, мир истовости, чистоты, пристойности... ⟨...⟩

6/19.VIII

⟨...⟩ Был 2 раза в архиерейском саду. Вид порта все поражает — мертвая страна — все в порту ободранное, ржавое, облупленное... торчат трубы давно [неразборчиво написано.— *М. Г.*] заводов... «Демократия!» Как ей-то не гадко! Лень, туиеядство. ⟨...⟩ Как все, кого вижу, ненавидит большевиков, только и живут жаждой их ухода! Прибывшие из Франции все дивятся дороговизне, темному, голодному городу. ⟨...⟩

9/22.VIII

⟨...⟩ В «Борьбе» опять — «последнее напряжение, еще удар — и победа за нами!» ⟨...⟩ Много учреждений «свернулось», т. е., как говорят, перевязали бумаги веревками и бросили, а служащих отпустили, не платя жалования даже за прежние месяцы; идут и разные «реквизиции»: на складах реквизируют напр. перец, консервы. ⟨...⟩

По перехвач[енному] радио белых они будто бы уже в 30—40 верстах от Одессы. Господи, да неужели это, наконец, будет! ⟨...⟩

Погода райская, с признаками осени. От скверного питания худею, живот пучит, по ночам просыпаюсь с бьющимся сердцем, со страхом и тоской. ⟨...⟩

Грабеж идет чудовищный: раздают что попало служащим-коммунистам — чай, кофе, какао, кожи, вина и т. д. Вина, впрочем, говорят, матросня и проч. товарищи, почти все выпили ранее — Мартель особенно. ⟨...⟩

«Я вам раньше предупреждаю» — слышу на улице. Да, и язык уже давно сломался, и у мужиков, и у рабочих.

Летал гидроаэроплан, разбрасывая прокламации Деникина. Некоторые читали, рассказать не умеют. ⟨...⟩

[На этом кончаются записи этого периода. Дальнейшие события рассказаны в дневнике Веры Николаевны. Привожу выдержки:]

11/24 августа

Вчера по дороге в архиерейский сад я встретила Ол. К. З., которая сообщила, что в Люстдорфе десант. Я не придала значения этому сообщению 〈...〉 потом 〈...〉 слышала рассказ о 16 вымпелах у Люстдорфа, но все же отправилась в библиотеку, где Л. М. Дерибас подтвердил мне о десанте и прибавил, что большевики снаряжаются, чтобы защитить Одессу. 〈...〉 После завтрака зашла Марг. Ник. [Полынова] и сообщила 〈...〉, что лучше не выходить после 4-х на улицу. Но мы, конечно, пошли. На Елизаветинской долго сидели 〈...〉 на балконе и видели, как удирали на извозчиках и в колясках матросы, евреи и другие деятели революции. Причем все удиравшие держали ружья наперевес, впрочем, некоторые довольствовались револьвером. Смешнее всего, что никто на них не нападал. Мы долго наблюдали, как выходили и выезжали из Комендатуры переряженные люди. Один в синей блузе, которая очень топорщилась, вероятно, под ней много уносил с собой этот коммунист. Один велосипедист тащился черепашьим шагом,— к велосипеду был привязан белый сверток, конечно, очень тяжелый.

〈...〉 Длинный узкий снаряд, пробивший дом насквозь с Преображенской на Елизаветинскую, ударился в дом, что на углу Софийской и Торговой, но не разорвался и, сбив слегка штукатурку, упал на мостовую. Я видела белый шарообразный пар над мостовой, а выше белый столб, похожий на известковый.

Сегодня утром я проснулась от пушечной пальбы. Было 6 часов утра. Ян уже не спал, мы мигом оделись. Когда пальба прекратилась, Ян исчез. Он было в соборе, и при нем вынесли из алтаря Георгиевское знамя.

Я вышла на базар. Цены на все очень поднялись. Потом мы с Яном встречали на Херсонской въезжавшие автомобили с добровольцами: масса цветов, единодушное ура, многие плакали. Лица у добровольцев утомленные, но хорошие.

5 ч. 30 м. дня. Опять пальба.

Красный балаган окончен, все звезды сняты, красная тюрьма уже не красуется при въезде на Николаевский бульвар. Одна женщина хорошо сказала про это большевистское украшение: «тюрьма свободы». 〈...〉

12/25 августа

〈...〉 Мы решили уехать из Одессы, при первой возможности, но куда — еще не знаем. Власть еще не укрепилась. Нужно подождать, оглядеться. Жутко пускаться теперь куда-либо, но нельзя же вторую зиму проводить в этом милом городе. 〈...〉

15/28 августа

Вчера вели в бывшую чрезвычайку женщину, брюнетку, хромую, которая всегда ходила в матроске — «товарищ Лиза». Она кричала толпе, что 700 чел[овек] она сама расстреляла и еще расстреляет 1000. Толпа чуть не растерзала ее. При Яне провели ту хорошенькую еврейку, очень молоденькую, которую мы видели на бульваре в тот день, когда Ян совершенно пришел в уныние, увидя на ее руке повязку с буквами Ч. К. Она еще кокетничала в тот вечер с очень молодым и щеголеватым товарищем с такой же повязкой...

В газетах пишут, что арестован Северный, который так раскаивался, что выпустил из своих рук Колчака.

Была у Розенталь. Она полна слухов о зверствах, которые теперь совершаются. Вероятно, работают под добровольцев большевики. Необходимо, чтобы как можно скорее прибыла в Одессу твердая власть.

Киев пал.

16/29 августа

〈...〉 Ник. Бор. П. осматривал чрезвычайку. Впечатление гнетущее. Во дворе рогожи, пропитанные кровью, веревки. Это для того, чтобы привязывать к телу груз, перед тем, как бросить его в море. Одежды, вернее, остатки одежд. Особенно тяжелое впечатление производят подвалы, где держали обреченных перед расстрелом. Темницы в Венеции кажутся пустяками.

Товарищу Лизе, которая выкалывала глаза перед расстрелом, лет 14—16. Что за выродок! 〈...〉

24 авг./6 сент.

〈...〉 Вчера был Валя Катаев. Читал стихи. Он сделал успехи. Но все же самомнение его во много раз больше его таланта. Ян долго говорил с ним и говорил хорошо, браня и наставляя, советовал переменить жизнь, стать выше в нравственном отношении, но мне все казалось, что до сердца Вали его слова не доходили. Я вспомнилв, что какая-то поэтесса сказала, что Катаев из конины. Впрочем, может быть, подрастет, поймет. Ему теперь не стыдно того, что он делает. Ян говорил ему: «Вы — злы, завистливы, честолюбивы». Советовал ему переменить город, общество, заняться самообразованием. Валя не обижался, но не чувствовалось, что он всем этим проникается. Меня удивляет, что Валя так спокойно относится к Яну. Нет в нем юношеского волнения. Он говорит, что ему дорого лишь мнение Яна, а раз это так, то как-то странно такое спокойствие. Ян ему говорил: «Ведь если я с вами говорю после всего того, что вы натворили, то, значит, у меня пересиливает к вам чувство хорошее, ведь с Карменом я теперь не кланяюсь и не буду кланяться. Раз вы поэт, вы еще более должны быть строги к себе» Упрекал Ян его и за словесность в стихах: «Вы все такие словесники, что просто ужас».

Валя ругал Волошина. Он почему-то не переносит его. Ян защищал, говорил, что у Волошина через всю словесность вдруг проникает свое, настоящее. «Да и Волошиных не так много, чтобы строить свое отношение к нему на его отрицательных сторонах. Как хорошо он сумел воспеть свою страну. Удаются ему и портреты».

Был присяжный поверенный, офицер, потерявший ногу. 〈...〉 Он просидел 4 дня в харьковск[ой] чрезвычайке. Очень накален против евреев. Рассказывал, как при нем снимали допросы, после чего расстреливали в комнате рядом «сухими выстрелами». Раз 〈...〉 с ним сидел молоденький студент, только что кончивший гимназию, и горько плакал. Его вызвали на допрос в соседнюю комнату, обратно принесли с отрезанным ухом, языком, с вырезанными погонами на плечах — и все только за то, что его брат доброволец. Как осуждать, если брат его до конца дней своих не будет выносить слова «еврей». Конечно, это дурно, но понятно. 〈...〉

Мне очень жаль Кипенов, Розенталь и им подобных. Тяжело им будет, какую обильную жатву пожнут теперь юдофобы. Враги евреев — полуграмотные мальчишки 〈...〉, которые за последние годы приобрели наглость и деньги, вместо самых элементарных знаний и правил общежития. 〈...〉

5/18 сентября

〈...〉 Заходил Кипен. 〈...〉 Говорили, конечно, о евреях. Он не понимает, в чем дело. Ему все кажется, что ненависть к евреям у класса, у власти, тогда как она у 〈...〉 народа, вернее у простонародья, которое рассуждает так: революцией кто занимался главным образом? — евреи. Спекуляцией кто? — евреи. Значит, все зло от евреев. И попробуй разубедить их. Я же уверена, что уничтожь еврейский вопрос — и большая часть еврейства отхлынет от революции. А этого большинство не понимает или не хочет понять. 〈...〉

Стук в дверь, шум. Я подхожу к двери, открываю ее и вижу военного. Слышу, как он спрашивает Людмилу: «Здесь живет академик Бунин?» Я выхожу в прихожую и здороваюсь. Он представляется: «Пуришкевич» [5].

Я: Очень приятно, войдите. Ив. Ал., вероятно, скоро вернется.

П: Мне кто-то передавал, что Иван Алексеевич хотел бы со мной познакомиться.

Я: Да, он будет жалеть, если вы не дождетесь его.

П: Мне некогда. Передайте Ив. Ал. программу нашей партии. Я надеюсь, что и он будет сочувствовать. В ней два главных пункта — конституционная монархия и против евреев.

Я: Ив. Ал. не антисемит. Да кроме того, он человек не партийный.

П: Теперь все должны быть партийны.

Я: Да, это правильно. Но Ив. Ал. поэт. А поэт не может быть партийным человеком.

П: Я — тоже поэт, а в то же время я для партии 〈...〉 даже на луну влезу. 〈...〉

7/20 сентября

Ян целый день писал свою лекцию «Великий дурман».

8/21 сентября

〈...〉 Ян совсем охрип после лекции. Он не сообразил, что читать ее дважды ему будет трудно. Кроме того, он так увлекся, что забыл сделать перерыв, и так овладел аниманием публики, что 3 часа его слушали, и ни один слушатель не покинул зала. 〈...〉 Когда он кончил, то все встали и долго, стоя, хлопали ему. Все были очень взволнованы. Много народу подходило ко мне и поздравляло: Билимович, И[рина] Л[ьвовна] Ов[сянико]-Куликовская, которая, впрочем, сказала, что одной фразы она не простит, а именно: «прочел с удовольствием» — это по поводу того, что солдаты избили автора приказа номер 1. Очень восхищалась Л., но больше всех Ник[одим] Пав[лович] Кондаков: «Ив[ан] Ал[ексеевич] — выше всех писателей, сударыня, это такая смелость, это такая правда! Это замечательно! Это исторический день!» 〈...〉

24 сент./7 окт.

〈...〉 День Добровольческой Армии прошел оживленно, щедро и со вкусом. 〈...〉 Я замечу лишь одно: большая разница с большевистскими праздниками, какое-то свобод-

ное состояние духа, можно говорить, смеяться. Мне кажется, что кровавые плакаты действуют даже на сочувствующих раздражающе. ⟨...⟩

28 окт./10 ноября

⟨...⟩ Вчера была у нас Ольга Леонардовна Книппер [6]. Странное впечатление производит она: очень мила, приветлива, говорит умно, но чувствуется, что у нее за душой ничего нет, точно дом без фундамента, ни подвалов с хорошим вином, ни погребов с провизией тут не найдешь.

Большевики к ним были предупредительны, у нее поэтому не то отношение к ним, какое у всех нас. Очень много одолжений ей делали Малиновские. Они спасали квартиру Марьи Павловны [7]. Шаляпин на «ты» с Троцким и Лениным, кутит с комиссарами. Луначарский приезжал в Художественный театр и говорил речь — «очень красивую, но бессодержательную, он необыкновенный оратор».

Ек. Павл. Пешкова [8] совсем иссохла. Она работает в Красном Кресте, теперь поступила на службу в администрацию Зиминского театра, куда ее пристроила Малиновская. Максимка [9] — ярый большевик. Бонч [10] взял его в секретари — даже Ек. Павл. возмущается, ведь он не способен что-либо делать на таком посту. Об Алек[сее] Мак[симовиче] она ничего не знает.— Мария Федоровна [11] царит, у нее секретарь, сестра Троцкого — г-жа Каменева. ⟨...⟩

Электричества опять нет. ⟨...⟩

23 н./6 декабря

⟨...⟩ Мы опять вступили в полосу больших событий. На фронте положение очень серьезное, напрягаются последние силы. Здесь издаются строгие приказы против разгула и спекуляции. В городе слухи и о большевиках и об ориентации на немцев. ⟨...⟩

2/15 декабря

Уже декабрь. В комнатах холодно. ⟨...⟩ Мы опять как на иголках. Каждую минуту, может быть, придется сорваться с места. Но куда бежать? Трудно даже представить. Курс нашего рубля так низок, что куда же мы можем сунуться? Везде зима, холод. Правда, нас трудно теперь чем-либо напугать — мы знаем, что такое холод, что такое голод, но все переносится легче у себя дома. ⟨...⟩

7/20 декабря

Тучей саранчи, как Атилла, идут большевики. На пути своем они уничтожают все, оставляя голую землю, именно то, что больше всего надо немцам. Кажется, для беженцев с севера готовят Сабанские казармы.

Получили визы на Варну я Константинополь. Вчера на пароходе, уходившем в Варну, творилось что-то ужасное.

Крона стоит 10 рублей, марка — 34 рубля, франк — 95 рублей, и достать невозможно.

Ехать нам не миновать, но когда и куда поедем, знает один Бог. ⟨...⟩

10/23 декабря

3 декабря взят Киев — официальное сообщение. Взят и Кременчуг.

Вчера митрополит Платон прибыл в Одессу. На сегодня назначена аудиенция Н. П. Кондакову и Яну. Но сейчас звонил Варшавский и сообщил, что митрополит экстренно выехал в Ростов. Его взяли на английское судно. Что это значит? Почему такое поспешное бегство? ⟨...⟩

11/24 декабря

Ян был во многих местах. Общее впечатление: паника!

Прежде всего пошел к Кондакову, чтобы его предупредить, что митрополит Платон уехал, но Никодим Павлович уже ушел. Ек. Н., его секретарша, говорила, что положение отчаянное, что жена Шиллинга уже отправлена в Новороссийск на английском судне.

По дороге Ян встретил Кондакова и они отправились к французам хлопотать насчет парохода.

Слух, что Одессу займут 21 декабря. ⟨...⟩

13/26 декабря

⟨...⟩ Вчера мы пили вино, Ян возбудился, хорошо говорил о том, что он не может жить в новом мире, что он принадлежит старому миру, к миру Гончарова, Толстого, Москвы, Петербурга. Что поэзия только там, а в новом мире он не улавливает ее. Когда он говорил, то на глазах у него блестели слезы. Ни социализма, ни коллектива он воспринять не может, все это чуждо ему. Близко ему индивидуальное восприятие мира. Потом он иллюстрировал: — Я признавал мир, где есть I, II, III классы. Едешь в заграничном экспрессе по швейцарским горам, мимо озер к морю. Утро. Выходишь из купе в коридор, в открытую дверь видишь лежит женщина, на плечах у нее клетчатый плэд. Какой-то особенный запах. Во всем чувствуется культура. Все это очень трудно выразить. А теперь ничего этого нет. Никогда я не примирюсь с тем, что разрушена Россия, что из сильного государства она превратилась в слабейшее. Я никогда не думал, что могу так остро чувствовать.

Нилус был тоже грустен: «Вот играл в карты с Евгением и думал: все кончается, уезжаю заграницу, а вернусь ли?» Когда мы с Яном вчера убирались, он сказал: «Боже, как тяжело! Мы отправляемся в изгнание и кто знает, вернемся ли?» ⟨...⟩

15/28 декабря

Письмо от Назарова [12] из Константинополя и Бурцевская газета, где определенно говорится, что Петлюра — немецкий агент. Есть и объяснение настоящей политики Англии по отношению к нам: существует или молчаливый или словесный договор между Германией и Англией. Немцы помогают большевикам завоевать Россию, чтобы завоевать ее для Европы. Если бы побеждала Добровольческая Армия, то она завоевала бы Россию для России, а это вовсе не на руку союзникам. Им выгоднее, если Россию завоюют большевики, с которыми будет легче обо всем договориться. А Деникину и Колчаку они скажут — сами вы не справились, а потому надо разделить влияние.

18/31 декабря

⟨...⟩ В Киеве люди, в страхе и трепете, молились о том, чтобы был туман, чтобы не замерз Днепр. Масса народу шла пешком с детьми, с котомкой за плечами. Острый со снегом ветер дул в лицо, и многие падали. На станции приходили голодные люди и не находили даже куска хлеба. Кидались в деревни, моля о хлебе, о ночлеге, но мужики захлопывали двери со словами: «Вы буржуи!» (Была З. П. Тулуп, которая все это рассказала.) ⟨...⟩

25 декабря

⟨...⟩ Ян последнее время очень страдает. Ночью просыпается, с шести утра не спит. Он раздавлен событиями последнего месяца, не может понять, как все могло так быстро развалиться, где ключ ко всему. ⟨...⟩

27 дек./9 янв.

⟨...⟩ Спор о причинах поражения добровольческой армии. Ш[полянский] и Куликовский уверяли и доказывали, что все произошло из-за аграрного вопроса. Ян возражал и указывал ⟨...⟩, что причины поражения гораздо более сложные. ⟨...⟩ Добровольцев везде бранят, особенно евреи, даже те, кто настроен против большевиков. Рассказывали, что вчера в тюрьму ворвались 60 офицеров и избили политических, а также и смотрителя тюрьмы, который вмешался. ⟨...⟩ Неужели это правда? Говорят, Драгомиров из Киева вывез несколько вагонов сахара, вместо раненых. Неужели и это правда? Говорят, что спекулируют и берут взятки почти все. Что же это такое? Неужели все разложились сверху до низу? ⟨...⟩

29 дек./11 янв.

⟨...⟩ По слухам, Киев был продан. Власти бежали раньше всех. ⟨...⟩ В Киеве объявлены вне закона все судейские, все журналисты, все писатели и даже актеры. ⟨...⟩.

31 дек./13 янв.

Наступают последние часы 19-го года, который принес столько горя и печали. А 20-й может быть еще тяжелей. Мы — накануне того, чтобы покинуть родину и, может быть, надолго. Скитаться без цели, без связи, вероятно, будет очень тяжело. Тяжело уезжать и потому, что близкие в худшем, чем мы, положении, а мы помочь им не в силах. ⟨...⟩

1920

3/16 января

⟨...⟩ Воля [Брннский] предлагал Яну эвакуироваться на палубе, сидя на чемоданах. ⟨...⟩

⟨...⟩ Никодим Павлович сказал: — Вот, Иван Алексеевич, вы опять правы оказались в своем суждении о русском народе: и бестолочь, и слабоволие, разрозненность, недоведение дела до конца, вечная вражда партий, подставление друг дружке ножки, азиатское интриганство.

— Да,— ответил Ян,— Троцкий правит Россией и что же? Не желают или не могут свергнуть это иго. Двести лет под татарами сидели, теперь советской власти подчиняются. 〈...〉

6/16 января

〈...〉 Ян сказал: — А царя, вероятно, причислят к лику мучеников и будут считать святым. Как он мог не бежать, ну, сначала он, может быть, не хотел, а потом — как он мог сам оставаться среди таких негодяев, да еще с дочерьми.

Я: Горький ездил спасать Великих князей, да опоздал.

Ян: Да, какая обида. Неужели я когда-нибудь его увижу?

Я: Ну, а если встретишься?

Ян: Где?

Я: Ну, в Австралии, например.

Ян: Все, что будет в руке, попадет в его голову, предварительно плюну ему.

Я: Неужели?

Ян: Как простить ему то, что он по немецкой указке довел Россию до таких бедствий, и теперь, до сих пор, остается с большевиками?

Нет, этому имени нет, нет и прощеиин!

7/20 января

〈...〉 Слухи: взят обратно Ростов и Таганрог. Говорят, что большевики придут со стороны Николаева недели через три. Взята Каховка большевиками. 〈...〉

Вчера был у нас Ярцев [13]. 〈...〉 Он хорошо вчера говорил, что теперь надо ехать за границу, надо увозить из России Россию, и стараться сохранить ее до тех пор, пока можно будет вернуться. 〈...〉

13/26 января

〈...〉 Из Ростова приехал Коцинский; он офицер. 〈...〉 Он был при объявлении эвакуации Ростова. Очень долго власти уверяли всех, что все вполне безопасно. Жизнь текла весело, все пили, спекулировали — «пир во время чумы». Затем, когда объявили, что большевики близко, всех вдруг объяла необыкновенная паника. Магазины стали заколачиваться, товары подешевели необыкновенно, начались грабежи. Двух повесили. Но никто не обращал внимания. Висит себе человек на соседней площади с высунутым языком, да и только. Власти растерялись.

В Новороссийск столько навалилось беженцев, что и представить невозможно. Это уже библейские картины. Проявление подлинной Руси 〈...〉 добровольцы бежали целыми полками, приходили поезда, переполненные и больными, и трупами, и людьми с отмороженными конечностями. Времена поистине страшные. 〈...〉

18/31 января

Ян вернулся домой очень взволнованный. На вчерашнем заседании решен вопрос об эвакуации, но пока об этом не объявляют. 〈...〉

〈...〉 Почему мы поверили в добровольцев? Мне кажется, что мы очень прониклись за лето презрением к большевикам, к их неумению, беспомощности во всех областях. Правда, Ян говорил, что если добровольцы сорвутся, то они полетят вниз, как снежный ком. 〈...〉

20 янв./2 февр.

Вчера Болотов предупредил нас, что, может быть, завтра мы можем сесть на пароход «Ксения», где уже сидят семьи штабных. 〈...〉

〈...〉 На сердце очень тяжело. Итак, мы становимся эмигрантами. И на сколько лет? Рухнули все надежды и надежда увидеться с нашими. Как все повалилось...

22 янв./4 февр.

〈...〉 Может быть, завтра будет последний день мой на русской земле. Никогда не думала, что придется влачить жизнь эмигрантки, да еще справа... 〈...〉 И все еще не верится, все еще кажется, что что-то обернется, и ты скоро будешь в Москве. 〈...〉

23 янв./ 5 февр.

День сумеречный. Проснулись рано. Окончательное решение: завтра мы грузимся. 〈...〉

[Следующая запись сделана 24 января/6 февраля. Это число дважды подчеркнуто карандашом и на полях рукой Ив. Ал. Бунина поставлено нотабене — это день, когда Бунины тронулись в путь. Можно спорить о том, какой именно датой правильно обозначить отъезд Буниных из Одессы. Можно считать днем отъезда 24 января 1920 года, когда они погрузились на пароход. Однако пароход не сразу покинул порт, что следует из записей Веры Николаевны, 25-го он перешел на внешний рейд, а отчалил, вероятно, лишь 26-го или даже 27 янв./9 февраля — см. запись от 27 янв./9 февр. Сам Бунин писал: «... 26 января 1920 года 〈...〉 эмигрировал» («Весной в Иудее. Роза Иерихона», изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1953, стр. 9).]

24 янв./6 февр. (пятница)

В четыре часа дня мы тронулись в путь. Простившись с хозяином нашим, Ев. Ос. Буковским, с которым мы прожили полтора года и с его домоправительницей, мы вышли через парадные двери, давно не отпиравшиеся, и навалили чемоданы на маленькую тележку, которую вез очень старенький, пьяненький человек.

Истинное чудо, что я достала его за 500 рублей керенками! 〈...〉

〈...〉 Наконец, мы на борту. Наши провожатые втаскивают чемоданы. Ян в ужасе вспоминает, что забыл деньги, запрятанные в газеты. К счастью, газеты он захватил с собой и в них, правда, лежало несколько тысяч думскими.

Кондаков и Ян получили крохотную каютку. Нам же, дамам, сказали, что оставили места в одной из дамских кают, но когда мы осмотрелись, оказалось, что места везде уже заняты.

Незаметно прошел час. Провожающие должны уходить. 〈...〉

25 янв./7 февр.

Пережили самое тяжелое утро в жизни. Из города доносилась все время стрельба. Прибегали люди без вещей с испуганными лицами и вскакивали на пароход, у некоторых были куплены места, у других не было ничего, они даже и не думали «бежать», но поддались панике, которая царит в городе со вчерашнего вечера...

Прибывшие рассказывают, что стрельба на Софийском спуске уже, что с Херсонской уже нельзя добраться. Хороши бы мы были, если бы нас французы не погрузили вчера. 〈...〉

〈...〉 Все время к пароходу подбегали добровольцы с ужасом в глазах, моля, чтобы их взяли на борт. Капитан не отказывает, пока может. Наконец, пароход так переполнен, что нужно говорить: «Нет». Это ужасная минута — бегут обреченные люди, молят о месте и им отказывают. 〈...〉

〈...〉 И вот мы отшвартовываемся. Народу такая масса, что повернуться невозможно. Рассказов без конца. Многие бросили увязанные сундуки, только чтобы спасти свою жизнь. Многие по дороге растерялись с родными. 〈...〉

27 янв./9 февр. (понедельник)

Четвертый день на пароходе. Последний раз увидела русский берег. Заплакала. Тяжелое чувство охватило меня. 〈...〉

〈...〉 Мы в открытом море. Как это путешествие не похоже на прежние. Впереди темнота и жуть. Позади — ужас и безнадежность. 〈...〉

ПРИМЕЧАНИЯ

1. С 12 апреля 1919 г. начинаются записи Ив. Ал. Бунина, вошедшие в «Окаянные дни». Их приводить не буду. Своевременно остановлюсь на его дневниковых записях, сохранившихся в рукописи и, вероятно, послуживших источником «Окаянных дней».
2. Председатель Исполкома.
3. Вероятно, французский историк Жюль Мишлэ.
4. Писатель А. Серафимович, в прошлом участник «Сред».
5. В. М. Пуришкевич, политический деятель, основатель «Союза русского народа», участник убийства Распутина.
6. Артистка Художественного театра; вдова А. П. Чехова.
7. М. П. Чехова, сестра А. П. Чехова.
8. Жена М. Горького.
9. Сын Горького.
10. В. Д. Бонч-Бруевич, секретарь Совнаркома.
11. М. Ф. Андреева, гражданская жена М. Горького.
12. Вероятно, Е. И. Назаров, поэт.
13. Г. Ф. Ярцев, художник.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Александр
ГОРЛОВ

СЛУЧАЙ НА ДАЧЕ

Часть II

КАК ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ?

Сейчас октябрь 1973 года. Я продолжаю начатый мной около двух лет назад дневник, так как последовавший после тех дней ход событий, по-моему, этого заслуживает.

Внешне моя жизнь и жизнь моей семьи протекала как будто никак не отлично от привычных для нашей страны норм. Я работал в прежней должности, и никто меня не трогал. Но ставший теперь общеизвестным факт моей близости к А. И. Солженицыну представлялся большинству столь диким в условиях нашей жизни, что это неизбежно накладывало отпечаток на отношения людей ко мне. Друзья (а их не стало меньше) относились ко мне с подчеркнутой теплотой и вниманием, все другие знакомые — с любопытством. Официальные же, как у нас говорят — «вышестоящие» чины, с которыми я имел дело по службе, смотрели на меня так, будто я только что слез с дерева и стал на задние лапы, забыв надеть набедренную повязку. Конечно, были скрытые вокруг меня течения, о которых я скажу позже, но внешне сохранился статус-кво.

Так было до конца 1972 года, когда в наш институт, который переименовали в ЦНИПИАСС, пришел новый директор, некто Гусаков А. А. Старый директор — умный, интеллигентный, осторожный человек, которому никогда не изменяло чувство реальности, ушел на пенсию. Одной из задач нового директора, как он потом объяснил на совещании начальникам отделов, было провести «чистку». Очень быстро стало меняться и мое положение. Произошли события, после которых я написал и отправил письмо на имя Л. И. Брежнева, в котором протестовал против начатой кампании политической травли меня на работе.

Конечно, основным мотивом, побудившим меня к такому письму, была еще не угасшая надежда как-то «легально» продвинуть дело с защитой докторской диссертации, которая была итогом моего почти 10-летнего труда. Посвящена она была разработке общего подхода к автоматизации расчета и проектирования фундаментов и называлась: «Некоторые задачи расчета и исследования конструкций на грунтовом основании». К этому моменту дело с защитой зашло в абсолютно глухой тупик, из которого я не видел выхода.

В хронологическом порядке события вокруг моей защиты развивались следующим образом.

Как только зарубежные радиостанции начали передачи об инциденте со мной на даче Александра Исаевича, в НИИ оснований, где должна была состояться защита моей диссертации, было решено каким-либо способом вернуть мне диссертацию и все документы. До меня дошли даже слухи о том, что ученый секретарь Совета А. П. Глушко ходит по институту и жалуется на судьбу: «Надо же! Я никогда не верил евреям. Первый раз одному поверил, так и тот оказался другом Солженицына!»

Но вскоре, после того как мне были принесены извинения от Наро-Фоминской милиции, изменилась обстановка и с диссертацией.

Мне рассказали, что из института ездили «куда надо» за разъяснением, как быть с моим делом. Якобы «разъяснили», что делу должен быть дан «естественный ход». Но так как никто не брал на себя смелость решить, как в данной ситуации понимать термин «естественный ход», то все и стояло на месте.

Я ждал, временами наведываясь к ученому секретарю, но получал стереотипный ответ: «Совет перегружен».

Однажды (было это, кажется, в середине марта 1972 года) позвонили из Ученого совета:

— Товарищ Горлов, завтра в 10 утра состоится предварительное обсуждение Вашей диссертации на совместном заседании профилирующих лабораторий. Приезжайте, пожалуйста, чуть пораньше в зал заседаний, чтобы успеть развесить плакаты.

Процедура защиты диссертации состоит из двух стадий. Первая стадия — предварительное обсуждение диссертации («апробация») на заседании профилирующих лабораторий с участием членов Совета — специалистов в рассматриваемой области. Именно здесь происходит детальное профессиональное рассмотрение всех аспектов диссертации и выносится решение: рекомендовать или нет диссертацию к защите на совете. Вторая стадия — защита диссертации на Ученом совете. При успешной апробации защита на Совете, как правило, носит формальный характер и при положительных отзывах оппонентов заканчивается успешно. Далее следует утверждение решения Совета в ВАКе, но это уже никак не прогнозируемый процесс, осуществляемый негласно канцелярией министра.

Поэтому апробация диссертации — ответственная стадия, требующая серьезной подготовки, на которую у меня времени не оставалось. Я так и попытался объяснить: «Но ведь мне нужно дней 10—8 на подготовку к такому обсуждению, нужно подготовить и необходимую экспозицию. Нельзя ли перенести заседание хотя бы на неделю?»

— Перенести заседание нельзя, уже оповещены руководители всех лабораторий. Ждем Вас завтра утром. До свидания.

Ничего не понимая, я повесил трубку. Откуда такой пожар? Уже год, как диссертация в Совете, и вдруг нет недели на нормальную подготовку к ее обсуждению! Может быть, решено таким образом попытаться вынести отрицательное суждение о диссертации и не допустить меня к защите?

Весь вечер и часть ночи готовился к завтрашнему обсуждению: подбирал материалы, от руки рисовал недостающие плакаты, приводил в систему возможные вопросы и ответы. В половине десятого утра уже был в институте.

В коридоре услышал разговор:

— Не знаете, что случилось? Почему так срочно вызывают в зал заседаний?

Мне стало ясно, что и для многих сотрудников института сегодняшнее обсуждение неожиданно.

К 10 часам я развесил плакаты и был готов к любому характеру обсуждения.

Собралось человек 30 ученых и специалистов. Были и просто любопытные. Обсуждение прошло успешно. После моего доклада и ответов на большое число вопросов последовал ряд выступлений известных ученых, положительно оценивших мою диссертацию и рекомендовавших ее к защите. Такое решение и было единогласно принято. Одновременно были рекомендованы официальные оппоненты, которым следовало до защиты направить диссертацию на рецензирование.

Возвращался с чувством огромного облегчения: было похоже, что все встало на нормальные рельсы и теперь можно спокойно готовиться к защите, успех которой зависит только от меня.

В дальнейшем, вспоминая эту историю, я пытался и не мог найти ей объяснения, так как она вошла в нелепое противоречие со всем, что произошло потом. Один из моих друзей высказал предположение, что все явилось результатом чьего-то «высокого» звонка. Возможно, что такой звонок был неправильно понят, и так как за ним не последовало дополнительных разъяснений, то это и вызвало переполох.

Как бы то ни было, но дело сдвинулось с мертвой точки.

Вскоре диссертация была направлена на рецензирование к трем видным ученым, назначенным официальными оппонентами. В дальнейшем, правда, опять произошла задержка, вызванная тем, что один из оппонентов, известный ленинградский ученый, отказался от оппонирования. Он прислал очень хороший отзыв о диссертации, но при этом сообщил, что по семейным обстоятельствам он не сможет приехать в Москву и выступить на защите. По процедуре в таком случае требовалось назначение Советом нового оппонента, новое рецензирование. На все это ушло лето и осень 1972 года, и защита, наконец, была назначена на 16 марта 1973 года.

Был отпечатан и разослан специалистам для заключений краткий автореферат диссертации. Ко дню защиты все оппоненты прислали свои заключения о диссертации. Поступили также 25 отзывов на автореферат. Все заключения и отзывы были положительными, и как будто ничего не предвещало неприятностей.

Но незадолго до дня защиты вдруг стали появляться непонятные факты.

Вначале мне позвонил один из членов Ученого совета, хорошо знающий меня и высоко оценивший мою диссертацию. Он с возмущением рассказал мне, что ученый секретарь Совета уже несколько дней, встречаясь как бы случайно с членами Совета, призывает их выступить против меня на защите. А затем я узнал, что и на оппонентов оказывается давление с целью заставить их изменить свою позицию и выступить на защите против присуждения мне ученой степени. Никто из оппонентов этому давлению не поддался.

Становилось ясно, что вокруг моей защиты ведется какая-то не в мою пользу «работа», но мне оставалось только ждать.

К концу дня в понедельник 12 марта мне позвонил ученый секретарь и попросил на следующий день приехать в институт, чтобы, как он сказал, «окончательно просмотреть перед защитой мои документы, а также ознакомиться с новым конференц-залом, где будет происходить защита».

Я приехал в институт на другой день, 13 марта, еще до начала работы, но ученый секретарь уже был на месте. Разговор с ним оказался намного короче, чем я предполагал:

— Я очень рад, товарищ Горлов, что Вы сразу приехали. Дело в том, что Ваша защита 16 марта не состоится, так как нам не удастся собрать требуемый кворум в Совете на это число.

— Но при чем здесь тогда мои документы, о которых Вы вчера вечером говорили, и зачем мне знакомиться с за-

---

Окончание. Начало см.: Нева. 1991. № 5.

лом? — Я еще не совсем ясно понимал, что происходит.

— Так это же было вчера, а после этого часть членов Совета заболела, а другие уезжают в командировку.

И ему, и мне было ясно, что говорит он дремучие глупости, но другого, очевидно, «они» придумать не смогли. Наличие кворума, как правило, устанавливается в день защиты, а не за три дня до нее. Забегая вперед, скажу, что действительно в день моей защиты ряд членов Совета, к своему удивлению, неожиданно были отправлены в командировки по разным городам или срочно вызваны на какие-то совещания, чем был по-настоящему создан вакуум в Совете.

Я еще спросил:

— Могу ли я встретиться с председателем Совета (он же директор института.— *А. Г.*)?

— Директор очень занят и сможет принять Вас только в понедельник, 19 марта, в 10 утра,— тут же сообщил мне ученый секретарь.

Мне стало ясно, что здесь все продумано в деталях и тратить время на дальнейшие разговоры бесполезно. Я поехал к себе на работу. Предупредил, кого смог, об отмене защиты. Тем не менее 16 марта многие «на защиту» приехали. В вестибюле института стояли какие-то люди, которые сначала подробно расспрашивали приехавших, кто они такие, после чего сообщали им, что защита не состоится.

19 марта утром я приехал в НИИ оснований на назначенную встречу с директором Федоровым. В приемной увидел ученого секретаря, который попросил меня подождать и сказал, что сам доложит директору о моем приезде. Через некоторое время меня пригласили в кабинет директора. Несмотря на то, что я просил о личной аудиенции, там оказалось довольно много народа: директор, его заместитель, ученый секретарь. Никакого откровенного разговора, на что я рассчитывал, быть уже не могло, и встреча, очевидно, теряла всякий смысл. Нелепой была и чересчур торжественная обстановка.

— Итак, мы Вас слушаем,— после общепринятых приветствий сказал директор.

— На 16 марта в вашем Ученом совете была назначена защита моей диссертации...— начал я, но меня неожиданно прервал ученый секретарь:

— Представляете, я с ног сбился, пытаясь собрать Совет: сейчас эпидемия гриппа, многие больны, другие в отъезде! Как работать, как работать?! — И он, перегнувшись через стол, положил передо мной какой-то листок.

Листок оказался списком членов Совета на 16 марта, где против многих фамилий стояло: «болен», «в командировке», «на совещании». Я успел разглядеть, что человек пять в день защиты были срочно вызваны во главе с директором на совещание в Госстрой.

Мои собеседники сидели со скорбным, сочувствующим видом — ну просто опереточная сцена! Трагикомизм ситуации еще усугублялся внешностью директора: очень маленького роста, с огромной, спадающей на грудь бородой, он еле-еле возвышался над столом (в кулуарах мой директор Гусаков говорил про Федорова, что у него при одном упоминании фамилии Горлова борода начинает непроизвольно трястись). На протяжении всей беседы меня не покидало ощущение, что передо мной пушкинский колдун Черномор, и я еле сдерживал улыбку, хотя мне было не до смеха.

— Ну, хорошо, мою защиту отменили. А на что же я теперь могу рассчитывать?

— Что Вы, что Вы! — сказал директор.— Ее не отменили, считайте, что произошло стихийное бедствие. Мы снова назначим Вашу защиту в самое ближайшее время. Вот пройдут уже объявленные другие защиты, и мы назначим Вашу. Это максимум месяц — полтора.

Я попытался коснуться другой стороны:

— Срыв защиты моей диссертации своей неестественностью привлек внимание общественности. Ко мне с расспросами по этому поводу приходят или звонят знакомые и незнакомые люди, и все связывают отмену защиты с моим знакомством с А. И. Солженицыным и с известным инцидентом у него на даче. Этим создается вокруг меня ореол мученичества, который мне абсолютно не нужен. Мне ясно, что если назначение новой защиты будет затягиваться, то это только усугубит нездоровый интерес ко мне и повлияет на естественность хода самой защиты (если она состоится).

— Какой Солженицын, какой инцидент?! — замахал руками директор.— Я ничего не знаю, не слышал, мне это все неинтересно! У нас не было кворума, а защиту Вашу мы назначим в ближайшее время — это все, что я могу сказать. Если у Вас больше вопросов нет, то давайте прощаться.

Судя по всему, мое высказывание повергло их почему-то в неописуемый ужас. Дальнейшее продолжение разговора стало бессмысленным, и я, попрощавшись, уехал на работу.

И, наконец, последний, заключительный штрих к описанной истории. Через 2—3 дня мои оппоненты получили почтовые денежные переводы, каждый на сумму 23 руб. 70 коп.— положенные гонорары за оппонирование. На талоне к каждому почтовому переводу было от руки написано отправителем из НИИ оснований: «За оппонирование диссертации

А. М. Горлова. Защита состоялась (!! — *А. Г.*) 16 марта 1973 года». И штамп почтового отделения с датой отправления — 15.III.73 г.

Этот любопытный документ содержал много интересной информации. Не говоря уж о том, что таким странным способом мне стало известно о моей «состоявшейся защите»!

Во-первых, гонорар выплачивается согласно инструкции только после публичного выступления оппонентов на защите. Здесь же не только не было никакой защиты, но и предупрежденные заранее оппоненты в этот день даже не тратились на дорогу, а занимались своими делами.

Во-вторых, гонорар с уведомлением о состоявшейся защите был отправлен 15 марта (за день до назначенной даты!), хотя уже 14-го было известно, что защиты не будет!

В-третьих, удивительной была поспешность выплаты: обычно это делается через несколько месяцев после настоящей, а не «липовой», как моя, защиты. И уж никак не накануне!

Возможно, все эти нарушения порядка и логики были вызваны тем, что уже тогда было ясно, что моя защита никогда не состоится. Поэтому, наверно, устроители решили скорее поставить точку и закрыть мое дело. Но выглядело все это довольно смешно: как будто существовало опасение, что разгневанные оппоненты тотчас ринутся в НИИ оснований с протестами по поводу лишения их законного заработка, из-за моей защиты!

В дальнейшем моя диссертация «утонула» в бесконечной бюрократической переписке, организованной кем-то за кулисами.

В июле 1973 года, отправив предварительно свое письмо Л. И. Брежневу, я с семьей уехал в отпуск, а вернулся в Москву 2 августа. 6 августа в Москве в гостинице «Россия» открывался III Международный конгресс по механике грунтов, на который я имел приглашение. Поэтому я вернулся в Москву чуть раньше, чтобы подготовить выступление на секции расчета фундаментов.

На мое письмо Брежневу ответа не пришло.

Накануне открытия конгресса я имел беседу с одним из членов оргкомитета, который, в частности, рассказал, что их инструктировал специально прикомандированный «к конгрессу» сотрудник госбезопасности — «мужчина восточного типа в элегантном черном костюме при галстуке». Этот товарищ сообщил, что на конгресс прибыло большое число ученых и журналистов, и нельзя допустить, чтобы в их присутствии произошли какие-либо политические выступления советских «сионистов и диссидентов». Он также уведомил членов оргкомитета, что сам он будет находиться в соседней комнате, а в зале будут присутствовать его помощники. Кроме того, он сказал, что в отношении некоторых подозрительных в этом смысле лиц уже приняты профилактические меры, а если у членов оргкомитета и их помощников появятся на этот счет какие-либо дополнительные данные, нужно немедленно поставить его в известность.

Моя беседа с членом оргкомитета носила непринужденный характер, мы посмеялись над некоторыми сторонами нашей жизни и нелепыми беспокойствами органов госбезопасности («нам бы их заботы», пошутил мой собеседник).

Но эту беседу я скоро вспомнил.

В день открытия конгресса я утром заехал на работу в институт, чтобы предупредить, что буду несколько дней отсутствовать, так как являюсь участником конгресса.

Неожиданно меня вызвал заместитель директора. Разговор был очень кратким.

«Товарищ Горлов, Вам необходимо срочно выехать в командировку. Все документы готовы, получите их и сегодня же выезжайте».

Повод для командировки был абсолютно нелепым: я должен был провести совещание с людьми, которые в это время, как я знал, находились в отпуске. Я об этом сказал и добавил: «Но, кроме того, я намеревался сейчас принять участие в конгрессе, который будет обсуждать принципиальные проблемы, представляющие для меня исключительный профессиональный интерес. Конгресс заканчивается через 5 дней, и я смогу тогда спокойно поехать».

«Вопрос решен, и Вы должны немедленно уехать. Возвратиться Вы должны не ранее, как через неделю»,— был ответ.

Последнее замечание было весьма показательным и не оставляло уже никаких сомнений в цели командировки: меня таким методом высылают из Москвы на время работы конгресса.

(В дальнейшем этот своеобразный метод политической высылки продолжал использоваться и меня уже не удивлял. Удивляла только прямолинейность его организаторов: никто со мной о целесообразности командировок не советовался и не пытался хотя бы придать им видимость какой-то служебной необходимости. Так, например, я проездил 2 недели в конце октября по городам Горький, Свердловск, Новосибирск, пока в Москве проходил «Конгресс миролюбивых сил».)

13 августа я вернулся в Москву из командировки. Конгресс уже закончился. Я узнал, что в докладах на нем упоминались и мои работы по расчету фундаментных плит. Знавшие меня специалисты были удивлены тем, что я не был на конгрессе, но им кто-то объяснил, что я не

смог присутствовать из-за большой загруженности по работе.

Утром 16 августа мне на работу позвонили:

— Товарищ Горлов, говорит Аносов из министерства внутренних дел. Не могли бы Вы приехать в МВД на улицу Огарева в понедельник, 20 августа, в 16.00 по поводу Вашей жалобы Л. И. Брежневу?

— А я ему ни на что не жаловался.

— Но Вы же писали ему?

— Писал, но это была не жалоба, и тем более не на МВД!

— Вот по этому поводу мы и хотим поговорить.

— Хорошо, приеду.

А через час позвонил директор института и просил завтра, 17 августа, быть обязательно у него в кабинете в 14.00.

Вечером в этот день виделся с Александром Исаевичем, рассказал ему о звонке Аносова из МВД. Он очень повеселел: «Аносов? Так это мой старый знакомый! Если я имею дела с милицией, то все это обычно идет через Аносова. От него я получил и недавнее уведомление об отказе в прописке. Это, судя по всему, высокопоставленный чиновник в МВД или КГБ, кажется — полковник. Все переговоры ведет только по телефону, после чего не остается никаких следов».

На другой день ровно в 14.00 я пошел к директору. Открыв без предупреждения дверь его кабинета, я неожиданно увидел довольно много народа: кроме самого директора, там был его заместитель по научной работе, председатель месткома и два высокопоставленных чиновника из Госстроя — начальник отдела, которому подчиняется наш институт, некто Крючков, и его заместитель Некрасов. Все они что-то оживленно обсуждали, склонившись у директорского стола над какой-то бумагой. Мое появление вызвало замешательство. Директор сказал:

— Товарищ Горлов, еще рано. Будьте на месте, я Вас вызову.

Через полчаса меня вызвали к директору. Там были все те же лица, которые теперь сидели за большим столом совещаний, а на столе я увидел свое письмо Л. И. Брежневу. Мне предложили сесть, и Крюков начал разговор:

— Товарищ Горлов, для рассмотрения Вашего письма Л. И. Брежневу создана комиссия в составе присутствующих здесь товарищей. Мы не могли сделать этого раньше, так как Вы обратились прямо к Л. И. Брежневу, и письмо из его канцелярии к нам долго спускалось,— и он попытался изобразить жестом, как далеко от него до Брежнева.

Я был несколько озадачен: если эта комиссия будет разбираться с моим письмом, то что же тогда означает вчерашний звонок из МВД? Или будет какое-то разделение функций? Крючков продолжал:

— Меня вызвал к себе П. Ф. Бакума (член коллегии Госстроя, наше непосредственное высшее начальство.— *А. Г.*), показал мне Ваше письмо, и мы оба пришли в ужас от Вашей первой же фразы, где Вы сами признаете, что дружите с А. И. Солженицыным! Ведь это же действительно невероятно: чтобы советский человек, воспитанный нашим обществом, дружил с этим предателем!

Он обвел взглядом членов комиссии, очевидно, призывая их в свидетели чудовищного моего поступка. Те стали высказываться.

— Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты,— сообщил директор.

— Я своих детей пугаю этим именем,— сказал, кажется, Некрасов.

Было еще сказано что-то похожее. Я же молчал, ожидая продолжения. Крючков продолжал:

— Вы пишете, что перед Вами извинились после протеста Солженицына. Получается, что не милиция оказалась Вашим защитником, а Солженицын! Ведь так не может быть! — Тут он немного смешался, коснувшись, как я понял, «чужой» темы, и перешел к другому вопросу:

— Теперь о Вашей защите. Я перед этой встречей беседовал с директором НИИ оснований, и он заверил меня, что в ближайшее время состоится защита Вашей диссертации. Но вот Вы утверждаете, что защиту Вам отменили в качестве дискриминационной меры. Это очень неприятное слово — «дискриминация», оно не может применяться в нашем социалистическом обществе (в этом месте он неожиданно разволновался и покраснел), давайте лучше здесь и в дальнейшем говорить о мерах предосторожности по отношению к Вам. Ведь это естественно, раз Вы дружите с таким человеком, как Солженицын!

Все согласно закивали головами, и я также сказал: «Давайте».

Судя по всему, моим собеседникам было не до юмора, и никто из них не улавливал нелепости: Солженицын — опасный человек, поэтому Горлову из предосторожности нельзя разрешить защищать диссертацию по расчету фундаментных конструкций!

И вдруг, противореча себе, Крючков сказал:

— И почему Вы вообще решили, что по отношению к Вам проводится дискриминация? Во-первых, как сообщил мне директор НИИ оснований, в назначенный день собрался Совет для слушания Вашей диссертации, но часть членов Совета отсутствовала и поэтому не было кворума. Это естественно и часто бывает. Вас не включили в Ученый совет Вашего института? Так ведь не всех же туда включают! Даже нескромно, что Вы об этом говорите. Вас не послали на конгресс в Болгарию? Ну и что? Туда многих не послали. Меня вот — тоже! — Последняя фраза должна была означать шутку, и все присутствующие заулыбались.

— Никакой Совет на мою защиту не собирался,— сказал я,— и директор НИИ оснований ввел Вас в заблуждение. Меня за три дня до намеченной защиты предупредили об отмене ее. Что же касается Совета нашего института, то моя нескромность здесь ни при чем: я никого не просил и не прошу, чтобы меня туда включали. Я просто оцениваю сам факт: я был постоянно членом Совета много лет со дня его образования и активно участвовал в его работе, за этот период написал несколько десятков научных статей и докторскую диссертацию по профилю работ нашего института. Так как же иначе, кроме дискриминационной меры, можно назвать невключение меня в новый состав Совета? Я сочувствую Вам,— я обращался к Крючкову,— что Вы не побывали на конгрессе, но между нами есть кое-какая разница: меня, в частности, туда пригласили и приняли мой доклад, тезисы которого были опубликованы. Но начальник отдела кадров честно и откровенно мне сказал, что меня не пустят на конгресс за мои «идеологические» ошибки. Так что здесь, по-моему, все ясно.

Зачем была вся эта говорильня? Не затем же они приехали, чтобы разубеждать меня в очевидных и для меня, и для них фактах! Я ждал главного.

— Вы потеряли доверие коллектива,— сказал Крючков.— Я хочу Вам рассказать об одной очень похожей на Вашу истории, которая произошла со мной.

Я и все остальные уставились на него.

— Я на машине наехал на девушку, и меня привлекли к суду. Так вот, знаете ли, пока шел судебный процесс, целые делегации с работы этой девушки приходили и требовали моего наказания. Вот что значит, когда тебя любит и защищает коллектив!

Кто кого любит и почему эта история похожа на мою — я не понял. По-моему, неясно это было и самому Крючкову, так как он вдруг замолчал, пытаясь, очевидно, понять сказанное. Меня подмывало спросить: а что если бы на Крючкова наехал, допустим, министр КГБ Андропов? Проявил бы к самому Крючкову аналогичную любовь его коллектив?

— Мы живем во враждебном капиталистическом окружении, и любая наука в нашем обществе — партийна,— вступил в разговор директор,— даже тензорное исчисление — тоже партийно. Теперь я хочу Вас спросить вот о чем: кто помогал Вам писать Ваши научные работы, получить ученую степень?

Я насторожился и в недоумении посмотрел на окружающих: неужели меня хотят обвинить в плагиате?

— Ну, как кто? Некоторые работы я писал с соавторами, их фамилии указаны в публикациях. А диссертации — и кандидатскую, и докторскую — писал сам, ссылаясь, как это принято, на участие других в получении отдельных результатов. Писать мне никто не помогал.

— Государство Вам помогало, оно выучило Вас, создало для Вас условия, позволившие достичь научных высот,— заявил директор.— И Вы перед ним в долгу. Солженицын и зарубежное радио, используя Ваше имя, выступают против нашего общества и государства. Так вот, если Вы считаете себя патриотом нашей родины, Вы должны выступить в печати с осуждением деятельности Солженицына и решительно от него отмежеваться.

— Трибуна для этого Вам будет предоставлена,— сказал Крючков.— Это может быть, например, заявление для ТАСС или письмо в «Правду».

Вот это и было тем главным, из-за чего со мной вели столь долгую беседу. Значит, ультиматум: или я делаю для ТАСС заявление с осуждением Солженицына, и тогда я получаю и докторскую степень, и должность с высоким окладом; или — я лишаюсь возможности защитить диссертацию, и меня с «черным билетом» выгоняют с работы!

Сказано все это было столь прямолинейно, что некоторое время я не мог собраться с мыслями для ответа. Потом попытался привести какие-то логические аргументы:

— Но позвольте! Ведь мое имя упоминалось в зарубежной прессе и радио не потому, что я дружу с Солженицыным, а потому, что меня избили на его даче. Я ни в чем здесь не был виновен. Наоборот, факт беззаконного насилия надо мной был официально признан, мне принесли извинения. Все как будто уладилось. Так почему же я должен теперь, через 2 года после этого инцидента, выступать с осуждением Солженицына? И как можно ставить в зависимость от этого выступления мою научную и служебную карьеру?

— Не спешите с решением,— сказал директор.— Подумайте, и когда решите такое заявление сделать, сообщите мне.

— Для меня это невозможно,— ответил я.

— Ну что же, тогда на себя и пеняйте,— сказал Крючков.

В понедельник, 20 августа, в 16.00, как было условлено по телефону, я приехал в Управление МВД к Аносову. У него в кабинете я увидел еще двух своих «старых» знакомых из Наро-Фоминска: подполковника Баранникова (при нашей первой встрече 2 года назад он был майором) и тогдашнего своего собеседника, в штатском, назвавшего себя заместителем начальника Наро-Фоминской мили-

ции. Эти двое сидели в стороне, и я их не сразу заметил. Я прошел к столу, за которым сидел высокий, широкоплечий и очень представительный мужчина в штатском — сам Аносов. Он поднялся мне навстречу, пожал руку и предложил сесть.

Происшедший затем разговор был краток по форме и анекдотичен по содержанию.

— Итак, товарищ Горлов, какие претензии у Вас к милиции?

— У меня к милиции? Никаких. А почему они должны у меня быть?

— Но ведь Вы же жаловались на нас товарищу Брежневу. Вот я даже пригласил сюда работников милиции из Наро-Фоминска, которые имели с Вами дело.— Тут я только заметил их и мы поздоровались.

Аносов достал и положил на стол папку, на обложке которой я увидел надпись: «Горлов А. М.».

— Это недоразумение. На милицию я не жаловался, а просто упомянул имевший место инцидент. Но тогда передо мной извинились, и мы больше не встречались. Поэтому, естественно, и претензий к Вам у меня нет.

— Ну, что же. Это и нужно было нам установить. Тогда все,— сказал Аносов, и мы все стали прощаться.

Когда я уже был у дверей, «штатский» из Наро-Фоминска вдруг сказал:

— Поздравляю Вас с успешной защитой кандидатской диссертации.

Я в недоумении посмотрел на него:

— Кандидатскую я защитил 10 лет тому назад.

— Да? А я не знал.

Произошла небольшая заминка: я еще раз попрощался и вышел.

Очевидно, был подготовлен какой-то сценарий встречи, по которому мой наро-фоминский знакомый должен был сказать это поздравление. И вот, хотя разговор не получился, он как исполнительный службист, возможно, решил поручение все же выполнить.

О приезде комиссии и разговоре в МВД я через некоторое время рассказал Александру Исаевичу и Екатерине Фердинандовне.

23 августа, давая в Москве интервью зарубежным журналистам, Александр Исаевич сказал обо мне: «Александр Горлов, в 1971 году не поддавшийся требованиям КГБ скрыть налет на мой садовый дом, с тех пор третий год лишен возможности защитить уже тогда представленную докторскую диссертацию, как и угрожали ему: диссертация собрала 25 положительных отзывов, включая всех официальных оппонентов, и ни одного отрицательного, научно провалить ее невозможно, но все равно защита (по механике фундаментов) не пройдет, поскольку Горлову выражается „политическое недоверие“. Приняты подготовительные меры к увольнению Горлова с работы».

За несколько дней до этого с известным интервью о демократических свободах и диссидентах в нашей стране выступил академик А. Сахаров. В связи с этим по предприятиям Москвы проходили митинги, на которых осуждался А. Сахаров как пособник международной реакции. После выступления Александра Исаевича его добавили к Сахарову и осуждали теперь обоих.

Такой митинг был организован и у нас в институте в начале сентября 1973 года. Я в это время болел и на работе не был.

Тем не менее утром в день митинга мне домой позвонил парторг института и сказал:

— Товарищ Горлов, сегодня состоится митинг сотрудников института, посвященный осуждению (! — *А. Г.*) Сахарова и Солженицына. Мы приглашаем персонально Вас и Турчина[1] присутствовать на митинге.

— Я болен и прийти не могу. Мне, правда, неясно, зачем нужно собирать людей на митинг, если Вы и так уже знаете, что Сахаров и Солженицын будут на нем осуждены?

— Ну, что же, раз Вы больны, тогда ничего не поделаешь. Но я Вас предупредил. До свидания.

Судя по всему, мою фразу он не понял.

Вечером ко мне приезжал один из моих сослуживцев и рассказал, как проходил митинг. Докладчик от партбюро «клеймил позором отщепенцев» Сахарова и Солженицына, а также их пособников в стенах нашего института — Турчина и Горлова. Потом выступил Турчин, который в спокойной, сдержанной манере объяснил свою позицию. А затем был ряд выступлений, в которых ораторы призывали осудить диссидентов, вспоминая при этом погибших в войне отцов, трагедию Хиросимы, сирот Вьетнама, израильских агрессоров и так далее. Единогласно (за исключением одного — Турчина) была принята резолюция, осуждающая Сахарова и Солженицына.

Вскоре после этого на заседании партбюро было принято решение, рекомендовавшее дирекции освободить меня и Турчина от работы, связанной с воспитанием людей (то есть от руководства коллективом). В соответствии с этим Турчина вскоре перевели на низшую должность, уменьшив ему на сто рублей зарплату. Меня лишили руководства рядом работ, оставив только выполняемую непосредственно мною тему. Всем моим помощникам приказано было мне больше не подчиняться и ни с какими вопросами ко мне не обращаться.

[1] В. Ф. Турчин — сотрудник нашего института, доктор физико-математических иаук, незадолго перед этим выступил с открытым письмом в защиту А. Д. Сахарова (ныне В. Ф. Турчин — председатель отделения «Amnisty International» в СССР).

Когда я вышел после болезни на работу, меня вскоре вызвал к себе директор.

— Вы еще не надумали выступить для ТАСС по поводу Солженицына? Ведь у Вас нет другого выхода: в нашей стране 250 миллионов человек едины в своем мнении и всего лишь двое занимают другую позицию.

— Почему Вы думаете, что только двое? — спросил я.

Он удивленно посмотрел на меня, немного подумал и сказал: «Ну, четыре! Это неважно». Очевидно, к Сахарову и Солженицыну он добавил меня и Турчина, о других не слышал.

— Так вот, для Вас еще не все потеряно. Если Вы сделаете требуемое заявление, то мы будем считать, что до сих пор Вы просто неудачно шутили, и выдадим Вам хорошую характеристику для защиты диссертации[1].

Меня разбирало любопытство: где кончается его личная инициатива и начинается давление «сверху»? Я спросил:

— Почему Вы так на этом настаиваете? Меня уже общественность осудила. Вы наказали.

— Наказать-то наказали, но ведь не исправили! Сейчас от меня мало что зависит: мы обязаны (он сделал здесь ударение) Вас перевоспитать. Если бы Вы осудили Солженицына, то это и было бы результатом нашей идеологической работы, о нем бы мы где надо доложили. А так что же?

Да-а! Видно, «где надо» за него круто взялись, и уж очень ему хочется отличиться!

— Я не смогу сделать такое заявление. Лучше к этому больше не возвращаться.

На том разговор и закончился.

Я подумал, что, может быть, действительно имеет смысл перейти на другую работу: в моем институте становилось уже совершенно невыносимо. Я считал, что в кругу специалистов моей области знаний у меня достаточно, и найти работу по душе мне будет несложно.

Действительно, когда через несколько дней я по этому поводу побывал в двух крупных институтах, то встретил там самое доброжелательное отношение. В одном из них я сдал заявление о приеме на работу, все необходимые документы, и меня заверили, что в ближайшее время все будет оформлено.

Прошла неделя, другая, третья... Люди, приглашавшие меня на работу, при моих звонках нервничали, просили еще «чуть-чуть подождать». Тогда я подал, на всякий случай, заявление и в другой институт.

А в это время в Москве собрался Международный конгресс миролюбивых сил и, как я уже писал, меня на две недели отправили в командировку за Урал.

Вернувшись, я узнал, что в обоих институтах дело о моей работе не сдвинулось с места. В конфиденциальных встречах мне сообщили, что моя фамилия приводит в ужас отделы кадров и директоров, а поэтому дело мое в этом смысле — безнадежное. Друзья мне посоветовали «сидеть и не рыпаться».

Я так все и доложил директору при первой же встрече и опять попросил характеристику для защиты диссертации.

— Вы все равно не сможете защитить диссертацию! Деловые качества у Вас высокие, не спорим, а идеологические — низкие. Значит, ученым Вы быть не можете, и это будет записано в характеристике.

— Хорошо, дайте, какую считаете нужной,— сказал я.

Но проходили дни, а характеристика так и не появлялась, хотя я через секретаря передал директору письменную просьбу о выдаче характеристики.

И только после моего письма председателю ВАК Елютину я получил 15 января следующий уникальный в своем роде документ:

ХАРАКТЕРИСТИКА
на главного специалиста ГОРЛОВА А. М.

А. М. Горлов, 1931 года рождения, беспартийный, образование высшее, кандидат технических наук, работает в институте ЦНИИПИАСС с 1961 года (рук. группы, главный инженер проекта, с 1967 года — главный специалист отдела).

А. М. Горлов является квалифицированным специалистом по применению математических методов и вычислительной техники в строительном проектировании. Он участвовал в постановке задач комплексной автоматизации проектирования конструкций, в проведении работ по созданию серии программ расчета и конструирования на ЭВМ массовых железобетонных конструкций.

В соавторстве с другими специалистами А. М. Горловым разработаны комплексные программы расчета железобетонных конструкций, которые широко используются проектными организациями. С их помощью, например, выполнен ряд работ по оптимальному проектированию типовых железобетонных конструкций, запроектированы фундаменты под корпуса автозавода в г. Тольятти и др.

А. М. Горлов — автор более 50 научных работ, опубликованных в периодической печати, и монографий (в соавторстве с Р. В. Серебряным), в которых решен ряд

[1] В это время из НИИ оснований стали снова требовать на меня новую характеристику перед защитой взамен, как мне сказали, «устаревшей» прежней.

новых и актуальных задач строительной механики. За работы по автоматизации строительного проектирования он награжден в 1965 году «Золотой», а в 1968 и 1969 гг.— «Бронзовыми» медалями ВДНХ.

А. М. Горлов поддерживает дружеские связи с литератором Солженицыным и его семьей. В связи с чем его имя в 1971 году неоднократно использовалось буржуазной прессой и радио в целях антисоветской пропаганды. Руководство, партбюро и местный комитет беседовали с Горловым А. М., предлагали ему выступить в советской печати с официальными заявлениями о несогласии использования его имени в этих целях. Однако Горлов А. М. этого не сделал. Более того, в 1973 году его имя вновь было использовано буржуазной прессой. В связи с низким уровнем морально-политических качеств Горлов А. М. отстранен от руководства коллективом.

Характеристика дана для предоставления в Ученый совет НИИ оснований и подземных сооружений в связи с представлением в защите докторской диссертации.

Директор ЦНИПИАСС
А. А. Гусаков
Секретарь партбюро
В. Я. Слепухин
Председатель месткома
К. М. Панфилова
29 декабря 1973 г.

Я читал этот невероятный документ и диву давался цинизму его составителей.

Стремясь, очевидно, придать документу видимость объективности, авторы характеристики оставили в первой ее части положительную оценку моих производственных и научных качеств, взятую из других моих характеристик прошлых лет (когда меня еще не побили и я был «хорошим»). Но положительная оценка моей научной деятельности не имела абсолютно никакого значения длн защиты диссертации и полностью перечеркивалась последней частью характеристики, которая была аккуратно, слово в слово подогнана под формулировку инструкции ВАК: «...в связи с низким уровнем морально-политических качеств...»

А уровень этот, оказывается, определен был тем, что мое имя упоминалось в сообщениях зарубежного радио. Тот факт, что сообщали-то не обо мне, а об официальных представителях власти, избивших меня на даче А. И. Солженицына, пропал, исчез, утонул! И то, что я из жертвы таким ловким образом был переименован в «преступника» — авторами характеристики,— очевидно, оценивалось как вполне естественное дело!

Я все же написал в Совет НИИ оснований и Госстрой СССР свое мнение о характеристике, хотя и считал, что теперь уже это — «мертвому припарки». К этому моменту достигла апогея официальная кампания на службе, направленная на изгнание меня с работы.

Без шансов на успех н написал протест в райком партии.

Через полтора месяца это мое заявление было использовано самым неожиданным образом. Но в данный момент, как я и ожидал, никакой реакции не последовало, и мне преспокойно «влепили» административное взыскание, о котором широко оповестили весь институт.

Одновременно велось развернутое психологическое давление на всех, кто со мной был вынужден общаться по работе

Для начала объявили партийный выговор начальнику и парторгу моего отдела за «недостаточную политико-воспитательную работу» (имеется в виду — со мной). И хотя они на партийном собрании института заявили, что делали все, что надо: меня от людей изолировали, непрерывно вели со мной воспитательные беседы, призывали осудить Солженицына и так далее,— им объяснили, что работу оцеиивают по результатам, которых так и нет. И то, что «Горлов трудновоспитуем»,— это не оправдание.

Затем была предпринята акция и по отношению ко всему отделу. По результатам работы в 1973 году наш отдел занял первое место в институте, и всем сотрудникам его полагалась за это денежная премия. Но на специальном заседании местного комитета совместно с дирекцией института было принято решение лишить отдел первого места и денежной премии, так как коллектив отдела не в состоянии заставить Горлова «перевоспитаться».

Этой мерой 40 человек отдела, по существу, были объявлены заложниками, которые впредь будут нести на себе «грехи» Горлова. А чтобы этого не было, на том же заседании директор и парторг института предложили провести собрание отдела, на котором все мои сослуживцы, лишенные из-за меня премии, выступили бы с резким осуждением меня и с требованием к администрации «убрать Горлова из коллектива».

Дальнейшие дни (это было уже в феврале 1974 года) проходили в подготовке этого собрания: создавалась соответствующая такому событию неврастеническая атмосфера, подбирались и инструктировались ораторы, которые должны были «стихийно» выступить на собрании. Но тут произошел неожиданный сбой: выяснилось, что мои сослуживцы согласны меня «осудить», но требовать моего изгнания — наотрез отказались. Собрание из-за «неподготовленности» несколько раз откладывалось, а в это время произошли главные события — арест и высылка А. И. Солжеиицына.

Сообщение ТАСС

Указом Президиума Верховного Совета СССР за систематическое совершение действий, не совместимых с принадлежностью к гражданству СССР и наносящих ущерб Союзу Советских Социалистических Республик, лишен гражданства СССР и 13 февраля 1974 года выдворен за пределы Советского Союза Солженицын А. И.

Семья Солженицына сможет выехать к нему, как только сочтет необходимым.

На другой день на работе я узнал, что директор заявил: «Нам тоже нечего тянуть».

В понедельник 25 февраля, поправившись, я вышел на работу, и на 27-е, на конец дня, было назначено собрание отдела. Весь день 27 февраля шла подготовка к собранию: вывесили объявление, предупредили сотрудников, договорились, что проходить оно будет в закрытом помещении технической библиотеки и без посторонних.

Но за полчаса до собрания вдруг объявили, что оно переносится. На какой день — неизвестно. Одновременно и узнал, что директор с парторгом уехали в райком партии. Что случилось, никто не знал.

28 февраля, утром ко мне пришел парторг института и сказал, что меня через час вызывают в райком партии в связи с моей жалобой на «административную» травлю.

— Так ведь я писал жалобу полтора месяца назад, и дело «успешно» закончилось объявлением мне взыскания.

— Неважно. Раз вызывают — надо ехать. Я тоже поеду.

Когда мы с парторгом приехали в райком, то застали там уже ожидающего нас директора и инструктора райкома по идеологической работе. Мы все вместе прождали приема еще минут 40, а затем нас пригласили в кабинет. Я еще подумал: «Неужели такую многочисленную и солидную компанию собрали из-за моей давней жалобы?» Даже стало немного неловко из-за такого «внимания».

В большом кабинете сидел очень представительный мужчина лет сорока пяти (я потом узнал, что это 2-й секретарь — Полунин; через полгода он сменил Чаплина и стал 1-м секретарем РК), который после того, как мы все расселись, начал разговор:

— Так вот, товарищ Горлов, мы решили разобраться с Вашей жалобой и выяснить, действительно ли имеет место какое-либо административное преследование Вас или Вам это только кажется. Начнем по порядку.

Последовал длинный и путаный разговор. Объяснялся директор, парторг, я, что-то вставлял инструктор. Я видел, что хозяину кабинета детали дела непонятны да и не нужны, что он стремится закончить разговор и перейти к чему-то главному. Но к чему? В какой-то момент зазвонил телефон и беседовавший с нами взял трубку:

— Да. Я сейчас этим занимаюсь.— Потом, обратившись к нам:

— Товарищи, выйдите, пожалуйста, из кабинета и подождите в приемной.

— Мы тоже? — спросил директор.

— Да, да, все.

И мы в полном составе снова оказались за дверью. Пикантная ситуация! Для директора с парторгом, естественно. Мне же хотелось рассмеяться.

Минут через 10 нас опять пригласили, и хозяин кабинета подвел такой неожиданный итог:

— Итак, товарищ Горлов, у директора были основания для недовольства Вами (еще бы! — *А. Г.*). Но тем не менее,— он обращался теперь к директору,— товарищу Горлову как квалифицированному специалисту должны быть в дальнейшем созданы нормальные условия для спокойной и плодотворной работы на пользу общего дела. На этом давайте закроем этот вопрос.

Вот так поворот! Но, судя по всему, мои начальники к этому уже были готовы и стали невозмутимо прощаться.

На улице директор меня спросил, не подвезу ли я его к институту: свою машину он куда-то отослал. Я согласился, но не удержался, чтобы не съязвить:

— А как же Ваше реноме? Ведь что подумают наши сослуживцы, когда Вы в моей машине подъедете к институту?

Он трагически махнул рукой: дескать, его репутация уже так плоха, что хуже не станет!

А еще через два дня директор пригласил меня к себе в кабинет:

— Товарищ Горлов, я нашел для Вас прекрасную работу в другом институте. Я уже договорился, что если Вы согласитесь, то мы Вас переведем туда на должность руководителя лаборатории с сохранением Вашей зарплаты. Этим будет закрыто Ваше «дело», так как все, что было в нашем институте, постепенно забудется, и через некоторое время Вы сможете защищать свою диссертацию.

— Как же я смогу выйти на защиту с той характеристикой, которую Вы мне дали?

— Характеристику мы отзовем и исправим. Придумаем такую форму, которая не противоречила бы инструкции ВАК, и все будет в порядке!

— А почему Вы так хотите, чтобы я ушел? Вы сами считаете меня высококвалифицированным специалистом, способным хорошо и продуктивно работать. Ведь с моим уходом институт будет

вынужден прекратить работы по ряду важных направлений, руководителем которых я являюсь!

— Конечно, Ваши знания, способности, опыт нам нужны. Но еще более нам нужна партийная идеология! Это — главное в работе института. В первую очередь наши сотрудники должны отвечать высоким партийным, идеологическим требованиям, а во вторую — деловым.

— Но ведь наш институт работает в инженерной, технической сфере, а не в идеологической!

— Это неважно. В наше время любая наука партийна. Даже тензорное исчисление.

— Вы это уже мне как-то говорили.

— Это не я говорил. Это говорил Ленин!

— Насчет тензорного исчисления?

— Нет, насчет партийности в науке. Я понимаю, что Вы можете сказать, что никогда не выступали с антипартийными заявлениями. Но в сложившейся ситуации Ваше молчание все эти годы и нежелание выступить против Солженицына были сильнее всяких заявлений и демонстраций. И Вы это прекрасно понимаете. Но мы отвлеклись. Так как же с переходом на другую работу?

— Я должен сам съездить в тот институт и узнать на месте, что мне предлагают.

— Хорошо. Когда что-нибудь решите, зайдите ко мне сообщить. Да, и еще: заберите пока в отделе кадров свою характеристику, поданную на конкурс. Ее все равно надо будет исправить, если Вы останетесь у нас.

Судя по всему, желание каким-либо образом избавиться от меня было у директора не просто навязчивой идеей, но и следствием разноречивости инструкций, поступающих к нему по разным каналам. Выгнать меня с работы ему, очевидно, в данный момент не было разрешено, иначе он это с удовольствием бы сделал. Но и оставить меня в покое он, наверное, тоже не решался, поскольку прямых указаний на этот счет не имел. Вот он и пытался найти третий выход.

А 11 марта снова появилось объявление о собрании отдела, на котором должен был обсуждаться факт лишения отдела из-за меня первого места и премии.

Собрание проходило при закрытых дверях, и на него из посторонних пришли только парторг института, председатель месткома и зам. директора. При полном молчании было произнесено несколько подготовленных заранее стандартных речей, в которых говорилось о том, как хорошо работает отдел и как плохо, что из-за одного Горлова страдает весь коллектив. В принятой резолюции меня призывали отмежеваться от Солженицына и выступить против «использования моего имени в антисоветской пропаганде». «Административных» призывов к дирекции (убрать из отдела, снять с работы и так далее) не было.

На другой день, 12 марта, состоялось давно объявленное и несколько раз переносившееся заседание Ученого совета по проведению конкурса на замещение должности старшего научного сотрудника. В этом конкурсе меня вынудили участвовать, хотя эта новая должность была рангом ниже той, которую я занимал все последние годы. Мою отрицательную характеристику перед конкурсом так и не изменили.

Было объявлено 3 вакансии, на которые претендовали 4 человека. По каждой из кандидатур должно было состояться голосование: претендент, набравший наибольшее число голосов (но не менее половины состава Совета), считался избранным на должность.

Перед началом заседания было оглашено решение специальной конкурсной комиссии, которая не рекомендовала избирать меня. С объяснениями по этому поводу выступил зам. директора Мастаченко, повторивший избитый аргумент: мне не может быть предоставлена эта должность из-за моей дружбы с Солженицыным! Кто-то из присутствующих, правда, напомнил, что ведь новая должность и по квалификации работы, и по зарплате значительно ниже той, которую Горлов выполняет в данный момент, а потому перевод его на новую должность тоже может рассматриваться как наказание. На это было сказано, что «морально-политический» уровень Горлова «так низок», что предоставить ему работу научного сотрудника все равно невозможно.

Как и следовало ожидать, конкурс я не прошел и в соответствии с изданным ранее приказом (с которым, кстати, меня не ознакомили) должен был быть уволен с работы.

13 марта я получил уведомление об отказе в приеме на работу из института, куда я подавал заявление по рекомендации нашего директора.

Итак, круг, кажется, замыкался.

В свете последних событий так и осталось неясным, что же означал этот вызов в райком партии, где меня заверили, что я могу «спокойно работать».

Я уже говорил, что, несмотря на внешнюю обыденность моей жизни после происшествия на даче Александра Исаевича, вокруг меня проходили скрытые события, так или иначе периодически проявлявшиеся.

В первую очередь, это относится к установленному за мной негласному наблюдению, которое иногда обнаруживалось при самых неожиданных обстоятельствах. Здесь я хочу рассказать об одном таком случае.

Я с семьей занимал квартиру на втором этаже большого дома на Ленинском проспекте. Нашими соседями по лестничной клетке была рабочая семья, жившая в двухкомнатной квартире. Семья эта была довольно многочисленной: пожилая вдова, трое ее взрослых детей — сын и две дочери, невестка и два зятя, трое внуков, находящихся на попечении бабушки. Они ожидали получения еще одной квартиры для старшей дочери и ее семьи, а пока жили в страшной тесноте. Их квартира примыкала вплотную к нашей: мы часто хорошо слышали и плач детей, и ссоры, и просто громкий разговор у соседей. Правда, это не отражалось на наших добрососедских отношениях: мы всегда приветливо здоровались, а иногда заходили друг к другу.

Однажды, было это весной 1972 года, я встретил у них коренастого мужчину средних лет: «Свояк, приехал к нам погостить из деревни и поискать работу в Москве»,— объяснил мне сын вдовы. «Свояк» поздоровался и представился (имени я не запомнил). Проходила неделя за неделей, а «свояк» все гостил у них, теснясь со всеми в одной квартире.

Как-то я пришел домой очень поздно, за полночь. Открывая ключом дверь в свою квартиру, вдруг услышал, как кто-то произнес мою фамилию. На лестнице никого не было, а из-под двери соседей пробивался свет: там шла негромкая застольная беседа. Я услышал голос вдовы:

— Так вот и мотаетесь с места на место на своей работе?

И ответ «свояка» (судя по голосу сильно выпившего);

— Что поделаешь — служба. В войну я был на фронте, но после той истории (он, очевидно, о чём-то перед этим рассказывал.— *А. Г.*) думал, что меня расстреляют. Потом меня привезли в Москву и здесь сказали, что я прощен, но с этого времени должен буду работать в разведке. Вот и служу.

Вот так «свояк из деревни»! Больше я уже не стал слушать: было ясно, что перед этим разговор шел обо мне. Значит, все время «свояк» мог не только наблюдать за мной, но и прослушивать все разговоры в нашей квартире!

С этой квартиры мы вскоре переехали. Перед отъездом узнали, что соседям (молодым) дали, наконец, еще одну квартиру, так что им стало посвободнее.

По логике вещей должно было быть постоянным и наблюдение за мной на работе. У меня и у моих друзей было твердое убеждение, что это выполняется двумя хорошо известными нам сослуживцами в отделе. На это указывал ряд очевидных признаков: стоило ко мне прийти кому-либо из посторонних или собраться у моего стола друзьям, как обязательно один из двоих оказывался по какому-либо поводу рядом. Кроме того, время от времени появлялись и незнакомые лица, которые, как я замечал, внимательно за мной следили.

Были явления и совсем другого плана, исходившие, судя по всему, из того же ведомства. Одно из таких событий произошло дней через пять—шесть после «дачного сражения».

Ко мне на работу к концу дня явился худощавый молодой человек. Он подошел к моему столу и, оглядевшись, попросил разрешения недолго со мной поговорить. В руках он держал небольшой сверток и летний плащ. Рабочий день кончился, и мои сослуживцы уже расходились. Ничего не подозревая, я предложил ему сесть и, предупредив, что тороплюсь, попросил изложить суть дела по возможности кратко.

— У меня к Вам неслужебный разговор. Я пришел к Вам, как к другу Солженицына, с одной просьбой: помочь мне связаться с академиком Сахаровым.

Я уставился на него, не находя, что ответить. А он продолжал:

— Я приехал из Ленинграда по поручению рабочих Кировского завода, где я работаю инженером по технике безопасности. Возможно, Вы слышали, что у нас был ряд выступлений рабочих из-за тяжелых условий труда и отсутствия демократических свобод (я впервые об этом слышал.— *А. Г.*). Понимая, что отдельными протестами ничего не добьешься, некоторые из нас решили объединиться для систематических координированных действий. Мы организовались в общество, легальной программой которого является повышение культуры и улучшение быта рабочих. У нас есть членские билеты, на которых мы ставим вот такой штампик (он достал и продемонстрировал мне свой билет), свидетельствующий о принадлежности к нашей организации. Мы собираем членские взносы и располагаем определенными средствами, которые можем расходовать на поддержку других демократически настроенных людей, борющихся за наше общее дело. Ну, а что является нашей целью, Вы, очевидно, догадываетесь,— это он сказал, приглушив голос, хотя рядом никого не было.

Я смотрел на него и думал: кто передо мной — сумасшедший или провокатор? Вспомнил «Союз меча и орала» у Ильфа и Петрова и непроизвольно улыбнулся.

— Вы напрасно иронизируете,— сказал он.— И заблуждаетесь, если думаете, что действиями одиночек, вроде Ваших на даче у Солженицына, Вы чего-то добьетесь.

— А я там и не пытался чего-то добиваться: просто мне «превосходящие силы противника» набили физиономию! Толь-

ко и всего. Единственно, к чему и тогда стремился, так это чтоб остаться, во-первых, живым, а уж потом — человеком.

— Знаете ли, Ваш случай еще раз показал, что «там» (он поднял палец вверх) полно неумеющих работать дураков.

Я не спорил, слушал, что будет дальше. Он продолжал приблизительно следующее:

— Если бы я «там» работал, то уж, будьте спокойны, я бы знал, как действовать. Еще Ленин говорил, что если давить на отдельные точки (он показал ногтем на столе, как надо давить), то это приведет только к перетеканию сил из одного места в другое.

Я не знал, когда и где Ленин говорил об этом, но решил кончать разговор.

— Так что же Вы от меня хотите?

— Мне необходимо связаться с Комитетом защиты гражданских прав. Познакомьте меня с Сахаровым.

— Не могу это сделать, так как сам с ним не знаком.

— А как же мне его разыскать?

— Не знаю.

Он доверительно придвинулся ко мне:

— Меня знает Твардовский и даже подарил мне свою книгу.

Он раскрыл журнал «Новый мир» и показал мне дарственную надпись. Я разобрал подпись Твардовского, но кому это было адресовано — не разобрал.

— Так вот и обратитесь к Твардовскому. Он наверняка знает Сахарова.

— А где живет Твардовский?

— Не знаю.

Я встал, давая понять, что мне надо уходить.

— Ладно, найду через справочное бюро. Сейчас я кончаю. У меня все же к Вам просьба: если узнаете адрес Сахарова, то напишите, пожалуйста, на Главпочтамт до востребования на имя моей матери. Она живет в Москве и мне сообщит, я же сегодня уезжаю.

Пытаясь закончить разговор, я согласился. Он сказал мне имя и фамилию матери и наконец ушел.

Я решил не ломать себе голову над этим странным посещением и постараться о нем забыть. Но не тут-то было!

На другой день в конце работы, не дожидаясь моего письма «до востребования», ко мне пришла сама «мама» вчерашнего посетителя. Это была довольно интересная, подтянутая и живая женщина лет 45. Она подошла к моему столу, достала из сумочки точь-в-точь такую же «членскую книжку», как у моего вчерашнего посетителя, и, ничего не говоря, показала мне ее. Я увидел там сообщенные мне имя и фамилию и тот же штампик «сообщества». Если вчера могли еще оставаться какие-то сомнения о характере их организации, то теперь они исчезли.

— Вам понятно, кто я? — спросила она, пряча свою книжку.

Я ответил, не вдаваясь в подробности:

— О, конечно! Мне было очень любопытно познакомиться с Вашим сыном.

— Я понимаю, что Вы можете с опаской относиться к нашему посещению. Но, может быть, Ваши опасения развеет вот это,— и она положила на стол фотографию.

Это был любительский снимок праздничной демонстрации. На переднем плане под большим транспарантом «Кировский завод» стоял мой вчерашний посетитель с двумя какими-то мужчинами. Бросалась в глаза неестественность поз снимавшихся: стояли они вплотную друг к другу, сурово, без тени праздничного настроения глядя в объектив аппарата. Были видны явные следы ретуши на надписи.

Я вежливо вернул фотографию хозяйке, и она продолжала разговор:

— Почему Вы направили моего сына к Твардовскому? Ведь он тяжело болен и уже год не поднимается с постели.

— Я не направлял его к Твардовскому. Он сам выразил это желание, чтобы узнать адрес Сахарова.

— А почему Вы не захотели познакомить моего сына с Сахаровым? Он нам очень нужен! Если Вы друг Солженицына, то и Сахарова должны знать. Ведь они — политические единомышленники.

— Представьте себе, не знаю. И мои дружеские отношения с Солженицыным основаны на личных, общечеловеческих интересах и никак не связаны с его литературно-общественной деятельностью.

— Но как же нам найти Сахарова? Как он хотя бы выглядит?

— Никогда его не видел.

— Он старый?

— Нет, мне известно, что он рано стал академиком. Сейчас ему лет пятьдесят. Посмотрите в Большой Советской Энциклопедии, там, наверное, о нем сказано.

— Значит, не хотите нам помочь?

— Я искренне Вам сочувствую, но ничего не могу сделать. А теперь давайте прощаться: рабочий день закончился и я спешу.

Я встал и взял свой портфель.

— Простите, еще одно, последнее дело. Мы собрали значительные деньги для Солженицына и комитета Сахарова. Я прошу Вас взять их для передачи,— она поставила на стол хозяйственную сумку.

Вот так ситуация! Взять, что ли, деньги и вызвать милицию? В это время ко мне подошел один из сослуживцев, ждавший меня, чтобы ехать домой вместе. Я сказал:

— Деньги я передавать не стану. Отправьте их по почте, указав только фамилию получателя. Думаю, что они дойдут. До свидания! — и я направился к выходу.

Больше я никогда не встречался с «представителем рабочих» Кировского завода и его «мамой».

Часть III

КАК УВОЛИТЬ НЕУГОДНОГО...

В ночь с 28 на 29 марта 1974 года, в пятницу, уезжала из Москвы в Швейцарию семья Александра Исаевича: жена — Наталья Солженицына, трое его сыновей — Ермолай, Игнат и Степан (все почти погодки: старшему, Ермолаю, около 4-х лет), двенадцатилетний сын Натальи от первого брака Митя и ее мать — Е. Ф. Светлова, мой старый долголетний друг, о которой я много упоминал в предыдущих частях.

Все дни, прошедшие с момента высылки Александра Исаевича для его семьи были наполнены трудными, напряженными сборами в дорогу. День отъезда назначался несколько раз и все время откладывался по разным причинам. Сначала Наташа подвернула ногу и не могла ходить. Когда Екатерина Фердинандовна привезла ее в травматологическое отделение больницы, на слух о приезде жены Солженицына сбежался почти весь медицинский персонал отделения. Ее ногу в течение часа многократно осматривали, забинтовывали и разбинтовывали, так как подходили «посмотреть травму» новые врачи, дважды делали снимок, наконец, отпустили, сказав, что «ничего страшного: растяжение связок». Потом тяжело, воспалением легких, заболел Степан. И на все это накладывались формальные сложности, связанные с неясностью позиции властей в отношении главного: что и на каких условиях разрешать вывозить из материалов личного архива Александра Исаевича.

Постепенно все уладилось и был, наконец, назначен день отъезда: 29 марта, самолетом швейцарской авиакомпании из аэропорта Шереметьево. Незадолго до этого Наташа и Екатерина Фердинандовна получили советские заграничные паспорта, в которых за ними сохранялось гражданство СССР еще на два года — до марта 1976 года.

27 марта, за два дня до отъезда, они открыли свой дом для официальных проводов и прощания с друзьями.

Я приехал к ним вечером, после работы, когда их довольно большая квартира на улице Горького была до предела заполнена людьми. Здесь было много знакомых, но большинства я не знал. Не было ни общего стола, ни официальных речей.

Мне трудно передать царившую в доме атмосферу, очевидно, все воспринималось очень субъективно. Думаю, что в основном преобладало какое-то грустно-торжественное, приподнятое настроение. Все присутствовавшие в зависимости от степени знакомства между собой разделились на группы. Говорили об Александре Исаевиче, рассматривали многочисленные фотографии его с женой, детьми. По рукам ходило письмо Наташи:

«Александр Исаевич Солженицын выслан из страны. Выслан силой, бессудно, вероломно. Русский писатель, главной болью которого была и будет судьба России — обречен жить в изгнании.

Многие годы стремились оборвать его связь с соотечественниками. Но газетная брань, закулисная клевета и грязные анонимные угрозы бессильны были исказить и приглушить его голос, всегда обращенный к *этой* земле, к *ее* народу. Наконец, поняли, что Солженицын добровольно никогда не оставит России. Тогда решились: арест, конвой, принудительный увоз.

Можно разлучить русского писателя с родной землей, но пресечь его духовную связь с ней, но отнять у России Солженицына — такой власти и силы нет ни у кого. И пусть сейчас здесь запалили костры из его книг, их жизнь на родине неистребима, как неистребима любовь Солженицына к России.

Мое место — рядом с ним. Но уезжать мучительно больно.

Больно расставаться с Россией.

Больно, что на жизнь без Родины обречены наши дети.

Больно и трудно оставлять друзей, не защищенных мировой известностью от мстительной власти.

Вынести эту боль дает только вера — мы вернемся. Не знаю, когда и как, но верю твердо. Верю потому, что на моих глазах к России, казалось, уже погребенной и забывшей себя, начали возвращаться живое дыхание и память.

Еще недавно преследуемого человека окружало поле страха и неприязни. И вот вновь пробивается и крепнет подлинно русское чувство — сострадание, не к единомышленнику только, а просто к гонимому, травимому, неправедно осужденному. И часто не обеспеченные, а те, кто сами едва сводят концы с концами, отрывая от себя и своих детей, помогают детям политзаключенных или терпящих за веру.

На наших глазах совершается чудо: поруганная, оплеванная, затоптанная вера не умерла в России, но с каждым днем неодолимей влечет к себе все новые и новые души. Люди ждут и ждут истины. Молодые по крупицам собирают драгоценное духовное наследие, приговоренное к забвению. Для новых поколений исторический опыт не прошел даром.

И в этом чуде — наше будущее, в нем — основание надежды.

Не мне судить о сроках, но мы вернемся. И детей наших вырастим русскими.

И потому — мы не прощаемся ни с кем.

27 марта 1974 года

Наталья Солженицына».

А новые люди все приходили и приходили. Кто-то предложил вести счет посетителям и сотому вручить «приз» — стакан водки. Но сотой, кажется, оказалась жена генерала Григоренко, и приз не был должным образом оценен. Сто двадцатыми оказались А. Д. Сахаров с женой.

Я ушел около полуночи. Последние гости расходились в третьем часу ночи.

Самолет улетал из Москвы 29 марта в восемь часов утра. В аэропорт нужно было приехать за три часа до отлета для прохождения таможенного досмотра и выполнения необходимых формальностей. Решили такси не заказывать, а все — и семья Александра Исаевича, и провожающие — поедут в аэропорт на машинах друзей.

Я подъехал к их дому около четырех часов. У подъезда уже стояли 3 или 4 машины. Несмотря на глубокую ночь и темень, во дворе перед домом слонялось довольно много «посторонних» людей: были здесь и «влюбленные» парочки, и пожилые «пенсионеры», которых, надо полагать, мучила бессонница. Один из этой публики держал открытую тетрадь: он подходил к каждой вновь подъезжавшей машине и демонстративно записывал ее номер. Чуть поодаль стояло несколько машин с какими-то людьми.

Неожиданным было появление нескольких свободных такси, которые никто не вызывал. Они остановились в прилегающем переулке, а водители подошли, предлагая свои услуги.

Отъехали только около пяти часов. В мою машину сели дети.

В аэропорт, куда мы приехали через полчаса, семью Александра Исаевича ожидала большая группа иностранных корреспондентов. Кроме того, сюда подъезжали еще и другие провожающие.

Всего собралось на проводы в зале ожидания человек пятьдесят. Непрерывно вспыхивали «блицы» корреспондентов, некоторые снимали портативными кинокамерами.

Процедура досмотра и необходимых формальностей проводилась довольно долго, но подчеркнуто корректно, и никаких эксцессов не произошло.

Потом было довольно тягостное прощание.

Около половины восьмого объявили посадку на самолет. В какой-то момент, когда уже отделенные от оставшихся, но еще в здании аэропорта отъезжающие поднимались в верхний зал для выхода на летное поле, Наташа с Ермолаем на руках подошла к перилам и крикнула стоявшим внизу:

— До свидания! Мы вернемся!

Я понимал, что мое деятельное участие в судьбе семьи Александра Исаевича не останется без последствий. Эти «последствия» проявились достаточно быстро.

2 апреля 1974 года утром меня пригласили в отдел кадров института, где между мной, начальником отдела кадров Костроминым и моим новым начальником, Игнатовым, состоялась такая беседа.

— Товарищ Горлов, в связи с тем, что Вы, к сожалению, не прошли конкурс, мы вынуждены Вас уволить по сокращению штатов,— начал Костромин.— Но, исходя из необходимости Вашего трудоустройства, мы предварительно предлагаем Вам перейти на имеющуюся вакантную должность старшего инженера с окладом 140 рублей (а я в это время получал оклад 340 рублей). Другой вакансии в институте нет.

— Я думаю,— сказал Игнатов,— что, если бы Вы согласились, нам бы удалось дать Вам наивысшую ставку для старшего инженера — 150 рублей. А работу Вы будете выполнять прежнюю.

Я спросил:

— Как это — работа прежняя, а оклад в 2,5 раза ниже?

— Ну, так уж получается,— мои собеседники развели руками.

— Я могу еще работать шофером: у меня профессиональные права и 20-летний стаж вождения автомобиля. Может быть, Вы можете использовать меня на этой работе?

— Ну, зачем же так,— обиделся Костромин.— Мы Вам предлагаем интеллектуальную работу, по Вашей специальности.

— Когда я должен дать ответ?

— Сегодня, в крайнем случае — завтра утром.

К этому времени дирекция института издала ряд организационных приказов, которые как будто давали возможность провести со мной намеченную акцию: сначала формально предложить какую-либо явно неприемлемую для меня должность и после моего отказа — уволить.

На другой день, после беседы с начальником отдела кадров и новым начальником своего отдела, я заявил им, что считаю высказанный мне ультиматум издевательством и оставляю за собой право опротестовать действия администрации. Одновременно я отправил письмо в райком партии.

В этом письме я упомянул о беседе с «главным лицом» в районе, где находится наш институт, первым секретарем райкома партии Чаплиным Б. Н. По рассказам, это был умный человек, имевший ученую степень кандидата наук. Его отец, в прошлом один из видных деятелей партии, секретарь ЦК ВЛКСМ, был расстрелян Сталиным в 1937 году. Когда после «сентябрьского» митинга в нашем институте на меня «повели наступление» со всех сторон, друзья советовали мне встретиться с Чаплиным и попытаться с ним откровенно обо всем поговорить: может быть, он и даст команду нашему директору оставить меня в покое. В середине октября 1973 года я записался к нему на прием и он меня принял. Однако состоявшаяся беседа, хотя и была довольно продолжительной, ни к чему не привела. Он не отходил от ортодоксальной линии и тоже призывал меня осудить Солженицына: тогда зарубежная пресса, дескать, потеряла бы ко мне всякий интерес и у меня все стало бы очень хорошо. Я же говорил ему, что зарубежная пресса потеряла бы ко мне интерес еще раньше, если бы действиями администрации этот интерес не подогревался. В заключение он все же сказал, что «наведет справки» и что все будет «объективно и по справедливости». Думаю, что на встречу со мной он пошел из чистого любопытства: посмотреть, что это за «зверь», который дружит с Солженицыным.[1]

4 апреля начальник отдела кадров вручил мне копию следующего проекта приказа по институту:

«1. В связи с реорганизацией отдела автоматизации проектирования строительных конструкций в научно-исследовательский и проектно-экспериментальный и упразднением ряда штатных должностей в проектной части:

Гл. специалиста Горлова А. М., не избранного по конкурсу ст. научным сотрудником, перевести с 1 апреля с. г. на должность ст. инженера проектной части того же отдела с окладом 150 рублей в месяц».

Одновременно он попросил меня написать на этом проекте, согласен я с таким приказом или нет.

— А зачем Вам нужно, чтобы я что-то писал?

Он мне обстоятельно разъяснил:

— Если Вы согласны, то мы подписываем приказ и переводим Вас на должность старшего инженера. Если не согласны, то мы пишем приказ об увольнении Вас с работы, получаем на нем визу месткома профсоюза — таков, к сожалению, порядок (это его слова.— *А. Г.*) — и освобождаем Вас от работы по сокращению штатов.

— А если я ничего не напишу?

— Тогда мы повторим то же в присутствии трех свидетелей и Ваш устный отказ что-либо написать на проекте приказа нам будет достаточен для Вашего увольнения.

[1] Осенью 1974 года Чаплин организовал разгром выставки советских художников-авангардистов, сделанной ими без разрешения властей на Профсоюзной улице. Это получило огромный международный резонанс. После этого Чаплина отправили послом во Вьетнам. Его место занял Полунин.

— Ну, что же, давайте разыграем этот спектакль: я отказываюсь писать свое мнение об этом проекте.

— Хорошо,— и он ушел со своими бумагами.

Судя по проекту приказа, дирекция поняла нелепость своих предыдущих постановлений. Здесь уже речь идет просто о сокращении штатов в проектной части. Но тогда непонятно, при чем же здесь я: ведь в научной части, куда я уже оказался переведенным, сокращений нет! И какое ко всему этому отношение имеет упоминание о конкурсе?

В конце дня меня пригласили в кабинет начальника отдела, где были начальник отдела кадров и профорг отдела. Начальник отдела кадров, как в суде, торжественно зачитал уже цитировавшийся проект приказа.

— Товарищ Горлов, все ли Вам ясно в этом приказе?

— Да, все.

— Согласны ли Вы написать свое мнение о нем?

— Не согласен.

— Понимаете ли Вы, что за этим последует?

— Догадываюсь.

— Тогда мы составляем акт, что в присутствии здесь находящихся официальных лиц Вы отказались визировать проект приказа.

Он вынул уже отпечатанный акт, на котором он и «понятые» расписались.

В этот день у меня состоялась еще одна любопытная беседа: я позвонил после трехмесячного перерыва в НИИ оснований справиться, а что же там? Вроде бы и ВАК в своем последнем письме в прошлом году интересовался, как с диссертацией Горлова?

Трубку взял ученый секретарь Глушко:

— Я слушаю!

— Здравствуйте, это говорит Горлов...

Больше я ничего не мог сказать: он поперхнулся и начал надсадно кашлять. Я терпеливо ждал, а он все кашлял и кашлял и никак не мог остановиться! Прошла минута, другая... Мне стало совестно за свой звонок: жил себе человек спокойно, а тут на тебе — опять Горлов! Наконец, он выдавил:

— Здравствуйте, я очень рад Вас слышать.

— Я хотел узнать, как мои дела?

— Какие дела?

— С диссертацией.

— Какой диссертацией?

Я минуту помолчал, а потом сказал:

— Которую, если верить Вашим извещениям, я уже защитил. Когда и где я могу получить диплом доктора?

— Ах, вот Вы о чем! Вы еще и шутник, товарищ Горлов! Знаете ли, еще никак. Мы изучаем Вашу характеристику и не знаем, как быть. У нас сейчас, как по

пословице: и кой-куда не сесть, и ягодку не съесть!

Я никогда такой пословицы не слышал и не понял поэтому, куда нельзя сесть.

— Ну, а когда же что-нибудь прояснится?

— Не знаю, не знаю. Мы о Вас не забываем, и, если будет что-то новое, позвоним.

Итак, «изучают» характеристику. Ну, что ж. Как говорится, Бог в помощь. Но все же интересно, сколько времени понадобится ученым из НИИ оснований на изучение этого «манускрипта»?

Заседание институтского комитета профсоюза — местком, который должен был дать согласие администрации на мое увольнение,— состоялось 24 апреля.

С 30 апреля 1974 года впервые за 20 лет своей непрерывной трудовой деятельности я стал безработным — накануне международного праздника солидарности трудящихся — 1 Мая. Никаких сбережений на такой случай я не имел, а надежды на какое-то трудоустройство по профессии, в свете развивающихся вокруг меня событий представлялись мне весьма проблематичными.

А через несколько дней мне позвонили из Черемушкинского райкома партии:

— Товарищ Горлов, мы просим Вас зайти в связи с Вашей последней жалобой на действия администрации.

Я чуть было не расхохотался в трубку:

— Ваше приглашение немного запоздало: администрация уже сделала со мной все, что ей требовалось.

— Но мы же должны закрыть дело по Вашей жалобе? Поэтому, пожалуйста, приезжайте.

Любопытство взяло верх, и я поехал. Принял меня инструктор Фаломеев — ничего не решающий технический работник райкома. Он очень важно меня встретил, пригласил сесть и сообщил следующее:

— Я очень внимательно изучил Вашу жалобу и пришел к выводу, что нет оснований подозревать администрацию Вашего института в тенденциозности.

— И это все, что Вы хотели мне сказать?

— Да, все. А что бы Вы хотели еще услышать?

— Но ведь это можно было передать и по телефону, не заставляя ехать на свидание с Вами через весь город.

— Что же здесь особенного? Вы теперь человек свободный, да и машина у Вас есть. Почему бы не прогуляться.

— Да-а. А мне казалось, что инструктором райкома партии должны были бы взять умного человека.

— Ну, зачем же Вы так говорите «умного человека»? — обиделся он.

— Я же сказал — «мне казалось».

— Что казалось?

— Насчет умного.

— Ну, тогда ладно. А то я Вас, наверно, неправильно понял. У вас есть еще вопросы или, может быть, Вам что-то неясно?

— Теперь уже все ясно, а потому и вопросов нет.

На том и расстались. Я еще пообещал, что не буду больше тревожить райком своими письмами, так как наконец осознал бессмысленность этого труда.

Часть IV

«НА ДОСУГЕ»

Суд идет!

Два новых в моей жизни обстоятельства влияли на происходившие со мной в это время события.

Это, во-первых, прямой контакт с работниками КГБ: раньше они только угадывались где-то за спинами институтской администрации, а теперь решили завязать со мной непосредственное «знакомство». Как в фантастическом будущем людей у Г. Уэллса: раз уж меня столкнули с дневной поверхности в подземелье — то я неизбежно становился добычей его обитателей — морлоков. И, во-вторых, отсутствие постоянной профессиональной работы, заставлявшее меня все время искать источники существования для семьи, но зато и дававшее свободу распоряжаться своим временем.

К собственному удивлению я вдруг заметил, что теперь временами стал давать оценку происходящим событиям, чего раньше делать избегал, строго придерживаясь описания фактов: пусть другие судят о них. Наверно, в этом и заключается суть опасного для всех правителей разлагающего действия на граждан излишнего досуга: рождается склонность к некоторой созерцательности и абстрактному мышлению.

Я уже писал, что уволили меня с нарушением советского трудового законодательства. Повод для увольнения — сокращение штатов — был абсолютно несостоятельным, так как институт два года назад реорганизовался, получил значительное увеличение объема финансирования и, следуя, очевидно, закону Паркинсона, быстро расширялся территориально и численно. Достаточно сказать, что за последние два года число сотрудников института увеличилось на 200 человек, и численность штата продолжала возрастать. А сократили за это время лишь одного человека — меня.

Была и формальная нелепость, заключавшаяся в том, что, как я уже говорил, к моменту увольнения я был переведен в научную часть. А сокращение по закону можно было провести только в проектной части института, и, следовательно, ко мне оно никакого отношения иметь не могло. Но тем не менее меня так-таки уволили из научной части вследствие «сокращения штатов» в проектной...

Поэтому, раз налицо нарушение закона, то естественно было обратиться в учреждение, стоящее на его страже,— в суд. Я так и сделал, направив в суд Черемушкинского района Москвы заявление с просьбой восстановить меня на прежней работе в судебном порядке.

3 июня меня пригласил районный судья (по фамилии Алешин).

— Товарищ Горлов, я получил Ваше исковое заявление и хочу сказать, что это дело не подлежит рассмотрению в суде.

— Почему?

— Вы занимали руководящую должность, увольнение с которой не может быть обжаловано через суд. Поэтому заберите назад свое заявление.

Я стал объяснять судье его ошибку. Он грустно (как мне показалось) смотрел на меня, подперев голову рукой. По-моему, он не слушал, а просто ждал, когда я кончу. Потом сказал:

— Приходите завтра утром: я тут коечто уточню и мы продолжим разговор.

На другой день утром, когда я к нему явился, у него сидели какие-то двое мужчин.

Вначале он подробно выспрашивал меня, что я делал с момента увольнения и почему так долго не обращался в суд. Потом сказал:

— Я должен по этому поводу поговорить с вашим институтским начальством.

— Так Вы примите у меня заявление, а перед судом или на суде с ними и поговорите.

— Нет, я хочу поговорить с ними сначала. Приходите сегодня в 2 часа дня.

Когда я приехал снова к этому часу, то застал судью в коридоре за прикалыванием к двери своего кабинета записки: «Тов. Горлов, приходите ко мне послезавтра в 18 часов». «Послезавтра» он сказал:

— А, вот и Вы. Значит, я теперь жду Вас 6-го во второй половине дня.

— И как долго мы будем так встречаться и договариваться о новых встречах?

— Я же сказал: приходите послезавтра. Тогда обо всем и поговорим.

Пришел, как он велел, но опять не «поговорили», так как ему было «еще не все ясно в этой странной истории». Через два дня ему, очевидно, все «разъяснили», он принял, наконец, мое заявление и назначил слушание дела на среду 12 июня.

Когда я в назначенное время приехал в суд, там уже находилась довольно большая делегация со стороны ответчика: начальник отдела кадров — Костромин, председатель месткома профсоюза — Панфилова, ее заместитель — Эпельцвейг, новый начальник моего отдела — Игнатов и еще два или три незнакомых мне человека. Вся эта команда молча мне кивнула, и вскоре все прошли в зал заседаний.

Однако суд не начинался. Прошло 10 минут, 20, 30, 40... Временами выходил секретарь и сообщал, что «у судьи совещание». Наконец появились и совещавшиеся: судья, два заседателя и еще какой-то средних лет представительный полный мужчина, который, сказав что-то на ходу судье, прошел в зал и сел на заднюю скамейку. Было похоже, что судейская процедура идет в обратной последовательности: сначала «суд удалился на совещание», принял решение, а потом начал слушание моего дела. Во всяком случае, последовавшее затем «разбирательство» это впечатление подтвердило.

По судейской формуле меня спросили, не имею ли я что-нибудь против присутствующих судьи, заседателей и еще какой-то нервной дамы, оказавшейся потом прокурором. Я, естественно, ничего против них иметь не мог, и суд начался.

Судья спросил Костромина как представителя ответчика, не желает ли он удовлетворить мое требование и вернуть меня на работу. Тот сказал, что он бы с большой охотой это сделал, но такой возможности нет.

После этого мне предоставили слово, и я подробно объяснил, почему считаю свое увольнение не законным, а расцениваю его просто как репрессивный акт.

Затем стали высказываться свидетели: Игнатов, Панфилова, Эпельцвейг. И тут в их заявлениях неожиданно для меня прозвучал новый аргумент: дескать, уже больше месяца, как Горлова уволили, а на работе это никак не отразилось. Отдел попрежнему выполняет план, темы «идут» и вообще все в порядке. Следовательно, Горлов действительно был в институте лишним и его сократили правильно, в интересах производства! Говорил об этом, в основном, Игнатов, а навел его на это судья вопросом: «Как сказалось увольнение Горлова на работе отдела?»

— Вот видите,— встала вдруг дама — прокурор,— действительно, сокращение штатной должности Горлова было целесообразным.

При такой логике я не сразу нашелся, что отвечать. Сказал в запальчивости что-то вроде того, что если бы, например, уволить самого товарища Игнатова, то работа от этого только бы выиграла. Хотел добавить то же самое и про директора Гусакова, но воздержался.

Все дальнейшее «разбирательство» проходило, как на экране немого кино: что бы я ни говорил, присутствующие вели себя так, как будто я только раскрываю рот, не произнося ни звука. У меня возникла полная иллюзия того, что я на-

хожусь в окружении глухих: какие бы доводы я ни приводил, их никто не обсуждал и не опровергал, как будто я ничего не говорил!

В своей речи прокурор (правда, волнуясь и заикаясь) сообщила, что увольнение это законно, потому что проводилось сокращение штатов... И что, как следует из показаний свидетелей, работа от этого не пострадала, следовательно, сокращение Горлова действительно произошло в интересах производства, да и профсоюз такое увольнение санкционировал.

Наконец, по процедуре мне дали последнее слово. Я, наверно, в десятый раз и уже в полной растерянности, привел свои аргументы, которые мне самому стали надоедать. Как и раньше, меня никто не перебивал, но и не слушал.

Судья с заседателями (последние за все время не проронили ни слова) отправились принимать решение. Вскоре секретарь объявил:

— Суд идет!

И он пришел.

Я, на этот раз уже стоя, выслушал еще раз то же самое, что говорила прокурор: что было сокращение, что увольнение законно, что мои протесты необоснованны и так далее. А также, что я могу жаловаться в высшие судебные инстанции, если не удовлетворен решением районного суда.

Через несколько дней я такую жалобу отправил в городской суд. Хотя почти все мои друзья и убеждали меня в том, что мои действия бессмысленны и что ни о каком объективном разбирательстве в судах не может быть и речи, но я не мог сразу остановиться, смирившись с несправедливостью, еще и потому, что находился под воздействием инерционных сил.

К этому времени стали подходить к концу деньги, полученные мной при расчете в институте, и нужно было искать какие-то источники существования для семьи. На работу по специальности в Москве меня не брали, и я решил на время уехать в глухие места, где обо мне никто не слышал и где можно было бы устроиться временно рабочим на строительстве. Такая возможность мне вскоре представилась, и в конце июня я уехал работать плотником в Воркуту — заполярный город, построенный в тундре заключенными в сороковых годах нашего просвещенного века на месте богатого месторождения угля. В прошлом это был один из крупнейших островов призрачного архипелага ГУЛАГ. Сейчас там платят полуторную надбавку к зарплате из-за тяжелых климатических условий, а это в данных обстоятельствах для меня было очень важно.

Рассмотрение моей жалобы в городском суде состоялось в начале июля уже без меня: мои интересы в суде на этот раз защищал очень известный, умный и опытный адвокат. Учитывая опыт первого разбирательства, адвокат теперь строил свою аргументацию только на очевидном формальном нарушении закона: приказ об увольнении был издан там, где я в штате и не числился,— в проектной части института, а уволили меня оттуда, где никаких сокращений не было — из научной части. Все это было исчерпывающе аргументировано представленными приказами и распоряжениями по институту.

Но зримое — для зрячих. Адвоката тоже слушали, не перебивая и с ним не споря. А потом — «суд удаляется на совещание», «суд идет» — и все, как по маслу: «Протест Горлова не обоснован, увольнение законно». И все! Как и в первый раз, сказали, что можно жаловаться еще выше.

Но теперь я решил уже остановиться. Одно из двух: или затевать судебную тяжбу с привлечением внимания общественности и иностранных корреспондентов, или на все пока махнуть рукой. В это время мой сын окончил школу и сдавал вступительные экзамены в институт, и я, опасаясь помешать ему, решил пока ничего больше не предпринимать.

На этом и закончилось мое знакомство с советским судопроизводством: больше я не пытался восстановить свои права через суд.

Вскоре после моего увольнения из института таким же приблизительно «демократическим» методом был изгнан и В. Ф. Турчин. Правда, он, учитывая, возможно, мой опыт, судиться с администрацией не стал.

Еще раз про «Стук, стук, стук...»

Беседа первая

Утром 24 мая у меня дома раздался неожиданный телефонный звонок:

— Товарищ Горлов? Говорит полковник КГБ Зенин Михаил Александрович. Не могли бы Вы сегодня приехать в приемную КГБ, что на Кузнецком Мосту, дом 24? Мне бы хотелось поговорить с Вами по очень важному для Вас и Вашей семьи вопросу.

— А о чем приблизительно должен быть разговор?

— Речь пойдет о Вашем сложном настоящем состоянии, связанном с увольнением с работы, неясностью с защитой диссертации и другими важными для Вас делами.

Около часа дня я был в КГБ. В приемной ко мне подошел мужчина в штатском:

— Пройдемте со мной. Полковник Зенин ждет Вас.

Меня провели по нескольким коридорам, мимо часового в форме войск КГБ. Мой провожающий наконец остановился у одной двери, приоткрыл ее.

Кабинет, в котором я оказался, был сравнительно небольшим: в нем могло находиться одновременно человек 15—20, не более. Провожающий вышел, дверь захлопнулась на внутренний замок. Мне навстречу поднялся невысокий мужчина в штатском и протянул руку:

— Здравствуйте, товарищ Горлов, садитесь. Давайте знакомиться: полковник Зенин, начальник подразделения, ведающего делами Александра Исаевича Солженицына. О Вас я знаю давно, хотя впервые увидел только на аэродроме при отъезде семьи Александра Исаевича. Я профессиональный чекист, разведчик, раньше в основном работал за рубежом.

Александр Исаевич начал открытую борьбу с советским государством. Его оружием здесь стал «Архипелаг ГУЛАГ», о котором вы, конечно, знаете. Александр Исаевич был нами арестован и обвинен в измене Родине, за что ему полагалась смертная казнь. Но мы решили, учитывая политическую ситуацию, просто выслать его из страны. Может быть, здесь мы и ошиблись — мы ведь люди, и в нашей работе, к сожалению, тоже бывают ошибки,— но будущее покажет, был ли этот шаг правильным. Кстати, должен Вам сказать, что напрасно Александр Исаевич огульно позорит весь аппарат госбезопасности: лагерями заключенных ведало специальное управление, которое относилось к МВД. А мы здесь ни при чем? Мы занимаемся разведкой и контрразведкой, охраняем только интересы государства, а не заключенными.

Для чего это он мне все рассказывает? Я продолжал молча слушать.

— Теперь перейдем к Вам. Я подробно знаю всю Вашу драматическую историю и считаю, что попали Вы в нее, «как кур в ощип». И хотя Александр Исаевич на весь мир объявил Вас своим ближайшим другом, но думаю, что это не совсем правильно. Я-то уж точно знаю, что у него есть друзья поближе, такие же фанатики, как и он сам. С ними можно только бороться, а не разговаривать по-человечески, как, например, мы с Вами сейчас.

Я еще не проронил ни слова.

— Хочу попутно сделать Вам комплимент: несмотря на все жизненные передряги и оказываемое на Вас давление, держались Вы стойко и не сдали позиций, даже потеряв положение в обществе и почти все материальные блага, которые столько лет зарабатывали. Но это, конечно, со стороны Вашего директора и районных деятелей была глупая тактика. Зачем, спрашивается, так ломать человека, если он не переламывается? Ну, не может человек сделать что-то, что ему противно, так и оставьте его в покое!

Тут он прервался и, извинившись, позвонил по телефону, сказав кому-то, что задерживается, но чтобы его ждали.

— Так вот, раз уж Вы в эту историю попали, давайте подумаем вместе, как Вам лучше из нее выпутываться. А положение у Вас действительно создалось тяжелое. Во-первых, докторская диссертация, над которой Вы столько лет работали, висит на волоске. Во-вторых, как это ни прискорбно, Вас выгнали с работы, несмотря на то, что Вы специалист высокой квалификации: все работавшие с Вами очень Вас ценили. Я понимаю, что для такого специалиста, как Вы, безработица — это духовная гибель. Я уже не говорю о том, что нужны ведь средства, чтобы кормить семью. А тех небольших сбережений, которые есть у Ваших родителей, надолго не хватит. И, наконец, последнее: Вашей жене тоже грозит увольнение и уголовное наказание.

Я постарался никак не выдать охватившее меня смятение:

— А она в чем виновата?

Он минуту или две выждал, делая вид, что занят какими-то записями, и как бы между делом сказал:

— Она в служебное время размножала на машинке антисоветскую литературу.

— Какую литературу?

— Ваши мемуары.

— Мои... что?

— Ну, воспоминания, которые Вы давно уже пишете о происходящих с Вами злоключениях из-за дружбы с Александром Исаевичем. Ведь пишете же?

Я молчал.

— Ну, хорошо. Не хотите говорить, не надо. Я сам могу их Вам показать.

Он раскрыл папку, и я увидел страничку из своих записок, начинающуюся словами: «...29 марта из Москвы уезжала семья А. И. ...» и следующий далее мой текст. Под этой страничкой было скрепкой подколото еще страниц 30, но их он мне не показал.

— Все очень просто. Ваша супруга печатала эти материалы на работе, а использованную копировальную бумагу (вот она здесь) бросала в корзину. По этой копирке и восстановлен текст Ваших записей. Вот и протокол с работы Вашей жены со всеми необходимыми подписями по поводу этого дела, которое можно хоть сейчас передавать следователю. Как видите, я играю в открытую, чтобы прийти с Вами к разумному соглашению.

Он опять прервался, на этот раз внимательно глядя на меня и оценивая, очевидно, произведенное впечатление. Затем опять заговорил, не сводя с меня глаз:

— С сыном у Вас тоже предстоит решать сложные проблемы. Ведь он у Вас выпускник и собирается, как мне известно, поступать в университет. Я знаю, что он талантливый мальчик, досрочно кончающий школу. Но Вы же знаете, как сейчас трудно поступить в вуз и тем более в МГУ. А если при этом приемной ко-

миссии станет известна репутация родителей: отец — друг Солженицына, за что изгнан с работы и лишен возможности защитить докторскую диссертацию; мать — тоже выгнана с работы за размножение антисоветской литературы и находится под следствием? Так что наиболее полно Ваше положение можно оценить по пословице: куда ни кинь — всюду клин. Что можете Вы здесь предпринять? Давайте разберем.

Он сделал паузу и продолжал:

— Надеяться поступить на мало-мальски приличную работу Вы не можете по двум причинам: во-первых, из-за Вашей репутации диссидента, а во-вторых, просто потому, что Вы — еврей (Вы же, надеюсь, реалист и понимаете ситуацию в стране?). Какой же директор при таких обстоятельствах согласится Вас взять? Хочу мимоходом коснуться еврейского вопроса. Эта проблема не в сфере моей деятельности, но волнует меня лично. Я всегда искренне уважал евреев, ценил еврейский ум и талант. Еще будучи студентом юридического факультета, я имел много друзей среди евреев. Но что сейчас происходит — совершенно не понимаю. Откуда вдруг между нами возникла такая пропасть? Я хочу как-нибудь потом с Вами на эту тему поговорить подробней, но уже в личном плане. А сейчас вернемся к нашим делам. Мне известно, что в связи с возникшим для Вас тупиком Вы рассматривали возможность отъезда из страны. Но Вы же разумный человек и должны понимать, что для Вас это не выход. Во-первых, у Вас в семье на этот счет нет согласия. Ваши престарелые родители (и Ваши, и Вашей жены) — против этого и с Вами не поедут. Как же Вы их бросите? Во-вторых, куда бы Вы ни поехали — лучше, чем здесь, Вашей семье не будет. В Израиле Вы не нужны: там сейчас перепроизводство «интеллектуалов», а нужны солдаты и рабочие. В других капиталистических странах Вам совсем будет туго: Вы не приспособлены жить в обществе, где нужно вырывать себе кусок зубами, да и начинать все с нуля на пятом десятке — дело в наше время почти невозможное. На что же Вы можете рассчитывать? На помощь Александра Исаевича? Но это же совсем глупо! Во-первых, не сможете же Вы долго жить на его подачки, даже из чисто моральных соображений. А во-вторых, мужик он фанатичный и прижимистый, я его знаю лучше Вас. Для него главное — его идеи, во имя которых он пожертвует своими детьми, а не только что Сашей Горловым (так он ведь Вас называет?). О его «встрече» с Максимовым слышали? Вот и Вас ждет то же: здесь Вы были ему нужны, а туда приедете — он и разговаривать с Вами не станет. К тому же у него сейчас мания преследования: боится, что мы его хотим убить, и поэтому вообще ни с кем не встречается. Любит почему-то только чехов, которых допускает к себе. А зачем нам его убивать? Он и так скоро никому там не будет нужен. Ну вот, как будто бы перед нами полная и ясная картина. Мы здесь с Вами одни, без посторонних свидетелей, и давайте по-деловому попытаемся кое о чем договориться, чтобы найти выход из этого тупика.

— Я не совсем уверен насчет отсутствия свидетелей, но это неважно.

— Так Вы же видите, что мы здесь только вдвоем!

— Я полагаю, что где-то здесь что-нибудь крутится во время нашей беседы. И даже, наверно, не в одном месте.

Он заулыбался и сказал:

— Ну, что Вы! Мне это ни к чему: у меня и так хорошая память.

И затем уже серьезно продолжал:

— Так вот, я готов Вам помочь: Вы сможете и защитить диссертацию, и получить хорошую работу, и вернуть себе репутацию достойного нашего общества человека. Но для этого необходимо, чтобы Вы выполнили два условия. Сначала первое: Вы не распространяете свою рукопись и не передаете ее за рубеж. Можем мы с Вами об этом договориться?

— Можем. Я объясню почему. Я избрал своей карьерой научную, а не политическую деятельность, и мои записи — это первый общественно-политический опыт.

— А для чего Вы их писали?

— Очень просто. Вы меня выгнали с работы, и я начал писать воспоминания из-за обилия свободного времени.

— А, понимаю: природа не любит пустоты. Так что ли? Значит, мы в этом и виноваты. Хорошо, допустим, согласен. Раз по первому условию договорились, перейдем ко второму. Это даже не условие, а так — мелкая просьба к Вам. Дело в том, что пока Александр Исаевич жил у нас в стране, он видел своими глазами нашу жизнь и получал правильную информацию о ней. Сейчас он от этой жизни оторван, окружен нашими врагами и, естественно, не имеет канала, по которому мог бы получать отсюда достоверную информацию. Так вот, мы хотим, чтобы таким информатором для него стали Вы. Ведь Вы же, очевидно, тоже заинтересованы, чтобы он получал из нашей страны правильную информацию?

— Простите, но я что-то ничего не понимаю. Вы просите меня о том, чтобы я писал ему письма о нашей жизни?

— Вот, вот, именно так. Только эти письма будем писать мы.

— Вы?

— Да, мы.

— А при чем же здесь тогда я?

— А Вы их будете отсылать от своего имени.

Мне кажется, что в этот момент у меня был настолько обалделый вид, что, глядя на мое лицо со стороны, нельзя было бы не расхохотаться. Но мой собеседник был абсолютно серьезен, и приходилось признавать, что вся эта абракадабра — не сон.

— А почему Вы сами не хотите ему их отсылать?

— Я бы с удовольствием. Но только боюсь, что мои письма Александр Исаевич читать не будет.

Я посоветовал:

— А Вы так пишите, чтобы ему было интересно.

— Не получится: ведь у нас разные интересы. А вот от Вас наши письма он, наверно, читать будет. И будет отвечать. Его письма, Вы, естественно, будете передавать нам.

И продолжал как о решенном деле:

— Встречаться с Вами мы будем не здесь, а в каких-нибудь нейтральных местах, например, в вестибюлях гостиниц. Этот вопрос мы обсудим потом подробнее. Вот и все. Если мы с Вами до всего договорились, то я докладываю об этом своему начальству и с сегодняшнего дня все Ваши неприятности становятся лишь грустным воспоминанием. Впереди Вас ждет широкий простор профессиональной научной деятельности и заслуженные дивиденды.

Наступила пауза. Он стал сосредоточенно что-то искать на столе, а я пытался в этой чудовищной ситуации выбрать правильную форму поведения и никак не мог: то ли послать его куда подальше, то ли попытаться как-нибудь схитрить. Но, очевидно, его уже неоднократно в жизни и посылали, и пытались обмануть, так что вряд ли его можно провести. А ведь за этим стояли судьбы жены, сына, близких! Я решил пока затянуть и разговор, и решение вопроса:

— Но ни Александр Исаевич, ни члены его семьи мне еще ничего не писали. Чего вдруг я должен им начинать писать? Это вызовет только подозрение Александра Исаевича.

— Не волнуйтесь, скоро получите письмо.

— Может быть, Вы мне сами его и отдадите?

— Если Вы думаете, что оно у меня в столе, то ошибаетесь: получите обычным путем.

И вдруг добавил:

— И Наташа скоро приедет. Мы ей разрешим.

— Можно полюбопытствовать: почему Вы для этой цели остановились именно на мне?

— Очень просто: во-первых, Вы умный человек, а не диссидент-фанатик. Во-вторых, Александр Исаевич как будто Вам доверяет. В-третьих, Вас должна беспокоить судьба сына и близких. И потом, почему Вы решили, что будете писать от нас Александру Исаевичу один, а не в числе еще 100 других таких же корреспондентов? Кстати, пусть Вас не смущает мысль о том, что Вы становитесь как бы доносчиком КГБ. Вы читали «Архипелаг ГУЛАГ»? Нет? Там есть такая глава: «Стук, стук, стук». Это о штатных наблюдателях и доносчиках среди заключенных в лагерях. К Вам это никакого отношения иметь не будет: ведь мы не охранники лагерей, а разведчики на службе государства, и Вы будете служить благородной цели, доставляя Александру Исаевичу правдивую информацию. Ну, так договорились?

— Нет.

— Что нет?

— Я не смогу выполнить Ваше второе условие. Согласен только на первое: не пускать в свет свою рукопись.

— Это нас не устраивает, это почти что ничто. Вашу рукопись мы могли бы взять и сами без Вашего согласия: квартира Ваша часто пустует, а «сторожит» ее приветливая и очень ласковая собачка Дина. Понимаете, о чем я говорю?

— Понимаю. И тем не менее то, чего Вы требуете, противно моему естеству, а потому для меня и невыполнимо.

— Вот как? Значит, Вы не хотите оказать ничтожную услугу государству, в котором выросли и живете? Вы же, наверно, понимаете, что мы должны тогда считать Вас в стане наших врагов, с которыми будем бороться всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. В современных условиях нейтралов нет. Убивать, правда, сегодня мы Вас не намерены: это в милиции костоломы, а у нас методы более тонкие. Между прочим, нам известны Ваши нелестные высказывания о советском общественном строе, которые Вы себе позволяете в беседах. Надо полагать, что дружба с Александром Исаевичем для Вас не прошла бесследно и Вы таки попали под его влияние.

Тон его разговора резко изменился.

— Хочу еще добавить, что, как Вы понимаете, выезд из страны для Вас возможен тоже только с нашего согласия.

Эту беседу необходимо было сохранить. И я решил выиграть для этого время:

— Можно, я дам Вам окончательный ответ через неделю?

— Ну, что же. Жаль, конечно, что все откладывается. Ведь это не мне нужно: это Вы без работы, а не я. Давайте тогда договоримся, что встречаемся здесь же в следующую пятницу, 21 мая. Я, правда, могу быть в отъезде, но тогда Вас предупредят. И последнее условие: если о содержании нашего разговора кто-нибудь узнает, то Вы познакомитесь с камерой в Лефортове, в которой сидел Александр Исаевич. Там с тех пор ничего не измени-

лось, хотя условия лучше, чем в былые времена.

Я сказал:

— О камере Вы упомянули напрасно: могли уже убедиться, что на меня такие вещи не действуют.

Он пропустил мою реплику мимо ушей, встал из-за стола и, опять став приветливым, начал со мной прощаться:

— До свидания. Идемте, я прикажу часовому Вас пропустить. Значит, я Вас жду в следующую пятницу.

На этом мы и расстались.

А в назначенное время 21 мая мне утром позвонили домой:

— Товарищ Горлов? Говорит заместитель полковника Зенина. Полковник сейчас в командировке и просил передать, что позвонит Вам на следующей неделе. До свидания.

— До свидания.

Беседа вторая

Вторая беседа с полковником Зениным состоялась через 2 недели, в пятницу 7 июня. Продолжалась она около 4 часов.

На этот раз обстановка была значительно более торжественной. Их теперь было трое: сам Зенин, сидевший во главе стола, один молодой светлый мужчина, записывающий беседу, но не принявший в ней участия, и еще один — плечистый, с толстым лоснящимся лицом. Все были в штатском. На столе стоял магнитофон, микрофон от которого верзила все время подсовывал ко мне.

— Итак, товарищ Горлов, у вас были две недели на размышления. К чему же вы пришли?

— Все к тому же: я готов взять на себя обязательство не распространять свою рукопись, но второе условие, относящееся к переписке с Солженицыным, для меня неприемлемо.

— Ах, вот как! Ему, видите ли, неприемлемо помочь советскому государству! — даже не заговорил, а как-то тихо зарычал верзила.— Зато помогать нашим врагам — это ему приемлемо? Там — архивы перепрятывать, тут — колеса починить...

— Какие архивы, какие колеса?

— А какие колеса вы чинили всю прошлую субботу?

Я сообразил, о чем идет речь. Дело в том, что уезжая из Москвы, Екатерина Фердинандовна подарила свою машину — «Москвич-412» — А. Гинзбургу. 31 мая мне позвонила страшно расстроенная жена Гинзбурга, Арина, и рассказала, что прошедшей ночью все шины у автомобиля были кем-то изрезаны. Она очень просила меня помочь восстановить машину, так как ей с ребенком нужно было срочно переезжать в Тарусу, где в больнице лежал ее муж. Когда я в тот же день увидел машину, то глазам своим не поверил: шины были искромсаны так, что почти полностью развалились. О ремонте их не могло быть и речи, нужно было искать новую резину. Этим я и занимался весь следующий день, пока удалось купить частично новые, частично старые шины, смонтировать их и увести машину на охраняемую стоянку. Когда Арина мне первый раз позвонила, я, кажется, прореагировал так: «Ах, сволочи! Вот бандиты!»

— Но позвольте, как же я мог отказать женщине в помощи, если это было в моих силах? А вы бы отказали?

— Меня бы и не просили, не волнуйтесь. Это вы там все время крутитесь в роли техпомощи, где надо и где не надо. А вы, случайно, не помните, как назвали тех, кто порезали шины?

— По-моему, бандитами...

— Смотрите, помнит!

— А что, это разве были вы? — я постарался сделать как можно более наивное выражение лица.

Верзила уставился на меня, не зная, очевидно, как отвечать. Ответил, улыбаясь, Зенин:

— Не мы, не мы... Не думаете же Вы, что я бегаю по ночам по улице и режу шины? У нас и ножей таких нет. Но тем не менее совершенно ясно, что вы готовы во всем помогать нашим врагам, а от содействия нам — отказываетесь. Кстати, в прошлый раз вы были предупреждены об обязательстве неразглашения нашего разговора. Вы о нем кому-нибудь говорили?

— Нет.

— Лжете! — рявкнул верзила.— Нам известно, что вы передали содержание этого разговора.

Мгновенно включился Зенин:

— Кто знал о том, что я приглашал вас сюда?

— Я не делал из этого секрета. Это было до вашего требования молчать,— я немного растерялся от взятого тона и темпа и пытался сообразить, что они имеют в виду.

— Кому же вы об этом говорили? Отвечайте быстрее, не пытайтесь тянуть, чтобы что-то скрыть!

— Не помню.

— Вспомните.

— А почему я, собственно говоря, должен вспоминать? — я уже снова взял себя в руки.

Последовавший затем разговор примерно в течение часа носил форму открытого шантажа и угроз. В основном, от меня требовали все то же: согласиться сотрудничать с КГБ в переписке с Александром Исаевичем. При этом верзила орал и хамил, а Зенин выступал в роли как бы миротворца. Третий молча записывал; одновременно крутился магнитофон.

— Вы напрасно теряете время,— сказал я,— до тех пор, пока я нахожусь в здравом уме, я не буду делать поступков, противоречащих моим морально-этическим убеждениям. Можете позвать сюда еще трех помощников, изрезать меня на куски и бросить в реку.

— Ну, ну, ну! Это вы уж хватили через край,— сказал Зенин.— Вы напрасно думаете, что необходимо звать помощников, а эти двое с вами не справятся.

— С ним-то?.. Да мне одному тут делать нечего! — верзила состроил такую непередаваемо презрительную гримасу, что даже мне стало неловко за нанесенную ему обиду.

— Не будем мы вас резать на куски,— продолжал Зенин,— и иголки под ногти тоже загонять не будем. Если понадобится, то вы у нас через полчаса заговорите без всяких пыток. Но думаю, все это нам сейчас не надо. Я просто не понимаю, какой фанатизм удерживает вас от содействия нам.

— Фанатизм здесь ни при чем. Если хотите, то я по своим убеждениям больше фаталист и считаю, что если чему-то суждено случиться, то это и случится. Поэтому нет необходимости идти в жизни на компромисс со своей совестью.

— Это как же так? Значит, если вас будут бить, то вы даже не попытаетесь этого избежать, раз тому необходимо произойти? Это — не для человека XX века!

— Да это никакой не фатализм, это — анархизм какой-то! — проявил эрудицию верзила.

Я попытался объяснить:

— Если меня будут бить, то я буду сопротивляться: это не против моих убеждений. Кстати, один такой пример вам уже известен. Но если меня будут заставлять шантажом делать то, что я считаю подлостью, то я этого не сделаю. И если потом угрозы реализуются, то я буду считать, что так и должно было в моей жизни произойти.

— Глядите, философ! — жизнерадостно объявил верзила.

— Вы действительно интересуетесь философией? — спросил Зенин.

— Немного... Читал Канта... Гегеля... Ленина...

— Слыхали? В первую очередь — Канта, и лишь между прочим Ленина,— вставил верзила.

— Я перечислял не по важности, а по хронологии,— пояснил я.

— А почему помочь органам КГБ не согласуется с вашим мировоззрением? — спросил Зенин.

— Ну, если КГБ так нуждается в моем содействии, то, пожалуйста, я готов вам помочь, например, ловить шпионов. Это не против моей совести.

— Вот как? Все-таки кое-что... А вы умеете ловить шпионов?

— Раньше не пробовал. Но если это очень нужно, вы мне расскажете, как это делать. Я попробую.

— Хорошо, согласны на шпионов. Так вот помогите ловить нам политических шпионов.

— Этих не могу.

— А каких можете?

— Тех, которые надеются разузнать о советских ракетах и самолетах.

Мне было любопытно, как долго может продолжаться эта клоунада.

— В оборонной области у нас все заполнено. Так что от ваших услуг придется, к сожалению, отказаться. Кстати, почему вы не принесли нам свою рукопись?

— А почему я должен был это сделать?

— Но мы же так, кажется, договорились?

— Я вам этого не обещал.

— А мне кажется, что обещали. Так принесете?

— Зачем?

— Почитать.

— У меня ее нет.

— А где же она?

— Считайте, что я ее уничтожил. Перепугался после предыдущего разговора и сжег.

— Какая обида! Но пленочку изготовили?

— Какую пленочку?

— Фотопленочку рукописи. Вас, наверно, Александр Исаевич этому научил. Он хорошо эту технику освоил. Просто, удобно, современно, легко перепрятать, передать...

— Нет у меня пленочки, а Александр Исаевич в свои технические секреты меня не посвящал.

— Так, так. Ни до чего мы с вами, видно, не договоримся. Можно было бы вас посадить: материала для этого достаточно.

— Ленинградское дело у нас ведь еще не закончено,— обращаясь к Зенину, вставил верзила.

— Вопрос только вот в чем: кем вы выйдете из лагеря.

— Думаю, кем-то вроде Солженицына.

— Ну, для этого еще нужно, чтобы Вам талант позволил.

— Я имел в виду содержание, а не форму. А потом, вы же не читали моих сочинений: может быть, вам они бы и понравились.

— Да я уж и так много чего читаю. Вот, например, последние номера «Хроники». Вы их уже видели? — Зенин внимательно посмотрел на меня.

— Я ни разу не видел ни первых, ни последних номеров.

— Напрасно. Хорошо пишут ребята. Я читал с удовольствием. Что же касается ваших сочинений, то теперь, если вам верить, надо ждать, пока вы напишете

новые. А это ни к чему ни вам, ни нам. Так что кончайте заниматься литературным творчеством: до добра это не доведет. Но все-таки расскажите, о чем вы писали в своих мемуарах.

— Это — моя биография последних лет.

— Ваша или Солженицына?

— Моя. Могу я ее писать?

— Свою — пожалуйста. Только Солженицына не трогайте. Вы о нем там упоминаете?

— Только когда необходимо что-то пояснить о событиях со мной. Например, при описании инцидента на даче или проводов его семьи из Москвы.

— Если так, то это еще ничего: ваша биография никому, кроме вас, не интересна. Это не сенсация. Ну, что же, пора заканчивать,— сказал Зенин и добавил, обращаясь к тем двоим,— вы пока можете быть свободны.

Те встали, собрали бумаги, сложили магнитофон и вышли, прихлопнув дверь.

Дальнейшая беседа происходила совсем в ином тоне.

— Вы уж не обижайтесь на них: такая у них служба. Да и смена идет не всегда такая, как бы хотелось. Я стремлюсь иметь вежливых, интеллигентных сотрудников, но, как вы убедились, не всегда мне это удается. В общем, мне было очень приятно и полезно поговорить с Вами лично. Лишний раз убеждаешься, как иногда превратно, намного хуже представляешь себе человека, знакомясь с ним заочно по документам. Я бы сейчас с удовольствием пожал вам руку и просил бы не поминать лихом. Но мне необходимо что-то доложить начальству, которое не всегда разделяет мои взгляды. Поэтому я вас очень прошу написать в любой удобной для вас форме бумагу, которую мы назовем по принятой у нас форме объяснением. Там нужно осветить три вопроса (поверьте, это нужно не мне): что вы не будете заниматься антиобщественной деятельностью, что не будете распространять свою рукопись (и краткое ее содержание) и, наконец, хотя бы что-нибудь о переписке с Солженицыным.

— Могу только пообещать, что если мне доведется писать, то писать буду только правду.

— Ну, хотя бы это. Лучше в такой форме: не буду писать антиобщественных измышлений. А я обещаю вам помочь с трудоустройством и с защитой диссертации. Это будет наш компромисс. Куда бы вы хотели устроиться работать?

— Я хочу вначале, чтобы меня восстановили на прежней работе, поскольку уволили меня незаконно. А потом я отту-да уйду сам.

— Вы подали в суд на восстановление в прежней должности?

— Да. Суд назначен на среду, 12 июня,

— Какой суд?

— Черемушкинского района.

Он все записал и сказал:

— Постараюсь все уладить. Предварительно, конечно, я должен представить своему начальству ваше объяснение, о котором мы говорили.

Надо сказать, что после предыдущих нескольких часов напряжения я вдруг «растаял» от нового, задушевного тона Зенина и написал ему такое излишне велеречивое «объяснение»-обязательство:

В КГБ при СМ СССР
от Горлова А. М.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Настоящим обязуюсь не принимать участия в антиобщественной деятельности.

Свою автобиографию я обязуюсь не публиковать, не давать читать или распространять любым иным путем. В своих записях я касался вопросов, связанных с моими служебными и диссертационными делами, а также с фактом увольнения меня с работы. А. И. Солженицын упоминается в них в связи с инцидентом на даче в 1971 г. и проводами его семьи из Москвы в 1974 г.

Отвечая на письма А. И. Солженицына или членов его семьи (если таковые будут), обязуюсь не допускать в них антиобщественных измышлений или искажения правды.

А. М. Горлов

Хоть и выжали из меня эту идиотскую бумагу, но написал я ее легко, считая, что ни в чем не грешу против совести.

На том, собственно, беседа и закончилась. Я, правда, зачем-то напомнил ему про еврейский вопрос, который его интересовал, чем еще на полчаса затянул разговор. Он очень долго мне объяснял, как волнует его эта проблема, и просил моих советов для ее решения. Я ему дал эти советы, но думаю, что они его не удовлетворили.

На прощание он сказал, что накануне суда позвонит и что нам еще нужно будет встретиться и поговорить по еврейскому вопросу. Но это уже после заграничной командировки, в которую он уезжает в ближайшее время дней на 20. И теперь встретимся не в КГБ, а где-нибудь в нейтральном месте. Если я не возражаю, он может прийти ко мне домой в гости. Я сказал, что тогда уж лучше я к нему, у меня нервная собака и, как теперь выяснилось, вся квартира прослушивается КГБ.

Потом он проводил меня на улицу и, улыбаясь, пожал руку. Я еще спросил:

— Нас сейчас снимают?

Он отшутился, и мы разошлись.

Накануне суда он не позвонил.

Суд, как уже известно, прошел без сучка и задоринки и вынес вердикт: администрация была права, уволив меня, а потому — в моем иске отказать.

После суда я позвонил жене на работу. Мне сказали:

— Ее нет на месте. Что-нибудь передать?

— Передайте, пожалуйста, что Михаил Александрович — феноменальный трепач.

— А она поймет, что к чему?

— Обязательно поймет.

Последние попытки удержаться

С каждым уходящим месяцем без работы мое положение становилось все более безнадежным. Ну, еще можно месяц-другой что-нибудь придумывать для отделов кадров, в которые я обращался, почему не работаю: больны родители, надо сыну помочь с поступлением в ВУЗ или еще что-нибудь в том же роде. Но больший срок неизбежно вызывает подозрения и последующее «расследование».

Надо было и семью кормить. Временами я подрабатывал по линии своего прошлого хобби: чинил автомобили, мебель. Иногда мне устраивали платные лекции по путевкам общества «Знание», членом которого я остался (туда почему-то слухи о моем криминале не дошли). Но уходящее время и отвлечение посторонними делами неизбежно приводили к потере профессионального уровня, с чем я смириться никак не мог.

И по приезде из Воркуты я не прекращал попыток получить работу, соответствующую моей квалификации.

Надо сказать, что в мое отсутствие, пока я был в Воркуте, обо мне неожиданную заботу проявили в КГБ. В июле на пресс-конференции, передававшейся по радио и телевидению многих стран мира, Александр Исаевич, говоря о преследованиях оставшихся в СССР его друзей, рассказал и обо мне. Вскоре после этого моей жене домой позвонили:

— Здравствуйте, товарищ Горлова. Говорит Зенин Михаил Александрович из КГБ. Я звонил Вам несколько раз, но ни Вас, ни Вашего мужа не мог застать дома. Как дела у мужа? Как с сыном? Вы, наверно, все время на даче?

Надо же, какая неосведомленность — ничего не знают: ни того, что я не в Москве, а в Воркуте (хотя оттуда я часто писал и звонил домой), ни того, что сын поступает в институт, а жена при нем и ей всегда можно позвонить на работу или вечером домой, ни того, наконец, что нет у нас никакой дачи. Да и Александр Исаевич на весь мир сообщил, что меня давно выгнали с работы и больше никуда не берут. Хотя я ведь забыл: мне когда-то после драки на даче Александра Исаевича в Наро-Фоминской милиции объяснили, что они «зарубежных радиостанций не слушают и иностранных газет не читают».

— Муж работает на севере, а сын готовится к поступлению в ВУЗ,— ответила жена.

— Должен Вам сказать,— продолжал Зенин,— что Ваш муж поразительно упрямый человек: с ним ни до чего нельзя договориться. Что он собирается делать по возвращении?

— Будет искать работу.

— Я Вам оставлю свой телефон, и пусть он позвонит: мы поможем ему хорошо устроиться.

Я позвонил по оставленному телефону. Произошел такой разговор:

— Позовите, пожалуйста, товарища Зенина.

— Здесь таких нет.

— Это КГБ?

— Что за идиотские шутки! — и бросили трубку.

Я в недоумении посмотрел на телефон, проверил записанный номер, набрал еще раз. Ответил тот же голос, и я продолжать не стал.

Честно говоря, я и не рассчитывал на помощь от КГБ, иначе где же логика: сначала выгнали с работы, а потом сами же и устраивают?

К этому времени я получил прямо (через отдел кадров) или косвенно (от выяснявших для меня коллег) отказы в приеме на работу из 12 институтов. Последним, уже в октябре, был отказ из института Гидропроект, куда я подал заявление после того, как прочел объявление, что требуется специалист именно моего профиля.

Но что же делать? Создавалось ощущение, что я живу в каком-то ином измерении: можешь кричать, размахивать руками, все равно никто тебя не услышит. А вокруг словно сплошная мягкая стена, в которой тонут и крики, и удары.

Передо мной все яснее вырисовывалась единственная возможность — эмиграция. Или меня к этому решению и подталкивали? Но ни я, ни моя семья не стремились к этому. Для нас это было бы насильственным отчуждением от всего, с чем связана жизнь и память, и к такому решению мы не были подготовлены.

Я решил предпринять последнюю, «наглую» попытку.

Прочтя в газете объявление о том, что в строительном институте — МИСИ — объявлен конкурс на должность доцента кафедры «Сопротивление материалов», я отправил туда свои документы. К ним я, естественно, приложил и свою знаменитую характеристику (вернее, заверенную копию ее).

Конечно, я не мог серьезно рассчитывать на прохождение конкурса, значась в официальных документах другом Солженицына. Но я понимал, что рассматривать мои документы будет совсем не конкурсная комиссия, и надеялся, что, может быть, где-то «там» вдруг найдется хоть один разумный человек, который скажет: «Да оставьте вы его в покое. Он же нигде не выступает, пресс-конференций не устраивает, с иностранными корреспондентами не встречается. Так пусть себе тихо работает».

Но разумного не нашлось и «вдруг» не случилось. Вместо этого пришло по почте такое письмо:

«МИСИ им. В. В. Куйбышева сообщает, что присланные Вами документы не могут быть представлены к рассмотрению на конкурсной комиссии в связи с тем, что по существующему положению к участию в конкурсе принимаются документы (характеристика) в первом экземпляре и давностью не позже 4-х месяцев. Кроме того, Вы должны, по согласованию с заведующим кафедрой, прочитать две-три пробных лекции (телефон кафедры: 261-59-13, 261-39-12).

Мы просим сообщить причины, по которым Вы не работаете.

Зам. Председателя конкурсной комиссии

27.9.75 г.

Е. Шилов».

Что за чепуха! Если я все равно не могу участвовать в конкурсе, то зачем я должен читать пробные лекции? И для чего я должен сообщать о прячинах, по которым не работаю?

А потом я узнал об одном курьезе, связанном с моим обращением в МИСИ, и почему письмо мне подписал не председатель конкурсной комиссии, а его заместитель. Оказалось, что фамилия председателя конкурсной комиссии — тоже Горлов. Говорят, что ему долго пришлось потом доказывать, что он вовсе не мой родственник и даже не однофамилец. Не знаю, поверили ли ему.

Я все же ответил на письмо из МИСИ, написав, в частности, что лишившись в апреле работы в своем институте, «...я уехал в Воркуту, где работал временно в качестве плотника. Учитывая многолетний кабинетный характер моей предыдущей деятельности, эту смену производственной обстановки я счел для себя вполне приемлемой. Вернувшись в Москау, я направил Вам свои документы на конкурс. Это положение сохраняется и по сей день.

7.X.1974 г.

А. Горлов».

Надо полагать, что мое письмо удовлетворило их любопытство, потому что никаких новых запросов из МИСИ не последовало. И вообще в этом деле ничего больше не последовало.

В это время надвигалось другое событие: предстоящее вручение А. И. Солженицыну в Стокгольме диплома Нобелевского лауреата и его выступление по поводу этого. Тогда еще никто не предполагал, что это выступление превратится в многочасовую пресс-конференцию с участием сотен корреспондентов из разных стран мира. Не знали и о чем Александр Исаевич будет говорить: может быть, и о положении своих друзей в СССР.

Наверно, все эти события как-то повлияли на занимающихся в КГБ «делом Солженицына», и меня вызвали туда в начале декабря.

Накануне позвонили:

— Здравствуйте, товарищ Горлов! Вы меня узнали? Это говорит Зенин Михаил Александрович. Не могли бы Вы приехать завтра ко мне в приемную КГБ в 2 часа дня?

— Зачем?

— Надо же что-то решать с Вашим устройством на работу. Я помогу Вам в этом.

— Хорошо, приеду.

Встретил и проводил меня в кабинет молодой, внешне приятный человек лет 30. Он сел за стол, предложил и мне кресло. Затем представился:

— Викторов Евгений Андреевич.

Викторов сказал, что Зенина не будет, он где-то на совещании. Тут же в кабинет вошел и сел высокий светловолосый мужчина лет 35. Его я где-то уже видел, но где — вспомнить смог не сразу. Он назвался: Гордеев. И тут я вспомнил: он приезжал за мной на работу три года назад после инцидента на даче А. И. и увез меня на допрос в КГБ. Тогда он выполнял роль сопровождающего, и мы с ним ни о чем не говорили. С тех пор он заметно погрузнел и посолиднел: очевидно, вследствие успешного продвижения по службе.

Разговор повел Гордеев:

— Так, товарищ Горлов, давайте вместе подумаем, что же нам делать?

— А Вам уже нечего делать? — спросил я.

— Я хотел спросить, что Вы решили?

— О чем?

— О своей дальнейшей судьбе: хотите ли Вы быть честным советским человеком и трудиться в нашем обществе или решили уезжать? Если Вы хотите эмигрировать, то пожалуйста, получайте вызов и уезжайте. Мы Вам в этом всемерно поможем и никаких осложнений с выездом у Вас не будет.

— Во-первых, я не считаю себя бесчестным из-за того, что не могу найти работу. А во-вторых, я не хочу эмигрировать, а хочу жить и работать здесь. Вы же обещали мне помочь с работой? Или я неправильно понял товарища Зенина? Он даже оставил какой-то мифический телефон, чтобы я справлялся о работе.

— Дайте нам список учреждений, куда Вы обращались, и мы Вам поможем,— сказал Викторов.— А чтоб у Вас не оставалось сомнений в моей искренности, вот Вам мой телефон.

Я назвал 5 институтов, поставил первым МИСИ, он их аккуратно записал.

— Ну, а если бы Вы все-таки собрались эмигрировать, то в какую страну? — продолжал Гордеев.

— Пока это вопрос гипотетический. Но скорее всего в США или Англию.

— Должен сразу Вам сказать, что мы отпускаем людей только в Израиль: у нас такой сейчас порядок. Поэтому Вам, если Вы решите уезжать, нужно будет найти родственника именно в Израиле, получить от него приглашение.

— А если я сирота?

— Так не бывает, и родственники в Израиле при желании всегда найдутся.

— А если я поищу родственников в США или в Англии? И захочу их навестить временно, года на два?

— Эти не годятся и туда мы Вас не выпустим. Мы вот некоторым дали разрешение на временный отъезд, но это себя не оправдало. Например, Ростропович уехал, а теперь и он, и Галина Вишневская делают на Западе такие заявления, что назад мы их, наверно, уже не пустим. Кстати, жить там нашим эмигрантам очень плохо. Вот, например, Чалидзе недавно решил вернуться в СССР таким способом: нелегально забрался на корабль, отходящий к нам, и спрятался в трюме. Но мы умеем не только как сейчас вежливо беседовать: его быстро обнаружили и выдворили обратно.

Это была явная «развесистая клюква», и для чего он мне эту историю рассказал, я не понял. Может быть, в расчете на то, что я о ней буду рассказывать, и они смогут проследить, с кем я общаюсь? Ведь новость-то действительно интригующе сенсационная и может разойтись мгновенно!

Разговор вскоре закончился. Викторов проводил меня назад по длинным коридорам мимо часовых в зеленой форме с голубыми околышками и сказал, прощаясь:

— Я позвоню Вам через неделю. Мы тут разберемся с Вашими делами и скажем, где Вы сможете получить работу. Вы мне тоже звоните.

Прошла назначенная неделя, прошла и другая. Меня не осаждали страждущие работодатели, никто мне не звонил и из КГБ с предложениями о работе. Тогда решил позвонить им я:

— А, это Вы, товарищ Горлов? — ответил Викторов.— Не волнуйтесь, все в порядке: мы Вам подыскиваем работу. Я позвоню Вам в конце недели.

Но опять никто мне не звонил, и снова позвонил я.

— Да что Вы переживаете? Столько сидели без работы, а тут вдруг такая горячка! В этом году уже ничего не выйдет, позвоните мне в середине января будущего года.

Я, наконец, начал понимать, что все это — чудовищная и идиотская мистификация, и единственное, что было реальным при разговоре в КГБ, что, наверно, и было целью того разговора, так это предложение уехать из СССР. Вспоминая весь разговор, я вдруг понял, что вращался-то он, в основном, вокруг идеи моего отъезда: куда нужно ехать, где искать «родственников» и что будет мне в этом «зеленая улица».

В напряженные и тяжелые дни начала года, когда арестовали и выслали Александра Исаевича, а потом уезжала его семья, друзья советовали мне тоже что-либо предпринять на случай необходимости отъезда из страны. Я был уверен, что пока не трогают Александра Исаевича, со мной тоже здесь ничего не произойдет, но после его высылки от КГБ можно было ждать чего угодно.

Когда в марте я провожал из Москвы семью Александра Исаевича, я попросил на этот случай найти мне «родственников» в Израиле, которые меня бы к себе пригласили. Вскоре я получил из Израиля необходимый вызов. И даже не один.

И вот сейчас, со всех сторон блокированный, без денег и уже без всяких надежд на получение работы, с растущей тревогой за судьбу сына, я начал приходить к мысли о неотвратимости эмиграции. Но прежде, чем окончательно остановиться на этом, я решил связаться с некоторыми зарубежными коллегами и отправил в Англию и США два письма:

Глубокоуважаемый профессор ....!

Зная Вас по научным трудам, я хочу обрвтиться к Вам по следующему вопросу.

На протяжении многих лет я работал над проблемой расчета и проектирования фундаментальных плит и систем перекрестных балок, а также других фундаментных конструкций. Имею около 50 опубликованных научных работ. Я кандидат технических наук, написал докторскую диссертацию.

Но из-за моей дружбы и поддержки писателя Солженицына моя научная и служебная карьера была сломана официальными властями. Мне не разрешили защитить докторскую диссертацию, а в начале 1974 года уволили из института. Одновременно мне выдали такую характеристику, с которой в СССР я уже не могу получить работу (я эту характеристику посылаю Вам для ознакомления).

В связи с этим я рассматриваю возможность эмиграции из СССР, в частности, в Вашу страну. Но прежде, чем

принять такое решение, мне бы хотелось знать о возможности получения работы по специальности в Вашей стране.

Я буду Вам очень признателен, если Вы сочтете возможным сообщить мне какую-либо информацию по этому вопросу.

С искренним уважением

А. Горлов

P. S. Это письмо я направляю не официальной почтой, а с попутчиком.

Письма я отдал одному знакомому, который в свою очередь передал их для отправки уезжавшему из СССР иностранцу.

Прошел январь. Ничто в моем положении не менялось. Ответов от зарубежных коллег я на свои письма не получил.

В начале февраля я направился в ОВИР, предъявил свой вызов из Израиля и спросил, какие документы для эмиграции я должен представить. Оказалось, что на семью из 3 человек около 45 разных бумаг. В том числе и характеристику с работы.

— Но я уже давно не работаю.

— Неважно, пока не прошел год со времени Вашего увольнения, Вы должны получить характеристику с прежней работы.

— А Вы считаете, что без этой характеристики меня в Израиле могут не принять?

— У нас такой порядок.

Ну, что ж, порядок — так порядок. Придется играть в глупую игру, правила которой не мной придуманы.

Недели две ушло на сбор документов. Получил я и характеристику на работе. Правда, прежде, чем дать ее, начальник отдела кадров Костромин попросил мой израильский вызов, сообщив, что директор и партбюро хотят на него посмотреть.

Однако вскоре я почувствовал, что опять происходит что-то неладное вокруг меня.

В ОВИРе, куда я пришел 19 февраля, у меня документы не приняли.

— У Вас характеристика не по форме. Пусть Вам ее переделают.

Позвонил на работу Костромину, но что-либо переделывать в характеристике он наотрез отказался. Образовался круг, и чувствовалось, что это не случайно.

Дело стало проясняться на другой день после посещения ОВИРа. Мне позвонил из КГБ Гордеев:

— Так вот, товарищ Горлов, вопреки нашим предупреждениям Вы все-таки пошли на уголовное преступление, наказуемое по статье 190 «прим» («антисоветская агитация», наказание — до 3 лет тюрьмы.— *А. Г.*), и мы передаем на Вас дело в прокуратуру.

Я стоял у телефона, и до меня как-то не сразу доходил смысл сказанного.

— Но прежде, чем принимать окончательное решение, я бы хотел еще раз с Вами побеседовать. За Вами прислать или Вы придете сами?

— А что за преступление, которое я совершил, и что это за статья 190 «прим»?

— Насчет статьи проконсультируйтесь у юристов, а о преступлении Вы прекрасно знаете: Вы пытались забросить за границу антисоветские материалы. Так, еще раз спрашиваю, придете сами?

— Хорошо, приду. Когда?

— Сегодня в два часа.

В кабинете Гордеева, куда меня провели, кроме него самого, сидел еще один незнакомый мужчина в штатском. На краю стола лежала большая стопа (страниц на 400—500) каких-то сброшюрованных тетрадей и просто машинописных листов.

Поверх всей этой груды бумаг лежали и оба надписанных мною конверта с письмами иностранным ученым.

— Ну что ж, товарищ Горлов, надеюсь, Вам все понятно? — начал Гордеев после небольшой паузы, дав мне возможность удостовериться в реальности существования моих писем у него на столе.

— Пока еще ничего не понятно,— сказал я.

— Хорошо, объясню. Вот все это,— он начал перекладывать бумаги,— Ваши письма («Не отрицаете?» — «Нет, конечно»), «Хроники» литовских националистов № 1, 2, 3, 4, антисоветские стихи («Не Ваши?» — «Я писал стихи только в 15 лет»), антисоветские статьи, обращения...— он продолжал перечислять, но мне уже все было ясно и я свою линию поведения определил: — ...все эти материалы обнаружены при обыске на границе у иностранного гражданина, пытавшегося нелегально их провезти. Гражданин этот арестован, ведется следствие. Вот акт обыска. Поскольку только в Ваших письмах значится авторство, у нас есть основания полагать, что это Вы организовали переброску всей этой антисоветской литературы. Сейчас мы это дело передаем следственным органам. Для приобщения к делу от Вас требуется объяснение. Напишите подробно, с кем, где и когда встречались, назовите явки (!), как передавали. Кстати, сообщаю, что у нас есть отснятый фильм этой процедуры и мы сможем его Вам показать.

Я взял лист и написал несколько фраз: что действительно отправил коллегам за границу два письма, спрашивая о работе. Отправил с эмигрировавшим недавно в Израиль евреем. Написал, что ко всему остальному из предъявленного мне никакого отношения не имею и как это все соединилось с моими письмами — не знаю.

Гордеев прочел мое объяснение и сказал:

— Вы должны еще дать оценку своему поступку.

— А что я могу сказать? Мне искренне жаль, что мои письма не дошли до адресатов.

— А Вам не кажется, что Вам следовало бы наконец как-то изменить свою позицию и в чем-то помочь нам? Тогда и мы можем стать во многом Вам полезны: и с работой, и с диссертацией, и, если захотите, с отъездом.

— Я уже говорил, что считаю свою позицию правильной. И сознание своей правоты не позволяет мне идти на компромиссы с моей совестью,— разговор начал скатываться в знакомую плоскость...

Беседа еще сколько-то времени продолжалась. Меня опять пугали статьей 190 «прим», которая, оказывается, близка к статье 70 (а там — до 7 лет). Но ничего принципиально нового уже сказано не было.

Наконец Гордеев сказал:

— Ну, хорошо. Сейчас мы все эти материалы передаем на экспертизу, которая должна установить следующие факты: принадлежат ли Вам все эти материалы, или Ваши — только эти два письма, а также имеется ли антисоветское содержание в самих Ваших письмах. Кроме того, нам нужно установить в процессе допроса «курьера», действительно ли он с Вами не встречался. На это потребуется приблизительно неделя. Нужно ли брать с Вас на это время подписку о невыезде из Москвы или можно поверить Вам на слово?

— Я никуда не собирался уезжать.

— Прекрасно, тогда все. Напоследок прошу Вас еще раз подумать о серьезности Вашего положения, и, если решите что-либо сообщить мне дополнительно, звоните.

Я им действительно звонил в тот же день, сообщив дату отъезда того еврея, с которым «передал» письма. А через час у меня отключился телефон и два дня безмолвствовал. Потом так же неожиданно включился.

Неделя прошла без звонков и происшествий, но внутреннее напряжение у меня и у моих близких не спадало. Учитывая возможность обыска, я уничтожил все бумаги, которые могли меня как-то компрометировать. И лишь большой портрет Солженицына с дарственной надписью продолжал по-прежнему висеть на видном месте.

Технология изгнания

Не знаю почему, но в КГБ решили, очевидно, меня из страны выкинуть: иначе невозможно объяснить ту глухую блокаду, которую мне устроили как с получением работы, так и с какой-либо иной возможностью научной деятельности. В частности, безработный в СССР не может публиковать свои научные статьи, так как журналы требуют акт служебной экспертизы.

Вначале я пытался сопротивляться этому, искал работу, съездил на время в Воркуту. Но через полгода понял бессмысленность борьбы: уж очень разные у нас весовые категории — я и КГБ. Пока дело касалось моей совести и человеческого достоинства, где вообще-то и сам себе хозяин, то здесь я был убежден, что выстою (естественно, если смогу сознательно контролировать свои поступки). Но что я могу, когда обращаюсь к своим же гонителям с просьбой о работе и нормальной жизни? Если бы я смог сказать им, что мне от них ничего не надо! Но это сделать у нас в стране невозможно: легально оплачиваемую работу и с нею статус полноправного гражданина общества можно получить только от государства!

Когда решение покинуть Россию сформировалось, встал вопрос: как это сделать?

Я уже писал, что получил на этот счет подробное разъяснение в КГБ: найдите родственника в Израиле, попросите прислать вызов, и мы Вас сразу же отпустим в качестве эмигранта: по-другому мы людей из СССР не отпускаем. (Вспоминается в связи с этим ходившая по Москве шутка: еврейская жена — не роскошь, а средство передвижения. Это высказывание связывали с известным советским музыкантом, руководителем очень популярного в Москве ансамбля «Мадригал», который смог уехать из СССР, предварительно женившись на еврейке.)

Но когда я, получив вызов от «родственника» (как оказалось — «родственницы»), стал готовить документы для ОВИРа, то столкнулся с поразительными для меня фактами, о которых хочу рассказать.

Прежде всего — это фантастическая гора разных бумаг и справок, которые мне нужно было собрать, изготовить и представить в ОВИР (16—20 на одного отъезжающего человека!).

Проще всего было написать автобиографию, которая у меня получилась такой:

«Я, Горлов А. М., родился 23 марта 1931 года в Москве в семье служащего.

Мой отец в 1938 году был репрессирован по ложному обвинению. Реабилитирован посмертно в 1956 году.

Моя мать переехала со мной к родным в Ленинград, где мы жили вместе до 1941 года. В начале войны я был эвакуирован в Кировскую область, где находился до конца войны в детском доме. С 1945 года я снова жил с матерью, которая после войны уехала из Ленинграда, похоронив там погибших в блокаду почти

всех родных. С 1972 года мать живет со мной в Москве, пенсионер.

В 1954 году я окончил МИИТ, факультет „Мосты и тоннели". По окончании института работал в Удмуртской АССР мастером мостопоезда 59, затем, с 1956 года — прорабом в Курске. С 1961 года работал в Москве главным специалистом института ЦНИПИАСС (бывш. Гипротис).

В апреле 1974 года, в связи с обвинением в дружбе с А. И. Солженицыным, я был изгнан с работы и в дальнейшем устроиться на работу по специальности больше не смог.

В 1961 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1971 году представил к защите в НИИ оснований докторскую диссертацию (она по той же причине к защите не допущена). Имею монографию и 50 научных трудов, за которые награжден Золотой и двумя Бронзовыми медалями ВДНХ.

Женат, имею сына, 1959 года рождения».

Потом я сел заполнять специальную «заявление-анкету», вверху которой написано, что это — «приложение № 1». В анкете названо 22 пункта, по порядку которых я должен был сообщить все о себе: возраст, национальность, пол, гражданство, семейное положение, партийность (а если беспартийный, то не выгоняли ли меня оттуда и за что), судили ли меня за что-нибудь и когда, был ли я за границей (и с какой целью, а если не был, но только хотел туда съездить, то объяснить, кто и почему не разрешил), воинское звание (его у нас имеют почти все окончившие вуз), какую получаю зарплату (меня это уже не касалось), где работал последние пять лет, избирался ли в органы советской власти (туда, за уникальным исключением, евреев не «избирают» уже давно), перечислить правительственные награды, куда и почему я собрался уезжать и (вот номер!) по какому адресу намерен жить за границей (в СССР при переезде в домовой книге пишут: «выписан по адресу...»), когда и через какой пограничный пункт хочу ехать (тут бы, уже если дошло до этого, как-нибудь и поскорее), все о своем паспорте (где, когда и почему мне его выдали), а также (это специальный пункт), что желаю еще (уже сверх анкеты) сообщить о себе, своих близких и по существу ходатайства. (Один из моих знакомых, уезжавших из СССР, вписал в этот пункт, что просит сохранить ему советское гражданство. В результате гражданство ему, естественно, не сохранили, но зато на несколько месяцев затянули решение: наверно, пытались понять, что это еще за умник такой нашелся.) И еще очень интересное (это, возможно, из-за игривости характера сочинителей анкеты, пункт 13) — перечислить всех своих живых и мертвых родственников (жена, отец, мать, дети, сестры, братья), где бы они ни были (в СССР или за границей), и все про них рассказать (кто такие, где родились, живут, работают или похоронены и так далее).

Когда я, все, как мне казалось, правильно заполнив, привез анкету в ОВИР, то оказалось, что, кроме всего перечисленного, я должен был написать еще и все о своей «родственнице» в Израиле:

— Но я про нее мало что знаю! Мы с ней никогда не встречались!

— Все равно что-то надо в анкете про нее указать. Кто она Вам?

Мы с женой переглянулись, она сказала:

— Тетя.

— Так и пишите. А также, что за тетя.

Я вписал в анкету: двоюродная сестра умершего отца.

— Где она родилась?

— Там же, в Израиле.

— Так и пишите. А также напишите, как и в связи с чем Вы ее разыскали.

Тут мне в самый раз было бы написать: по рекомендации КГБ. Но раз уж я начал играть в эту игру, то приходилось подчиняться и ее правилам. И я лично сообщил, что это не я, а тетя меня разыскала 10 лет назад, что тогда мы с ней наладили переписку, и вот она теперь скучает и зовет меня с семьей к себе...

Далее я должен был бы сообщить все о своих родителях, а также получить от них официальное разрешение на свой отъезд.

Для сдачи собранных уже документов в ОВИР пришлось еще уплатить по 40 рублей обязательной госпошлины за каждого человека: эти деньги во всех случаях «пропащие» и их не возвращают даже при отказе. Если же выезд разрешается, то нужно уплатить еще по 860 рублей за человека. Из какого расчета никто не знает: Гитлер вроде бы ввел эту моду и требовал в какой-то период перед войной по 1000 долларов за голову каждого отпускаемого им еврея. Но это в нашем XX веке, а вообще-то эта тактика выкупа известна с тех времен, когда одна слезшая с дерева обезьяна захватила в полон другую.

Но 900 рублей — это еще ничего. Совсем недавно уезжавшие должны были платить совершенно астрономические по советским масштабам суммы, исчисляемые тысячами и десятками тысяч рублей, за так называемые затраты «на образование». Это положение не отменено, а только приостановлено и может быть возвращено к жизни в любой момент. Кроме того, можно еще придумать налог за съеденный хлеб или выпитый чай...

Любопытно, что ни один документ — дипломы инженера, ученого, трудовую книжку, водительские права, даже школьный аттестат зрелости — вывозить из СССР не разрешается. Можно брать только копии этих документов, которые специальным образом заверяются единственным в Москве нотариусом по фамилии Гозин Иван Иванович. Но и его подпись должна быть потом удостоверена в министерстве юстиции! Весь этот странный процесс называется почему-то «легализацией» документов. Вроде как до отъезда за границу мы все владеем своими документами нелегально и подпольно! Вот такие «легализованные» копии можно с собой взять, а сами документы — или выбросить в мусор, или оставить на память родственникам.

Вообще же, если затронуть эту тему: что можно, а что нельзя уезжающему из СССР, то здесь есть обширнейшее поле для интересных наблюдений.

Например, нельзя просто так повезти принадлежащую Вам картину: ее должна сначала посмотреть специальная комиссия, заседающая в Третьяковской галерее, разрешить вывезти (или не разрешить, тогда совсем все просто), оценить в рублях, после чего Вы уплачиваете в кассу назначенную цену и только тогда получаете право картину вывезти. Даже если Вы эту картину сами нарисовали, но она признана комиссией произведением искусства. И даже если Вы ее до этого продать никому не могли!

Нельзя везти ничего, что стоит дороже 250 рублей. Например, серьги или кольцо. Можно, наверно, это проглотить или еще как-то запрятать, но на таможне Вы рискуете подвергнуться рентгеновскому просвечиванию или обследованию в гинекологическом кресле. Конечно же, такие понятия, как семейные реликвии или памятные подарки здесь в расчет не берутся.

Нельзя взять с собой мебель, если Вы пользовались ею меньше года: она должна быть обязательно не новой. Но и старинную нельзя!

Нельзя без специального разрешения экспертов Ленинской библиотеки везти с собой книги, изданные до 1945 года. Возможно, что это не касается трудов Ленина, Сталина или Мао Цзе-дуна, но их, по-моему, никто еще не вез.

Нельзя забрать свои архивы, рукописи. Даже собственную диссертацию!..

Ну и конечно же (даже как-то неприлично и упоминать об этом) нельзя забирать с собой свои собственные сбережения. Даже облигации прошлых обязательных займов, по которым граждане обязаны были отдать часть своих денег «в долг» государству. Пустые карманы — первый признак, по которому в первые дни, наверно, можно отличить за границей советского эмигранта.

Нельзя... нельзя... нельзя...

И через сколько неоправданных, унизительных процедур должен пройти вынужденный (и, главное, получивший на то разрешение) эмигрировать из СССР человек, увозя в душе обиды и горькую память об обществе, в котором много лет жил и работал. Я много раз спрашивал себя и чиновников: почему все это делается именно так? Чиновничий ответ (если отвечали, конечно) всегда был стереотипным: у нас такая инструкция. Тут уж крыть нечем: инструкция — это нечто вне нас, почти божественное! Один раз только ответили не тривиально: дай тут вам волю, так ой-ой-ой, что будет!

А наверно, все-таки по двум причинам: глупости и мстительности. Другого и не придумаешь.

Дело моего отъезда из СССР с места не сдвинулось, хотя прошло уже 2 месяца со времени подачи мною документов в ОВИР. Говорят, что ничего необычного в этом нет, так как нормальный срок рассмотрения таких прошений — до 4-х месяцев. Но в том-то и дело, что все у меня шло не по обычному пути, а меня к этому шагу подталкивали в КГБ. А потом передумали — так, что ли?

Во время моей последней беседы с работниками КГБ в феврале (когда они перехватили мои письма западным ученым) уже перед концом Гордеев сказал:

— Ну, хорошо. Если после проверки Вашего объяснения по поводу писем мы не сочтем необходимым передать дело в прокуратуру, то задерживать Вас в СССР никто не станет. Обещаю, что в таком случае Вы получите разрешение на отъезд через 2—3 недели после сдачи документов в ОВИР. Можете начинать пока упаковывать вещи. Советую заранее съездить в таможню и узнать, что и как можно перевозить с собою через границу. Вам нужно будет платить за образование?

— Полагаю, что это Вам виднее. Могу только сказать, что если с меня потребуют эти десятки тысяч рублей, то никуда я, конечно, не поеду: даже продав все до нижнего белья, я не наберу таких денег. Если бы мог набрать, то жил бы и здесь неплохо, даже безработным.

— Будет еще одно обстоятельство при Вашем отъезде,— Гордеев, к моему удивлению, стал говорить об этом как уже о решенном деле,— я хочу после того, как Вы получите разрешение на выезд, лично прийти к Вам домой и посмотреть рукописи, которые Вы захотите взять с собою. Вы не будете возражать?

— Пожалуйста, приходите. (А что мне было еще сказать — ни в коем случае?)

А потом, дня через три после принятия моих документов в ОВИРе (надо полагать, что в КГБ проверка моего объясне-

ния закончилась для меня положительно), мне домой опять позвонили:

— Товарищ Горлов? Здравствуйте, это говорит Викторов из КГБ. Как у Вас дела с ОВИРом? Они документы приняли?

— Да, приняли.

— И что при этом сказали?

— Рекомендовали справляться не раньше, как через полтора месяца: у них, сказали, такой срок рассмотрения.

— Полтора месяца? Ну, в этом нет никакой необходимости. Да и Вам, наверно, ни к чему так долго ждать. Давайте ускорим?

— Конечно, хорошо бы.

— Тогда договорились: ускорим, как и обещали. Можете укладываться.

Хорош бы я был, если бы послушался этого совета! Так и жили бы все эти месяцы, как на вокзале,— среди чемоданов.

Время шло, никаких вестей из ОВИРа не поступало. И я еще раз убедился, что обещания, которые получаешь в КГБ, стоят грош в базарный день.

Поразительное дело! Для чего они вообще в чем-то заверяют, если заранее знают, что все их слова не имеют абсолютно никакого значения? Ведь они могучи и всесильны и могут просто ничего не обещать. Кому нужны эти посулы, если их вовсе никто не собирается выполнять? Чувствуешь себя полнейшим идиотом, когда тебе долго сообщают нечто, из чего нельзя делать никаких выводов. И не слушать не разрешают!

На протяжении этого года мне много раз обещали в КГБ помочь устроиться с работой (плохо выразился: обещали в КГБ, а работать, конечно, в другом месте, по своей специальности). Сначала Зенин. Потом Викторов: об этом я подробно писал в главе «Последние попытки». Но здесь хочу вспомнить одну любопытную деталь из тогдашнего разговора с Викторовым и Гордеевым в той же приемной КГБ в ноябре 1974 года.

— А почему Вы считаете, что КГБ должен (или должно? — я так и не знаю, как правильнее.— *А.Г.*) Вам в чем-то еще и помогать? — вдруг сказал Гордеев.— Вы нам в свое время напакостили и хотите, чтобы мы же Вам просто так, ни за что помогали. Ведь сами-то Вы нам в чем-либо помочь упрямо отказываетесь.

— Я напакостил Вам? Когда? — Он еще не почувствовал, куда я клоню. И попался.

— В том инциденте на даче.

— Но ведь меня заверяли, что работники КГБ там не участвовали. Как же я мог напакостить, как Вы выражаетесь, именно Вам?

Наступила пауза, а потом вдруг с горячностью заговорил Викторов:

— А Вам разве кто-нибудь говорил про КГБ в той истории? Какие у Вас основания так заявлять?

— Конечно, никаких. Так я и не говорил про КГБ: это сказал товарищ Гордеев.

Тогда впервые в КГБ мне открыто сказали, как они расценивают мой давешний поступок, я им, оказывается, «напакостил». И срок давности для этой «обиды» тоже не существует. Поэтому мне-то теперь они могут «пакостить» как угодно долго. Поистине государственный подход к делу!

Сегодня 30 мая — прошел четвертый месяц, как подал документы в ОВИР. Все без изменений, как и было.

ОВИР

«Пришла беда — отворяй ворота» — старая мудрая пословица.

Мы с женой очень боялись, чтобы в этот напряженный и тревожный период наши житейские невзгоды не сказались на здоровье стариков-родителей, у которых мы были единственными детьми: у нас на попечении были мои мать с тетей, и женины отец с матерью. Всем им было уже за семьдесят и у них никого из близких, кроме нас, не осталось. Долгое время нам удавалось скрывать от них наши неурядицы, но, после того как меня выгнали с работы, пришлось все им рассказать.

Страх и возраст взяли свое.

Сначала очень тяжело заболела моя мать: весной прошлого года, в самый трудный момент моей отчаянной «драки» с институтской и райкомовской администрацией, у нее случился инсульт, и она на несколько месяцев слегла в больницу. Выздоровление ее шло тяжело, медленно, и мне приходилось много времени проводить у ее постели. Она «выкарабкалась» и осенью прошлого года постепенно вернулась к нормальной жизни.

А в марте этого года, после того как мы уже сдали документы в ОВИР, заболела мать жены. Болезнь ее нарастала катастрофически быстро. Вначале просто болела голова, потом начались непрерывные рвоты. В апреле она уже не поднималась с постели, а в конце мая перестала двигаться и говорить. Мы сбились с ног, непрерывно возя к ней разных врачей и делая рентгеновские снимки. Но все врачи ставили разные диагнозы, а снимки ничего страшного не показывали. В начале июня мы отвезли ее в больницу.

И буквально на другой же день мне позвонили из ОВИРа.

— Товарищ Горлов? С Вами говорит инспектор Сивец (голос был женским: отмечаю это из-за родовой неопределенности фамилии). Сообщаю Вам, что ОВИРом принято положительное решение по Вашему заявлению, и Ваша семья может уезжать из СССР.

Я слушал не прерывая и пытаясь сосредоточиться после моментного шока, чтобы найти правильную форму для дальнейшего разговора. Естественно, что при сложившейся в нашей семье обстановке ни о каком отъезде в данный момент не могло быть и речи: тещу в таком состоянии невозможно было ни везти с собой, ни оставить. Трудно предположить, чтобы в ОВИРе об этом не знали: мой телефон, как легко догадаться, прослушивается (да мне и в КГБ сказали об этом почти что прямо еще на первом вызове), а все нюансы наших семейных дел подробно обсуждались с родными и врачами по телефону. Так что же это тогда? Подождали, пока сложится безвыходная ситуация, и решили гнать?

Сивец продолжала:

— Я прошу только для окончательного оформления выездных документов принести срочно фотографии жены и сына по требуемой форме размером 4×6 см в фас.

— Но ведь в деле есть такие фотографии, мы их сдавали.

— Те не годятся. Вы подавали заявление, когда сыну было еще 15 лет и он считался несовершеннолетним. Поэтому на него отдельно виза не должна была оформляться и на имеющихся в деле фотографиях он снят вместе с матерью. За это время ему исполнилось 16 лет, и теперь мы оформляем визы раздельно на всех членов Вашей семьи, для чего и требуются дополнительно раздельные фотографии сына и жены. А также в дальнейшем дополнительная оплата в сумме 900 рублей за сына.

— Как скоро я должен представить фотографии?

— Не позднее, чем через 2—3 дня, после чего мы дадим Вам еще 3 недели на сборы.

Получалось, что мы должны уезжать до 30 июня. Я решил пока ничего с Сивец не обсуждать, а сказал только:

— Но ведь в фотоателье очередь, и они могут не сделать так быстро, как Вы требуете.

— Обратитесь в срочное фото, где делают в тот же день. Когда принесете фотографии, попросите дежурного милиционера вызвать меня к Вам: я нахожусь на втором этаже, куда вход посетителям запрещен. Или позвоните по телефону: 295-69-87.

На этом разговор окончился.

Вечером мы с женой долго обсуждали положение, совершенно не представляя себе, что же делать. Решили пока сделать фотографии, а там — посмотрим.

В фотоателье у гостиницы «Метрополь», где делают фотографии для выездных документов, нам сказали, что они будут готовы только через 2—3 недели. Мы, естественно, не спорили.

Я в ОВИР не звонил, но через три дня мне снова позвонила Сивец:

— Товарищ Горлов, где же фотографии?

— Я ничего не могу поделать, они будут готовы только 24 июня.

— Ни в коем случае! Принесите тогда сейчас же какие есть.

Я не понял:

— Что принести?

— Любые фотографии жены и сына из семейного архива.

— Но они же не будут отвечать требуемым стандартам для виз.

— Неважно, принесите, какие найдете, но только в фас.

Все, что мы сумели подобрать, так это маленькие фотографии сына, снятые, кажется, для шахматной секции, и жены в каком-то парке у фонтана. На всех других они были сняты либо на пляже, либо в компаниях друзей.

Эти фотографии я и понес на другой день к Сивец. Она действительно находилась за дверью с надписью «Вход воспрещен» и вышла ко мне, когда ее позвали. Фотографию сына она взяла, а от фотографии жены отказалась, сказав, что лучше попробует «отрезать ей голову со старой фотографии, где она снята с сыном». Но все равно попросила принести другие, когда они будут готовы.

Одновременно я протянул ей заявление жены с просьбой отсрочить ее отъезд из-за болезни матери на три месяца.

— Только для жены? А вы с сыном как же?

— Мы поедем.

— Заявление я возьму, хотя полагаю, что срок изменен не будет: у нас это не делают. На всякий случай принесите еще справку из больницы.

На другой день жене сказали в больнице, что предполагают у матери опухоль мозга, против которой они сделать ничего не могут. Поэтому, хотя положение и безнадежно, но неизвестно, сколько еще может тянуться болезнь, и они просят забрать мать домой. Стало ясно, что теперь я тоже уезжать не могу, оставляя жену с умирающей матерью и совершенно беспомощным стариком отцом.

28 июня, в пятницу, мы с женой приехали в ОВИР с новыми фотографиями, справкой из больницы и теперь уже моим заявлением об отсрочке отъезда на месяц. Я, как и раньше, приоткрыл на втором этаже дверь с надписью «Вход воспрещен», никого не увидел и вошел внутрь, чтобы попросить кого-нибудь вызвать Сивец. По коридору шла высокая пышная женщина, к которой я и обратился с этой просьбой. Она внимательно оглядела меня и вдруг спросила:

— Вы умеете читать по-русски?

Я обалдело уставился на нее, не понимая.

— Еще раз спрашиваю: Вы читать по-русски можете?

И тут только я сообразил, что совершил ужасное преступление, самовольно преступив врата, закрытые для простых смертных. Возмущение от ее хамского тона на момент забило другие чувства:

— Я-то читать по-русски умею, а вот Вы не умеете говорить по-русски!

Она захлебнулась от негодования, и на меня обрушился поток каких-то бранных выкриков с требованием немедленно убираться за дверь. Сивец она, конечно, не позвала, и мне пришлось просить об этом кого-то другого.

— Вашей жене виза, как она и просила, продлена на 3 месяца,— сказала Сивец,— а Вам с сыном установлен срок отъезда 10 дней: 8 июля. Получите визы у инспектора в 22-й комнате.

Я протянул свое заявление с просьбой об отсрочке на месяц.

— Это бесполезно. Говорю Вам официально, что виза продлена не будет: вопрос решен окончательно.

— Но я не могу сейчас уезжать, и если мне визу не продлят, то я ее просто не буду брать. Я настаиваю, чтобы это мое заявление было рассмотрено.

— Дело Ваше, можете не брать. Но тогда повторная Ваша просьба об отъезде будет рассматриваться не раньше, чем через год. А заявление сдавайте в комнату 22: оно все равно попадет ко мне.

— Как я смогу узнать о решении?

— Позвоните мне через два дня, в понедельник утром. Но повторяю, ответ будет тот же.

Я спустился на первый этаж и занял очередь к инспектору в 22-ю комнату. Легко представить мои чувства, когда я, прождав около часа, попал, наконец, в эту комнату и увидел за столом... свою давешнюю представительную знакомую, интересовавшуюся моим знанием русского языка! Некоторое время мы молча смотрели друг на друга, потом произошел приблизительно такой разговор:

— Заявление об отсрочке визы? Да Вы что? Я даже брать его у Вас не буду! — она явно наслаждалась своим торжеством и моей беспомощностью.

— Но инспектор Сивец сказала, чтобы я его отдал Вам.

— При чем здесь Сивец? Действующие визы не продлеваются, и извольте уезжать до 8 июля. Никакого заявления я не возьму. А теперь освободите кабинет: я ухожу на совещание,— она чуть ли не бегом направилась к двери, приглашая меня выметаться.

Я вышел, постоял в коридоре, а потом попросил какую-то пробегавшую девушку передать мое заявление Сивец. Она взяла.

В понедельник утром, как мне и велела Сивец, я позвонил ей по оставленному телефону. Трубку взяла незнакомая женщина:

— Сивец? Она уехала в командировку.

— Но что же мне делать? Я оставлял заявление о продлении визы, и Сивец велела сегодня позвонить. Виза кончается через несколько дней...

Недолгое молчание, а потом:

— Гражданин, Вы русский язык понимаете?

Ну надо же: опять! Почему работников ОВИРа так волнуют мои знания именно русского языка? Или у них это такой стиль работы с отъезжающими?

— Я понимаю русский, но, может быть, Вы мне все же скажете, к кому мне хотя бы обратиться?

— Звоните по телефону: 294-02-60,— и бросила трубку.

Я звонил по этому телефону весь день, но там никто не отвечал.

На другой день утром я снова позвонил по телефону, данному мне Сивец. Трубку сняла другая женщина. Учитывая опыт вчерашней беседы, я сказал:

— Простите, пожалуйста, я не знаю, с кем говорю, но прошу мне как-то помочь. Я оставил инспектору Сивец свое заявление о продлении визы на выезд, и она просила меня позвонить, чтобы узнать результат. Моя фамилия Горлов.

В ответ услышал:

— Сивец больна и будет в конце недели (нечто новое.— *А. Г.*). Если она позвонит — а она должна позвонить,— я спрошу у нее о Вашем деле. Позвоните мне послезавтра к концу дня по этому телефону. Моя фамилия — Кошелева.

Наконец-то человеческая речь, а не медвежье рыканье. Надо признать, что и Сивец всегда разговаривала со мной вполне сдержанно и корректно.

Через два дня, когда я позвонил Кошелевой, она мне сообщила следующее:

— Ваше заявление рассмотрено и по нему принято такое решение: визы на всех членов Вашей семьи готовы и лежат у нас. Когда Вы закончите все Ваши дела, то в удобное для Вас время можете прийти и получить их для оформления отъезда. Сейчас мы Вас не торопим.

И добавила еще:

— Мы же тоже люди и все понимаем.

Я не верил своим ушам: такой переход после заявлений о невозможности продления и после выяснения моих знаний русского языка! Но в «тайны Мадридского двора» не проникнешь, и остается только строить предположения...

Была одна странность в действиях ОВИРа, над которой я иногда задумывался, но не придавал ей большого значения: я не получил никакого официального уведомления о разрешении выезда. Обычно в этом случае ОВИР присылает открытку с извещением, которая служит основанием для дальнейших выездных хлопот в разных инстанциях. Мне почему-то ничего не прислали — вновь непонятные «тайны Мадридского двора».

Положение с матерью жены быстро шло к трагической развязке. Она уже третью неделю не двигалась и не приходила в сознание. 1 июля администрация больницы предложила нам через несколько дней забрать мать домой: помочь ей ничем нельзя, а статистику смертей по больнице, как можно было догадаться, им не хотелось ухудшать. Да и неизвестно, сколько может еще продолжаться такое состояние.

Но уже 4 июля состояние определилось: началась агония, и жена уже не отходила от постели матери все следующие сутки.

5 июля вечером мать жены умерла, не приходя в сознание.

18 июля я позвонил в ОВИР и сказал, что готов уезжать, но попросил две недели на сборы.

Часть V

И АВГУСТ СЕМЬДЕСЯТ ПЯТОГО...

Круговорот событий, начавшихся августовской дракой в семьдесят первом на даче Солженицына, замкнулся по иронии судьбы опять же в августе, но уже семьдесят пятого: 7 августа этого года я улетал из Шереметьевского аэродрома Москвы, наверное, навсегда покидая Россию. Всего-то пять дней не дотянул до юбилея: это было 12 августа 1971 года, когда я беззаботно и ничего не ведая, на подъеме научной и служебной карьеры, явился за своей новой судьбой к дверям солженицынского домика под Наро-Фоминском.

Вместо паспорта, определявшего меня раньше как советского гражданина, теперь мне выдали розовую бумажку, называвшуюся «Виза М № 532266, обыкновенная» (интересно, какая это еще бывает «необыкновенная» виза и кому ее дают). На этой визе было написано, что еду я «в пункт — Израиль», и еще, что «цель поездки — на постоянное жительство» (богатый русский язык!). Там же сбоку стоял такой штамп: «валюта в счет паспортной нормы выдана, Внешторгбанк СССР, 28.7.1975». Этим было указано, что мне разрешили обменять установленную для советского эмигранта максимальную сумму советских денег: 900 рублей на 124 доллара. Таким образом в дополнение к уплаченным ранее за разрешение уехать 900 рублям я отдал в банк еще 900 и получил взамен почти тысячи советских рублей чуть больше 100 долларов.

Выдавая мне визу в ОВИРе, инспектор предупредительно сказала:

— Теперь Вы должны узнать в таможне, какие ценности Вам разрешается взять с собою.

Но об этом я уже знал и думал, что особых проблем у меня не будет: никаких особых драгоценностей или дорогих произведений искусства в нашей семье никогда не было, а я уже полтора года не работал и никаких доходов не имел. Рассчитал так, что после продажи машины и кооперативной квартиры только-только и хватит, что на уплату отъездных поборов да на расплату за набранные долги. Все мои ценности, которыми я дорожил, это были книги и научные рукописи: в первую очередь, так и не защищенная докторская диссертация — итог моей многолетней работы. В диссертации было собрано все, что мне удалось закончить и домыслить, и я, естественно, предполагал использовать эти материалы, начиная на пятом десятке лет новую жизнь.

Но не тут-то было!

Вначале выяснилось, что я должен представить в центральную библиотеку имени Ленина список забираемых с собою книг, изданных до 1945 года. Я такой список сделал, полагая, что это нужно только для получения разрешения на вывоз. Но я был очень наивен: все мои книги непонятным мне способом оценили и предложили за них уплатить, то есть снова купить их у себя для себя! Вернее, покупал-то я их на этот раз не у себя, так как деньги платил в государственную кассу. Так вот и получилось, что, например, за книгу С. П. Тимошенко «Сопротивление материалов» (часть 2 издания 1938 года), которую сам я когда-то купил в букинистическом магазине за полтора рубля, мне пришлось уплатить теперь 2 рубля; за «Балки на упругом основании» А. Н. Крылова издания 1931 года — тоже 2 рубля, хотя на этой книге значилась букинистическая цена... 30 копеек. И так — за все другие книги. Чудеса! Жаль только, что принудительные и не за казенный счет.

К списку книг я добавил и свою диссертацию. Правда, не догадывался, во что ее оценят. Но через две недели мне сообщили, что центральная библиотека не может разрешить взять с собою диссертацию: это — не их компетенция.

— А кто же может? Ведь для меня это важнее остального!

— Не знаем. Обратитесь в ВАК: диссертация — это их дело.

В ВАКе произошел такой разговор:

— Вы диссертацию уже защитили?

— Нет.

— Тогда это считается Вашей частной рукописью и ВАК здесь ни при чем.

— А если бы защитил?

— Вот тогда мы имели бы право не разрешить ее увозить: защищенные диссертации — это достояние государства и их вывозить за границу нельзя.

Ого! Получается, что повезло хоть в этом: защитил бы — и мое «достояние» стало чужим, и тогда — пиши пропало, ибо «достояние государства».

— А есть кто-нибудь, кто может разрешить взять с собою свои частные, как Вы говорите, рукописи?

— Откуда нам знать? Справьтесь в таможне.

В управлении таможни мне обстоятельно объяснили, что разрешение на вывоз рукописей за границу может дать только пограничная служба аэропорта:

— Когда будете улетать, привезите на досмотр с вещами и свои рукописи. Пограничники их тут же посмотрят, и если там не будет никакого криминала, то разрешат везти.

Не будет криминала! А кто его определяет?

Во время одной из бесед в КГБ Гордеев сказал, что хочет перед моим отъездом прийти и проверить рукописи, которые я собираюсь взять с собою. Но больше он никак не напоминал о своем желании, а я, конечно, его тревожить и отрывать от важных дел своими пустяками не хотел. Тем более, что вопрос, кажется, решался и без его участия...

Что ж мне оставалось делать? И я отложил все до отъезда, как и советовали в таможне. (Каким оказался ослом! Мог бы попытаться передать свой научный архив на Запад заранее с помощью уезжавших друзей. Но еще надеялся на благоприятный исход по здравому смыслу: ведь хочу забрать свое, не чужое — свои мысли, идеи, результаты! И главное — это же не политические нападки на советские устои, не новый «Архипелаг ГУЛАГ», а просто технические «измышления» кабинетного исследователя. А раз без политики, то чего же «органам» бояться?)

Со спокойной совестью и не дрогнув сердцем я в назначенный день раскрыл свои чемоданы перед таможенниками. И точно так же, ничем не дрогнув, таможенники начали с того, что выгребли диссертацию и все другие мои рукописи и отложили в сторону:

— Это сразу уберите, чтобы не мешало досмотру.

— Позвольте, простите... (я захлебнулся междометиями) как это убрать? Именно это я и хочу взять с собою в первую очередь! Мне объясняли, что здесь пограничники проверят и пропустят.

— Кто это Вам так сказал?

— В Вашем управлении.

— Вы что-то перепутали. Но, пожалуйста, позовем пограничников,— таможенник был вежлив.

Сейчас, вспоминая процедуру проверки моих вещей на таможне в московском аэропорту, я так и не могу понять, в чем было различие функций советских таможенников и пограничников: и те и другие рылись в моих вещах, что-то выискивая, и те и другие перед моей посадкой в самолет завели меня в какую-то кабину, заставили снять костюм и копались во всех карманах, под подкладкой и еще каких-то, только им ведомых, потайных местах моей одежды. Но о последнем я еще скажу.

Подошел офицер в зеленой форме пограничника, пролистнул за одну минуту мою диссертацию на 300 с лишним страниц, несколько подготовленных для печати научных статей и задумчиво сказал:

— Все понятно и правильно.

Я обалдело смотрел на него: мои научные оппоненты, известные маститые профессора, в свое время тоже сказали, что все в диссертации правильно, но для такого заключения им потребовалось несколько месяцев.

— А что, собственно, Вам понятно и что правильно? — спросил я.

— Понятно, что это научно-технические рукописи, и правильно, что везти их нельзя.

— Но ведь это моя незаконченная работа, там нет никаких военных секретов, нет и антисоветских материалов. Я не могу без этого уехать: в этом же большая часть существа моей жизни! И, наконец, мой личный опыт, мое научное имя здесь,— я пытался подобрать как можно более убедительные слова.

— У Вас никаких других имен, кроме Горлов, быть не может,— сообщил он мне,— а научные рукописи вывозить не разрешено. На это есть у нас своя четкая инструкция.

Вот и поспорь с инструкцией!

Я еще некоторое время горячился, пытался что-то доказывать, в чем-то убеждать. Пригрозил пожаловаться и даже сказал, что без архива вообще не поеду, но в обоих случаях он отвечал: «Пожалуйста». Под конец, когда я уже замолчал, он вдруг решил меня «утешить»:

— Ничего страшного. Раз Вы сами все это сочинили, то немного потом посидите, все вспомните и напишите снова. Еще лучше выйдет.

Дальнейший досмотр меня уже мало волновал: главное отобрали. А что там они разрешат или нет из рубашек и галстуков — неважно. Книги все пропустили — и новые, и старые, которые, как я уже говорил, мне же повторно и продали.

Таможенник, проверявший мои вещи, был словоохотлив и временами подавал реплики: «А спальный мешок-то пахнет походами» или «„Зенит" неплохой фотоаппарат, на Западе пригодится». В одном из чемоданов прямо сверху лежала большая, 20 на 30 см, фотография Солженицына с его дарственной надписью.

— А это кто?

— Мой дядя.

— Ничего дядя, приятный.

— Спасибо, не жалуюсь.

И еще один инцидент произошел уже перед самым выходом к летному полю, когда мой багаж был куда-то отправлен, а я шел налегке к самолету.

Передо мной оказался новый таможенник. Он завел меня в закрытую кабину и начал обшаривать все мои карманы. Для меня эта омерзительная процедура явилась полной неожиданностью, и я немного растерялся. Однако протестовать не стал, решив, что уже недолго осталось и можно потерпеть. Но тут «старатель» вытащил из моего бумажника несколько листочков и стал их внимательно разглядывать. Вдруг он покраснел и даже как-то странно зашевелил ушами. Листочки эти были копиями: письма Солженицына Андропову по поводу той «драки» на даче, письма Солженицына мне, моей знаменитой характеристики с «низким уровнем морально-политических качеств» и, наконец, официальной справки о посмертной реабилитации отца, убитого НКВД в 1938 году.

— Сидите здесь и никуда не выходите! — рявкнул он и выскочил наружу. Через несколько минут ко мне в кабину просунулись уже двое: мой таможенник и какой-то косоватый офицер в зеленой форме пограничника. Последний держал отобранные у меня трофеи — эти листочки:

— Вы зачем это все с собою везете?

— А вам-то что за дело? — я уже рассвирепел и стал терять голову.— Все эти бумаги касаются меня лично и я должен иметь их при себе.

— Но это же чистейшая антисоветчина!

— Что за чепуха? Если Вы говорите о копиях писем Солженицына, то в них говорится обо мне и на Западе о них давно известно. Характеристика же и справка о реабилитации отца выданы мне официально советскими органами. Если Вы считаете, что эти органы сочиняют антисоветчину, то при чем же здесь я?

Минуту-две длилось молчание, потом пограничник сказал:

— Посиди с ним, я сейчас вернусь.

Мы «посидели» вдвоем минут десять: я уже стал опасаться, что самолет улетит без меня. Наконец, появилось новое лицо, тоже в зеленой пограничной форме, но чином повыше предыдущих. Лицо протянуло мне лишь копию моей характеристики и сказало:

— Это можете взять и езжайте.

— А остальные бумаги?

— Те конфискованы как антисоветские материалы.

— Но верните хотя бы справку о реабилитации отца. Его же убили «предатели» Ежов и Берия во времена осужденного «культа личности». Должен же я иметь хоть какой-то документ о смерти своего отца? И как можно такую справку считать антисоветским документом?

— Разговор окончен, всего хорошего. Поспешите, если не хотите опоздать на самолет,— и он ушел.

Я еще немного постоял в нерешительности, а потом решил на все плюнуть и побежал догонять последних пассажиров, направлявшихся к самолету.

В конце концов, как говорят у нас: «Снявши голову, по волосам не плачут». Я уже находился в том странном новом состоянии, когда рвутся корни, а земля, державшая их, остается где-то позади. Вся эта громоздкая, холодная и хитрая среда всеобщей слежки и обминания людей, в которой я жил до сих пор, среда произвола и беззакония, уже отлипала от меня и уходила в сторону. Известно, что во всякой среде обитания любая живность в ней должна приспособиться к существованию: отрастить нужные плавники, чтобы передвигаться и увиливать от опасностей, специальные жабры — чтобы дышать той атмосферой и не отравиться. А не можешь — так выползай на камни иного мира и пробуй там. Иначе остается только погибать, особенно, когда на тебе поставили уже яркую отметину, с которой в общей серой массе нигде от акул не спрячешься.

Вот и думал я, что нахожусь уже почти что в другом мире, где все равно придется начинать жизнь с нуля, но где зато ничто не напомнит мне о «прелестях» передового советского общества и «милых» встречах с КГБ. Но, кажется, я поторопился в суждениях о неизвестном...

Сентябрь 1971 — Сентябрь 1975.
Москва, Рим

ПИСЬМА ИЗ ЭМИГРАЦИИ

Игорь ПОМЕРАНЦЕВ

ДОВОЛЬНО КРОВАВОЙ ПИЩИ

Речь пойдет не о вегетарианстве, а о каннибализме.

Раз в два года в Кембридж на фестиваль поэзии съезжаются несколько десятков поэтов из разных стран. Уже дважды в качестве репортера я приезжал в Кембридж и вместе с полутора сотней британцев слушал хороших и разных, не очень хороших и вовсе не разных. Каким-то образом поэты-профессора, поэты-пьянчужки, поэты-гомосексуалисты замечательно смешиваются в Кембридже, и, когда в пивной говорят о стихах, наличие или отсутствие галстука утрачивает какой-либо социальный смысл. Здесь все — люди одного цеха, одной гильдии. К тому же профессор-поэт почти всегда и пьянчужка, а заодно и гомосексуалист, и главное в нем то, что он поэт.

Помимо стихов, тостов и суждений, есть у приезжающих в Кембридж несколько заветных, магических слов, которые необходимо произносить в пивной, с трибуны или про себя. Вот эти петушиные слова: Мандельштам, Пастернак, Цветаева, Ахматова. Последовательность может меняться, ударения соскальзывать («Цветаéва», «Ахматóва»), но сами слова должны быть выкрикнуты или пробормотаны. Казалось бы, что им русские Гекубы? В конце концов, у Надежды Мандельштам в Англии куда больше читателей, чем у ее «интровертного» мужа. Но таково неравенство жанров: мемуары понятней и переводимей лирики. Что делать нерусскому даже с самой простой строчкой Пастернака: «Грудь под поцелуи, как под рукомойник...»? Стилистические или языковые барьеры, с большим или меньшим успехом, преодолеть можно. Непреодолимо иное. Поэзия — это один из способов чувственно-интеллектуального существования нации. Для русского «рукомойник» — это лето. Но русское лето отличается от скандинавского или английского. В Швеции границы между временами года резче, чем в России, а в Англии смазанней. В России лето — это каникулы, голоса детей. А в Англии дети учатся до середины июля и не играют на улице, во дворе или в подъезде. Для русского «рукомойник» — это дача и все, что с ней связано. А если не дача, то пионерский лагерь, т. е. трава, грибы, река, поцелуи... И этот способ наслаждения жизнью ничего или почти ничего не имеет общего с английским или шведским. Но почему же такой набор имен, такая «абракадабра» (по-английски это слово означает «магическое заклинание»)? Страдание, стоицизм, смерть действительно обладают магнетическим полем. Но австрийские поэты Георг Тракль и Пауль Целан тоже из страдальцев, наследников Вертера. Почему же все-таки не они? У Гарсия Лорки шансов больше, чем у австрийцев: он был убит. Но уже через двенадцать лет режим, убивший андалусийского поэта, издал полное собрание его сочинений в восьми томах, а потом дряхлел и плешивел, пока не приказал долго жить. Между тем, если спроецировать судьбу четырех русских поэтов на настоящее, то радужной картины не получится. Теоретически они продолжают страдать, их мученический стаж не прерывается. Вот эти-то муки — предмет неусыпной зависти английского (шведского, голландского...) поэта. Из безопасного далека репрессии и преследования вселяют уверенность в значимости и ценности поэзии. Петушиные слова на чужеземный лад — это тоска по иной социальной функции поэта.

Сто пятьдесят англичан на Кембриджском фестивале я не променял бы на тысячи русских на поэтическом вечере в Лужниках. Среди этих русских когда-то был и я. Чем дальше от шестидесятых, тем очевидней воспаленность, лихорадочность тогдашней любви к поэзии. То, что называлось стихами, декламировалось, выплескивалось, было не столько литературой, сколько биологической — и у слушателей, и у стихотворцев — тягой к свободе. Ты приходил на стадион, в актовый зал университета, в филармонию и получал инъекцию свободы, после чего, как говорят наркоманы, торчал день, или месяц, или всю жизнь. Вот чем была поэзия — эрзацем свободы. Будем ей благодарны за это, отдадим ей должное, но только должное. Время по-Божески обошлось с тогдашними русскими стихотворцами и, обделив их ореолами мучеников, провело по разряду человеческих шаржей и пародий.

Осуждать английских поэтов за чувство зависти было бы просто глупо. А как русские поэты относились к своему жребию? Поэзия не обязана заниматься самоанализом, видеть себя со стороны. Но самосознание предпочтительней самоупоения и самопотакания. Владислав Ходасевич был одним из последних поэтов не прерывавшейся более ста лет литературно-культурной традиции. Родись он не в 1886 году, а двадцатью годами позже, и Ходасевича, которого мы знаем, скорее всего не было бы. Даже в молодости Ходасевич сторонился богемы, романтического опьянения, всякого шаманства. Он не принадлежал к «исчадьям мастерских», а был, если можно так сказать, интеллектуальным трезвенником. Стихи и прозу писал мастерски, и быть бы ему среди лучших из лучших, если бы русская поэзия XX века не расщедрилась на двух-трех неоспоримых гениев. В 1932 году В. Ходасевич написал небольшое эссе, озаглавленное «Кровавая пища». Эссе это программное и во многих отношениях замечательное. В нем Ходасевич пишет об ужасной судьбе русских писателей: «В известном смысле историю русской литературы можно назвать историей изничтожения русских писателей». Далее следует печальный синодик замученных, расстрелянных, растерзанных, наложивших на себя руки русских поэтов и писателей. Позднее новейшая русская история дополнила мартиролог, составленный В. Ходасевичем. Поэт не только констатирует, но и дает оценку «изничтожению». Полемизировать с литературно-критическим эссе, написанным пятьдесят пять лет назад, было бы нелепо. Эссе — не стихотворение и не философский трактат. Оно всегда контекстуально. Недобросовестно вырывать актуальное из актуальности и стрелять по нему из пушек. Но с традицией — а мы имеем дело не просто с суждением поэта, а с традицией толкования русской поэзии — полемизировать не зазорно. По мнению В. Ходасевича, уникальным в своем роде «изничтожением» русских писателей следует, скорее, гордиться («И однако же, это не к стыду нашему, а может быть, даже к гордости»). Ибо русская литература пророчественна, а пророков — таков уж неколебимый закон истории — народ побивает камнями и лишь затем канонизирует.

Русскую литературную традицию не должно сводить исключительно к пророчествам. Эта литература — к ее чести — выработала несколько моделей и вариантов поэтического мышления и, более того, оставила вакансии для иных моделей. К примеру, Пушкин — это вариант божественной игры: двадцать лет творения мира русской поэзии; Гоголь — смертельно опасная связь с фантасмагорией; Герцен — почти дьявольская страсть к свободе; Достоевский — диалог с самим собой на, мягко говоря, повышенных тонах. Возвращаясь к Пушкину, пророку № 1, позволю себе ряд общих мест. На каждую цитату из А. Пушкина есть контрцитата из А. Пушкина. «Народ» у него то и дело оборачивается «чернью». На «глаголом жечь сердца людей» он отвечает себе же: «Довольно с вас. Поэт ли будет // Водиться с вами сгоряча...» На «Я скоро весь умру...» («Андрей Шенье») — «Нет, весь я не умру...» («Я памятник себе воздвиг...»). Себе в заслугу он ставит и «чувства добрые я лирой пробуждал», и «звуки новые для песен я обрел» (беловик и черновик «Я памятник себе воздвиг...»). Короче, Пушкин — поэт, и поэтому может позволить себе быть кем угодно: пророком, Дон Гуаном, древом яда. Если же поэт рядится в тогу пророка и забывает вовремя сменить ее, скажем, на маску жулика, то он становится просто карикатурен.

Можно ли вообще возведение поэта в ранг пророка считать комплиментом поэту? Не знаю. Пророк — провозвестник, глашатай, истолкователь. Он артикулирует волю Богов. Поэт — творец, он сам — пусть маленький — но Бог, у которого, кстати говоря, целый сонм истолкователей с филологическим образованием. Дело не в почете, ореоле или престиже, а в том, чтобы быть самим собой. Пусть пророки — пророчествуют, а поэты сочиняют. У пророка и поэта разные социальные функции.

Причины этой русской возвышенной неразберихи, этой романтической путаницы функций до неприличия вульгарны. В русской истории последних двух столетий были два периода, когда литература знала свое место: пушкинская эпоха и Серебряный век. Последний ближе и потому понятней. К началу XX века религиозные, политические и общественные тенденции в России оформились в соответствующие институты, признанные и узаконенные государством. Отпала необходимость в контрабандном распространении идей. Молодые поэты не растерялись и, воспользовавшись передышкой, занялись литературой, то есть самим материалом, из которого делают литературу. Они торопились, ибо чувствовали, что это лишь передышка. Потому-то их тексты несут на себе следы торопливости, а их поэтическое дыханье прерывисто и напряженно. Как бы там ни было, задачи, которые они ставили перед собой (задачи сугубо литературные и художественные), были выполнены. Но национальная история обошлась с ними по-своему: из поэтов они были вновь произведены в провозвестники, и вот уже более полстолетия их тексты толкуются как ветхозаветные книги пророков. В своих мемуарах Надежда Яковлевна Мандельштам вольно скептично отзывается о возрождении интереса к творчеству О. Мандельштама. Ее скептицизм не лишен оснований: стихи О. Мандельштама в шестидесятые—семидесятые помогали жить. Между тем стихи эти сочинялись с наслаждением, и у читателя должны вызывать подобное же чувство. Помочь жить нельзя. Можно помочь лишь в той или иной жизненной ситуации. Люди, которым надо помогать жить,— люди полые. Без круговой пору-

---

Впервые опубликовано в журнале «Синтаксис», № 17.

ки полых людей не существовало бы полой системы. Другими словами: О. Мандельштам не несет ответственности за кухонное прочтение его стихов: «Мы с тобой на кухне посидим...»

По В. Ходасевичу, народ должен побивать камнями пророков (поэтов), чтобы приобщиться к откровению побитого и чтобы в страдании пророков мистически изжить собственное страдание. Рискну еще раз вульгарно прочесть поэта. Сколько еще камней нужно народу, и сколько еще поэтов нужно побить, чтобы, наконец, изжить собственное страдание и стать счастливым? А может, счастье народа и заключается в том, чтобы бить поэтов?

Поэты не могут навязать обществу религиозных, политических и общественных институтов, но они могут отказаться от чужих ролей и функций. Чем незначительней поэт, тем охотней он играет роль фаворита, борца, мученика, партии, оппозиции, пророка и т. д. Поэзия не имеет отношения ни к силам добра, ни к силам зла, ни к тиранам, ни к тираноборцам, она имеет отношение только к себе самой. Ну, а если В. Ходасевич прав и главный источник русского поэтического вдохновения — «изничтожение»? И оно, если верить поэту, «прекратится тогда, когда в ней (поэзии.— *И. П.*) иссякнет родник пророчества. Этого да не будет...» Будет! Будет! Когда пророчествовать начнут пророки, а не поэты, то последним, волей-неволей, придется поискать другие источники вдохновения. Может быть, тогда имена поэтов перестанут выкрикивать как заклинания или пароль от Москвы до Кембриджа. Зато в тишине будет легче искать и находить иную интонацию и лексику.

Декабрь 1986 г.
Лондон

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Лакшин В. Пути журнальные. М.: Советский писатель, 1990

Волей-неволей — из массы воспоминаний, дневников, статей и заметок, написанных как сторонниками редакции А. Твардовского, так и ее противниками,— собрался сегодня на редкость многоцветный ее портрет. А. Солженицын, С. Залыгин, А. Кондратович, Ю. Буртин, В. Кожинов, М. Лобанов... Книга В. Лакшина, вероятно, призвана поставить точку в этом затянувшемся диспуте. Хотя бесспорно, что критика не раз еще вернется к этой драме 60-х. Но то будет уже другая литературная ситуация.

А сегодня... Своими давними статьями В. Лакшин ярко и недвусмысленно, как, пожалуй, никто из писавших о «Новом мире», доказывает его обреченность на погибель. Журнал находился в оппозиции брежневскому режиму — кто в этом сомневается! Его судьба была предрешена. Но В. Лакшин доказывает и другое. А именно — то, что критика по самому своему существу не расположена к двойной игре, которая вынужденно велась на «опальных» страницах. От этой игры она рассыпается. Она — если желает быть последовательной и до конца искренней — не должна прибегать к тому обветшалому и ржавому оружию, что лихо умели начищать, посверкивая им, в тогдашних «Знамени» или «Октябре», ко всей этой «коммунистической идейности», «коммунизму как завершенному гуманизму», «октябрьской революции — великому культурному перевороту» и т. д. Пусть даже, пишет в предисловии В. Лакшин, критики «Нового мира» поневоле вынуждены были применять этот обязательный набор, чтобы выбить из рук оппонентов «цитатную оглоблю». Мы, конечно, знаем, что критик не творит в безвоздушном и тем более внеидеологическом пространстве. Но только сейчас стало видно: полнейшее расхождение словесных побрякушек с реальностью моментально делает критику, даже самую тонкую и умную (например, ту, что демонстрирует нам В. Лакшин), и уязвимой, и бессильной. Видно, таково уж иссушающее действие этой мишуры. Не увязываются ни А. Солженицын, ни М. Булгаков с задачами нашей недавней идеологии.

Вообще брак между талантом и службой идеологии заранее бывает обречен либо на рождение уродцев, либо на гибель. В «Новом мире» уродцы, как известно, не рождались.

Вот потому он и погиб.

Е. ЩЕГЛОВА

Фридрих Дюрренматт. Поручение, или О наблюдении за наблюдающим за наблюдателями. М.: Молодая гвардия, 1990

В этой книге Фридриху Дюрренматту свойственна та предельная степень выговоренности, когда любовь не только похожа на ненависть, но и целиком становится ею, когда палач и жертва, поменявшись местами, не замечают перестановки. Иными словами, параллельные линии сходятся для него не в воображаемой бесконечности, но в реальной точке, с которой только и открывается перспектива мысли.

Мировую литературную проблему двойника он решает с помощью простой арифметики (хотя мы и привыкли считать, что трупы, становясь статистикой, перестают пугать), его двойники сходятся в трио, квартет, и сложение продолжается. В конце концов он превращает героев в фигурки из тира — они падают, сраженные пулей, но вновь восходят по кругу. Таким образом притчи лишаются этики, точнее, она тонет в ораторском беспамятстве.

Франц Кафка — кумир, к которому Дюрренматт пытается прикоснуться руками. То же испытал в свое время Альбер Камю, «обвинив» абсурдистские новеллы Кафки в кричащей надежде. Смелость, с которой Дюрренматт обращается к сюжетам Кафки,— практически во всех произведениях книги, эксплуатируя при этом в основном «Процесс» — можно объяснить так: Кафка представляется ему бабочкой, описывающей иглу, что пронзила ее тело; Дюрренматт входит в комнату, когда истлевшая пыльца не стоит междометия, да и игла заржавела. В повести, давшей название сборнику, он предлагает событиям счастливую развязку, но только для того, чтобы зачеркнуть надежду — надоевший призрак экзистенциализма,— доказать, что ужас беадны, что одиночество нельзя прикрыть настилом бытия.

И в результате — ничего не остается, кроме холодного *полого* отчаяния; и на руке — растаявшие кубики льда, из которых хотелось сложить тавтологию: жизнь—смерть.

Е. СКУЛЬСКАЯ

Антон Вознесенский. Петрово Гнездо. Л.: Художественная литература, 1990.

Когда читаешь сборник, где-то в подсознании возникает нестеровское «Видение отрока Варфоломея». Почему? Ответить на это невозможно. Логика — штука разрушительная, и ее принцип: все разъ-

ять и, разъяв, выявить хорошее и плохое,— здесь не работает.

Авторскую мысль двигает нечто, не поддающееся строгому, математически точному анализу. В своих рассказах и повести о давнем, сделанных с заметной оглядкой на А. Платонова, Антон Вознесенский живет предчувствием собственных грядущих прозрений.

Вот центральный — обобщенный — образ его прозы: храм взорван — и... храм стоит неоскверненным, несмотря даже на то, что он подвергся крутому ревкомовскому суду, а в храме том неугасимо светится нечто — труднообъяснимое.

Труднообъяснимы поступки персонажей Вознесенского, словно ушибленных героической эпохой всевозможных великих переломов. Почти все персонажи напоминают слепцов, ведомых по жизни обезумевшими слепцами же.

Автору всего двадцать четыре года, он опирается при литературной работе больше всего не на личный опыт, а на опыт, заимствованный у многих и многих старших коллег. И тем не менее ставит свои «проклятые» вопросы, в том числе и о смысле нашего существования, и честно ищет на них ответы. И не находит. Однако он их предугадывает: они там, далеко, впереди, где должно-таки состояться духовное возрождение человека.

Видимо, издательство «Художественная литература» было покорено упорством автора в его мучительных поисках (сегодня, в самом начале смуты, это так уместно) и решилось на шаг, который в прежние времена сочли бы опрометчивым: оно выступило спонсором издания, дало ему жизнь. Какую? Кто знает... А вдруг — бесконечную?

П. РАГОЗИН

Сергей Голлербах. Жаркие тени города: Очерки и эссе. Предисловие Рене Герра. Париж: Альбатрос, 1990

Профессор Рене Герра, владелец издательства «Альбатрос», астет, знаток русской литературы, выпустил новую книгу. Есть повод напомнить о подвижнике-издателе и познакомиться с автором, нашим соотечественником. Родившийся в 1923 году в Детском Селе, Сергей Голлербах приходится племянником известному искусствоведу Эриху Голлербаху. В 1935—1938 годы вместе с родителями отбывал ссылку в Воронеже, в 1938-м возвратился в Пушкин. В 1942 году Сергея вывезли на работы в Германию. В 1946-м он решил стать «невозвращенцем»: поступил в Мюнхене в Академию Художеств, а в 1949-м уехал в США. Его ждали физический труд, коммерческая графика, а с конца пятидесятых — жизнь художника: выставки, оформление книг, денежные соблазны. Теперь: действительный член Национальной академии художеств (Нью-Йорк), почетный президент Американского общества акварелистов, профессор живописи... Человек, который «сам себя сделал» — сначала решением не возвращаться, затем упорным трудом. В книге очерков — что бросается в глаза — отразилась *жизнь как таковая*, состоящая из «экзистенциальной массы» асоциальных и бесконечно далеких от всякой политики мелочей. Эта «жизнь имеет объем и вес»,— замечает художник. Потому что, видимо, лишена «направления» — вектора, устремленного к «светлому будущему». «В универмаге», «Перед сном», «Когда выпадает снег», «Наедине со своим телом» — таковы названия эссе. «Философия жизни» примечательным образом соединяется со взглядом художника, привыкшего смотреть на мир как на гармоничную неподвижную картину. И трудно даже понять, что первичнее: профессиональный взгляд художника, «зрительного человека», или мировоззрение «русского европейца» (впрочем, живущего в Америке), для которого нет Сталина, октябрьского переворота и травмирующего психику «исторического выбора семнадцатого года». Профессия является как бы обострением, совершенной формой выражения внутренней философии, и, возможно, здесь — разгадка жизненного успеха. Жизнь — роман, стиль — человек. Изящная небрежность рисунков, помещенных в книге, выявляет соотношения и масштабы: человек среди людей и мира. Словесные описания стремятся к тому же: обнаружить условное и безусловное, выявить «масочность» мира, снять покровы и понять незнакомого человека. Но в этом нет изматывающей душу русской проникновенности, есть лишь деликатная западная поверхностность, нигде не переходящая за «заветную черту». Художник мысленно всех «раздевает», но не становится циником: «красота спасает», становясь иммунитетом, защищающим от агрессивной абсурдности мира. Но если кто-то подумал, что автор — «тень в раю», то ошибся очень сильно.

М. ЗОЛОТОНОСОВ

Мини-мемуары

1 декабря минувшего года исполнилось 100 лет со дня рождения Маршала Советского Союза Василия Константиновича Блюхера. Этот юбилей пресса как бы в не заметила — и прошел он без шума. А может быть так и надо? Шумные кампании, как правило, связаны в нашем сознании с чем-то не совсем праведным. Вспомним хоти бы юбилеи прославленного героя Малой земли... Сейчас-то он превратился в антигерои, и о многочисленных звездах его мы говорим с сарказмом.

Маршал Блюхер — фигура в нашей истории трагическая... А впрочем, не только он. Список их бесконечен, и в списке том, наряду с «незаконно репрессированными и посмертно реабилитированными» находят место известные и безвестные участники белого движения, сложившие головы за Россию в боях... с Россией.

Мы говорим сегодня о том, что необходимо отдать должное памяти всех, участвовавших в братоубийственной Гражданской войне, независимо от того, какого цвета знамена они защищали...

В сущности, война эта продолжалась и после войны. Она шла непрерывно, эта война с народом. И в ней не было победителей. В ней были лишь побежденные. И Маршал Блюхер в конце концов пал ее жертвой. Эхо ее звучит и сегодня...

Бесхитростный рассказ Зои Васильевны Блюхер об отце в чем-то повторяет уже известное нам, но в чем-то и дополняет наше знание...

Зоя БЛЮХЕР

ЗАБВЕНЬЯ НЕТ

Отец был очень занятым человеком. Он не успел написать своих воспоминаний, но об Уральском походе не мог не написать и назвал свой рассказ «Дорогой храбрых». Отец был прекрасным рассказчиком, яркий и образный слог целиком захватывал внимание. Глядя на его награды — пять орденов Красного Знамени, два ордена Ленина, орден Красной Звезды № 1,— я часто просила рассказать о былых сражениях. В этих рассказах главным действующим лицом был солдат, самоотверженность бойцов его восхищала.

В июле 1922 года Блюхер с семьей переезжает в Петроград: назначен командиром 1-го стрелкового корпуса, комендантом Петроградского укрепрайона и его военным комиссаром. Сначала жили в Петропавловской крепости в доме бывшего коменданта, а затем — на Комиссаровской улице (ныне улица Дзержинского) в угловом доме, выходящем на Малую Морскую (улица Гоголя). На фасаде есть мемориальная доска, открытая к 75-летию со дня рождения Блюхера, а в год 90-летия в городе появился проспект Маршала Блюхера. Трудящиеся Петрограда избрали отца в состав городского совета и губернского исполкома. В составе петроградской делегации Блюхер принимал участие в работе IV сессии ВЦИК 9 созыва, проходившей в Москве в октябре 1922 года. Газетные материалы этой сессии отец хранил до конца дней. Этот период он называл «мирной передышкой». С головой ушел в работу по укреплению района, проводил тактические маневры под Красным Селом, готовился к поступлению в военную академию, много занимался по расписанию, похожему на школьное. Его учеба в церковно-приходской школе была недолгой, но уже и тогда отец тянулся к знаниям. Впоследствии ему удалось за короткий срок (с репетитором) пройти курс гимназии, некоторое время он занимался в народном университете Шанявского в Москве. Научился самостоятельной работе с книгой. Обширную библиотеку по всем разделам знания он имел уже в годы гражданской войны. Генерал Б. К. Колчигин, при-

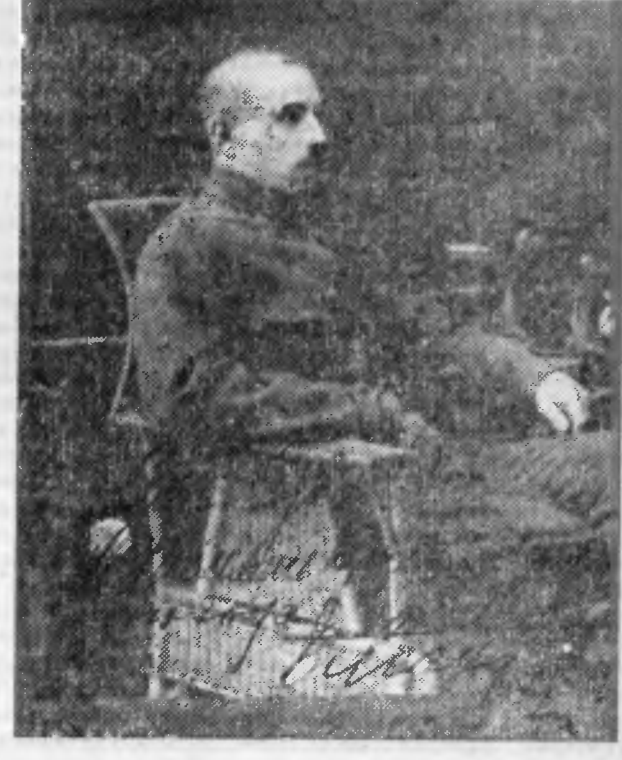
нимавший багаж Блюхера при переезде из Сибири в Петроград, рассказывает: «Выгружали ящик за ящиком с книгами, а когда же личные вещи? Всего два небольших чемодана...» Я как специалист библиотечного дела могу охарактеризовать библиотеку отца так: это было не просто собрание книг, а систематизированная по разделам знаний библиотека, причем каждая книга имела номер и личную печать отца. Там были труды по философии, военному делу, истории, дипломатии, филологии. Отдельные книги из этой библиотеки долгие годы были спрятаны в спецхране, сейчас они вновь попадают на полки.

В считанные свободные часы мои родители иногда бывали в театре или катались по городу на санях (лошадку звали Карменка). Сохранилось несколько фотографий отца петроградского периода (после моего ареста у меня пропало все) — сберегли люди, не верившие в виновность Блюхера. Особенно интересна наша семейная фотография, которую няня Нюра (А. Д. Городишина) сохраняла более 60 лет. Снимок публиковался в «Ленинградской правде»; на нем родители, мы с братом Всеволодом, приемная дочь Катя, брат отца и няня. На обороте маминой рукой дарственная надпись Нюре, датированная 12.02.24.

Яркой страницей жизни отца были годы его пребывания в Китае в качестве Главного военного советника. Там он работал под псевдонимом генерала Галина (по имени Галины Павловны). Есть документ — «Вид на жительство», который действовал во время его пребывания в Китае, в нем черным по белому написано: Галин Зой Всеволодович (по именам детей). При участии Блюхера создается китайская Национально-революционная армия, разрабатываются стратегические планы Восточного и Северного походов. После контрреволюционного переворота в 1927 году Блюхер возвращается на Родину. Но менее чем через год он вновь на Дальнем Востоке. В 1929-м создается Особая Дальневосточная армия, ее командующим назначается Блюхер — опытный военный деятель. Летом 1929 года белокитайские генералы захватили принадлежавшую Советскому Союзу Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД). Наши войска действовали быстро и решительно. Они окружили главные силы противника и разгромили их по частям. Реввоенсовет Республики отмечал, что «боевые успехи Особой Дальневосточной Армии в защите наших границ были достигнуты под выдающимся и искусным руководством командующего этой армии тов. Блюхера». Родина наградила полководца только что учреж-

денным орденом Красной Звезды № 1. Работа Блюхера на Дальнем Востоке была многогранна. Он говорил: «Мы не только защищаем Дальний Восток, но и меняем его лицо, из края каторги и несчастья превращаем в край развитой индустрии». Он много ездил по огромному краю.

Его знали в отдаленных нанайских стойбищах, в рыболовецких артелях. Он был частым гостем у моряков Тихоокеанского флота и Амурской флотилии, встречался с писателями и журналистами. Для обеспечения армии продовольствием был создан «Колхозный корпус», недостаток витаминов пополнялся сбором в тайге ягод, орехов, черемши.



В ноябре 1935 года отцу присаоили высокое воннское звание — Маршал Советского Союза, и был он, мне кажется, по-челоаечески счастлив. Для меня это были незабываемые дни — у отца появилось свободное время, которое он отдал мне целиком. Жили мы в гостинице «Метрополь», но ездили и в подмосковный санаторий «Барвиха». На снимках тех дней — отец в штатском костюме и русской вышитой рубашке. Мы бывали в театрах, посмотрели весь репертуар Большого театра и МХАТа. Отец брал меня в Кремль, познакомил с членами правительства. Сделал мне ценный подарок — часы со светящимся циферблатом и надписью «Моей Зоеньке на память. Папа Василий. Москва. Ноябрь. 1935 г.». Для меня это было огромное событие. Часы эти в 1942 году пропали в блокадную зиму.

По характеру отец был человеком жизнерадостным, любил пошутить, любил делать сюрпризы. Вспоминаю, как однажды в жаркий день на даче под Хабаровском высказала пожелание: вот бы бочонок мороженого, большую ложку, и сказали бы — ешь, Зоя, сколько хочешь... Прошло несколько дней, во время обеда отец вышел на минутку и вернулся с подносом, на котором стоял небольшой бочонок из нержавеющей стали, лежала большая ложка. Отец сказал: «Вот, Зоя, большая ложка, ешь сколько хочешь». В тот день вся семья насладилась мороженым. В «неслужебное время» отец был весь пронизан юмором. Характер его военной деятельности не всегда позволял ему раскрывать перед другими это ценное свойство натуры.

В крае Блюхер пользовался аатоpитетом и любовью. Его избрали депутатом Верховного Совета СССР, депутатом Верховного Совета РСФСР, делегатом XVI и XVII партийных съездов.

Настал 1938 год. Последнее лето с отцом. 29 июля на рассвете граница в районе озера Хасан была нарушена. Начались упорные бои, которые длились до 11 августа. Отец сразу уехал на фронт. Дома создалась тревожная обстановка, по ночам слышали гул самолетов, летящих на юг — на Хасан. Вернулся отец в тяжелом состоянии с неузнаваемым воспаленным лицом (не закрывался от солнечных лучей — возникли отеки). Мы, дети, с нетерпением ожидавшие его возвращения, нарядно оделись (во все белое с вышивкой), но он вышел из машины хмурый и, едва кивнув головой, сразу удалился в кабинет. С этого дня воцарилась тягостная атмосфера, шли ночные телефонные переговоры с Москвой. Мы узнавали о массовых арестах людей непосредственно из окружения отца. В один из дней он пригласил нас в кабинет и сказал: «Мне очень важно, чтобы дети мои знали, что я ни в чем не виноват — сработала „машина клеветы“». Все были подавлены, отец плохо себя чувствовал. Трагическая развязка приближалась. Отца отозвали в Москву, в Хабаровск он больше не вернулся. Прощаясь, мы не думали, что видимся в последний раз. В Москве

предложили «отдохнуть» в Сочи на личной даче Ворошилова, где 22 октября 1938 года его и арестовали, обвинив в чудовищных преступлениях. В этот же день в Ленинграде арестовали мою маму — Галину Павловну Покровскую. Последние годы они с отцом не были вместе, но она также была в Китае и прошла с ним всю гражданскую войну. Настало и последнее прощание с мамой... Я осталась одна в 15 лет и долгие последующие 18 лет прожила с позорным клеймом «дочери врага народа». Мой школьный выпускной вечер был 21 июня 1941 года, а назавтра — война! Вместе со студентами ЛГУ (где уже работала) уехала на оборонные работы сначала под Псков и Новгород, а затем под Ленинград (Гатчина, Красное Село, Девяткино). Рыли противотанковые рвы под обстрелами. Все 900 дней блокады — в Ленинграде. До эвакуации ЛГУ весной 1942 года работала там, а затем во фронтовом госпитале № 1170 (в Невской лавре, куда по проложенной железнодорожной ветке прибывали с фронта эшелоны с ранеными). Имею множество правительственных наград, из них особенно дорога медаль «За оборону Ленинграда». В то жестокое время, когда люди в страхе избегали членов семьи «врагов народа», все же находились и такие, кто не верил в виновность Блюхера,— это и помогло выжить.

В 1951 году началась «вторая волна» репрессий. В феврале меня арестовали как «дочь врага народа», тогда сыну моему было всего семь месяцев (соединились с ним лишь через три года). После тюремного заключения решением Особого совещания — по этапу через пересыльные тюрьмы ряда городов была выслана в Казахстан без документов и права выезда. Хотелось спросить, какую опасность представляли дети репрессированных для государства, для Сталина? Оказывается, был закон, по которому предусматривалось наказание и для членов семьи... В 1956 году после моей реабилитации и посмертной реабилитации отца и матери я смогла вернуться в родной Ленинград. Узнала, что отец погиб мученической смертью через 18 дней после ареста (9.11.38), а маму расстреляли в концентрационном лагере.

В минувшем году, к 100-летию со дня рождения Блюхера, в Хабаровском книжном издательстве вышла новая книга об отце под названием «Забвенья нет» (автор — З. Янгузов). Это страницы жизни и полководческой деятельности Маршала Советского Союза В. К. Блюхера. Да, поистине забвенья нет. Ими Блюхера — в победах нашей армии, вписавших славные страницы в военную историю страны.

Имя Блюхера сейчас носят улицы и площади многих городов, всюду, где он работал и жил, открыты мемориальные доски, в восемнадцати городах открыты памятники Блюхеру.

Однажды отца спросили, что такое слава и не мешает ли она ему. Он ответил: «Слава — это всеобщее признание народом большого, полезного вклада, внесенного человеком в интересах своего народа. Слава не мешает человеку, если он о ней не думает». В этом ответе — весь Блюхер, с его героической и трагической судьбой, прошедший славный путь от солдата до Маршала.

Дело прошлое

Ив. ТХОРЖЕВСКИЙ

ПОСЛЕДНИЙ ПЕТЕРБУРГ

Из воспоминаний камергера

О КРИВОШЕИНЕ

Редкое сочетание: такт, воля, выдержка, осторожность; и в то же время — жадное влечение к жизни! Ненасытный интерес к людям, к человеческим характерам, к неизвестному. Никакого идеализма. Но упрямая любовь к родине.

Никаких ярких, исключительных дарований. Но редкий в людях дар и инстинкт строителя: уменье собирать, а не растрачивать русскую силу.

Жизнь как будто случайно возносила его, дельца, практика, «интригана», каким считали его враги, все на большую и большую высоту. А он, именно в силу своей чуткости, гибкой цепкости, непрерывно рос, умнел, учился, стал крупным государственным деятелем.

И начав — как и все! — погоней за успехом, незаметно для себя пришел — к самопожертвованию.

Продолжение. Начало см.: Нева. 1991. № 4, 5.

Александр Васильевич Кривошеин родился в бедной офицерской семье, на польской окраине. Первая жизненная удача ожидала его в петербургском университете: сближение с сыном всемогущего министра графа Д. А. Толстого, Глебом. Отец-министр покровительствовал этой дружбе и даже послал молодых людей в кругосветное путешествие. В будничной жизни впервые раскрылась страница сказки.

В Москве Кривошеин женился, породнившись с верхами купеческой Москвы. Новый, своеобразный мир характеров, дел, вкусов, возможностей.

Короткий период адвокатской и частной деятельности в Москве и петербургская чиновничья служба; карьера, поначалу довольно серенькая. Земский отдел, переселенческое управление... Кривошеин усерден «в меру»; больше, чем бумаги, его интересуют люди, человеческие и служебные отношения; впечатлительный, восприимчивый, он искусно и осторожно движется вверх, по лестнице чинов и знакомств.

Японская война и смута 1904—1905 гг. впервые для многих — думаю, впервые и для Кривошеина — поставили ребром основные политические вопросы русской жизни. В эту пору Кривошеин решает их, не колеблясь, в «правом» смысле. Теперь уже он энергичен: разрабатывает подробную аграрную программу, как нельзя более кстати для захваченного врасплох сановного начальства; сближается на этой программе с кругами «объединенного дворянства», быстро выходит на линию товарища министра и сразу же добывает себе «рыцарские шпоры» политического деятеля открытым выступлением против своего же министра Кутлера, против проекта принудительного отчуждения помещичьих земель, за «собственность»:

— Да, ускоренная продажа слабых земель в крестьянские руки. Но уцелевшие, путем естественного отбора, имения необходимы для питания городов, для вывоза, для общего подъема хозяйства, для сохранения культурного лица России.

Это выступление кладет начало долголетней «моде на Александра Васильевича» в Петербурге. Придворный мундир, короткое пребывание во главе Крестьянского банка, и Кривошеин — министр: главноуправляющий землеустройством и земледелием.

В своем консерватизме он искренен. Он чувствует незаменимость для России, для ее равновесия, исторической царской власти и близкого к ней слоя служилых русских верхов. В «низах» он с ужасом, почти физическим, ощущает власть тьмы, содрогание зверя. Пока не поздно, надо вывести русское крестьянство на путь культурного, собственнического развития. Чтобы спасти «вершки», надо думать о «корешках». Таков первоначальный ход его мысли.

К этому времени относятся слова, услышанные Кривошеиным от одного умного иностранца и глубоко запавшие ему в душу: «У вас правительство живет как будто бы еще в XVIII веке, народ в XIII-м, а интеллигенция — в XXII-м. Это должно окончиться катастрофой».

Иностранец оказался прав. Свалив «отсталую» власть, интеллигенция немедленно свалилась сама с заоблачных высот в медвежьи объятия XIII века. Не должно ли было именно так кончиться?

В десятилетие 1905—1914 гг. русскою государственностью, вопреки революционной интеллигенции и вопреки вечным колебаниям при дворе, были приложены героические усилия к тому, чтобы предотвратить крушение. Устранить наверху опасный разрыв между властью и обществом (крылатые кривошеинские слова: «„Мы“ и „они“! В этом разделении гибель!») А главное — укреплять внизу элементарные возможности достатка, основанные на праве.

Война уничтожила плоды этих усилий. Тыловой «неизвестный солдат», не пожелавший идти на фронт, где столько русских воинов до него пало героями, придушил в 1917 году русскую государственность, тогда уже оторванную от общественных связей, ослабевшую... Это он кинул полумертвую добычу большевикам.

Но усилия и достижения были! Царская Россия перед войной неоспоримо крепла, просвещалась и богатела!

В истории этого подъема одно из почетнейших мест принадлежит А. В. Кривошеину.

Любопытно было бы проследить, как петербургский делец, министр явно консервативный, повинуясь только здравому смыслу и сыновней любви к родине, постепенно вырастал в политическую и притом явно либеральную величину.

Прежде всего в земельном вопросе: выдвинутый помещичьими влияниями, Кривошеин скоро оказался самым «крестьянским» изо всех министров. Уже на посту управляющего Крестьянским банком он понял, что жизнь обгоняет его аграрную программу.

Новых земель приходилось искать, главным образом, за Уралом. Энергия Кривошеина, его поездки со Столыпиным и без Столыпина в Сибирь, Туркестан, весь огромный, направлявшийся им труд переселенческого управления — блестящая страница в истории последнего царствования.

В европейской России Крестьянский банк едва поспевал за покупками новых земель крестьянами. Но близок был и предел этому росту вширь. Надо было поднимать крестьянское хозяйство на той

же площади, создавать прочную мелкую собственность. И тут Кривошеин был искуснейшим дирижером землеустройства, правой рукой Столыпина, во многих случаях и его политическим суфлером.

Между тем судьба толкнула его в область, где он — человек городской — был меньше всего «дома», гораздо меньше, чем, например, в торговле и промышленности или в просвещении (сам Кривошеин помечтал бы: «и в дипломатии...»).

Но специалистов в министерстве земледелия было и без него предостаточно. Сам же министр в совершенстве знал главную науку администратора: знал жизнь, людей, человеческую психологию. Всегда знал, чего от кого можно требовать, что кому следует поручить. Умел быть приятным, умел быть очень неприятным, всегда был взыскателен...

В этом отношении отличный знаток сельского хозяйства, достойнейший А. С. Ермолов, был, как министр земледелия, куда слабее. Он оставил своим преемникам захудалое, безденежное царство зеленой скуки. Песчано-овражные делопроизводства, покрытые плесенью департаменты...

При Кривошеине все ожило, всколыхнулось. Чиновники его побаивались; в обществе и печати его любили. Министерству верили, давали деньги. Завязались отношения с земствами, кооперацией, учеными, общественными деятелями, печатью. Сразу же нашелся общий язык с Государственной Думой.

Поначалу весь этот невиданный раньше склад и размах работы внушался Кривошеину скорее практической заботой: жатвы много, делателей мало, а времени отпущено России — в обрез! Но постепенно, за две «пятилетки» кривошеинского министерства, росли не только цифровые итоги работы: раскрывалась политическая ценность сближения правительства с общественными силами. В этом отношении Кривошеин шел уже дальше Столыпина, был уже его «левою» рукой. Но он отлично знал и ценил то, какою могучею опорой для всех побегов монархического либерализма была личность П. А. Столыпина.

Столыпину приходилось вести не только открытую борьбу с революцией. Он вел еще и тайную борьбу: главные подкопы под него шли справа. «Государственная Дума должна существовать, потому что у премьера Столыпина открылся ораторский талант»,— язвительно писал князь Мещерский.

Сановные шептуны усиленно внушали Государю, что с Думой и с обществом считаться нечего. Эти внушения создавали иногда опасные уклоны в симпатиях и настроениях Государя и, в особенности, императрицы. Стремление замкнуться в тесный кружок мнимо верных людей, ревнивое недоверие к сильным людям, к общественной популярности — все это странным образом сочеталось с мистической верой в простой народ, преданный царю безгранично. Столыпин умел бороться с этим самоубийственным ослеплением и тщательно оберегал ореол царской семьи, царской власти, всегда скрывая свою борьбу, никогда не становясь в оппозицию.

Столыпина убили. Кривошеин ощутил это как сильнейший удар по России, по царской власти. Сам любимый Государем, всегда находившийся под обаянием неотразимых женственных чар, ума и тонкости Государя, Кривошеин с отчаянием смотрел на жуткий отблеск несчастья и слабости, витавший в царском венце. Он не чувствовал ни в себе самом и ни в ком другом после Столыпина достаточно силы, чтобы преодолевать опасную отчужденность трона. А между тем в России имя Кривошеина стало уже произноситься многими как надежда. Деловой и политический вес его был велик: он давно перерос свой портфель «земледелия». И тем не менее, на моей памяти дважды Кривошеин уклонился от власти.

На упрек в нерешительности помню отрывистый и неохотный ответ: «Называться премьером и не быть им на самом деле — для этого нужно либо старческое безразличие ко всему, либо особая жажда власти. А настоящей власти никому после Столыпина не давали и не дадут. Я предпочитаю быть полезным на моем собственном месте».

Кривошеин не чувствовал себя вождем. Ему не хватало ораторского дарования, огня, внешней властности — всего, что было в таком избытке у Столыпина, уступавшего Кривошеину в уме, широте, гибкости. Но там, где в премьеры с легкостью проходил Штюрмер, очевидно, не в этих внутренних недочетах крылась причина неназначения Кривошеина. Вся политическая обстановка складывалась иначе: «мы» и «они» продолжали ссориться на краю бездны.

Грянула война. «Только война может погубить Россию»,— твердил Столыпин. В грозные предвоенные дни это предостережение было забыто. Инстинкт русского самосохранения был заглушен чувством великодержавности, международными иллюзиями. Весть о вырванном у Государя согласии на общую мобилизацию была в Совете министров встречена восклицанинми: «Слава Богу!»

Принявший войну, как рок, Кривошеин всецело отдался помощи Государю. «С железом в руках, с крестом в сердце!» Это выражение одного из старинных русских памятников, перенесенное Кривошеиным в подписанный Государем манифест о войне с Австрией, заполнило его собственную душу подлинным пафосом.

Он не только взвалил на свое министерство всю тяжесть продовольственного снабжения армии, умело, как всегда, притянув к этому и местные неслужилые силы. Он вовсю орудовал по части внешней и внутренней политики войны, стремясь сохранить хотя бы часть сказавшегося в первые дни войны объединения русских людей вокруг трона. В этой борьбе за коалицию Кривошеин одержал несколько пирровых побед у Государя (лично добившись, например, отставок Маклакова и Сухомлинова). Но спутникам его частых поездок в ставку ясно было, как слабела «мода на Александра Васильевича». Советы «не считаться», «пренебрегать» возобладали. «Мы» и «они» рассорились окончательно, на горе родине, по вине обеих сторон.

Уволенный из министров, Кривошеин скрывал ото всех, по просьбе Государя, свою отставку более месяца, чтобы не придать ей характера демонстрации. Получив, наконец, свободу действий, он выехал на фронт уполномоченным Красного Креста. На все сообщения дальнейших петербургских новостей от Кривошеина обычно получался ответ: «credo quia absurdum». После же вести об отстранении Государя пришло письмо: «Теперь осталась одна только декорация государственности, да и та скоро рухнет».

С первых же месяцев большевизма Кривошеин, рискуя всем: свободой, жизнью, ринулся в гущу борьбы. Он входит в Национальный Центр и другие тайные организации, всюду проповедует «подвиг коалиции» правых и левых во имя родины. Создает себе в самых чуждых ему кругах крупный авторитет, вступает в переговоры с иностранцами,— но тщетно: реальной честной помощи со стороны нет. Ни немецкая, ни союзническая ориентация не помогают. А внутри России почва ускользает из-под ног с ужасающей скоростью. Крушение за крушением!

Кривошеин борется до конца. Он, уклонившийся от премьерства при царе, идет в помощники к Врангелю (не из тщеславия же!), деятельно помогает в Париже признанию Врангеля Францией, сам меняет обеспеченную ему спокойную жизнь банковского дельца в Париже на севастопольское подвижничество. В тылу мученической армии бьется изо дня в день над решением неразрешимых проблем.

Как забыть эти сухие севастопольские морозы с ледяным ветром. Последний клочок нищей, обессиленной родины, в лохмотьях, с усталым взглядом! И ночь перед эвакуацией, когда Врангель послал Кривошеина вперед, в Константинополь: подготовить, как он сказал, европейское общественное мнение и исполнить ряд практических поручений по встрече эвакуированных.

В хорошо знакомых мне глазах Кривошеина тогда уже ясно читалась смерть, сразившая его через несколько месяцев.

В эту страшную, бессонную ночь на английском крейсере жизненное «кругосветное путешествие» А. В. Кривошеина было окончено.

Но будущие деятели новой России — все! — должны будут принести его имени дань вольного или невольного уважения.

1931

Библиофил

Яков СИДОРИН

«ВЕЧЕР» В КОМАРОВЕ

Заветной мечтой каждого библиофила, собирающего поэзию начала нашего века, является встреча с первым сборником стихов Анны Андреевны Ахматовой «Вечер». Изданная «Цехом поэтов» — объединением поэтов-акмеистов, созданным Н. С. Гумилевым и С. М. Городецким, в 1912 году тиражом триста экземпляров, книга в мягкой голубовато-серой обложке в течение нескольких месяцев стала библиографической редкостью. Этому способствовали и малый тираж и большой успех, сопутствовавший дебюту молодой поэтессы. Много книг было подарено друзьям и знакомым...

Заключая коротенькое предисловие к книге, поэт Михаил Кузмин писал: «Итак,... к нам идет новый, молодой, но имеющий все данные стать настоящим, поэт. А зовут его Анна Ахматова». Предсказание стало сбываться немедленно, о стихах Ахматовой заговорил «весь» Петербург.

Да и с библиофильской точки зрения книга была хороша. Напечатанная на хорошей бумаге, с большими полями и украшенная цветным фронтисписом работы известного художника, члена «Мира искусства» Е. Е. Лансере, она отвечала возросшим в то время требованиям к изящным изданиям. Обложка была выполнена по рисунку С. Городецкого, заставки и концовка работы А. Б.

С той поры прошло более полувека, до предела насыщенного разнообразными и чаще всего драматическими событиями. Сейчас трудно сказать, сколько уцелело из трехсот экземпляров этой тоненькой книги. Наверное, не так уж много, но и в книжном собирательстве иногда бывают чудеса! Я встречал ее дважды в течение одного года.

Первая встреча произошла в конце августа или в начале сентября 1963 г., когда букинистический магазин, что на углу Литейного проспекта и ул. Жуковского, славился как один из лучших в Ленинграде. До него в этом же помещении находился не менее известный в предвоенные и первые послевоенные годы книжный магазин «Главсевморпути», в котором работали хорошо знакомые всем ленинградским собирателям книг букинисты-антиквары А. С. Молчанов (1880—1940) и И. С. Наумов (1901—1972). Сейчас в этом помещении тоже букинистический магазин, но техвической книги.

Книга лежала под стеклом прилавка и первое, что бросалось в глаза, была надпись, сделанная на авантитуле синими чернилами: «Е. Е. Лансере съ глубокой благодарностью Анна Ахматова 1912 г. 16 марта Царское Село».

А ниже скромно типографским шрифтом: «Вечеръ». Я обомлел. Открытая серенькая обложка была цела (в то время я уже знал ценность печатных обложек) и по всему было видно, что книги не касались руки переплетчика. Из-под обложки торчала пожелтевшая бумажная обертка, по-видимому, продавший ее человек знал, чем он владел и, следовательно, с чем расставался. Первая мысль, которая мелькнула у меня в то время, когда я уже несколько необычным голосом попросил показать мне книгу, была: «А хватит ли денег?» Экземпляр должен был быть дорогим, тем более с автографом. Вторая мысль была: «Почему она так спокойно лежала под стеклом, неужели до меня ее никто не заметил? Ведь народу, как обычно, много». Среди посетителей я успел заметить двух знакомых «конкурентов». Стараясь не волноваться, я медленно перелистывал страницы, чувствуя за своей спиной присутствие любопытных, заинтересовавшихся, что такое необычное я разглядел на уже вроде бы изученном ими прилавке. Заметив на одной из страниц авторскую правку и убедившись, что книга в отличном состоянии, с сохранившейся и задней обложкой, к которой был приклеен книгопродавческий знак магазина с ценой, я понял, что уже не выпущу ее из рук. Попросив завернуть книгу и приняв «соболезнование» от свидетелей моего приобретения по поводу «непомерно высокой цены», я гордо, хотя и несколько поспешно, направился домой, чтобы еще и еще раз рассмотреть покупку и пережить случившееся. Получить книгу, подаренную более полувека тому назад автором художнику, ее украсившему, это ли не библиофильская удача!

Но на этом мои переживания не кончились. Через несколько дней, показывая с гордостью свое приобретение Е. М. Тагер, которая всегда внимательно и с большим участием относилась к моим книжным поискам и находкам, я услышал почти невероятное: «Надо обязательно показать эту книгу Анне Андреевне,— сказала Елена Михайловна,— ей это будет приятно. Я на днях еду в Дом творчества, в Комарово. Приезжайте ко мне. Навестим Анну Андреевну. Я вас познакомлю. И обязательно возьмите побольше ее книг, старых. Ведь у вас их порядочно».

Е. М. Тагер (1895—1964) — советская писательница и поэтесса, автор сборников рассказов о русском Севере и близкая знакомая нашей семьи, сама очень любила и собирала старинные и, особенно, старопечатные русские книги. Об этом свидетельствуют ее надписи, сделанные на подаренных мне книгах и, в частности, на втором издании ее известного сборника «Зимний берег» (М., 1957). Огромные фолианты «Остафьевского архива», стоящие на моих полках, напоминают мне об этом замечательно интересном и мудром человеке.

Примерно через неделю, солнечным осенним днем мы втроем: Елена Михайловна, ее внучка Наташа и я, подошли к небольшому зеленому «финскому» домику, стоящему довольно далеко от усадьбы Дома творчества в окружении огромных сосен.

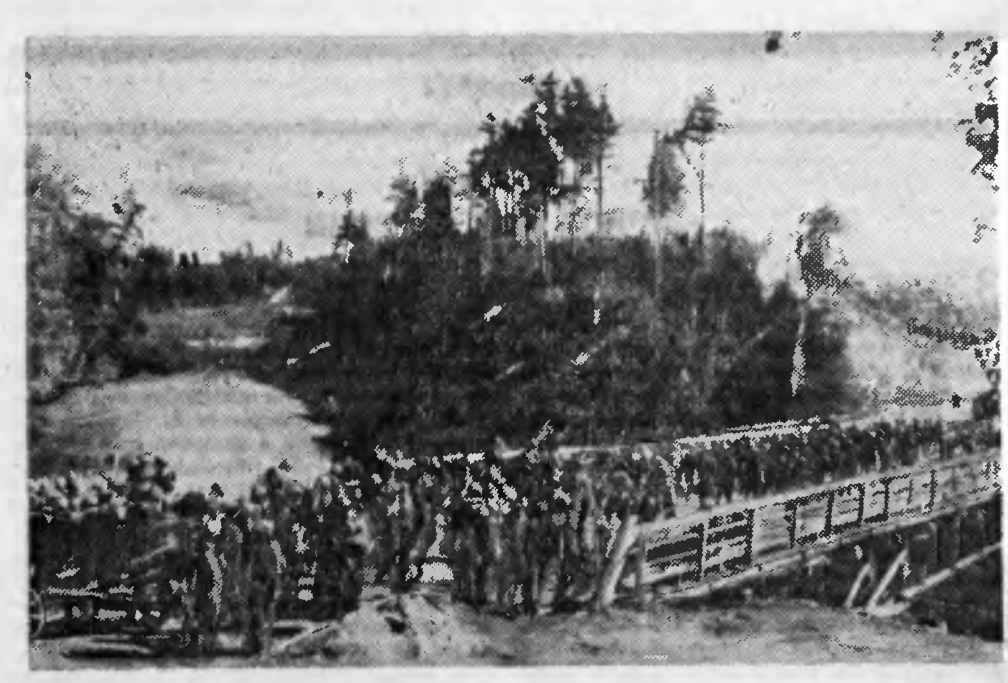
В небольшой темноватой комнате в кресле у письменного стола сидела седая величественная женщина в темном платье с черным кружевным воротничком, вокруг которого лежала длинная нитка тоже очень темных гранатов. Это была Анна Ахматова, не похожая ни на один из своих многочисленных портретов, которые мне довелось видеть. Кроме нее в комнате сидели еще две женщины, примерно одного с ней возраста. Как впоследствии выяснилось, одна из них была Н. И. Гаген-Торн — археолог, сотрудница Института этнографии и ее давняя подруга, а вторая — В. А. Кюннер-Сутугина, бывшая долгое время секретарем М. Горького.

На стенах у письменного стола висело несколько скромно окантованных рисунков, из которых мне запомнились три. Литографированный портрет Н. С. Гумилева работы Н. Войтинской из журнала «Аполлон» № 2 за 1909 г., портрет самой Анны Андреевны работы А. Модильяни, известный сейчас всем, и небольшой эскиз работы С. А. Судейкина. Как я потом выяснил — портрет О. С. Глебовой-Судейкиной в театральном костюме.

«А почерк-то совсем другой стал!» — сказала Анна Андреевна после обычных слов и объяснения причин вторжения незваных гостей. Она бережно листала книгу и было видно, что встреча ее взволновала и растрогала. «А у меня из старых книг ничего не осталось. Все растащили, а многое погибло. Вы, случайно, не собиратель автографов?» И после моего отрицательного ответа, добавила: «Терпеть не могу этих собирателей, выпрашивающих у всех автографы! Ну, что можно написать человеку, если видишь его впервые, не сказала с ним и двух слов и больше никогда не увидишь. Но вам книгу я надпишу, это вас не касается. Спасибо, что принесли и показали!»

Фототека «СТ»

«Ах, война, что ты сделала, подлая!..» Пятьдесят лет прошло с памятного 22 июня, когда она обрушилась на наши города и села. Подумать только: уже пятьдесят лет! А все не забываются беды, принесенные ею.



Войска на марше. Июнь 1941 года

В Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов хранятся сотни снимков, рассказывающих об этих бедах. Неисчислимое их количество проходит перед глазами, когда знакомишься с этими снимками. Пожарища, развалины, изможденные лица людей встают перед тобою. Они взывают к тебе: помни войну!

Общий же настрой архивной коллекции фронтовых фотографий определяется теми, что показывают нам: война — труд, тяжкий и изнурительный, победа достается страшно дорогой ценой.

Бойцы подвозят ящики с минами к минометной батарее. 1941 год

«Я слышала, что эта книга попала в магазин, мне говорили. И очень хотела узнать, кто же ее купит. Теперь знаю». Она продолжала рассматривать принесенные нами книги, складывая их в аккуратную стопочку. «Как давно все это было. А вы не пишете стихов?» Я ответил, что писал в том возрасте, когда большинство пишет, а сейчас только читаю чужие.

Заговорили о Блоке, о современной поэзии.

Узнав, что я воронежец, Анна Андреевна вспомнила о своей поездке в Воронеж к О. Э. Мандельштаму в феврале 1936 г.: «Трудно ему там было. Очень хочется издать сборник воспоминаний о нем. Но все это так сложно! Огромный поэт!»

Очень тепло и с трогательной заботой Анна Андреевна отзывалась о стихах молодых, начинавших в то время поэтов — Глеба Горбовского, Андрея Вознесенского и многих других.

Наш визит затянулся до вечера.

Анна Андреевна проводила нас до калитки, пригласила приезжать еще и привозить такие же интересные книги: «Заботясь о своем удовольствии, я невольно забочусь и о пополнении вашей библиотеки, так что желаю успеха! Приезжайте».

Сидя у окна вагона мчавшейся в Ленинград электрички и все еще находясь под обаянием волнующей встречи, я решился, наконец, прочесть надпись, сделанную на «Вечере». Она была на титульном листе, причем слова, написанные рукой Анны Андреевны, органически связывались с текстом первой половины титульного листа:

«Якову Сергеевичу Сидорину (Анна Ахматова) на память об Анне Ахматовой 11 сентября 1963 (Вечер) Комарово (СТИХИ)».

Я бережно храню этот дорогой для меня экземпляр вместе с остальными книгами А. А. Ахматовой, вышедшими при ее жизни.

Второй раз я навестил Анну Андреевну уже в Ленинграде незадолго до ее смерти.

«Приезжайте, жду вас»,— сказала мне по телефону Анна Андреевна.

Дверь мне открыла тоненькая, изящная девушка — внучка Анны Андреевны: «Яков Сергеевич? Проходите, бабушка вас ждет».

Мы сидим в небольшом уютном кабинете, чем-то отдаленно напоминающем комнату в Комарове. На стенах висит несколько портретов в рамках, среди которых я заметил знакомые: рисунок А. Модильяни и портрет Н. С. Гумилева. Вероятно, Анна Андреевна им очень дорожила и никогда с ним не расставалась. Заметив мой взгляд, сказала: «Покойная Елена Михайловна говорила мне, что Вы увлекаетесь художниками „Мира искусства" и собрали полный комплект „Аполлона"? Это же мой первый „толстый" журнал! Очень бы хотелось полистать его. Ведь это уже история, а я прекрасно помню его появление и знала многих из его сотрудников. Если соберетесь ко мне еще раз, захватите несколько номеров из первых».

В четвертом номере «Аполлона» за 1911 год были опубликованы «Четыре стихотворения» Анны Андреевны: «Сероглазый король», «В лесу», «Над водой» и «Мне больше ног моих не надо...»

Среди принесенных мною книг, кроме сборников Анны Андреевны, был «Кипарисовый ларец» Иннокентия Анненского, который сразу же привлек ее внимание.

«Вы любите Анненского?» — и, получив мой утвердительный ответ, задумчиво прибавила: «Да, Иннокентий Федорович — грандиозный поэт, из него все мы вышли. Из Блока никто не вышел и не мог выйти, он был слишком совершенен и самобытен. А из Анненского все: и Пастернак, и Хлебников, и Маяковский, и, вероятно, я... Его у нас плохо знают. Мне говорили, что сборник 1959 года (Библиотека поэта, большая серия.— *Я. С.*) до сих пор лежит на прилавках». Я ответил, что уже не лежит, но еще часто попадается. «Ну, это очень хорошо. Значит постепенно вкусы современных любителей поэзии улучшаются. Помяните меня, лет через десять его книги будут ненаходимы». Предсказание сбылось — найти книги И. Ф. Анненского чрезвычайно трудно.

Внимание Анны Андреевны привлек и «безымянный» сборник «Четки», до сих пор не значащийся ни в одном из существующих библиографических описаний ее книг. Мне очень хотелось выяснить историю издания этой книги. На мой вопрос Анна Андреевна ответила: «Загадочная книга. Третий раз мне ее показывают, а я ничего не могу объяснить. Думаю, что это — Крым, где-нибудь около 20-го года».

Мы еще долго рассматривали принесенные мною книги. По поводу одной из своих, изданной за рубежом, Анна Андреевна возмущенно заметила: «Вот, полюбуйтесь, написали: издана без разрешения автора! А кому от этого легче? Непорядочная публика. Ну, все равно, спасибо, что принесли и показали. А я вам тоже покажу кое-что интересное, похвастаюсь!»

Это «кое-что» оказалось прекрасным итальянским журналом, в котором были опубликованы ее воспоминания и фотографии. Роскошное издание, прекрасные фотографии.

В декабре 1964 года поэтическое творчество Анны Андреевны было отмечено ежегодной литературной премией «Этна-Таормино», присуждаемой жюри, состоящим из крупнейших итальянских литераторов, лучшим поэтам Италии и других стран. В связи с вручением премии на торжественном вечере в Катании (Сицилия) автором было прочитано стихотворение «Мужество», напомнившее человечеству о суровых и трагических днях Великой Отечественной войны. Многие стихи Анны Андреевны были тогда переведены на итальянский язык и изданы в Италии. Я смотрел эти сборники, как говорится, из рук самого автора.

Мне показалось, что воспоминания о поездках за границу, хотя они и были связаны с радостными и торжественными событиями, несколько расстроили Анну Андреевну. Она еще долго рассказывала мне о недавних похоронах Б. Пастернака, о трагических обстоятельствах смерти Е. М. Тагер и вспомнив ее «Лирический дневник», сказала: «Большой мастер языка, но мало написала. Было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь его («Лирический дневник».— *Я. С.*) опубликовал. Возьмитесь, а?»

Пора было уходить, я стал откланиваться.

«Еще раз спасибо за книги. Заходите, не забывайте старую поэтессу. А это — вам,— сказала Анна Андреевна, протягивая небольшую пачку листов,— посмотрите и прочтете дома. Не надписываю, надеюсь, что вы и так будете помнить Ахматову».

Это оказалась в то время еще не опубликованная «Поэма без героя».

Так закончилась наша вторая и последняя встреча: 5 марта 1966 года А. А. Ахматова скончалась.